

ISSN 0130-7673

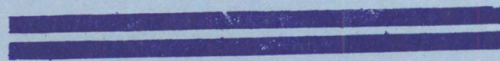
# НОВЫЙ МИР

9

НОВЫЙ МИР

1980

9



1980



# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Платон Воронько, Микола Нагнибеда, Евмен Доломан, Юрий Сердюк. Перевели Юрий Саенко, Н. Котенко	3
БОРИС ВАСИЛЬЕВ — Были и небыли. роман	7
НА ОРБИТЕ — Аркадий Рывлин, Юрий Усенко, Татьяна Гладкая, Геннадий Калашников, Нина Габриэлян, Борис Куняев, Инна Кашежева, Николай Година. Стихи	116
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Новые стихи	123
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Из цикла «Мифы», стихи	126
УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Авессалом, Авессалом! Роман. Продолжение. Перевела с английского М. Беккер	128
<b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	
МАРИЯ ПЕТРОВЫХ — Стихи разных лет	153
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Мне четырнадцать лет...	155
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
<i>К 600-летию Куликовской битвы</i>	
А. КЛИБАНОВ — «О светло светлая и красно украшенная земля Русская!»	185
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
А. САБОВ — Жанна д'Арк и Европа. Опыт анализа исторических ассоциаций, или Футурология вчерашнего дня	185

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Час «Очакова»	205
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
А. ЗВЕРЕВ — Предчувствие элики. Латиноамериканская проза и пути современного романа	220
О ШУКШИНЕ СЕГОДНЯ — В. Сердюченко. Надежность традиции; Генрих Митин. Монолог о правде	237
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Александр Борщаговский. Пробуждение личности. — Микола Рябчук. Новизна и постоянство. — Ирина Велембовская. Симпатии и антипатии Юрия Трифонова.	248
<i>Политика и наука</i>	
В. Гантман. Приключения одной доктрины. — В. Лобачев. И все-таки она вертится.	259
КОРОТКО О КНИГАХ: П. Черкасов. — А. Арбатов. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона. ◆ А. Мыльников. — Ю. А. Лимонов. Культурные связи России с европейскими странами в XV—XVII веках. ◆ Ф. Чирсков. — Я. Гордин. Пусть каждый исполнит свой долг. ◆ Николай Рулин. — Михаил Беляев. Улетающая любовь. Лирика. Михаил Беляев. Роса на белых яблонях. Стихи и поэма. ◆ У. Гуральник. — Л. Быковцева. Горький в Италии. Монография. ◆ Н. Львова. — Б. Покровский. Размышления об опере	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

---

## ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ



ПЛАТОН ВОРОНЬКО

\* \* \*

Моя земля родимая мягка,  
Тепла, как материнская рука, —  
Вулканной лавой потечет, огнем  
На тех, кто к нам подступится с мечом,  
И обернется вмиг скалистым льдом  
Для тех, кто предает родимый дом...  
Земля моя сердечна и мягка,  
Тепла, как материнская рука.

\* \* \*

Как сладок дым, когда горит листва  
В садах осенних у родного крова,  
Все яблони искрятся златоброво  
И дарят людям плод из рукава.  
Как горек дым, когда сады горят  
В разрывах бомб, в сумятице, в разлуке...  
Все яблони безумный мир корят,  
В плодах увядших опускают руки.

\* \* \*

Он влечет меня мыслью и взглядом,  
С ним любая дорога легка!  
С этим воином встать бы мне рядом,  
Чтоб сквозь годы идти и века.  
Перед ним побеленная хата,  
И подсолнух цветет у стены...

В глыбе мраморной фото солдата —  
Пал он в первое утро войны.

\* \* \*

Привык считать я башенные краны  
И радоваться всюду их числу,  
Они встречают утро рано-рано,  
Глазком рубинов провожая мглу.  
Их стрелам надо с новым днем встречаться —  
Он тысячами явится квартир,  
И новоселам будет новый мир,  
Конечно же, отсюда открываться.

\* \* \*

Поэзия, как родниковый дар,  
Из недр души струит тепло на волю  
От радости, от грусти и от боли.

Пусть стынет сердце, пусть бросает в жар,  
 Пусть ночь — как день, пусть день — одно мгновенье,  
 Пусть будничность припорошит стремленья —  
 Дух творческий сверкнет своим клинком!  
 Сквозь толщу лет пробьется родником  
 И людям даст красу и вдохновенье.

#### Над стихами неизвестного поэта

В обрывки дум его талант вмещался:  
 То вспышки молний, то заботы дня.  
 Держась за гриву времени, он мчался,  
 Но не взнуздal крылатого коня  
 Эпохи славной. Все ж ее солдатом  
 Он шел в строю, был полон свежих сил,  
 Стихи свои без имени, без даты  
 В заветной сумке за плечом носил.  
 Пусть к славе их и не нашлась дорога  
 (Истерлись и полопались гужи),  
 Но в них живет о будущем тревога,  
 Горит, не гаснет свет большой души.

*Перевел ЮРИЙ САЕНКО*

### МИКОЛА НАГНИБЕДА

#### На века

С годами все чаще невольно  
 Октябрьский мне видится свет,  
 Как вождь революции в Смольном  
 Готовит о мире декрет.  
 У входа матросов пикеты —  
 Победных боев первоцвет...  
 А Ленин здесь пишет декреты,  
 Законы на тысячу лет!

#### Высота

Я знаю:  
 Без подвига нет человека,  
 Людей малодушных в расчет не берем...  
 Мчись к новым свершениям, молодость века,  
 Сливайтесь, потоки, в один водоем.  
 Ведь нет ничего одиночества хуже,  
 В нем песни тускнеют и гаснут мечты.  
 Цветите же, розы, взращенные дружбой,  
 Звените плодами единства, сады!

#### Искорки из детских лет

##### 1

Что я увидел в далекую пору,  
 Выйдя впервые из хаты?  
 Степь... горизонт... и в разливах простора  
 парус крылатый.  
 Что я услышал в высоком небе?  
 И ныне не забываю —  
 Сзывал в синеве серебристый лебедь  
 Лебединою стаю.

Какую же первую страшную муку  
 Я принял тревожной душой?..  
 Мама мою отпустила руку —  
 Качнулась земля подо мною...  
 Но я удержал ее.. шел упрямо.  
 И улыбалась мама..

2

Я сквозь легкую дымку тумана  
 В царстве утренней ранней зари  
 Слышу — шепчет ромашка тюльпану:  
 «Ты красу свою людям дари».  
 Здесь доверия праздник искрится —  
 Все в своей чистоте предстает...  
 Мотылек на плечо мне садится,  
 Хочет вслушаться в сердце мое.  
 На цветы здесь ступать я не стану,  
 Ведь известно от матери мне;  
 Что и лютики и тюльпаны  
 Видят дивные сказки во сне.

3

Когда мама хлеб пекла, то в хате  
 Радовалось солнце с нами вместе,  
 С высоты слетал рушник крылатый,  
 Опускался голубем на тесто.  
 Мама хлеб пекла и напевала  
 Песни те, которые любила.  
 То ли песня хлеб благословляла,  
 То ли в песню шла от хлеба сила.  
 Когда мама хлеб пекла, мы ждали,  
 Ждали тихо, все собравшись вместе,  
 Будто нераздельность постигали  
 Трех понятий: мама, хлеб и песня.

*Перевел ЮРИЙ САЕНКО.*

**ЕВМЕН ДОЛОМАН**

\* \* \*

Я не устану клясть тех дней начало,  
 Когда на мир обрушилась война,  
 Ведь скольких жизней на земле не стало  
 И сколько горя принесла она.  
 Я не устану славить День Победы  
 И воинов великой той земли,  
 Что отвели от всей планеты беды,  
 От рабства человечество спасли.

**Моя шинель**

Шинель висит, напоминая  
 Мое походное житье,  
 А я живу, тружусь, не зная,  
 Придется ль вновь надеть ее.  
 Но если мирным дням на смену  
 Придет тревожный день, другой,  
 Тогда я вновь шинель надену  
 И с молодыми встану в строй.

И пусть запомнит враг заклятый,  
 Что будет наш удар тяжел  
 И не уйдет он от расплаты.  
 Как в сорок пятом не ушел.

*Перевел ЮРИЙ САЕНКО.*

## ЮРИЙ СЕРДЮК

### Открытие океана

Еще пахнет волос штормами морскими,  
 И волны в глазах — скакунами лихими,  
 И марева зыбкие кажет туман,  
 А я уж земной! Прощевай, океан!  
 И город навстречу волна за волною:  
 Тобою, судьбою, цветистой толпою...  
 В улыбках, в глазах — неизведанный свет,  
 Его не постичь и за тысячу лет!  
 Иду изумленный и вновь открываю  
 Листвы трепетанье, звучанье трамвая.  
 Вздывает на гребень бурлящий пеан,  
 В нем — сотни наречий... Вот мой океан!

### На Амуре

Горят снега огнем победным.  
 Нанайка юная в зенит  
 Лицом сияет нежно-медным  
 И вороной косою звенит.  
 И, накрывая полпланеты,  
 Прытка, как соболя полет,  
 Спешит на нартах встретить лето,  
 Хотя зима в тайге поет.  
 И я сквозь санный свист и грохот  
 Кричу ей с берега реки  
 И представляю нежный профиль  
 На расстоянии руки.

*Перевел Н. КОТЕНКО.*



---

БОРИС ВАСИЛЬЕВ



## БЫЛИ И НЕБЫЛИ

*Роман*

КНИГА ВТОРАЯ. 1877-й

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

**З**адолго до форсирования Дуная Кавказская армия пересекла границу Османской империи. Передовые части ее по горным, раскисшим от тающих снегов дорогам почти без боев вышли на линию Баязет — Ардаган, волоча на себе орудия и повозки.

Этот театр военных действий хорошо был изучен по войнам 1828 и 1854 годов. Известны были крутые, узкие дороги, караванные тропы, перевалы и ущелья, укрепив которые турки могли надолго задержать продвижение наступающих войск. Чтобы воспрепятствовать этому, русские наступали по трем направлениям. Действовавший на левом фланге Эриванский отряд генерал-лейтенанта Тергукасова получил задачу овладеть городом и крепостью Баязет и во взаимодействии с главными силами двигаться по Алашкертской долине к Эрзеруму.

— Знакомый путь, знакомый, — говорил Тергукасов на военном совете, расхаживая по штабной палатке. — Две особенности прошу припомнить и не забывать.

Генерал был невелик ростом и не любил сидеть, когда сидели подчиненные. Он всегда оставлял за офицерами право личной инициативы, но учил принимать во внимание не только военные соображения.

— Мирное население этой местности — малоазиатские христиане. На нас они уповают как на спасителей своих, и не учитывать сего невозможно — это первое. Второе — горы заселены курдскими племенами, воинственными и разбойными. Коли нейтралитет соблюдут — удача, однако требую крайней осторожности. В ссоры не вступать, стариков не оскорблять, скот, имущество и женщин не трогать. Карать за нарушение сего приказа. Карать прилюдно, сурово и незамедлительно собственной властью каждого командира. Мы несем свободу, господа, миссия наша священна, и дела наши, как и помыслы, должны быть святы и благородны.

Курды внимательно следили за продвижением русских, но ни в переговоры, ни в схватки не вступали. Русские держались дорог, и обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтралитет.

— Ну абреки, — вздыхал подполковник Ковалевский, встречая гарцующих на склонах всадников. — Ну не приведи господь. Голубчик,



Петр Игнатьич, не поторопите ли обозы? Растянулись, отстали. Да заодно и санитаров...

В санитарном отряде ехала Тая. Гедулянов и без просьб Ковалевского старался не спускать с нее глаз, навещал, просил не отходить за цепь разъездов. А командиру Хоперской сотни, что несла арьергардную службу в тыловой колонне 74-го Ставропольского полка, сотнику Гвоздину сказал:

— Головой за нее отвечаешь.

Сотник недобро усмехнулся в прокуренные усы, но слова принял к сведению. Капитана Гедулянова знали все.

18 апреля Тергукасов вступил в Баязет. Оборонявшие его турецкие войска без боя отошли в горы Ала-Дага. Вечером того же дня генерал вызвал к себе подполковника Ковалевского.

— Удирают, — с неудовольствием сказал он в ответ на поздравления. — А я бить их пришел, а не по горам бегать. Следовательно, должен настичуть. А настичуть с тылами да госпиталями не могу, и посему решил я здесь все оставить и преследовать налегке.

— А курды, ваше превосходительство? — спросил осторожный подполковник.

— Потому вас командиром и оставляю, — сказал Тергукасов. — Курды покорность изъявили, но вы старый кавказец.

— Старый, ваше превосходительство, — вздохнул Ковалевский. — Слышал я, полковник Пацевич прибывает?

— Старшим — вы, — сурово повторил генерал. — Пацевич кавказской войны не знает, а хан Нахичеванский глуп и горяч, хотя и отважен. — Он помолчал, глянул на Ковалевского из-под сросшихся армянских бровей. — Курды — забота. Может, торговлю с ними? Посмотрите турецкие трофеи. Торгующий враг — уже полврага.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Надеюсь на вас, крепко надеюсь. Ежели Баязет отдадите, я в капкан попаду.

На следующий день Ковалевский обследовал захваченные турецкие запасы, выделил для продажи соль, муку и армейские одеяла. Курды быстро узнали об этом и стали группами появляться в городе, посылая в большинстве случаев стариков и женщин с небольшой охраной — скорее почетной, чем боевой.

Офицеры бродили по крутым улочкам города, пили в кофейнях густой кофе, курили кальяны да осматривали цитадель — порядком запущенный огромный замок, стоявший на уступе скалы над городским базаром. Однако долго осматривать ее не пришлось: вскоре прибыл капитан Федор Эдуардович Штоквич, человек угрюмый, неразговорчивый и обидно резкий.

— Начальник военно-временного номера одиннадцатого госпиталя Тифлисского местного полка капитан Штоквич, — представился он Ковалевскому. — Назначен комендантом цитадели вверенного вашему попечению города. Поскольку там будет размещаться госпиталь, все посещения цитадели запрещаю, о чем и ставлю вас в известность.

Капитан Штоквич смущал добродушного подполковника скрипучим голосом, недружелюбием и странной манерой смотреть в центр лба собеседника: Ковалевский чувствовал себя неуютно и с трудом сдерживался от желания почесать место, куда устремлялся жесткий взгляд начальника госпиталя.

— Хорошо, хорошо. — И, страдая от просьбы, добавил: — В моем распоряжении оставлены младший врач Китаевский и милосердная сестра при двух санитарных фурах. Не угодно ли вам, капитан, допустить их в цитадель, дабы все санитарные...

— Сестра милосердия — ваша родственница?

— Дочь, — виновато признался Ковалевский. — Изъявила добровольное желание, имеет документ.

— Включу на общих основаниях, — сухо сказал Штоквич. — Милосердной сестре будет, естественно, предоставлено право беспрепятственного выхода.

— Спасибо вам, спасибо, — заспешил подполковник, чуть ли не раскланиваясь.

В тот же день Тая перебралась в цитадель. Комендант выделил ей две комнатки во внутреннем дворе, приказал обставить всем необходимым и даже допустил излишество в виде ковров и старого, помутневшего зеркала. Исполнив это, от знакомства уклонился, и Тая видела его лишь издали. Даже записку о беспрепятственном выходе из крепости ей передал младший врач 74-го Ставропольского полка Китаевский.

Максимилиан Казимирович Китаевский был человеком тихим, старательным и неизменно ласковым. С невероятными трудностями получив образование, дорожил службой, был исправен во всем, но угождать не умел и не стремился. Не имея частной практики, бескорыстно помогал бедным казакам, горцам и бродячим цыганам, чем и снискал себе в полку уважение пожилых офицеров. Он бывал у Ковалевских, знал Таю с детства, а несчастье с ней воспринял с особой болью, поскольку имел дочь и племянницу того же возраста. И по дороге к Баязету и в цитадели он неизменно одекал ее, любил вечерами пить с нею чай, рассказывать прочитанное или случаи из жизни, кои полагал поучительными.

— Читал я в юности одну книжечку. Запомню название уж, но суть не в названии, а в мыслях. Человек у огня живет и без него жить не может — так-то, помнится, в ней говорилось. И огонь тот женщина хранит, дочь от матери его зажигает, мать дочери передает из века в век от времен библейских...

Китаевский говорил тихо, не мешал думать, и Тая думала. Неизменно от веселых войсковых побудок до грустных вечерних зорей думала, где же он сейчас, этот странный, издерганный Федор Олексин. Как добрался до Кишинева, сумел ли попасть в действующую армию, нашел ли дорогу к столь необходимому для него Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. И не заболел ли, не простудился ли, не ранен ли шальной гранатой, не обманут ли людьми холодными и жестокими. Эти последние думы были особо тревожными: Тая знала, что Федор еще не очерствел душою, что мучается и ищет, что склонен он к поступкам неожиданным и, главное, несмотря ни на что, верит людям безоглядно, а понять их не может, как не может понять и самого себя. Просыпаясь, она думала, где и как просыпается сейчас Федор, хорошо ли он спал, найдется ли у него еда на утро и деньги на обед. А засыпая, всегда благословляла его сон и покой и туточку, словно украдкой от самой себя, мечтала. Совсем немного мечтала, пока не заснет.

Так продолжалось до начала июня. А утром того 4 июня Ковалевского разыскал командир хоперцев сотник Гвоздин.

— Плохие новости, господин полковник.

Ковалевский пил чай на низенькой веранде. Молча поставил стакан, натянул сапоги, надел сюртук, скинутый по случаю жары.

— Так. Что за новости?

— От генерала прибыл лазутчик. Из местных армян, что ли.

— Передайте полковнику Пацевичу, хану Нахичеванскому и коменданту цитадели капитану Штоквичу, что я прошу их прибыть ко мне незамедлительно и непременно. А лазутчика сюда, сотник. Да, казака к окнам. Не болтливый.

Сотник хлопнул плетью по запыленным сапогам и вышел за глухой глиняный дувал. Ковалевский торопливо допил чай и дождался лазутчика: хотел видеть, как идет, на что смотрит. Но вошедший во двор черноусый молодой человек был озабочен и по сторонам не глядел.

— Ты кто?

— Драгоман его превосходительства генерала Тергукасова Тер-Погосов. Определился на службу по выступлении из Баязета.

Тер-Погосов стоял свободно, отвечал точно и кратко, и это нравилось Ковалевскому.

— Ты местный?

— Я родился в Баязете, но учился в Москве.

— Где же?

— В Лазаревском институте, господин полковник.

— Простите, — смешался Ковалевский. — Извините старика: любопытен. Посланы генералом?

— Да. — Переводчик оглянулся, понизил голос. — По Ванской дороге к Баязету движется отряд Фаика-паши. Турок свыше десяти тысяч при шестнадцати орудиях.

— Господи... — растерянно выдохнул подполковник.

— Еще не все. Курды нарушили перемирие и тоже идут сюда. Генерал приказал передать вам два слова: «Жди. Вернись». Передаю точно.

— Почему же... Почему ждать-то, голубчик?

— Генерал отступает к Игдырю.

Ковалевский снял фуражку, долго вытирал взмокший череп большим носовым платком. В Баязете вместе с тылами и обозниками осталось никак не более полутора тысяч штыков и сабель да батарея в два четырехфунтовых орудия.

## 2

— Змея! Змея, братцы, глядите!

— У, гадина!..

— Не быть добру...

— Точно, братцы, к беде это. К беде...

Потревоженная тяжким солдатским топотом, длинная черная змея переползала дорогу. Увидев ее, рота невольно замедлила шаг, ряды смешались.

— Дахвати ты ее прикладом! — зло крикнул Гедулянов.

Его куда более тревожило узкое кривое ущелье, по которому второй час шел рекогносцировочный отряд полковника Пацевича. Нарушившие перемирие курды — а в том, что курды взялись за оружие, у капитана сомнений не было — могли обойти отряд поверху и запереть в неудобном для боя дефиле. Он все время озирался по сторонам, но крутые склоны закрывали обзор, а солдатский топот, гулко отдававшийся в холодном застоявшемся воздухе, глушил все шумы. И подполковник Ковалевский и он были против рекогносцировки большими силами, предлагая выслать казачьи разъезды для освещения местности, а основные части держать в кулаке. Но решительный в бою Ковалевский был робок с прибывшими из России офицерами, приказывать старшему в звании не решался, а спорить не умел.

— Мы разгоним этот сброд тремя залпами! — распаясь, кричал Пацевич.

Штоквич сразу устранился от обсуждения и лишь недобро усмехался. Ковалевский страдал от застенчивости, не осмеливаясь расстегнуть сюртук. Хан Нахичеванский лениво дремал, а Пацевич наседавал, восторгаясь собственной решимостью:

— Наша задача — обеспечить усмиренный тыл генералу Тергукасову, господа. Я имел честь сражаться с регулярными войсками, а уж с дикарями... Стыдно сомневаться, господа, стыдно не уповать на могучий дух русского солдата.

— Совершеннейшая правда, — с уловимой насмешкой сказал Штоквич, вставая. — Однако прошу позволения откланяться. Я не стратег, я числюсь по санитарной части.

— Хорошо, — страдальчески морщась, сказал Ковалевский. — Только уж коли все силы на рекогносцировку, то и мне в Баязете делать нечего. Прошу подчинить мне все части 74-го Ставропольского.

— Прекрасное решение! — воскликнул Пацевич, больше думая об ордене, за которым приехал, нежели о предстоящей рекогносцировке. — Увидите, как побегут эти вояки после первого же дружного «ура».

Ночь выдалась холодной, спать не пришлось, готовя стрелков к походу, сто раз повторяя одно и то же: чтоб не разорвали цепь, чтоб не стреляли без команды, чтоб заходили шеренгой...

— И чтоб не бежал никто, слышите меня, ребята? Курду нельзя спину показывать, он тут же тебя шашкой достанет. Пяться, ежели жать сильно станут, но лицом к нему пяться, штыком его держи.

Зазнобило еще перед рассветом, и сейчас, в ущелье, в сыром застоявшемся воздухе колотило так, что капитан стискивал зубы. А крутизна вокруг тянулась и тянулась, и Гедулянов понимал, что озноб у него не только от холода.

Навстречу из-за поворота вырвался казак. Нахлестывая нагайкой коня, бешено скакал вдоль растянувшейся пешей колонны, чудом не задевая за утесы.

— Стой! — крикнул Гедулянов. — Куда?

— К полковнику Пацевичу!

— Стой, говорю! — Капитан успел поймать за повод, резко осадил коня. — Что?

— Курды! — жарким шепотом дыхнул хоперец. — Курды на выходе. Гвоздин сотню спешил, огнем держать будет.

— Рота... бегом! — надувая жилы, закричал Гедулянов. — Бегом, ребята, за мной!

И, отпустив казака — он не нужен сейчас был, и Пацевич не нужен; сейчас одно нужно было: успеть к выходу из ущелья, пока курды не смяли Гвоздина, — побегал. За ним, тяжело топая и брэнча снаряжением, спешила усталая рота. Впереди грохнул залп: казаки открыли огонь, прикрывая развертывание пешей колонны. Роты вырывались из ущелья в долину и останавливались, топчась на месте и мешая друг другу. Не было ясной диспозиции, Пацевич почему-то оказался в хвосте колонны, а впереди охватом на горных склонах гарцевали, сверкая оружием, всадники в развевающихся ярких одеждах.

— Ростом, занимай правый фланг! — кричал Гедулянов, торопливо отводя свою роту левее, руками подталкивая растерявшихся. — Терехин, держи центр! Не ложись, ребята, стой во фронте, а штык изготовь! Сомнут, коли заляжем, сомнут!..

За первыми ротами на смирной лошадке неторопливо выехал Ковалевский. Остановился поодаль, чтоб не мешать ротам разобраться, поговорил с сотником Гвоздиным, искоса поглядывая, как, горячась, строит роту Ростом Чекаидзе, куда отвел своих Гедулянов и ладно ли в центре у Терехина.

— Спокойно, братцы, спокойно! — крикнул он. — Это дело обычное, вроде как вилами работать. К себе не подпускай, товарищу пособляй да командира слушай.

Он кричал, перекрывая шум и говор, но и кричал-то по-домашнему, мирно и сидел без напряжения, и даже лошадка его уютно помахивала хвостом. И эта обычность действовала лучше всяких команд: солдаты заняли места и жиденький фронт упруго ошетинился штыками.

Из ущелья все еще вытягивались роты, пристраиваясь во вторую и третью линии, курды по-прежнему гарцевали, не рискуя приближаться на выстрел после единственного залпа хоперцев, и все как-то успокоилось и примолкло. Наступило равновесие: противники ждали действий друг друга и никто не решался первым стронуть свою чашу весов. Ковалевский пошептался с Гвоздиным, и тот начал отводить

казаков из аванпостной линии к скалам, где коноводы держали лошадей в поводу.

— Бог даст, постоим да и разойдемся, — негромко сказал подполковник Гедулянову. — Главное дело — их под руку не подтолкнуть. Я Гвоздину велел назад поспешать на полном аллюре, пока выход из щели не отрезали, да сейчас не проскочишь, свои куда мешают.

Полковник Пацевич появился с последними полуротами. Наспех оглянувшись, подскакал к Ковалевскому.

— Почему стоим? Почему не атакуем? Разогнать дикарей! Залпами, залпами!

— Господин полковник, я прошу ничего... — умоляюще начал подполковник.

— Господа офицеры! — закричал Пацевич, вырывая из ножен саблю. — Стрельба полуротно залпами...

— Господин полковник, отмените! — отчаянно выкрикнул Ковалевский.

— Приказываю молчать! За неподчинение...

Все смеялось после первого залпа. Свободно гарцевавшие по склонам курды мгновенно перестроились, словно только и ждали, когда русские начнут. В центре они тут же открыли частую беспорядочную стрельбу, лишь демонстрируя готовность к атаке, а фланговые группы с дикими криками помчались вниз на топтавшийся у горла ущелья русский отряд.

— Гедулянов!.. — странным тонким голосом выкрикнул Ковалевский.

Он приник к лошадиной шее, прижав правую руку к животу. И из-под этой руки текла густая черная кровь.

— Ранены? Вы ранены? — подбегая, крикнул Гедулянов.

— Не кричи, не пугай солдат... — с трудом сказал подполковник. — Отходи в ущелье. По-кавказски отходи, перекатными цепями. А меня... на бурку. В живот пуля. Жжет. Отходи, Петр, солдат спасай. Не мешай, отходи...

— Ставропольцы, слушай команду! — перекрывая ружейную трескотню, конский топот и гиканье атакующих курдов, закричал Гедулянов: — Перекатными цепями! Пополуротно! Отход!..

— Как смеете? Как смеете? Под суд! — надрывался Пацевич, по-прежнему зачем-то размахивая саблей. — Запрещаю!..

— Я своими командую, — резко сказал Гедулянов. — Мои со мной пойдут, а вы, если угодно, можете оставаться.

В рекогносцировочном отряде было три роты ставропольцев, по сотне уманских и хоперских казаков и рота Крымского полка. Гвоздин уже увел хоперцев, а командир уманцев войсковой старшина Кванин сказал как отрезал:

— Казаков губить не дам.

Сам отход — бег, остановка, залп, бег, остановка, залп — Гедулянов помнил плохо. В памяти остались бессвязные куски, обрывки команд, нескончаемый грохот залпов да истошные крики нападающих курдов. Пацевич окончательно растерялся, что-то орал — его не слушали. Солдаты уже поняли, как надо действовать, чтобы курды не рассекли на части живой, ошетиленный, точно еж, клубок, и в командах не нуждались. Так и выкатились из дефиле, все убыстряя бег и уже забывая о цепях. Началось бегство, и курды вырезали бы всех, да Штоквич, услышав пальбу, выслал резерв — роту Крымского полка. Укрывшись в балке, крымцы пропустили своих и с двадцати шагов ударили залпом по лаве атакующих курдов.

Гедулянов вошел в цитадель, когда ворота уже были закрыты и оставалась только узкая калитка, к которой пришлось пробираться через разбросанные тюки, тряпки, одеяла, ковры. Снаружи вход охраняли солдаты, а внутри у самой калитки стоял Штоквич. Солдаты

таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадировали ворота изнутри.

— Все прошли?

— Мои все, — сказал Гедулянов. — Почему вещи валяются?

— С вещами не пускаю, — скрипуче сказал комендант. — Армяне из города набежали, боятся, что курды вырежут.

— Ковалевский как?

— Не знаю, я не врач. Извольте принять под свою ответственность первый двор и прилегающие участки.

— Вы полагаете...

— Я полагаю, что нам следует готовиться, капитан. На Красные Горы вышли черкесы Гази-Магомы Шамиля. Уж он-то случая не упустит, это вам не курды.

3

Утром 26 июня полусотня донцов под командованием есаула Афанасьева с гиканьем ворвалась в маленький, со всех сторон стиснутый высотами городишко Плевну. Турки бежали без выстрела, ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била (колокола турки вешать запрещали). Выпив густой, как кровь, местной гымзы, есаул дал казачкам чуточку пошуровать по пустым турецким лавкам и еще засветло покинул гостеприимный городок.

— Было три калеки с половиной, — с нарочитой донской грубоватостью доложил он командиру Кавказской бригады полковнику Тутолмину. — Разогнал, братушки рады-радешеньки, чего зря сидеть? За сиденье крестов не дают.

В Западном отряде, куда входила Кавказская бригада Тутолмина, крестами позвякивали с особой отчетливостью: генерал Криденер считал награды основной целью боя. Он сызмалства не верил ни в талант, ни в призвание, ни в озарение, уповая лишь на личный опыт и, следовательно, на возраст, поскольку арифметика была простой: чем дольше живешь, тем больше видишь. А в арифметику верил, и для него дважды два всегда, во всех случаях жизни равнялось четырем. Задача, полученная им, казалась до обидного незначительной. Западный отряд находился ближе к сердцу Болгарии — к Софии, — а посему именно он, барон Криденер, и должен был стать основной фигурой в этой войне. Пусть себе Гурко рвется к перевалам, пусть отвлекает на себя противника: в точно рассчитанное время Криденер неожиданно для неприятеля ринется через горные проходы к Софии. Идея была проста, но мешал Никополь, повисший на левом фланге.

— Штурмовать эту развалюху? — с недоумением спросил начальник штаба 9-го корпуса генерал-майор Шнитников.

Криденер не терпел возражений, коли решение им было уже принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал, тем паче что взятие турецкой крепости обещало ордена, славу и одобрение свыше. Лишь прикомандированный к Западному отряду генерал-майор свиты нервно сопротивлялся:

— Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать, не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае.

— Наступление — лучший способ держать неприятеля в напряжении, генерал. Не учите пирожника печь пироги.

— Однако, Николай Павлович, не следует при этом забывать о всей массе неприятельских войск.

— Вы прибыли за орденом? После падения Никополя я вам представлю такую возможность. Но в самом деле вы не будете принимать никакого участия, ибо генерал, не верящий в целесообразность операции, во сто крат опаснее врага.

Сам Никополь штурмовать не пришлось: он капитулировал после артиллерийской бомбардировки. Представитель ставки в сражении участия не принимал, переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу, писал реляции и приводил в порядок войска, он одному ему ведомыми путями узнал то, чего так опасался.

— Турки начали перебрасывать войска из Виддина в наш тыл, Николай Павлович. Я настоятельно прошу незамедлительно отдать приказ Кавказской бригаде занять Плевну.

Отправить Кавказскую бригаду Тутолмина в Плевну означало для Криденера ослабить собственный отряд. Пойти на это добровольно он не мог: ему все еще мерещился победоносный марш на Софию.

— Я обещал вам, генерал, предоставить возможность отличиться. Так вот будьте добры сопроводить в Главную квартиру коменданта Никополя Гассана-пашу.

— Ваше превосходительство, я умоляю...

— Вас ждут коляска, конвой и пленный паша. Поторопитесь, генерал, я вас более не задерживаю.

Выведенный из равновесия упрямством Криденера, представитель ставки загнал коней по пути к Главной квартире. Конвойные казаки угрюмо ругали сумасшедшего генерала, сам он, покрытый пылью и грязью, еле держался на ногах, и только пленный комендант Никополя весело скалил зубы в черную бороду. Эта улыбка неприятно поразила императора; он тут же велел увести пленного и стал расспрашивать о подробностях взятия Никополя.

— Ваше величество, это авантюра, — хрипло, с трудом сказал генерал. — Из Виддина в наш тыл перебрасываются свежие таборы. Я знаю об этом достоверно.

— Ты, видимо, устал, — с неудовольствием сказал Александр. — Это блестящая победа нашего оружия. Турецкий главнокомандующий и его начальник штаба смещены с постов и отданы под суд. Такова паника, которую вызвал Криденер в Константинополе.

— Ваше величество, велите немедленно занять Плевну.

— Благодарю тебя за труды, они будут отмечены. Ступай отдохни и... и выезжай в Россию. Здесь ты мне больше не понадобишься.

Представитель за ненадобностью отбыл в Россию, а барон Криденер получил орден святого Георгия 3-й степени. Однако вместе с поздравлениями от Артура Адамовича Непокойчицкого пришло и телеграфное предписание озаботиться городишком Плевной. Это еще не звучало приказом, но Криденер умел читать между строк и скрепя сердце выслал к досадной плевненской занозе отряд генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера числом в семь тысяч штыков и чуть более полутора тысяч сабель при сорока шести орудиях.

Отряд шел как на усмирение, не утруждая себя ни разведкой, ни дозорами. Уже на подходе к Плевне, о гарнизоне которой командир отряда имел весьма смутное представление, в деревеньке Буковлек навстречу русским вышел пожилой болгарин. Стал на дороге, крестом раскинув руки:

— Турки в Плевне, братушки! Много пашей, много таборов, много пушек!

— Вот мы и пришли их бить, — сказал командир архангелогородцев полковник Розенбом. — Скажи братушкам, пусть завтра в Плевну побольше мяса везут: победу праздновать будем.

Мяса в Плевне хватило: в половине седьмого утра Иоганн Эрикович Розенбом, во главе своих архангелогородцев ворвавшийся-таки в Плевну, был убит наповал у первых домов. Но это случилось на шестнадцать часов позднее, а тогда и турок-то никаких еще не было видно и усталость уже покачивала солдат. И потому на предостережение никто не обратил внимания, передовые части миновали деревушку, а когда стали спускаться в низину буковлекского ручья, с Опанецких высот полыхнул первый залп.

Костромской полк тоже обстреляли на марше, но осторожный его командир полковник Клейнгауз выслал вперед кубанцев. Привычные к таким делам казаки тенями скользнули по балочкам и через полтора часа доложили, что за Гривицкими высотами расположен большой турецкий лагерь. Полковник прикрылся цепью разъездов и секретов, приказал костромичам отдыхать без костров и курения, отправил донесения по команде и стал терпеливо ждать рассвета, завернувшись в шинель подобно своим солдатам. Однако вздремнуть ему не пришлось: прискакал командир 9-го Донского полка полковник Нагибин. Принимать гостя было нечем да и не ко времени; выпили коньяку, а затем Нагибин взял Клейнгауза под руку и повел в сторону от солдатского храпа и офицерского говора. Сказал приглушенно еще на ходу:

— Игнатий Михайлович, прощения прошу, что от дремоты оторвал. Мои казаки собственной охотой поиск произвели. По их словам, противника — колонн восемь, если не больше. С артиллерией, котлами и бунчуками.

— Мох, Нагибин, добавьте, что кубанцы за Гривицкими высотами обнаружили.

— Вот-вот, Игнатий Михайлович. Мы-то считали, что в Плевне от силы четыре табора. А тут получается...

— Получается, что нужно уходить, — не дослушав сказал Клейнгауз. — Уходить немедленно и без всякого боя.

— Затем и прискакал, Игнатий Михайлович. Надо бы Шильдеру разъяснение — это на себя приму. А вы Криденера уведомите, что Плевна уже не «плевок», как он говаривал, а орешек.

— Главное беспокойство — разбросаны мы очень, веером дамским наступать вздумали, — вздыхал Клейнгауз. — Нет, нет, вы правы, вы совершенно правы.

Отправить докладные записки полковники не успели: от Шильдер-Шульднера прибыл нарочный с приказом атаковать Плевну концентрическими ударами. Нагибин, нахлестывая коня, помчался к себе, а Клейнгауз, сыграв тревогу, приказал оставить на месте ночевки ранцы, шинели и обоз и бегом поспешать туда, где полагалось быть полку к началу всеобщего «концентрического наступления».

Время рассчитали из рук вон плохо: рокот барабанов, играющих атаку, раздался лишь в половине шестого. Офицеры вырвали сабли из ножен, солдаты привычно сбросили на левые руки полированные ложа винтовок, и полки без выстрела пошли в атаку на занятые турками высоты. Шли молча, смыкая шеренги над убитыми и ранеными, копя силу и ярость. И взорвались вдруг хриплым, одинаково страшным как для просвещенной Европы, так и для дикой Азии знаменитым русским «ура».

Костромичам предстояло пройти длинным, пологим, открытым со всех сторон скатом к Гривицким высотам, и они прошли, усеяв поле белыми рубахами павших. Здесь перед полком открылись три линии турецких окопов; перестраиваться не было времени, и полк бросился в атаку с ходу. Две линии костромичи взломали единым порывом, когда смертельно раненный пал командир полка. А впереди была в упор третья линия турок, и полк затоптался, теряя порыв и ярость.

В то время как архангелогородцы гибли у первых плевенских домов, 9-й Донской полк в пешем строю отбивался от турок на правом фланге, а костромичи истекали кровью на Гривицких высотах, Кавказская бригада Тутолмина бестолково металась по заросшим кустарником низинам. В полосе ее наступления оказался глубокий Гученицкий овраг, о существовании которого почему-то никто не подозревал. И только когда стал пятиться Костромской полк, Тутолмин прекратил бесплодные поиски путей к Плевне и во весь мах помчался к Гривнице.

Сражение, вошедшее в историю под названием Первой Плевны, было проиграно изначально, еще до сигнала атаки, еще в голове командира. В результате наступления «дамским веером» отряд Шиль-



дер-Шульднера потерял ранеными и убитыми более трети, и «Вечная память» надолго приглушила звонкую медь полковых оркестров.

Торжествовали в Плевне, с восточной пышностью поздравляя Османа Нури-пашу. Но Осман-паша не спешил улыбаться.

— Если среди убитых в белых рубахах вы найдете хоть одного, сраженного в спину, я возрадуюсь вместе с вами. Укрепляйте высоты. День и ночь укрепляйте высоты. Русских может сдержать только земля.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Федор лежал лицом к обшарпанной, в жирных пятнах стене дешевого — дешевле стоила только ночлежка — номера, а видел небывало переполненный Кишинев. Видел изворотливых мелких дельцов, развивающих бурную деятельность в надежде выбить, выпросить, выторговать, выцыганить пятиалтынный на каждый вложенный гривенник; видел неторопливых, знающих цену себе и всему на свете тыловиков-интендантов, через липкие руки которых шли сотни тысяч пудов хлеба и мяса, овса и сена, шли шинели и портяночное полотно, сапоги и седла, палатки и медикаменты; видел молчаливых, почти незаметных в серых своих сюртуках заправил-поставщиков, слово которых могло озолотить, а могло и уничтожить и мелкого барышника и крупного воротилу, а доходы измерялись гарантированными государством миллионами. Он посмотрелся и на тех, и на других, и на третьих, он ощутил их физически, как ощущают пададь, он во многом разобрался и только никак не мог понять, что же делать ему, Федору Олексину. За границу империи, а тем паче за Дунай без специального разрешения военных властей не пускали, Скобелева в Кишиневе уже не было, и где он находился, никто толком сказать не мог. Конечно, можно было, махнув рукой на мечты, записаться вольноопределяющимся, но Федор размышлял на эту тему словно бы по обязанности: незнакомая, но отнюдь не пугающая апатия уже завладела его духом и телом. Ему было все равно, решительно все равно, абсолютно ВСЕ РАВНО, что будет завтра с ним, Федором Олексиним, с его родными и близкими, с Россией и со всем миром. Он выпал из всего сущего, вывел себя за скобки и ничего не ждал.

— Ай, повезло, ай, счастье-то какое, господи! Ай, господи, благодарю тебя и кланяюсь низко! — радовался облезлый маленький человек без определенного возраста, занятий и положения Евстафий Селиверстович Зализо. — Шестнадцать рубликов семейству отправил и долги расплатил. Шестнадцать целковеньких супружнице и деткам!

Евстафий Селиверстович посредничал в мелких сделках, вел случайную переписку, а вечерами играл по маленькой с купцами, подрядчиками и маклерами третьей руки, мухлевал и передергивал, но темных дел боялся. Заработок был невелик и неустойчив, и Зализо куда чаще возвращался с синяками, чем с целковыми. Кряхтел, стонал, иногда плакал, но не унывал и, наскоро сведя синяки огромными, екатерининской чеканки медяками, снова неустрашимо шел по трактирам.

— Раз побьют да и два побьют, а там, глядишь, и господь смилуетя, пожалеет меня да тузика подкинет, — приговаривал он, собираясь на вечерний промысел.

— Бога-то хоть в шулера не зачисляйте, — сердился желчный отставной капитан Гордеев, второй сожитель Федора.

— То присказка такая, присказка, — поспешно оправдывался Евстафий Селиверстович. — К слову, как бы сказать, глубокоуважаемый господин Гордеев.

— По мне уж коли играть, так не мелочиться, — непримиримо ворчал отставной капитан. — Поставьте тысяч на десять, смухлюйте — и домой. А вы десятку наскребете и радуетесь. Глупо и мелко.

— Помилуйте, Платон Тихонович, за десяточку мне по роже съездят, а за тысячу... Да что там тысяча! За сто рублей жизни решат. А у меня супружница, детки, семейство.

— Рыба вы, а не игрок.

— Рыба, — покорно соглашался тихий Евстафий Селиверстович. — Я, господа, бывший идеалист. С юности, от малых, как бы сказать, ногтей в благородство верил как во спасение. Стихи декламировал, в живых картинах участвовал, рыцарей изображал. Знаете, когда воровство кругом да гадство, как приятно в живых картинах рыцарей изображать. Дамы платочками машут, начальство улыбается, и всем очень покойно. Очень. Это ведь приятнее даже для русского человека, чем о свободе рассуждать. Вот я им всем и приятствовал, а сам верил. Верил, господа, иетово верил, вот что умирительно.

— И во что же верили?

— А во все, во что отечество верить наказывает. В законы, в честность, в мужей государственных, даже... — Зализо понизил голос, — даже в справедливость, господа, хоть побейте, верил. Верил! А тут как раз из самого Санкт-Петербурга сановник пожаловал. Добрый такой господин, сединами убеленный. Стал чиновников по одному к себе на беседу вызывать, и до меня очередь дошла. А я уж специально изготовился к рандеву этому, цифры подобрал, случаи разные и все на бумаге изложил.

— Опять глупость, — угрюмился Гордеев. — На что рассчитывали? Чин, поди, мерещился? Вызов в сенат?

— Нет, что вы, господа, нет и нет! — пугался Евстафий Селиверстович. — Ни на что я не рассчитывал, господь с вами, Платон Тихонович. Я отечеству помочь стремился, я указать хотел, куда денежка казенная утекает, в какую прорву ненасытную. Вот о чем я думал, поскольку в честности воспитан был. А дело все так перевернулось, этаким, как бы сказать, фарсом трагическим, что вылетел я со службы, как только лошадки особу за город вынесли.

— А закон? — не выдержав причитаний, раздраженно спросил Федор. — Есть же закон, господин Зализо.

— Закон? — Бывший чиновник тихо рассмеялся. — Какой закон, господин Олексин? Это в Английском королевстве закон, а у нас — поправки к оному. Пятнадцать томов поправок, указов да разъяснений. Не изволили сталкиваться? Ну так храни вас господь от этого, Россия — страна поправочная, а не законная. Поправочная, глубокоуважаемый господин Олексин.

Евстафий Селиверстович Зализо был не только бывшим чиновником, но и бывшим человеком. Но второй — угрюмый, внутренне напряженный отставной капитан Гордеев — был интересен уже тем, что ничего о себе не рассказывал. Писал бесконечные прошения, получал отказы, снова писал и снова получал, но не жаловался. Раз только, получив откуда-то пространное, но тоже явно отрицательного свойства письмо, насильственно усмехнулся:

— Почему тем, кто пишет правду, не верят с особым злорадством, Олексин?

У Федора случился очередной приступ меланхолии, и отвечать Гордееву он не стал. Впрочем, отставной капитан и не ждал ответа, а тут же достал походную чернильницу, пачку голубоватой немецкой бумаги и начал старательно скрипеть новым стальным пером.

Разговор между ними произошел в тот день, когда вдруг разоткровенничался Зализо. Выговорившись, Евстафий Селиверстович тотчас же и ушел, поспешая ко времени, когда мелкой тыловой сошке уж очень захочется попытать счастья за зеленым сукном. Отставной капитан проводил его прищуренным глазом, помолчал и сказал весомо:

— Врет.

— Отчего же полагаете так? — вскинулся Федор. — Он говорил искренне, и сомневаться, право же...

— А я без сомнения знаю, что мошенник он и лгун. Заметьте себе, Олексин, что не все мошенничают, но все лгут. Все нормальные люди непременно же лгут, а коли правду режут, так либо с ума сошли, либо в начальники выбились.

— Вы мизантроп, Гордеев.

Отставной капитан невесело усмехнулся в густые, с обильной проседью усы. Походил по номеру, с хрустом давя тараканов, сказал вдруг:

— Хотите сказочку послушать? Очень полезная сказочка для юношей, кои героев ищут не в Древнем Риме.

— Тоже лгать станете? — ядовито осведомился Федор.

— Непременно, — кивнул Гордеев. — На то и сказка, Олексин, чтоб лгать свободно, так уж давайте без претензий. Стало быть, в некотором царстве, в некотором государстве служили два немолодых офицера при молодом полковнике. Полковник тот был хоть и весьма молод, но уж и знаменит, и отмечен, и геройствами прославлен аж до града престольного, а посему имел отдельный отряд, веру в собственную звезду и жажду славы. Вы слушаете, Олексин, или опять считаете тараканов?

— Слушаю, — отозвался Федор. — Полковник имел синие глаза и ржанные усы, и звали его...

— А вот этого не надо, — остановил Гордеев. — Сказка имен не любит. Так что либо сказку слушайте, либо я гулять пошел.

— Давайте сказку, — лениво зевнул Федор. — О Бове Королевиче.

— Бова Королевич? — Отставной капитан неожиданно улыбнулся. — А пусть себе, к нему это подходит. Но сначала об офицерах, коих наречем... Фомой да Еремой. Так вот Фома — из захудалых дворяшек — из кожи вон лез, чтобы только Бове Королевичу угодить. Не из низости характера, Олексин, — мягкий, воспитанный да слабый был господин сей, уж мне поверьте, — а угодничал по той простой причине, по которой наш брат-русак скорее всего угодничать начинает: по причине долгов, родственников да несчастий. Вот все это досталось Фоме в избытке — и долги, и родственников орда целая, и несчастий по двадцать два в неделю, а доходов — одно жалованье. Скольким пожалуют, стольким и жив. Вам знакома страшная механика сия?

— А Ерема? — настойчиво спросил Федор.

— А Ерема из разночинцев, Олексин, ему проще, потому как привычнее и психею его не ломает. Дед у него вольноотпущенник, отец на nive народного просвещения подвизался, а самого Ерему в Николаевскую академию занесло. Впрочем, к сказке все это отношения не имеет, а суть в том, что Бова Королевич вздумал на свой страх и риск малым своим отрядом взять довольно сильную крепость. И только к походу изготовился, как ловят казачки немирного турк... туземца, Олексин, туземца. Туземец попался бравый, в лицо Бове Королевичу смеется и на своем туземном языке утверждает, что движется на Бову большой туземный отряд. Врет? Ну так и слава богу, и пусть себе врет, а мы будем крепость штурмовать. А вдруг не врет? Вдруг правду бормочет басурманская рожа? А коли правду, то о крепости тотчас и позабыть надо и силы совсем даже в другую сторону разворачивать. Понятна вам задачка, Олексин?

— Понятна, — без особого интереса откликнулся Федор, хотя все, что касалось Бовы Королевича, слушал внимательно. — А как он ее решил? Ну, ваш Бова Королевич?

— Просто, как Колумб задачку с яйцом. Вызвал Фому да Ерему и приказал бить того туземца, пока правду не скажет.

— И вы...? — с неприкрытым презрением спросил Федор.

— Мы? — Отставной капитан натянуто улыбнулся. — Это же сказка, Олексин, просто сказка. И по сказке той получается, что разночинный Ерема тут же большим себя объявил, а несчастный Фома, поплакав да помоясь, взял цепь, на которой бадью колодезную крепят, и начал цепью этой...

— Не надо, — брезгливо отвернулся Олексин.

— Это же сказка, так что потерпите, — усмехнулся Гордеев. — Суть ведь не в том, как Фома бил да как туземец кричал. Суть в том, что правду он все же из него выбил: не было никакого отряда, никто ниоткуда не угрожал и Бова Королевич мог преспокойно штурмовать крепость всеми наличными силами.

— А если и здесь ложь? Если солгал туземец тот?

— Это перед смертью-то? Перед смертью правоверному нельзя врать, а то Магомета не увидит и гурии его не усладят.

— Значит...

— Значит, Олексин, значит. До самой смерти в присутствии муллы кованой цепью бил. Плакал, о прощении умолял и бил, вот какая очень русская история, юный друг мой. А когда забил...

— Перестаньте бравировать!

— Когда забил, с облегчением великим к Бове Королевичу победил. С облегчением и бумагой, в которой арабской вязью все изложено было и подписью присутствующего священнослужителя скреплено. Бова бумагу взял, а Фому не принял, будто и не было его вовсе, будто бумага по воздуху приплыла. А Фома не понял ничего или понять испугался и все сидел возле палатки. Вышел наконец Бова, глянул на Фому как на пустое место и пошел себе. В нужник. И все офицеры сквозь этого Фому глядеть стали: даже ближайший сослуживец Ерема и тот руки не подал. — Гордеев вздохнул. — Вечером ни к одному костру его не пригласили, никто на слова его не отвечал, и к утру Фома пулю себе меж глаз пустил. А у него детей шесть душ, родственных бездельников куча да жена больная да бестолковая.

— Послушайте, Гордеев, это же... это же ужасно, что вы рассказываете.

— Это же сказка, Олексин, извольте уж до конца дослушать. Так вот взял лихой Бова Королевич крепость и наутро списки отличившихся востребовал. А списки Ерема составлял и включил туда покойного Фому: при боевом ордене и с пенсией, глядишь, что-либо выгореть могло. «Что? — спросил Бова Королевич. — Самоубийце — Владимира с мечами? Да за такую награду у меня завтра пол-отряда перестреляется!» И вычеркнул покойного Фому из списков собственным золотым карандашиком. Через месяц Бова Королевич генеральский чин получил, а Ерема — полную отставку без пенсiona и мундира как человек ненадежный и к службе в Российской империи непригодный.

— Да за что же, помилуйте? Причина ведь должна же быть. Хоть какая-то, хоть видимая.

— За что? — Гордеев помолчал. — В России, Олексин, все прощают — и длинные руки и длинные уши. Только длинного языка не прощают, запомните на всякий случай.

И опять писал прошения Гордеев, залечивал синяки Евстафий Селиверстович да считал тараканов Федор Олексин, ночами ощущавший вдруг прилив невероятной решимости непременно с зарею бежать записываться вольноопределяющимся, а поутру вновь переживая очередной отлив всех нравственных сил. И гнить бы ему в той кишиневской дыре, если бы у бывшего чиновника Евстафия Селиверстовича не оказался редкостный, витиеватый, столь любимый купеческими нуворишами почерк.

— Федор Иванович! Федор Иванович, пожалуйста вниз, в коляску.

Зализо вбежал в номер в час неурочный и в состоянии весьма взволнованном. Отставной капитан бродил где-то по присутствиям, а Олексин привычно валялся на голом матрасе, лениво размышляя, сей час истратить двугривенный или приберечь до вечера.

— Пожалуйста в коляску, господин Олексин. Ждут!

— Кто ждет?

— Туз, Федор Иванович! — восторженно зашелся Зализо. — Козырный туз, господин Олексин! Натуральный! Велел вас к нему...

— Пусть сам идет, коль нужда.

Федор демонстративно отвернулся к стене, а впавший в отчаяние Евстафий Селиверстович заметался, заюлил, заумолял, пытаясь вот-вот рухнуть на колени.

— Ведь озолотят, ежели в каприз войдут. Озолотят!

— Пошел он к черту, туз этот. И вы вместе с ним.

— Браво, господин Олексин, иного и не ожидал. Вы подтвердили свое шестисотлетнее столбовое дворянство.

Голос был звучным и уверенным, и Федор настороженно повернулся. В дверях, держа в левой руке мягкую шляпу, а правой опираясь на трость с золотым набалдашником, стоял плотный господин в сером, тончайшей шерети английском костюме. Встретил взгляд Федора на смешливыми глазами, слегка поклонился.

— Позвольте отрекомендоваться: Хомяков Роман Трифонович. В Смоленске был представлен вашей тетушке Софье Гавриловне и сестрице Варваре Ивановне. Не обедали еще, Федор Иванович?

— Пошусь, — угрюмо сказал Федор: его злил и одновременно смущал энергичный напор невесты откуда возникшего господина.

— Не пора ли уж и разговеться?

Вопросы были мягкими, но напор не исчезал. Федор физически ощущал его и, еще продолжая злиться, нехотя начал слезать с кровати.

— В этакой-то одежде далее трактира не пустят. Да и то в первую половину, возле дверей.

— Но вам-то, судя по всему, ваша одежда нравится? — улыбнулся Хомяков.

— Мне — да! — с вызовом сказал Федор.

— Вот и прекрасно. Прошу, Федор Иванович. — Роман Трифонович пропустил растерянного Федора вперед, сунул четвертной подобострастно юлившему Зализе. — Ступай в контору и скажи управляющему, что я велел взять тебя писарем.

— Ваше пре... — начал было Зализо, но дверь захлопнулась; он бухнулся на колени, истоמו осенил себя крестным знамением. — Спасибо тебе, господи! Услышал ты моления мои. Услышал и ангела послал. Благодарю тя, господи, благодарю!..

## 2

Летучий отряд без боев продвигался вперед. Турки избегали столкновений, сопротивлялись неохотно, рассеиваясь при первой возможности. Эта тактика очень не нравилась осторожному Столетову.

— Живая сила противника не разгромлена, Иосиф Владимирович, — говорил он в частной беседе. — Враг отходит планомерно, без признаков паники. Не означает ли сие, что турки намереваются повторить кутузовское отступление двенадцатого года?

Генерал-лейтенант Иосиф Владимирович Гурко предпочитал молчать и слушать, а споров вообще не выносил, полагая их салонной принадлежностью. Это весьма обижало герцогов Лейхтенбергских, командовавших бригадами отряда, но Гурко был назначен самим государем, и братья-герцоги терпели столь несветское поведение.

— Непонятно, — хмурился генерал Столетов. — Идем будто к Кошею Бессмертному: пугали-пугали да и расступились. Где же дракон, Иосиф Владимирович?

— Дракон? — задумчиво переспросил Гурко.

Дракона, то бишь турецкие войска, готовые дать бой, ожидали под Тырновом, и Гурко приближался к нему с оглядкой. Но вольноопределяющийся Кубанского полка урядник князь Цертелев, не сдержавшись, очертя голову кинулся вперед. Наспех порасспросив встречных болгар, а заодно и турок, где противник, князь бешеным карьером проскакал по кривым улочкам древней столицы Болгарии, переполюшив гарнизон и несказанно обрадовав жителей, увернулся от

пуль, ушел от попытки перехватить его и лично доложил Гурко, что турецкий дракон мал, перепуган и уже начал уползать в горы. И слушая сейчас Столетова, Иосиф Владимирович упорно думал о ловком кубанском уряднике, в недавнем прошлом многообещающем дипломате, в совершенстве владеющем всеми языками и наречиями Османской империи. Но, как всегда, не спешил делиться своими мыслями, помалкивал, изредка вскидывая на собеседника острый — режущий, как говорили молодые офицеры, — взгляд глубоких серых глаз. И Столетов уезжал к себе, зачастую так и не услышав ни единого слова, но нимало не смущаясь этим: он знал, что командир внимательнейшим образом выслушал его соображения, а не высказывает своих потому, что отвечает за всю невероятную по дерзости операцию — захват горных перевалов Главного Балканского хребта.

У командира болгарского ополчения Николая Григорьевича Столетова были свои сложности. Созданное на добровольной основе ополчение состояло из людей, различных не только по возрасту. Восторженных пятнадцатилетних мальчиков и седых отцов семейств, бесшабашных гайдуков и бывших членов Комитета борьбы за освобождение родины, опытных волонтеров сербской кампании и наивных крестьян, впервые взявших в руки оружие, объединяла горячая любовь к Болгарии; этого было достаточно для лагерных учений, но Столетов совсем не был уверен, что его дружинники способны выдержать затяжной бой с регулярной армией турок.

Турки не брали болгарских юношей в армию, и болгары, обладая богатым опытом гайдуцкого движения, не имели собственной военной касты. Вследствие этого ополчение формировалось на русском профессиональном костяке: русскими были офицеры и унтер-офицеры, барабанщики и ротные сигналисты, дружинные горнисты и нестроевые офицеры старших званий. Это тоже создавало известные трудности, и не только языкового порядка: русские офицеры, а особенно унтеры, были приучены к иному солдатскому материалу, и русский штаб поступил весьма дальновидно, поручив командование всеми болгарскими частями одному из наиболее образованных, уравновешенных и рассудительных генералов, Николаю Григорьевичу Столетову.

Поручик Гавриил Олексин служил, не стремясь к контактам ни с офицерами дружины, ни с ополченцами собственной роты. Он был сдержан и замкнут, и это обстоятельство не могло пройти мимо чрезвычайно внимательного к подчиненным подполковника Калитина.

— У вас нет друзей. Не знаю причин сего и знать не хочу, но для службы это прискорбное неудобство. Прискорбное, поручик.

— Да, друзей теперь нет. — Гавриил помолчал. — Я интересовался списками потерь на переправе: среди погибших — капитан Бряннов и гвардии подпоручик Тюрберт. Знал их еще по Сербии.

— Позвольте, о Тюрберте я что-то слышал.

— Я тоже. Он похоронен в Зимнице, и если бы вы позволили...

— Поезжайте, — грубовато перебил Калитин.

Поручик выехал в ночь, к утру был в Зимнице. Переполненный санитарными обозами, тылами и службами городок мирно спал под нескончаемый перестук топоров на переправе. Олексин справился у часовых о церкви Всех Святых и, поплутав, нашел ее еще закрытой. Оставив коня у ограды, обошел кругом; за алтарной стеной под увядшими цветами желтел свежий могильный холм. На кресте было старательно и не очень умело вырезано: «Тюрберт Александр Петрович» — и Гавриил снял фуражку.

Странно, он и не предполагал, что ощутит над этой могилой столько горечи и одиночества: с покойным они были скорее врагами, чем приятелями, а вот поди ж ты, боль все-таки добралась до сердца. Он вспомнил насмешливого рыжего увальня в зале Благородного собрания, где познакомил его с Лорой; вспомнил потного, в брызгах чужой крови, усталого и обреченно отбивавшегося от черкесской сабли; вспом-

нил в боях и в ученьях, в спорах и на отдыхе, вспомнил все, связанное с ним, и понял, что горько ему не оттого, что под этим крестом лежит его боевой товарищ, а потому, что здесь вместе с Тюрбертом лежит их юность. И он, поручик Гавриил Олексин, сейчас навеки прощается с нею. Подумав так, он тотчас же вспомнил о несостоявшейся дуэли и о разговоре в Сербии после боя с черкесами Ислам-бека: «Хотите дуэль наоборот?» Вспомнил и громко сказал:

— Вы победили, Тюрберт.

Покой и тишина стояли над маленьким кладбищем — только горлинки тревожно вздыхали в деревьях, — и голос поручика прозвучал вызывающе. Гавриил почувствовал это, сконфузился и, деревянно поклонившись могиле, быстро пошел к выходу. Никого не встретив, вскочил в седло, пришпорил лошадь и поскакал в роту. И в первый же свободный вечер, собрав офицеров и унтер-офицеров своей роты, рассказал о подпоручике Тюрберте и капитане Брянове, о Стойчо Меченом и Совримовиче, об Отвиновском и Карагеоргиеве. И несмотря на то, что аудитория хранила напряженнейшее молчание, был очень доволен собой.

— Этакого и внизу не поймут и вверху не оценят, — сказал подполковник Калитин, коему тут же и донесли о странном эксперименте в роте поручика Олексина. — Собрать господ офицеров вместе с унтерами на посиделки — да вы с ума тронулись, поручик.

— Возможно, господин полковник, только умирать им придется рядом.

— Вот и пусть мрут рядом, а сидят врозь, — резко сказал Калитин. — Вы меня поняли, Олексин? И молитесь бога, чтоб о сем всенародном собрании начальство кто-либо не уведомил.

Перед выступлением на Тырново — уже после переправы через Дунай, на той, болгарской стороне — Олексина попросил зайти начальник штаба ополчения подполковник Рынкевич. Не приказал, а именно попросил, будто был соседом по имению, и это насторожило поручика.

— Видимо, мы с вами плохо молили бога, — сказал он Калитину после официального уведомления о вызове в штаб.

Калитин молча вздохнул и нахмурился. А когда Гавриил ушел, ринулся к Столетову.

— Оставьте, голубчик, — болезненно поморщился Николай Григорьевич: он не выносил интриг, наущничанья и закулисных шепотков. — Никто вашего командира роты не тронет. А пожуришь пожурият, и правильно сделают. Нашел место, где демократией кокетничать.

Гавриил ехал в штаб ополчения собранным, будто готовился к бою, а не к доверительной беседе. И был весьма огорошен первой фразой подполковника Рынкевича:

— Вам, поручик, кланяться велели, что с удовольствием и исполняю.

Рынкевич дружески прервал официальное представление и впрямь отвесил поклон. Это настолько не соответствовало предполагаемой цели вызова, что Гавриил растерялся.

— Не интересуетесь, от кого? Да, да, от капитана Истомина. Не удивляйтесь, повышение в чине получил за сербские дела, чего и вам от души желает. Высоко отзывался о вас, Гавриил Иванович, высоко.

Русские офицеры, воевавшие в Сербии, числились в отпусках или в отставке и по закону никаких чинов получать не могли, однако для штабс-капитана Истомина было, как видно, сделано исключение.

— Личность, говорит, вы романтическая, — продолжал хозяин, усаживая гостя в складные походные кресла. — Прямо-таки, говорит, в некотором роде рыцарь без страха и упрека.

— Благодарю, — сдержанно сказал Гавриил. — Право, Истомин преувеличивает. Хотел бы повидаться и попросить не ставить меня в положение неловкое и двусмысленное.

— Да, да, — будто и не слыша Олексина, говорил тем временем Рынкевич. — Одна история с этим... как бишь его?.. С черкесом, словом. Очень полковник Медведовский тогда гневался, очень, но Истомин убедил его не придавать значения.

— Зачем же? Я ведь не по восторженности отпустил тогда Исламбека, господин полковник, а исходя из внутренних убеждений и совести своей.

— Все правильно, поручик, все правильно, — почему-то тяжело вздохнул Рынкевич. — Поступки суть плоды, а корни — аккорды струн души нашей. На какую мелодию настроены, ту и исполняют. Отсюда и название: мотивы поступков. И коль мотив звучит благородно, так и поступок в этом же регистре.

— У меня дурно со слухом, господин полковник, поэтому хотелось бы без музыкальных аллегорий, — сухо сказал поручик.

— Помилуйте, какие же тут аллегии? — благодушно улыбнулся Рынкевич. — И насчет слуха вы не правы, Гавриил Иванович. Я, к примеру, лишь одну ноту вам в упрек ставлю как фальшивую. Нет, впрочем, и не фальшивую даже, а ошибочную. Из другой, так сказать, оперы.

— Господин полковник, я вынужден просить разъяснения, поскольку от музыки далек, что уже имел честь сообщить вам.

— Поясню с удовольствием. — Тон Рынкевича утратил расплывчатую мягкость радушного хозяина. — Вы рассказывали подчиненным о Сербии, это отрадно. Однако не могу не отметить, что слово «враг» вами употреблено необдуманно.

— Сколько помнится, я называл врагами турок.

— Совершенно верно. Только помилуйте, поручик, какой же турок враг? Он неприятель или, если угодно, противник. А враг у нас с вами за спиной. Враг — это смутьяны, нигилисты, социалисты, писаки вредного направления, вот они враги отечества нашего. А турок — неприятель, не более того. И разница тут в том, что неприятель — дело переходящее: сегодня турок, завтра француз, послезавтра немец или китаец. А враг вечен. Он вездесущ и постоянен, и война с ним должна вестись постоянно. Постоянно, Гавриил Иванович, денно и ночью.

— Мой враг — турки, — резко сказал Гавриил и весь подобрался, хотя еще не решил, для чего изготовился: для спора или для того лишь, чтобы встать, откланяться да уйти. — А если ваш враг дышит вам в затылок, то попробуйте повернуться кругом.

— Недурно. — Рынкевич улыбнулся, но тут же убрал улыбку. — Не стоит казаться наивнее того, что вы есть, Гавриил Иванович. Уж коли вы попали в наш монастырь, то позабудьте о своем уставе. Болгарские заговорщики, что в Бухаресте интриги плели против законного правительства...

— Вы считаете турок законным правительством Болгарии?

— Всякая власть от бога, поручик, и извольте выслушать не перебивая, — командно повысил голос начальник штаба. — Играете в демократию, а обязаны блюсти и соблюдать. Продолжаю: болгарский комитет формально распущен и помогает нам, но вольнодумная зараза осталась. И ваш долг, долг командира роты, немедля уведомить меня, как только вы оную заразу обнаружите.

— Извините, господин полковник, что вновь прерываю. — Гавриил встал, с трудом сдерживаясь. — Доносам не обучен и уведомлять, как вы выразились, никого не собираюсь. Понимаю, что мой отказ обязывает меня сдать роту более опытному командиру, и с рапортом не задержу.

— Вы неправильно истолковали... — медленно поднимаясь и багровея, начал было Рынкевич.

— Возможно, я туп от рождения. Позвольте на сем откланяться и сегодня же подать рапорт.



Олексин щелкнул каблуками и, не дожидаясь разрешения, вышел из палатки. Едва добравшись до роты, сел писать рапорт. Гнев еще не улегся, и рапорт вышел излишне многословным; командир дружину порвал его не дочитав.

— Господин полковник, я прошу вашего разрешения... — начал было Гавриил.

— Не дам, — хмуро сказал Калитин. — Не ересьтесь, поручик, совестно за вас, право, совестно. Ведете себя, как истеричная барынька.

— А как повели бы вы себя, получив предложение стать подлецом?

Калитин неожиданно улыбнулся; всегда озабоченные глаза его на миг блеснули мужицкой хитрецей.

— Но рапорт о переводе я все-таки не стал бы писать, право, Олексин, не стал бы. Прощения прошу, но не на то вы обижаетесь. Кабы вам в картишки передернуть предложили или там вдову с детьми малыми на мороз — тут и спору нет. Гоните такому пулю в лоб, а я жизнь положу, чтоб вас оправдать. Но в данном-то случае, Гавриила Иванович, а?

— Но что же меняется, Павел Петрович? — запальчиво спросил поручик. — Что? Форма?

— А то меняется, что не для себя господин тот старается. Не для себя, Олексин, ему от этого выгоды нет — одни хлопоты.

— Странно. — Гавриил несогласно пожал плечами. — Вы оправдываете подобное, или я не совсем понял ваши слова?

— Мы живем под законом, — сказал Калитин. — И свобода наша в соблюдении оно, а не в нарушении его. Скажем, посылаете вы нижнего чина на верную гибель, только бы дело выиграть, — вы как, убийца? Нет, ни вы себя, ни вас никто таким не назовет, потому что действовали вы по закону. Ну а в том, на что вы обиделись, что ж противозаконного? А ничего, одна амбиция. Рынкевичу по долгу службы надобно о настроениях знать, вот он и печется. А далее уж ваше соображение: хотите — донесите, хотите — нет, никто вас не заставит, а спросить спросят. — Голос Калитина вдруг отчетливо зазвенел командной нотой. — И я, поручик, спрошу, чем ваши ополченцы дышат. Не любопытства ради, а пользы для. И вы мне о каждом подробно доложите, потому что у нас впереди не рыцарский поединок, кто кого переблагородит, а смертный бой за свободу ваших же подчиненных. Так вот вместо того, чтобы губки дуть да рапорты сочинять, извольте досконально изучить свою роту. Досконально, поручик, обижаться после войны будем. — Подполковник опять внезапно улыбнулся. — Скажи пожалуйста, какой аргамак необъезженный! Сто ушагов на него в Сербии вылили, а ни на градус не остудили. Ну и слава богу, это-то мне в вас и нравится. Чуете?

Это неожиданно простоватое «чуете?» прозвучало столь искренне, что Гавриил не мог сдержать улыбки. А улыбнувшись, первым протянул руку, нарушая устав и субординацию, но укрепляя нечто большее, что электрической искрой проскочило вдруг между ними. И почему-то вспомнил Брянова.

## 3

Легкая коляска медленно двигалась по узким кишиневским улицам. Резвый жеребец норовил сорваться вскачь, и саженого роста кучер с трудом удерживал его на туго натянутых плетеных вожжах. Даже в отвыкшем чему бы то ни было удивляться Кишиневе выезд вызывал завистливое восхищение, и Федор чувствовал себя весьма неуютно рядом с невозмутимым Хомяковым. Он тут же решил фраппировать, развалился на сиденье, забросив ногу на ногу и закурился сигару. И, неумело попыхивая ею, мучительно страдал от избранной им самим манеры, от истрепанного, мягкого костюма и старых, изношенных штиблет.

Коляска остановилась у подъезда самого модного ресторана; при виде Хомякова швейцар согнулся чуть ли не до земли.

— Кабинет, — сказал Роман Трифонович, отдавая трость и шляпу, и тут же оборотился к Федору. — Может, в залу желаете?

— Все равно, — буркнул Олексин: проклятая одежда лишала свободы и легкости, и поэтому Федор злился.

— Коли все равно, то прошу в кабинет. Нам ведь и поговорить надобно, не так ли?

Федор отвык не только от белоснежных салфеток, серебра и фарфора — он давно уж отвык и от нормальной еды, перебиваясь похлебкой да куском хлеба. А стол ломился под грузом изысканных блюд, французских вин и заморских фруктов, и Олексину опять стало не до разговоров; он ощутил вдруг яростный застарелый голод. Хомяков давно уже закончил трапезу и теперь прихлебывал кофе, попыхивая тонкой, с золотым обрезом голландской сигарой, а Федор все еще ел и ел.

— Хотите шампиньонов? Рекомендую: фаршированы по-особому.

— А черт его знает, чего я хочу, — буркнул Федор. — Я впрок наедаюсь, если угодно. Нажрусь на неделю вперед и спасибо не скажу.

— Сочтемся, — улыбнулся Роман Трифонович. — Слышал я где-то, что миром правят две богини — Нужда да Скука. Вот бы их за один стол, а?

— Глупо, — сказал Федор. — Нужда поест и заскучает, а Скука проголодается да есть начнет — вот и конец парадоксу.

— Парадокс, говорите? — Хомяков помолчал, будто прикидывая, стоит ли углублять эту тему. — Стало быть, господа социалисты на парадоксе гипотезы свои строят? Вы-то самолично как полагаете?

Федор с огорчением отодвинул тарелку — еще хотелось, но уже не влезало, — залпом, не разбирая ни вкуса, ни букета, выпил вино и устало откинулся к спинке стула. Посмотрел на Хомякова, на тарелку его с почти не тронутыми закусками, усмехнулся недобро, дернув щекой.

— Ненавидят друг друга дамы эти, куда их за один стол. Их в одном государстве и то вместе держать нельзя, а что-либо одно: либо Нужду, либо Скуку. Так что социализм тут ни при чем, тут и полиция справится: Нужду за решетку, а Скуку...

Он неожиданно замолчал, потому что никак не мог решить, куда же девать Скуку в им же придуманном метафорическом примере. Чтобы скрыть неудобство, взял сигару, повертел ее и положил обратно.

— Что же вы замолчали, Федор Иванович? Нужду за решетку — это понятно, опыт имеем, а вот Скуку куда девать? Вот то-то и оно, что не можете ответить, потому как девать госпожу эту совершенно некуда. С Нуждой, с ней, Федор Иванович, все просто: накормил да приголубил — и вся недолга. Только ведь сытая Нужда — так сказать, вчерашняя—сегодня о том, что Нуждой была, уж и помнить не желает. Она в Скуку превращается — вот какой фокус-покус. А Скука — это тупик. С вином, холуйством, дамским визгом, с танцами-шманцами, как в Кишиневе говорят, а все равно — без выхода.

Федор хотел было съзвать, что сейчас как раз и происходит тот парадокс, конец которого он объявил столь поспешно: за столом мирно беседуют Нужда и Скука. Но посмотрел на широкие плечи Хомякова, на его по-крестьянски жилистые, сильные руки, на спокойный, уверенный взгляд холодноватых зеленых (мужицких, как невольно отметил про себя Федор) глаз и понял, что этому господину скука неведома, что Роман Трифонович смел, настойчив, силен и не просто готов к борьбе, а ищет ее и видит в ней истинное наслаждение. Подумал и промолчал.

— А не кажется ли вам, Федор Иванович, что именно в этот тупик нас и заманивают господа социалисты? — продолжал тем временем

Хомяков. — Ну разделим прибыли, ну землю мужикам, ну накормим, оденем, обуем, напоим даже — а дальше? А дальше цели нет, потому как нет борьбы, драки за кусок пожирнее.

— А с чего это вы решили, что я социализм исповедую?

— Ну, хитрость тут невелика, — улыбнулся Хомяков. — Сидит в грошовых номерах города Кишинева образованный молодой человек из господ. Чина не имеет, мундир не носит, торговлей не интересуется, винцом не балуется и даже в картишки не играет. Так кто же он такой после всего этого? Либо социалист, либо юридивый — третьего не дано, как в задачках говорится. И как вас полиция до сей поры не схватила, ума не приложу.

— По какому праву, позвольте спросить?

— Праву? — Роман Трифонович расхохотался, обнажив крепкие, один к одному зубы. — Чудак вы, ей-богу, чудак, Федор Иванович, не обижайтесь. Какое там право, где вы его видели, где встречали право-то это римское? В университетах о сем учили? Ну так забудьте, нет никакого права ни у нас, грешных, ни в Европе просвещенной. В Европе право денежки заслоняют, а у нас мундир. Мундир, Федор Иванович, мундир: Россия его до слез обожает, как богу ему поклоняется и руки враз по швам вытягивает. Ну припомните, был ли у нас хоть один монарх без воинского звания? Не припомните, не старайтесь. Во Франции, скажем, или в Северо-Американских Соединенных Штатах правители почему-то без мундира обходятся, а у нас непременно с таковым. И вот с этого правительственного мундира все и начинается, мера всех вещей и значимость всех граждан.

Роман Трифонович говорил негромко и спокойно, речь его звучала убедительно не потому, что он стремился убедить, а потому, что все сказанное было правдой. Федор понимал, что это правда, что так оно и есть, но — странное дело! — понимая эту правду, он не хотел ее принимать. В нем все вдруг взбунтовалось не против сказанного, а против того, кто это говорил. А говорил ему эту правду вчерашний раб, холоп с поротым задом, мужик, видевший в русском мундире прежде всего ненавистного ему барина, а отнюдь не того, чьей профессией была защита отечества. Он почему-то вспомнил отца, его нечастые приезды в Высокое. «Нет большей чести, чем пасть в бою, — говорил он им, мальчикам, жадно ловившим каждое его слово. — Вы дворяне, и ваш долг служить отечеству, не щадя жизни и не ища наград». Вспомнил, и с детства внушенное ему чувство гордости за свой род, в течение многих веков исправно поставлявший России офицеров, захлестнуло его.

— У России особая история, — сказал он, стараясь говорить так же спокойно и рассудительно, как говорил собеседник. — Наш народ мечом отстоял свою независимость, мечом неоднократно спасал Европу. Поэтому вполне естественно, что мы и доселе уважаем военную форму и славных героев воинов.

— Резон в ваших рассуждениях есть, — согласился Роман Трифонович. — Только с поправочками, ежели не возражаете. Слышал я, что во Франции члены академии числом, если помнится, в сорок человек бессмертными именуются. Тоже ведь государство, мечом созданное, неоднократно мечом же спасаемое, а бессмертием мудрецов пожаловало. Нет, Федор Иванович, не там Россия героев ищет, не там. Поприщ у отечества многое множество, а мы одно для славы и бессмертия выбрали — военно-мундирное. Не пора ли о несправедливости выбора такого подумать, а? Новые силы в России нарождаются, и силы эти признания требуют. Не для славы — для блага отечества. Промышленность развиваем собственную, ночей не спим, спину горбатим, а нам палки в колеса. На каждом шагу — палки. Ничего, конечно, справимся, любые палки в муку перемелем, но зачем же силы-то впускать тратить?

Вторую половину разговора Хомяков провел совершенно иначе, чем первую. Тут не было места олимпийскому спокойствию, чуть сдобренному подспудной иронией, тут Роман Трифонович начал говорить с горячностью и желчью, и Олексин не столько понял причины этого изменения, сколько почувствовал их. А почувствовав, не стал допытываться, как да почему, а сразу же спросил о том, что тревожило его, но спросил хмуро, ибо просить не любил и не умел:

— И вы что же, тоже горы своротить можете?

Хомяков внимательно посмотрел на него, неторопливо налил вина — прислуге он появляться в кабинете запретил, пока не позовет, — отхлебнул, успокаиваясь.

— Какая же из гор вам помешала, Федор Иванович?

— Какая? — Федор тянул, не решаясь переходить к просьбе; это насилывало его, унижало, но он заглушил гордость. — По щучьему веленью, по моему хотенью доставьте меня к генералу Скобелеву.

— Позвольте полюбопытствовать — зачем?

— В отличие от вас с детства влюблен в героев, — криво усмехнулся Олексин. — Коли хлопотно или не можете, скажите сразу, я не буду в претензии.

— К Скобелеву я вас доставить могу, сложности тут для меня нет, но... — Хомяков замолчал, достал из кармана письмо, словно намереваясь показать его Федору, однако не показал и снова спрятал в карман. — Могу и рекомендовать, если угодно...

— У меня есть рекомендация, — резко перебил Федор.

— Прекрасно. — Роман Трифонович улыбнулся. — В Кишиневе сейчас находится человек, который тоже рвется к Скобелеву. Однако он исполняет определенную должность и пока уехать отсюда не может. А вам прямой резон с ним вместе к Скобелеву явиться: он ведь с Михаилом Дмитриевичем еще в Туркестане воевал.

— Кто же это? — заинтересованно спросил Олексин, подумав сразу же о хмуром капитане Гордееве.

— Штаб-капитан Куропаткин Алексей Николаевич. Знаком с ним коротко, и в моей просьбе он не откажет. — Хомяков решительно отодвинул тарелку, оперся локтями о стол. — И вы, пожалуйста, не откажите. Я достану вам пропуск, познакомлю с Куропаткиным, отправлю с ним вместе, только... при одном условии, Федор Иванович.

— Что же за условие? — насторожился Федор.

— Встретить вместе со мною сестрицу вашу Варвару Ивановну.

Это было так неожиданно, что Олексин совсем растерялся. Тупо поморгал глазами.

— Варю?

— Варвару Ивановну, — подчеркнуто пояснил Хомяков.

— А... Где она? То есть где встречать?

— Здесь, в Кишиневе, недельки через две, о чем в письме сообщила. — Роман Трифонович вновь улыбнулся, но на этот раз улыбка его была натянутой, жесткой, почти зловещей. — Жена у меня помрет скоро, вот какие дела, Федор Иванович. Не далее как через месяцичко преставится, больна очень, врачи и руки опустили. А помочь мне Варвару Ивановну встретить да на первое время жизнь новую ей облегчить, отвлечь да развлечь я очень вас прошу. Очень. Потому как намерения у меня весьма серьезные, Федор Иванович. Весьма серьезные намерения, и очень я рад, что вы в Кишиневе так вовремя оказались. Так что вы мне порадуете, а я вам порадею. По-родственному, Федор Иванович, ей-богу, по-родственному. По-братски, коли уж прямо сказать.

Федор по-прежнему тупо смотрел на Хомякова, решительно ничего не понимая.

Иван Олексин жил теперь в семье старшего брата. Появившись поздним весенним вечером, поплакав и побуйствовав, сколько того требовал возраст и фамильный нрав, успокоился, но в Смоленск возвращаться отказался. Не вдаваясь в подробности и ни разу более не упомянув о Дарье Терентьевне, объявил:

— Пока долг тете не верну, домой не ворочусь.

— Велик ли долг? — спросил Василий Иванович.

— Больше двух тысяч.

— И где же ты такие деньги достать рассчитываешь?

Иван неопределенно пожал плечами. Он никогда не интересовался, каким образом зарабатывают люди на жизнь, но складочка меж бровей, появившаяся в ночь последних слез, убедила Василия Ивановича, что дальнейшие расспросы бесполезны. Старший Олексин позволил себе высказать лишь пожелание:

— Надо бы в гимназии окончить.

— Сдам экстерном. Здесь, в Туле. Учебники достань.

На том и кончился их единственный разговор о будущем. Иван усиленно занимался, и Василий Иванович в этом смысле был спокоен. Однако чтобы сдать на аттестат зрелости экстерном, требовалось особое разрешение, и старший Олексин, поразмыслив, рискнул попросить о содействии Льва Николаевича.

— Молодец, — сказал Толстой, когда Василий Иванович поведал ему о желании Ивана. — Хорошей вы породы, господа Олексины. Аристократизмом не болеете.

— Крестьянская кровь, — улыбнулся Василий Иванович. — Она нас спасает.

— Всех она спасает, — сказал Толстой. — Отечество в сражениях, а нашего брата от вырождения. Скажите Ване, пусть спокойно занимается.

Иван окунулся в ученье с неистовостью, будто пытался загасить нечто, до сей поры обжигающее его. Обида прошла быстро: он вообще не склонен был лелеять обид, унаследовав эту черту с материнской всепрощающей стороны. Осталось потрясение, сделавшее его замкнутым и неразговорчивым, и молодежь — а в Ясной Поляне ее всегда хватало, — пытавшаяся поначалу вовлечь его в игры и развлечения, вскоре отстала.

Он сдал все экзамены, через несколько дней ему должны были вручить о сем документ, и в скромной квартире Василия Ивановича был по этому поводу затеян праздничный чай. Екатерина Павловна испекла пирог, все четверо уселись за стол, когда раздался стук в дверь и вошел Лев Николаевич.

— Не пригласили, — укоризненно попенял он. — А я поздравить пришел.

После первой сумятицы все улеглось. Пили чай, ели пирог, хвалили хозяйку. Разговор шел застольный, обыденный: расспрашивали Ивана, что было на экзаменах да как он отвечал.

— А теперь куда полагаете? — спросил Лев Николаевич. — В университет по научной части или в техническое заведение, по практической? А может, блеск привлекает, шпоры, сабля, мундир?

— Позвольте повременить с ответом, — негромко сказал Иван. — Вопрос ваш серьезен, Лев Николаевич, я думал над этим, но пока не очень еще уверен.

— Современные молодые люди ищут путей оригинальных, — сказала Екатерина Павловна.

Она хотела перевести разговор на опасные, с ее точки зрения, идеи Ивана о долгах и расплатах, но Василий Иванович не понял и поддержать ее не успел.

— Современные? — Толстой нахмурился, поставил стакан, помолчал. — Извините, Екатерина Павловна, не согласен. Очень уж много

в обиходе нашем слов без смысла, а слово без смысла есть ярлык, обозначение, а не понятие. Вот, к примеру, во все времена к молодым людям прилагали слово «современные», а определение это пустое. Это все равно что утверждать: масло мажется на хлеб. Ну мажется, а далее что?

— Следовательно, по-вашему, всякая молодежь современна? — спросил Василий Иванович, поглядывая на Ивана.

— Безусловно. — Толстой энергично кивнул. — Она родилась в своем времени и, следовательно, со-временна ему. Это мы с вами можем отстать и оказаться не со временем, а они, — он показал на Ивана и Колю, — не могут, даже если бы и захотели. Пушкин это очень хорошо чувствовал, этот естественный механизм смены, бесконечного обновления жизни.

— У вас уж, поди, и чай остыл, — сказала хозяйка. — Позвольте, свежего налью.

— Не откажусь, Екатерина Павловна, благодарствуйте.

— Я ведь совсем другое имела в виду, когда про современность говорила, — продолжала Екатерина Павловна, наливая чай. — Они сейчас самостоятельны весьма, молодые люди. Чересчур, я бы сказала, самостоятельны.

— Можно подумать, что год назад мы с тобой, Катя, американский опыт по наследству получили, а не сами его выбрали, — улыбнулся Василий Иванович.

— Вот-вот! — оживился Толстой. — Удивительная метаморфоза происходит с человеком, как только он шаг в иную возрастную категорию совершает. Смотрите, с какой радостью, как нетерпеливо мы уходим из детства, как рвемся из него. А юность наша покидает нас исподволь, незаметно, будто не мы из нее уходим, а она из нас. Может быть, так оно и есть? Может быть, пора юности — это пора согласия с расцветающей душой, а затем согласие это исчезает, заменяется борением, и мы, проснувшись однажды, уж и перестаем понимать ее, юность нашу вчерашнюю, уж смотрим на нее как на племя незнакомое, а посему чуть-чуть, малость самую и подозрительное. Может быть, отсюда появляется общее определение «чересчур». Чересчур резки, чересчур самостоятельны, чересчур современны... Думать не хотим! — неожиданно резко закончил он. — Привычно и уютно не желаем думать и вспоминать, что сами были точно такими же и наши маменьки и папеньки точно так же применяли к нам словцо «чересчур», как мы к своим детям. Извинения прошу, что шумлю и витийствую, уважаемая Екатерина Павловна, но завязли мы в словах своих. Как в трясине завязли и скачем с привычного на обычное, как с кочки на кочку.

Иван в разговор не вступил, хотя со многим и не соглашался. Он был застенчив, в присутствии Толстого слегка робел и предпочитал внимательно слушать, часто говоря себе: «Это надо запомнить», если мысль казалась ему спорной или, наоборот, звучала абсолютом. А Василий Иванович был очень доволен, откровенно радуясь не только приходу дорогого для него человека, но и тому оживлению, которое вдруг прорвалось в Толстом, последнее время находившемся в состоянии суровой отрешенности. И стремясь поддержать это толстовское восхождение, эту живость и заинтересованность, старался вести беседу в том же русле.

— Да, юность покидает нас незаметно, уходит, так сказать, на цыпочках, вы правы, — говорил он. — А все же как бы определить ее? Что же это за пора такая, весна-то человеческая? Время испытания идей, поисков и сомнений? А может быть, просто своего места в обществе?

— Это скорее следствия, чем причины, — подумав, сказал Лев Николаевич. — Как определить? Давайте на природу оглянемся, там ведь те же законы. Оглянемся, сравним...

— Со щенками? — неожиданно сказал Иван, густо покраснев.

— Ну зачем же? — улыбнулся Толстой. — С березой, чтоб обидно не было. Или с яблоней. Корни исправно гонят соки, дерево наливается силой, крепнет, рвется к солнцу, только — плодов нет. Не отягощены плодами ветви и поэтому с легкостью безмятежной стремятся ввысь, а не никнут к земле, сгибаясь под тяжестью нажитого. Все еще впереди, и каждая веточка, каждый листок знает, что все впереди. Отсюда спокойствие и гармония, но... — Толстой настороженно поднял палец, — именно оттого, что каждая клеточка знает о своем предназначении, а осуществить его пока не может, возникает чувство неудовлетворенности собой. Возникает дисгармония, но не с внешним миром, а внутри себя. Гармония и дисгармония уживаются в юности внутри человека, они еще не вступили в общение с миром, душа еще занята собой, вот почему юность так легко бросается от отчаяния и слез к восторгу и смеху. Стало быть, это такой период в жизни человека, когда душа его принадлежит ему безраздельно, когда она еще не отъединена от него внешними законами общества, их несправедливостью и ограниченностью, когда она еще крылата. Крылата!

— Значит, все-таки к душе вернулись, — сказал Василий Иванович с долей неудовольствия.

— Спор старый, и не нам его разрешать. Но я чувствовал крылья души своей, когда был юн. А потом то ли сам их отсек, то ли жизнь их откромсала, не знаю. Только берегите крылья, юный друг мой Иван Иванович: человечество так устроено, что первой своей задачей полагает спалить эти крылья.

На том и кончился тот памятный для Ивана разговор, который, несмотря на всю отвлеченность, окончательно утвердил в нем то, что до сей поры маячило неясно и бесформенно. Но утверждение это он осознал позднее, а тогда лишь слушал да запоминал, очень польщенный тем, что сам Лев Николаевич назвал его своим другом Иваном Ивановичем.

Через несколько дней Иван уехал в Тулу получать аттестат. Ждали его не сразу: еще в пору экзаменов он, случалось, ночевал у акушерки Марии Ивановны. Однако на сей раз он не торопился с возвращением; Екатерина Павловна уже забеспокоилась, но тут с проезжим мужиком пришла записка. Иван сообщил, что поступил вольноопределяющимся во вспомогательные войска, а потому прямо из Тулы тотчас же направляется на юг.

*«...Долгие проводы — лишние слезы, дорогие мои. Решение мое окончательное, а беспокоиться обо мне нужды нет. Мне положена форма, казенное довольствие и даже жалованье, которое я распорядился пересылать в Смоленск, тетушке. Долги надо платить, Вася, так ведь ты меня учил?..»*

Долги, конечно, следовало платить, и Василий Иванович говорил об этом постоянно с верой и убеждением, но в этом разе почему-то испугался и кинулся к Толстому за советом. Лев Николаевич внимательно прочитал записку и грустно улыбнулся.

— Вот вам души прекрасные порывы, а вы тотчас же гасить их собрались. Признаться, от вас этого не ожидал.

— Помилуйте, Лев Николаевич, он ведь мальчишка еще, без средств, без жизненного опыта.

— Какого жизненного опыта? — Толстой недовольно сдвинул брови. — Вашего? Екатерины Павловны? Или, может быть, моего?

— Личного опыта. Житейского, естественно.

— Так личный опыт лично и приобретается, дорогой Василий Иванович. А мы все норовим свой собственный житейский багаж, свои баулы да саквояжи юности в дорогу навязать. И очень обижаемся, когда она от них отказывается. А ей наше с вами не нужно, она своего ищет.

— Значит, отпустить Ивана?

— Опоздали! — весело засмеялся Лев Николаевич. — Наш Ваня уж, поди, к Харькову подъезжает!..

Тетушка Софья Гавриловна целыми днями раскладывала пасьянсы. Потрясенная семейными трагедиями, неурядицами, неумолимым разлетом молодых Олексиных неведомо куда и неведомо зачем, а главное — запутавшись в таинственных процентах, векселях и счетах, она окончательно упустила из рук и семью и дом. Привыкшая к реальным деньгам и почти натуральному хозяйству недавнего — и, увы, такого далекого! — прошлого, Софья Гавриловна не просто проводила время за картами, а, во-первых, загадывала приятные неожиданности и, во-вторых, напряженно изыскивала выход из сложного финансового положения. Она ежедневно принимала старательного Гурия Терентьевича со всякого рода отчетами, ничего в них не понимала, но свято была убеждена, что тихий Сизов предан лично ей всей душой. И это несколько утешало ее.

Гурий Терентьевич Сизов и в самом деле никого не обманывал. Служа верой и правдой и очень уважая хозяйку дома, он старался как мог, но был от природы ненаходчив, робок и мелочен, а потому ни в какие дела, а тем паче спекуляции вкладывать доверенные ему средства не решался. Но Россия уже сошла с веками накатанной дорожки, уже с кряхтением, крайним напряжением сил и бесшабашной удалей переползала на иные, железные, беспощадно холодные, пути; старые состояния трещали по всем швам, новые создавались в считанные месяцы, и в этой азартной перекатке хозяйственного могущества из вялых барских рук в энергичные мужицкие риск был неременным условием борьбы. Между привычным барским и казенным владениями смело вклинивалась третья сила — растущий не по дням, а по часам русский промышленный капитал. И оставалось класть пасьянсы да загадывать, авось государь, однажды проснувшись, вспомнит тех, чьи шпаги веками охраняли его престол, и издаст закон, по которому растерянному поместному дворянству тек бы скромный ручеек постоянных субсидий.

— Вы позволите, тетя?

Варя вошла в гостиную, когда Софья Гавриловна была одна. Она поверх очков строго посмотрела на Варю, со вздохом смешала упрямые карты и сказала:

— Это какой-то рок: я опять ошиблась с валетом треф.

— Я хочу поговорить с вами. — Варя села напротив, внутренне готовясь. — Причем очень серьезно, тетя.

— Конечно, конечно. Отчего бы нам и не поговорить?

— Гурий Терентьевич ознакомил меня с текущими делами. — Варя заметно нервничала. — Кроме того, я получила письмо... от одного человека. Он досконально изучил наше состояние.

— Да, скверно, — согласилась Софья Гавриловна. — Скажу страшные слова: я в претензии на своих племянников. Возможно, это нехорошо, но им следовало бы изыскать нам помощь.

— От кого вы ждете помощи? У Василия своя семья, Федор — прирожденный бездельник, а Гавриил, по всей вероятности, до сей поры в плену. Нет, дорогая тетушка, сейчас такие времена, что помощи следует ждать не от племянников, а от племянниц.

— Я знаю, но не понимаю зачем, — важно кивнула тетушка. — Она запутана до чрезвычайности, эта самая эмансипация.

— Боюсь, что вам придется подобрать другое определение, когда вы дослушаете до конца. Я много думала, долго сомневалась и даже, как вам известно, обратилась за поддержкой к богу. — Варя бледно усмехнулась. — Вы были совершенно правы, тетя, когда однажды сказали, что мне пора определиться.

— А я так сказала? — искренне удивилась Софья Гавриловна. — Любопытно, что я при этом имела в виду.

— И я определилась, — не слушая продолжала Варя. — Я дала согласие. — Она потерла ладонью лоб, не столько подыскивая слова,



сколько прикрывая глаза. — Словом, я определилась на службу к частному лицу. Это обеспечит...

— Варя...

— Это единственный выход, — с нажимом сказала Варя. — Единственный выход спасти семью от развала и нищеты. Разлетелись все, кто мог летать, но дети остались. Георгий, Наденька, Коля. Мама оставила их на меня, я знаю, что на меня. — Варя судорожно глотнула. — Это мой долг и крест...

— Варвара! — резко прервала тетушка. — Что, в чем твое решение? Я хочу все знать, потому что я должна все знать.

— Вы заменили нам мать, вы отдали все, что имели, и теперь мой черед, дорогая, милая моя тетушка, — задрожавшим голосом сказала Варя. — Вы ничего не должны — должна только я. И я верну этот долг, даже если за это меня не примут более ни в одном приличном обществе.

— Варя, Варенька! — Софья Гавриловна суетливо задвигала руками, скрывая дрожь; задетая колода карт соскользнула со столика и веером рассыпалась по полу. — Варя, я, кажется, кое-что начинаю понимать. Если это так, то не делай этого, родная моя, умница моя, умоляю тебя. Ты погубишь себя.

— Я решила, тетя. — Варя медленно провела ладонью по лицу и впервые подняла на Софью Гавриловну измученные бессонницей, странно постаревшие глаза. — Я сегодня выезжаю в Кишинев.

— К кому же, к кому? Неужели к этому... в яблоках?

— Да, к господину Хомякову, тетя.

— Варвара! — Тетушка встала, выпрямив спину и гордо откинув седую голову. — Ты не сделаешь этого. Я запрещаю тебе. Ты не смеешь этого делать. Ты дворянка, Варвара!

— Я крестьянская дочь. — Варя тоже встала. — Не знаю, смогу ли я остановить коня, но в горящую избу я войти обязана.

Так они стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Потом Софья Гавриловна закрыла лицо руками. Варя изо всех сил закусила губу, но и у нее уже бежали по щекам слезы.

— Мы еще попросимся, милая, родная моя тетушка, — тихо сказала она. — Смотрите, как хорошо легли карты: картинками кверху и все красные.

Софья Гавриловна больше не просила, не умоляла, даже ни о чем не спрашивала. Со слезами и улыбками проводив Варю, жила тою же растерянной жизнью, только выслушивала ежедневные пояснения Сизова уже машинально, по укоренившейся привычке. И так продолжалось, пока однажды Софья Гавриловна не получила приглашение от Александры Андреевны Левашевой.

— Дорогая моя Софья Гавриловна! — Хозяйка встретила тетушку очень любезно, дамы расцеловались и тут же прошли в кабинет. — Я побеспокоила вас по весьма серьезному вопросу. Я, видите ли, патронирую добровольные лазареты, существующие на пожертвования, коими полновластно распоряжается мой добрый гений и щедрый жертвователь Роман Трифонович Хомяков; помнится, я имела удовольствие представить его вам.

— Имели. — Софья Гавриловна горько покачала головой.

— Я тревожу вас именно по его просьбе, — продолжала хозяйка. — Эти постоянные хлопоты с лазаретами доставляют массу неприятностей и беспокойств — не знаю, что бы мы делали без Романа Трифоновича! И потом, эта ужасная война, эта кровь и страдания касаются теперь всех нас, всей России. Мой брат князь Сергей Андреевич уже давно там, на полях сражений: он представляет Красный Крест. А сколько молодых людей уже отдали свои жизни! — Левашева понзила голос. —

У меня гостит дальняя родственница по мужу, юная женщина, несчастнейшее существо! Ее муж пал смертью героя при переправе через Дунай, а была она его супругой всего три дня. Три дня счастья, Софья Гавриловна, и на всю жизнь — горя.

— Да, — сказала тетушка. — Кажется, мы вступаем в какой-то слишком торопливый век. В наше время Медовый месяц равнялся полугоду. Мы с покойным мужем ездили в Париж...

— А мы с юной вдовой уезжаем в Бухарест, — перебила Левашева, привычно перехватывая разговор в свои руки. — Она хочет отслужить молебен на могиле мужа, а меня зовут дела. Не хватает госпитальных палаток, медикаментов, врачебного персонала. Всего не хватает, а война только началась. Что-то будет?

— Скверно, — строго сказала Софья Гавриловна. — Мой брат предрекал смену знамен. О, как я теперь понимаю его! К сожалению, и на склоне лет понимание плетется где-то позади желаний.

— Простите, бога ради, простите, я забыла о главном, — спохватилась Левашева. — Сначала дела: господин Хомяков просит уведомить вас, дорогая, что все ваши векселя и закладные им погашены вместе с процентами, никаких долгов у вас более нет и кредит ваш отныне неограничен. Бумаги о сем он уже выслал со своим курьером, и днями, я полагаю, вы получите... Что с вами, дорогая Софья Гавриловна? Вам дурно? Вы вдруг побелели...

— Ничего, ничего, благодарю вас, — с трудом сказала Софья Гавриловна. — Жертва. Вот она — жертва. Сколько благородства и сколько безрассудства. Брат говорил о смене знамен: какая чушь! Какая мужская чушь! Пока женщина будет готова на жертву, пока она во имя семьи готова будет отдать самую себя, ничего не случится с этим миром. Решительно ничего: мир в надежных руках. В женских. В нежных женских ручках, Александра Андреевна...

— Да, да, конечно, конечно. — Левашева лихорадочно выдвигала ящички бюро, вороша бумаги, звеня склянками. — Куда-то я засунула капли. Прекрасные немецкие капли...

— Благодарю вас, Александра Андреевна, не надобно никаких капель. — Софья Гавриловна тяжело поднялась с кресла. — Домой, домой. Если возможно, экипаж, пожалуйста.

— Конечно, конечно! — Левашева распорядилась, чтобы экипаж подали к подъезду. — Мне так жаль, право, что вы уезжаете. Нет, нет, я понимаю, понимаю, но я мечтала представить вам Лору... Валерию Павловну Тюрберт, эту несчастную юную вдову. Мы с детства звали ее Лорой, так уж почему-то повелось...

— Нет, не могу, уж извините. — Софья Гавриловна с трудом, медленно шла к дверям. Левашева заботливо и испуганно поддерживала ее. — Слишком много новостей, дорогая Александра Андреевна. Слишком много для моего старого сердца.

— Я сейчас же пошлю за врачом.

— Ни в коем случае, — строго сказала тетушка. — Я всегда лечусь сама и лечу других. Знаете, у меня есть чудная книга «Лечебник». Там указаны все известные болезни и рецепты. И я всегда пользовалась и семью, и дворню, и знакомых. Ко мне даже приезжали издалека. Правда, сейчас появилась масса новых болезней.

— Позвольте хотя бы проводить вас до дома.

— Ни в коем случае, — повторила тетушка, мягко, но настойчиво отводя руки Александры Андреевны. — Пасьянс.

— Что? — растерянно спросила Левашева.

— Пасьянс. — Софья Гавриловна убежденно покивала. — У меня никогда в жизни не сходится пасьянс. Никогда. А сегодня вдруг сошелся, представляете? Какой ценой, Александра Андреевна, какой ценой!..

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## 1

Известие о жестоком разгроме Шильдер-Шульднера было для барона Криденера не только болезненным уколom самолюбия, но и окончательным крушением всех стратегических замыслов. Тут уж стало не до броска на Софию, когда невеста откуда появившиеся в его тылу турецкие войска, воодушевленные победой, могли ринуться всей массой на Свиштов, сокрушить защищавший его 124-й Воронежский полк, захватить переправы у Зимницы и напрочь отрезать от баз снабжения, от резервов и самой державы далеко прорвавшиеся в Болгарию, разбросанные по расходящимся направлениям русские отряды.

Узнав о конфузе под Плевной, Николай Николаевич старший минут пять топал ногами и ругался, как ломовой. Непокойчицкий невозмутимо ждал, пока он успокоится, а Левицкий — в последнее время великий князь главнокомандующий стал в пику старику все чаще привлекать к работе помощника начальника штаба — нервно суетился, перекладывая бумаги и пытаясь что-то сказать.

— Что он топчется? — заорал Николай Николаевич. — Что он тут топчется?

— Осмелюсь обратить внимание вашего высочества на цифры. — Рука Левицкого чуть вздрагивала, когда он протянул листок. — У турок не менее пятидесяти тысяч, тогда как в отряде Шильдер-Шульднера...

— Врет Шульднер, и Криденер твой врет! — Главнокомандующий бешено выкатил белесые глаза. — Без освещения местности прут, без разведки атакуют, все на авось, на авось! — Он вдруг повернулся к Непокойчицкому. — Что молчишь? На сколько соврал Криденер?

— Возможно, что Николай Павлович и не соврал, — задумчиво сказал Артур Адамович. — Осман-паша собирает в Плевне всех кого может, да и по Софийскому шоссе к нему все время идут подкрепления. Если все принять в расчет, то можно допустить, что у Осман-паши около сорока таборов низама, несколько эскадронов сувар и не поддающееся учету число черкесов и башибузуков.

— А пушек? Пушек сколько?

— Вероятно, около шестидесяти — семидесяти. Следует иметь в виду, ваше высочество, что неприятель занимает весьма выгодную по условиям местности позицию, которую беспрестанно укрепляет.

Тихий голос Непокойчицкого всегда действовал на великого князя успокаивающе. Посопев еще немного и посверкав глазами, Николай Николаевич сел к столу и потребовал карту. Пока Непокойчицкий неторопливо разворачивал ее, Левицкий счел возможным сказать то, о чем его лично просил Криденер:

— Генерал Криденер умоляет ваше высочество доверить ему разгром Осман-паши. Он дал слово смести эту сволочь с лица земли.

Артур Адамович недовольно поморщился: он не любил ругани, громких слов и генеральской божбы. Он любил точно обозначенные на картах войсковые соединения и безукоризненное исполнение приказов. Николай Николаевич заметил его неудовольствие, усмехнулся и сказал, вдруг повеселев:

— Коли сметет сволочь, так вопрос лишь в помощи да в быстроте. Кого можем подчинить Криденеру для уничтожения этого Османки?

— На подходе корпус князя Шаховского, ваше высочество... — начал докладывать Левицкий.

— Отряд полковника Бакланова вышиблен турками из Ловчи, — прервал Непокойчицкий. — Правда, он занял Ловчу снова, но его непременно вышибут еще раз.

— Ну и что? — сердито переспросил главнокомандующий. — Где Ловча, а где Плевна...

— Рядом, — весело сказал Артур Адамович и, оттеснив Левицкого, показал по карте опасную близость этих городов. — Если Осман-паша соединится с турками в Ловче...

— Так не дайте ему соединиться! — крикнул Николай Николаевич. — Перебросьте туда кавалерию. Есть поблизости кавалерия?

— Если соизволите, туда можно направить Кавказскую бригаду полковника Тутолмина, — сказал Непокойчицкий. — Это, конечно, ослабит Криденера, но перед ловче-плевненским отрядом можно поставить активную задачу.

Артур Адамович замолчал. Молчал и главнокомандующий, в размышлении барабая пальцами по карте. Потом спросил отрывисто:

— Сколько у нас пушек?

— Пушек? — Левицкий лихорадочно рылся в бумагах, подсчитывая. — Думаю... Думаю, около полутора сотен.

— В два раза больше, чем у Османки? — радостно засмеялся Николай Николаевич. — Огонь, сокрушительный огонь — вот что мы противопоставим его таборам и черкесам. Отдайте бригаду этому... — Он вдруг расстроился, поскольку всегда гордился своей памятью на фамилии, а тут запамятовал. — Кого из Ловчи вышибли?

— Полковника Бакланова, — подсказал Левицкий.

— Вот ему отряд и подчините. Он битый — значит, злой.

— Позвольте возразить вашему высочеству, — осторожно сказал Непокойчицкий. — Бакланов битый, но не злой, а нерешительный. А нужен решительный: задача будет сложной, а сил мало. И есть только один командир, способный эту задачу выполнить: генерал Скобелев второй.

Великий князь снова нахмурился и недовольно засопел. Левицкий, очень не любивший Скобелева, уловил это недовольство. Сказал, обращаясь к Артуру Адамовичу и как бы между прочим:

— Извините, Артур Адамович, ваш протеже шалопай. Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к этой войне.

— Скобелев — генерал свиты его величества, — вдруг надутно сказал главнокомандующий. — Не забывайся, Левицкий.

— Прошу простить, ваше высочество, — растерялся никак не ожидавший такого афронта Левицкий. — Мне думалось... Я полагал...

— Лучше Скобелева командира для этого дела у нас нет, — с не присущей ему твердостью повторил Непокойчицкий. — Я настоятельно прошу ваше высочество. Настоятельно.

— Решено, — отрезал Николай Николаевич. — Пусть докажет, на что способен в европейской войне. Пишите приказ. А ты, — великий князь погрозил Левицкому пальцем, — ты шпильки для дам прибереги.

Западный отряд на сей раз к предстоящему штурму готовился тщательно. Никто уже не заикался об усмирении, и даже сам Криденер перестал презрительно именовать Плевну «плевком»: урок был суров, а ставка слишком высока. И когда Шнитников осторожно намекнул, что не худо бы было разведать Плевну, Криденер, обычно считавший разведку ниже достоинства русского генерала, ухватился за этот намек с необычной активностью.

— Да, да, и непременно. Узнайте у Шульднера, откуда его обстреливали: пусть ваши офицеры поищут иных направлений.

Только после разведки генерал-лейтенант барон Криденер решил собрать военный совет. Совет состоялся 14 июля в селе Бреслянице, куда Криденер пригласил и личного представителя Главной квартиры генерал-майора свиты его величества светлейшего князя Имеретинского.

— Что-то Скобелева не вижу, — ворчливо отметил Шаховской, усаживаясь.

— Не знаю, почему он не явился, — нехотя сказал Шнитников. — Приглашение Михаилу Дмитриевичу было послано своевременно.

— Приглашение или приказ? — колюче взъерошил седые брови Алексей Иванович.

— Это не важно, — холодно ответил Криденер. — Скобелев выполняет задачу охранения, не более того.

— Простите, не понял вас, — сказал князь Имеретинский. — Одно дело приказ, дающий генералу право решающего голоса в совете, а иное — приглашение послушать, что будут говорить остальные. Так в каком же роде вы желали здесь видеть Скобелева, Николай Павлович?

— Мне не нужны советы Скобелева, — сухо поджал губы Криденер. — Его опыт войны с дикарями ничем не может нас обогатить. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел начать совещание.

— Пожалуйста. — Князь Имеретинский пожал плечами. — Я всего лишь гость, распоряжайтесь.

Обстановку докладывал Шнитников. обстоятельно разобрав причины неудачи первого штурма, заключавшиеся, по его мнению, в перевесе сил Османа-паши, отсутствии должной разведки и слабой связи между наступающими частями, обрисовал расположение войск, перейдя затем к данным о противнике.

— По нашим сведениям, неприятель располагает сейчас шестьюдесятью — семьюдесятью тысячами активных штыков.

— Разрешите вопрос, ваше превосходительство, — поднялся Бискупский, обращаясь к Криденеру. — Откуда эти сведения?

— Сведения? — Шнитников замаялся. — Мне бы не хотелось упоминать источники, но они, к сожалению, сомнений у нас не вызывают.

— Среди нас есть турецкие шпионы? — сдвинул брови Шаховской. — Так гоните их отсюда в шею, барон!

В комнате возник шум. Пахитонов негромко рассмеялся.

— Спокойно, господа, — сказал Криденер. — Если представитель его величества полагает...

— Я полагаю, что следует уважать военных вождей, — негромко сказал князь Имеретинский.

— Сведения сообщил дьякон Евфимий, бежавший из Плевны, — доложил Шнитников, дождавшись согласного кивка Криденера.

— С какой же поры русская армия основывает свои решения на поповских подсчетах? — зарокотал Шаховской. — Известно, что у беглеца всегда всегда глаза на заднице.

— Главный штаб и его высочество согласны с этой цифрой.

— Тогда вообще ерунда какая-то, — продолжал непримиримо ворчать Алексей Иванович. — Их семьдесят тысяч, не считая башибузуков, и они — в укрытии. А нас еле-еле двадцать шесть тысяч, и эти двадцать шесть тысяч мы по чистому полю под пули и картечь пошлем. — Он грузно повернулся к Имеретинскому. — Вас устраивает такая арифметика, князь?

— Сил мало, ничтожно мало, Алексей Иванович, — вздохнул Имеретинский. — Но большего у нас нет, а ждать, покуда из России подтянутся резервные корпуса, невозможно.

— Бойня, — хмуро констатировал Шаховской. — Хорошо кровушкой умоемся, господа командиры, хорошо.

— У нас в два с половиной раза больше орудий, — сказал Шнитников. — Именно на этом и построен план Николая Павловича.

После длительных прений и непримиримого ворчания князя Шаховского совещание выработало основную схему штурма плевненских позиций. Наступление было решено вести с восточной и юго-восточной сторон при постоянной поддержке артиллерии.

— К этому считаю необходимым добавить нижеследующее, — сказал Криденер и, взяв заранее заготовленную бумагу, начал читать: — «Ввиду того, что при такой несоразмерности сил взятие Плевны стоило бы несоразмерно больших жертв, а неудача могла бы иметь крайне вредные последствия на общий ход военных действий, решено,

несмотря на доблестный дух войск, готовых на всевозможные жертвы, испросить предварительно окончательное повеление».

На этом и закончился военный совет, один из самых странных военных советов в истории. Странность его заключалась в том, что в принятом решении уже было заложено неверие в победу, но ответственность за это довольно неуклюже перекладывалась на Главный штаб и самого главнокомандующего. Но непримиримый Шаховской к концу уже умирался, князь Имеретинский получил указание во что бы то ни стало настоять на штурме, а остальные помалкивали, не решаясь спорить с упрямым и злопамятным Криденером. И в результате войска получали приказ, в который не верили их собственные вожди.

— Ну, артиллерия, вывезешь? — спросил Шаховской Пахитонова,

— Бог не выдаст, свинья не съест, Алексей Иванович, — улыбнулся Пахитонов. — Только у Османа-паши, между прочим, стальные орудия Круппа.

— Лихо, — усмехнулся в седые усы Шаховской. — Не даст его высочество согласия, видит бог, не даст. Это же с ума сойти, какой конфуз возможен. С ума сойти!

Донесение о сем совете было отослано главнокомандующему немедленно. Ответ на него пришел лишь через два дня — видно, и там спорили, взвешивали, сомневались: *«План вашей атаки Плевны одобряю, но требую, чтобы до атаки пехоты неприятельская позиция была сильно обстреляна артиллерийским огнем».*

В тот же день к вечеру нарочный доставил Криденеру личную записку Непокойчицкого. Рекомендую широко и маневренно использовать конницу, дабы рассредоточить внимание противника, Артур Адамович в конце писал главное: *«Великий князь особенное внимание обращает на то, что вы, Николай Павлович, имеете до ста пятидесяти орудий и что ими следует воспользоваться, с тем чтобы разгромить противника, употребляя для этого хотя бы целые сутки, а уж затем наступать пехотою. Не спешите с атакой, барон, прошу вас: громите их огнем, сколько того потребуется, ибо только в этом вижу я ключ к победе...»*

— Все в стратегии лезут, — сказал Криденер, отбросив записку. — Даже недобитые полячишки и те на советы горазды.

Участь второго штурма Плевны была решена.

## 2

— Все правильно, — вздохнул Скобелев, узнав подробности о разгроме Шильдер-Шульднера, и выругался заковыристой казачьей матерщиной.

Еще числясь в резерве, Михаил Дмитриевич собирал сведения о противнике где только мог. Он перечитал все газеты, доставленные ему Макгаханом, хотя не выносил разухабистой газетной лжи. Цифры, сообщаемые англичанами, равно как и русскими, ни в чем его не убедили.

— Сложите вместе и поделите пополам, — сказал опытный Макгахан. — Возможно, получите нечто похожее на истину.

— Сложите все вместе и суньте в печку, — буркнул Скобелев. — Мне нужна истина, а не нечто на нее похожее.

Накупив у маркитантов табаку, пряников, конфет и других гостинцев, он выехал в ближайший лазарет. В лазарете лежали костромичи, спасенные казаками Тутолмина при отступлении с Гривицких высот. Генерал щедро оделил всех подарками, терпеливо выслушав большей частью бессвязные рассказы, как шли под огнем, как атаковали редут, как погиб Клейнгауз. Каждый рассказывал свое, пережитое.

— ...я, стало быть, замахнулся — ан а колоть-то и некого!

— Значит, боится турка русского штыка, братец?

— Не выдерживает он, ваше превосходительство, жила не та. Ну, поначалу, конечно, машет, а потом скучать начинает. Ежели, скажем, соседа его положили, так он уж на месте не останется. Он сразу назад побежит или аману запросит.

— А стреляют как?

— Стреляют почаще нашего, много почаще, ваше превосходительство. Верно ли говорю, ребята?

— Да, уж патронов не жалеют, — отозвались раненые, со всех сторон окружившие генерала. — И ружья ихние подальше наших бьют.

— Только вот... — Белобрысый паренек с перебинтованным плечом засмутился, вскочил вдруг, вытянулся. — Виноват, ваше превосходительство, разрешите доложить!

— А ты не скачи, парень, не скачи, — улыбнулся Скобелев. — У нас беседа, а не строй, и ты есть раненный в бою воин. Значит, я перед тобой стоять должен, а не ты передо мной.

— Да я это... — Парень широко улыбнулся. — Доложить хотел, ваше превосходительство.

— Говори, что хотел.

— Да он, турка-то, хоть и много палит, а без толку, ваше превосходительство. Он нас боится, и целить ему недосуг. Руки у него дрожат, что ли, так он ружье на бруствер кладет и палит не глядя.

— Верно Степка говорит, правильно, — поддержали с разных сторон. — Это есть, ваше превосходительство. Шуму, значит, много, а толку мало.

— На испуг берет басурманин.

— Ну, не совсем так, — сказал молчавший доселе молодой человек с белой повязкой на голове. — Их винтовки дальнобойнее наших, Михаил Дмитриевич. Вы позволите так обратиться?

— Позволил уже, — сказал генерал. — Вольноопределяющийся?

— Так точно, вольноопределяющийся Мокроусов, недоучившийся студент. Так вот, Михаил Дмитриевич, они это качество неплохо используют при нашей атаке. Сплошной веер пуль встречает еще издалека, шагов чуть ли не на тысячу. Но Степан прав, целиться они не стремятся. Поэтому веер этот идет как бы в одной плоскости, понимаете? И если, допустим, пригнуться, то он будет идти над головой.

— Не снижают прицел? — заинтересованно спросил Скобелев.

— Практически нет. Судите сами: у нас тут куда больше ранений от холодного оружия, чем от огнестрельного. А вот для офицеров все наоборот.

— Отчего же так?

— Видимо, в офицеров они все же целятся. Может быть, не все, а специально отобранные для этого хорошие стрелки. У офицеров и форма заметнее солдатской и идут они впереди — их легко издалека определить.

— Следует ли из ваших слов, что для офицеров куда опаснее сближение с противником, чем сама рукопашная?

— Пожалуй, так, Михаил Дмитриевич. Конечно, я впервые был в бою, мне трудно обобщить.

— Впервые был, а видел многое. — Скобелев встал. — Спасибо, ребята, очень вы мне помогли. Дай вам бог здоровья и счастливого возвращения.

Вернувшись домой, Скобелев обстоятельно продумал весь разговор, записав для памяти выводы: турки не выносят штыкового боя в одиночку; стреляют неприцельно и, как правило, с бруствера, что создает одну полосу поражения; сближение с противником опаснее самого боя. За окном густились короткие южные сумерки, генерал все ниже склонялся к бумаге, не замечая, что темнеет. А заметил, когда хмурый адъютант Млынов внес зажженные свечи.

— Вот пишу. — Михаил Дмитриевич виновато улыбнулся. — Зачем пишу, черт его знает. Разве для истории?

— Там полковник Нагибин приехал, — сказал капитан.

— Нагибин в том бою был, вот удача! — Скобелев захопнул бювар. — Давай его сюда. И коньяк тащи. Да не какой-нибудь, а с собакой. Слышишь, Млынов?

— На всех с собаками не напасешься, — проворчал Млынов.

Офицерство позволяло себе румынский коньяк (за французский маркитанты драли бешеные деньги), и лучшим считался тот, на бутылке которого была изображена собака. Поскольку денег у Скобелева никогда не водилось — он умудрялся тратить генеральское жалованье в считанные дни, — то хмурый капитан Млынов частенько кормил и поил своего командира из личных, и весьма скромных, средств.

— Поздравляю! — еще с порога крикнул Нагибин.

— Да с чем поздравлять-то? — Сердце Скобелева защемило от предчувствия. — С чем же, полковник?

— Отдельный отряд вам дают, Артур Адамович уж и приказ готовит. Просился и я к вам, умолял — отказали.

— Водки! — закричал Скобелев, хватив полковника кулаком в грудь. — Млынов, чертов сын, где ты там?

— Вы же коньяку желали, — сказал, появляясь в дверях, Млынов. — С собакой причем.

— Коньяк пусть Криденер жрет вместе с собакой, а мы по-русски гулять будем. По-русски, казаче, по-нашенски!

Скобелев пил много, но не пьянел, а только оживлялся, говорил громче обычного, чаще смеялся да распахивал сюртук. Поднимая тосты за вольный Дон, за славу русского оружия и за русского солдата — этот тост Михаил Дмитриевич произносил всегда, при всех обстоятельствах, — он дотошно расспрашивал Нагибина. Полковник изложил все, подробно рассказав о последнем разговоре с командиром костромичей.

— А Игнатий Михайлович говорит: веером, мол, дамским наступаем. Веером на турка замахиваемся, а не кулаком. Вот и загинул, бедолага, ни за понюх табаку.

Большого Михаил Дмитриевич добиться от захмелевшего с устатку казачьего полковника не смог. Впрочем, он не огорчился: пил, шутил, огулнительно смеялся и угомонился лишь под утро. Млынов оттащил уснувшего Нагибина на генеральскую постель, а Скобелев, выпив две чашки крепчайшего кофе, приказал окатить себя колодезной водой и, протрезвев, ускакал в штаб, моля бога, чтобы только не нарваться на великого князя главнокомандующего. Загодя пожевав специально припасенного для этой цели мускатного орешка, дабы отбить могущий сразить собеседника дух, сам привязал коня у коновязи и приказал дежурному доложить о своем прибытии.

Приняв его Левицкий: начальник штаба был спозаранку востребован к главнокомандующему. Отношения между Левицким и Скобелевым сложились еще во времена удалой молодости Михаила Дмитриевича и были на редкость простыми: Левицкий терпеть не мог генерала за «шалопайство», а Скобелев ни в грош не ставил стратегические дарования помощника начальника штаба. В полном соответствии с этими взаимоотношениями складывался и их разговор.

— Подписан ли приказ о моем назначении?

— Насколько мне известно, его высочество подписал такой приказ.

— Какие части мне подчинены и какова моя задача?

— Все изложено в приказе.

— Где же приказ?

— Приказ пришлют после регистрации, как положено.

— Когда освободится Непокойчицкий?

— Когда будет отпущен его высочеством.

— Понятно. — Скобелев изо всех сил скрывал нараставшее в нем бешенство. — Могу ли я по крайней мере спросить ваше превосходительство о силах неприятеля и общей обстановке под Плевной?



Левицкий поколебался, но отказать в такой просьбе уже утвержденному приказом командиру отдельного отряда все же не рискнул. Скучным голосом объяснил по карте обстановку, упомянув, что Осман-паша имеет в своем распоряжении не менее шестидесяти тысяч низама. Скобелев недоверчиво свистнул, и Левицкий, прервав объяснение, заметил с неудовольствием:

— Вы не в конюшне, генерал.

— Прошу прощения, — пробормотал Скобелев. — Где Тутолмин?

— На рысях спешит в ваше распоряжение.

— Насколько мне известно, он не участвовал в деле. Бригаду его не растащили по кускам?

— Насколько мне известно, нет.

— Благодарю за разъяснения. — Скобелев коротко кивнул и направился к выходу.

— Может быть, вас интересует, кто назначен начальником вашего штаба? — неожиданно спросил Левицкий.

— Кто же?

— Полковник генерального штаба Паренсов.

— Благодарю. — Скобелев еще раз кивнул и вышел на крыльцо.

Он мог бы дожидаться Непокойчицкого и получить долгожданный приказ, но боялся, что непременно нарвется на самого великого князя, и, поразмыслив, решил найти Паренсова. Он хорошо знал полковника еще по Академии генерального штаба, ценил его знания, способность улавливать изменчивую обстановку боя и без колебаний принимать решения. Конечно, было бы куда удобнее, если бы ему вернули его прежнего начальника штаба Алексея Николаевича Куропаткина, который понимал его с полуслова. Но требовать Куропаткина сейчас было преждевременно, и Скобелев скрепя сердце решил обождать. Паренсов и поведал Скобелеву, что в распоряжение последнего поступает не только Кавказская бригада Тутолмина, но и отряд подполковника Бакланова, занявшего недавно Ловчу.

— Откуда знаешь? — спросил Скобелев. — Штабные наболтали?

— Старому разведчику таких вопросов не задают, — усмехнулся Паренсов.

Он действительно был разведчиком: еще до начала войны семь месяцев путешествовал по Болгарии. Прекрасно владея болгарским и турецким языками, Петр Дмитриевич умел видеть, наблюдать, слушать и сопоставлять слухи. Его неоднократно арестовывали турецкие заптии, он сидел в рущукской тюрьме, но сумел выскользнуть и доставить русскому командованию воистину бесценные сведения.

— Ты веришь, что Осман успел собрать шестьдесят тысяч регулярной пехоты?

— Сомнительно, — подумав, сказал Паренсов. — Слишком мало у него времени для этого. Можем уточнить, если желаете.

— Каким образом?

— Есть такой образ. И должен сказать правду, если сам ее знает.

Пошли.

— Куда?

— К полковнику Артамонову, — сказал Паренсов уже на ходу. — Он недоверчив, как стреляный лис, но мне вряд ли откажет.

— Что, одна епархия? — не без ехидства спросил Михаил Дмитриевич.

Полковник Артамонов принял их сдержанно. Он знал Скобелева не столько как полководца самобытного и дерзкого таланта, сколько как шумного, не в меру хвастливого и склонного к веселым компаниям человека. По роду своей службы и складу характера он сторонился подобных людей, но с генералом пришел Паренсов, службу которого у Скобелева дальновидный Артамонов сразу же определил как временную.

— Чем могу служить?

Скобелев открыл было рот, чтобы с ходу выяснить то, что его сейчас интересовало, но Паренсов поторопился заговорить первым:

— Просим извинить, Николай Дмитриевич, мы рассчитываем на разговор сугубо доверительный. Если мы смеем на это надеяться, то заранее благодарим; если же вы откажете нам в доверии, мы покинем вас без всяких претензий.

Артамонов пожевал тонкими губами, потер высокий костистый лоб худыми длинными пальцами, привыкшими держать карандаш и никогда, как показалось Скобелеву, не сжимавшими эфеса сабли. Тихим голосом пригласив гостей садиться, сказал, что вынужден ненадолго покинуть их по делу, и тут же вышел.

— Бумажная душа, — проворчал Скобелев.

— Эта бумажная душа, Михаил Дмитриевич, два года лазала по европейской Турции, где и произвела глазомерную съемку местности на протяжении двух тысяч верст.

— Вроде тебя? — не удержался Скобелев.

— У меня была иная задача, — улыбнулся Паренсов. — Но если бы не бессонные ночи Николая Дмитриевича Артамонова, вряд ли бы вы, ваше превосходительство, имели бы новейшие карты этого театра военных действий. — Петр Дмитриевич помолчал. — Хозяин наш скрытен и не доверяет порой самому себе. Поэтому, если не возражаете, расспрашивать буду я.

— А я что должен делать?

— А вы по-генеральски поглаживайте бакенбарды, если я веду разговор в правильном русле, и кашляйте, если меня унесло.

Вернулся Артамонов. Плотно прикрыл за собой двери, заглянул в единственное оконце, заботливо поправив при этом занавеску. Прощел к своему столу, сел и положил руки перед собою.

— Я отослал людей, в доме никого нет.

— Генерал Скобелев получил в свое распоряжение отдельный отряд, — неторопливо начал Паренсов. — Судя по тому, что к этому отряду причислены части полковника Бакланова, оперировать нам придется где-то между Плевной и Ловчей. Как известно, турки намертво вцепились в Плевну, но логично предположить, что они попытаются столь же энергично вцепиться и в Ловчу.

— В Ловче Бакланов, — сказал Артамонов.

— Надолго ли?

Артамонов опять пожевал губами и стал тереть пальцами лоб. Молчание затягивалось.

— Мне желательно знать... — с генеральскими интонациями начал было Скобелев, но Паренсов так глянул на него, что он сразу примолк и начал рассеянно поглаживать бакенбарды.

— Я не пророк, — тихо сказал Артамонов.

— И все же, Николай Дмитриевич? — настойчиво допытывался Паренсов. — По сведениям Левицкого, у Османа-паши свыше шестидесяти тысяч низама. Если это соответствует действительности, то Осману ничего не стоит выделить треть своих сил для захвата Ловчи. Отсюда вопрос: Левицкий назвал ту цифру, которую вы ему сообщили?

— Левицкий назвал цифру, полученную от дьякона Евфимия, — сказал, помолчав, Артамонов. — Я ему таких сведений не представлял.

— А каковы ваши цифры? — продолжал наседать Паренсов. — Мы ведь не любопытства ради допытываемся, дорогой Николай Дмитриевич. Если мы окажемся между Плевной и Ловчей, куда нам направить свои пушки?

— Пушек-то будет кот наплакал, — хмуро проворчал Скобелев. — Кровью ведь умоемся и кровью держать будем.

— Осман-паша не пойдет на Ловчу. — Артамонов сказал это настолько тихо, что Скобелев и Паренсов невольно подались вперед. — Разделите цифры дьякона Евфимия пополам — и вы получите более или менее реальное представление о силах Османа-паши.

— Так ведь... об этом необходимо немедленно довести до сведения главнокомандующего! — крикнул Скобелев, вскакивая. — Ах крысы штабные...

— Сидите, Михаил Дмитриевич, сидите, — сквозь зубы процедил Паренсов. — Сидите и гладьте свои бакенбарды.

— Я все сообщил, — глухо сказал Артамонов. — Я все сообщил своевременно, но мою докладную записку навечно положили под сукно.

— Но почему же? Почему? — вновь не выдержал Скобелев.

— Почему? — Полковник Артамонов вдруг зло улыбнулся. — Потому что кое-кому это весьма выгодно. Победил — так победил шестьдесят тысяч, имея у себя двадцать пять. Не победил — так тоже потому, что у Османа все те же мифические шестьдесят тысяч вместо реальных тридцати. Некоторые генералы умеют побеждать, а некоторые — воевать. Тоже, между прочим, искусство. — Он помолчал. — Надеюсь, господа, что вы не воспользуетесь моей откровенностью.

— Благодарю, полковник. — Скобелев встал. — В молчании нашем можете не сомневаться.

На прощанье он так стиснул руку Артамонову, что Николай Дмитриевич долго еще тряс худыми пальцами.

## 3

Кавказская бригада пришла вовремя. Бакланов вновь занял Ловчу, но все понимали, что в городе он долго не продержится. Скобелев намеревался броситься на поддержку Тутолмина, однако ему приказано было временно воздержаться, обратив все внимание в сторону Плевны. Одновременно с этим приказом пришло и приглашение на военный совет; Михаил Дмитриевич оценил разницу между приказом и приглашением присутствовать, но не поехал не из-за генеральского престижа.

— Ляпну я там правду-матку, — сказал он Паренсову. — Они же пугать друг дружку силами Османа-паши начнут, а я, боюсь, не выдержу. Ну их с их советами к богу в рай.

Через день Бакланов оставил Ловчу, в которой башибузуки учинили страшную резню. Об этом подполковник донес Скобелеву запиской.

— Болгары кричат, — горестно вздохнул казак, доставивший записку. — Женщин да детишек режут прямо, можно сказать, на глазах. Слушать сил нет, хоть землю грызи.

— А помочь не можете? — недовольно спросил Скобелев. — Кони у вас приморились, что ли?

— Там на коне не проскачешь, ваше превосходительство, там горы кругом да овраги. Пехота нужна.

Казак был крепок, немолод, с новеньким Георгием, но без традиционного донского чуба. Да и фуражку носил прямо, по-пехотному, а точнее, как показалось Скобелеву, по-крестьянски: надвинув на уши, а не лихо сбив на сторону.

— За что Георгия получил?

— Награжден за форсирование реки Прут лично его императорским величеством.

— Какой станицы?

— Да я смоленский, — смущенно улыбнулся в бороду казак. — В казаки зачислен по желанию общества и по согласию их высокоблагородия полковника Струкова.

— Скажи, что я велел дать тебе чарку, и ступай.

Казак вышел. Скобелев еще раз перечитал записку. Бакланов сообщал обстоятельства, по которым вынужден был оставить Ловчу, и свое решение: перекрыть пути между Ловчей и Сельвой.

— Правильно решил, — согласился Паренсов.

— Правильно, если турок все время тормозить будет, — сказал Скобелев. — Пиши приказ на активную демонстрацию. И — разведку во все стороны. Чтоб к утру я все знал.

Вечером неожиданно прибыли князь Насекин и Макгахан. Гости особого внимания не требовали, и генерал продолжал работу с Паренцовым и Тутолминым, изредка включаясь в разговор.

— Господа, я совершил великое открытие, — с обычной ленцой рассказывал князь. — Исполняя обязанности представителя Красного Креста, я посетил лагерь для пленных. И что же я обнаружил? Оказывается, у турка, у этого нехристя и звероподобного существа, как утверждает наша уважаемая пресса, имеются две руки, две ноги и, представьте себе, голова.

— А слышать вам не приходилось? — спросил Скобелев, не отрываясь от кипы доносений разъездов.

— Что именно?

— Как кричат болгарские женщины и дети, когда их режут эти две руки и топчут две ноги с турецкой головой? Ну так поезжайте к Ловче, я вам и конвой выделю.

— Это дело башибузуков, — сказал Макгахан.

— Вы уверены, дружище? Я не уверен. Враг есть враг, война есть война, а женщина есть женщина. Когда вы, князь, постигнете это триединство, тогда я, пожалуй, поверю, что вы очнулись от спячки.

— Возможно. — Князь пожал плечами. — Следовательно, либо мне пока везет, либо я бесчувствен, как полено.

— Полагаю, что вам скорее везет, — проворчал Тутолмин. — Впрочем, это ненадолго.

Он был не в духе. Подчинение Скобелеву лишало его самостоятельности, к которой он уже успел привыкнуть. Кроме того, он не без оснований опасался, что во имя достижения поставленной задачи генерал не пощадит его, по сути, еще не воевавшую бригаду.

— Вы что-то уж очень загадочно помалкиваете, Макгахан, — сказал Скобелев. — Вы же всегда набиты сплетнями и слухами, как солдатский ранец.

— Вам нужны сплетни или слухи?

— Валите вперемешку, как-нибудь разберемся: мой начальник штаба окончил в академии по первому разряду.

— По линии сплетен могу сообщить, что некий барон лично ходатайствовал перед главнокомандующим, дабы переправить вас обратно в резерв.

— Чем же я так не угодил барону? — весело спросил Скобелев.

— Барон привык катать шарики, а вы игральная кость и всегда умудряетесь выкинуть ту грань, которую считаете для себя наиболее подходящей.

Разведка прибыла к ночи, а результаты ее были столь неожиданны, что генерал заставил хорунжего Кубанского полка Прищепу повторить рапорт, задавая вопросы едва ли не по каждому пункту. Но кубанец знал, что докладывал, поскольку лично исползал все три хребта Зеленых гор, прикрывавших Плевну с юга.

— Никаких укреплений там нет, ваше превосходительство. Да и турок не видно: в кустах одни спешенные черкёсы хоронятся.

— Как же ты мимо них проскользнул, хорунжий?

— Известно как, ваше превосходительство, — улыбнулся кубанец. — По-пластунски.

— Молодец! — Скобелев порывисто обнял молодого, но уже бывалого казака. — Скажи капитану Млынову, чтоб накормил тебя и казаков, и не отлучайся. — Проводив до дверей кубанца, резко повернулся к полковникам. — Какова новость, а? Тутолмин, готовь осетинские сотни: я хочу сам эти горы прощупать.

На заре две сотни спешенных осетин двинулись к первому гребню Зеленых гор. Невысокие крутые кряжи их сплошь заросли дубняком и диким виноградом и впрямь выглядели зелеными. Еще на подходе осетины были встречены разрозненной стрельбой, залегли, как было

приказано, но увидев замелькавших в кустах черкесов, вскочили и, выхватив шашки, бросились вперед.

— Отводи! — закричал Скобелев, наблюдавший за разведкой боем. — Отводи осетин немедля, пока их в кусты не заманили!

Хорунжий Прищепа, вскочив на коня, карьером помчался навстречу выстрелам. Вертясь перед осетинами и не обращая внимания на пули, кое-как остановил их. Осетины яростно ругались: у них с черкесами были старые счеты. Водивший сотни есаул Десаев, смахивая ладонью кровь с тронутого пулей лба, зло крикнул:

— Зачем собак с миром отпускаешь? Их резать надо, генерал, они стариков не жалеют, женщин не жалеют, а ты их жалеешь?

— Успеешь рассчитаться, есаул, — улыбнулся Скобелев.

Он ощутил знакомую волнуемую дрожь: предчувствие, что нащупал, угадал, уловил главное в предстоящем бою. Да, перед ним был лишь заслон из иррегулярных частей Османа-паши: ни укреплений, ни тем паче артиллерии на этом участке обороны не было.

— Тут и пойдем, — сказал он на немедленном собранном совете. — Но нужна пехота, позарез нужна: кавалерии здесь делать нечего. Тутолмин, готовь бригаду к пешему бою. — Дождался, когда полковник вышел, схватил за сюртук Паренсова. Спросил шепотом, с яростным восторгом сверкая синими глазами: — Ты понял, где собака зарыта, Петр Дмитриевич? Ну так скажи к Криденеру, втолкуй, упроси, умоли, наконец: на Зеленых горах надо главный удар наносить. Скажи, что я начну, но мне нужна еще хоть одна батарея и не менее трех батальонов пехоты. Голубчик, Петр Дмитриевич, как на господа бога на тебя уповаю: жар-птицу за хвост ведь держим!

— Криденер упрям, как старый мерин, — хмуро сказал Паренсов. — Да и главнокомандующий уже благословил диспозицию.

— Что бы ни было, а без пехоты не возвращайся, — жестко сказал Скобелев. — Это приказ, полковник. Ступай и исполняй.

Нахлестывая коня, Паренсов думал, как, какими словами пробить остзейскую спесь, гипертрофированное самолюбие и вошедшее в поговорку упрямство Криденера, предполагая, впрочем, что барон и слушать-то его не станет, а отошлет к Шнитникову. Но Николай Павлович принял Паренсова без промедления, имея в соображении особое отношение к полковнику свыше. Молча выслушал все, что логично и безо всякой горячки доложил ему Петр Дмитриевич, и отрицательно покачал массивной головой.

— Приказ отдан, полковник,

— Победа стоит того, чтобы просить его высочество об отмене.

— Генерал Скобелев хорош для налетов, может быть, даже для развития тактического успеха, но как стратег он равен нулю, — неторопливо и важно сказал Криденер. — Холодный ум есть муж победы, а не легкомысленный гусарский порыв незрелого вождя. Это азбука, полковник, удивлен, что вынужден вам, — он подчеркнул обращение, — напоминать о ней. Прошу повторить вашему непосредственному начальнику, что задача его сугубо второстепенна: не допустить соединения сил Османа-паши с турками в Ловче и продемонстрировать атаку. Только продемонстрировать, большего я от него не требую и не жду.

Паренсов понял, что разговор исчерпан: никакая логика, никакие доводы рассудка не могли сдвинуть Криденера с уже избранной им позиции. Оставалось последнее — выпросить пехоту и артиллерию, и уж тут-то Паренсов был готов бороться до конца.

— Демонстрация Скобелева будет эффективнее, если вы, Николай Павлович, усилите его хотя бы тремя батальонами пехоты и конной батареей. По условиям местности мы не можем активно использовать кавалерию, и, следовательно, Осман-паша, убедившись в нашей слабости, оставит всю нашу демонстрацию без внимания. Между тем наличие пехоты и артиллерии неминуемо заставит его оттянуть часть сил с других участков обороны.

Криденер долго молчал, размышляя. В рассуждениях Паренсова была не просто логика, но и прямое обещание облегчить атаку на направлении главного удара. Если Скобелев, получив пехоту, так и не справится с этой задачей, то сослаться ему будет не на что. В этом варианте Криденер только выигрывал, решительно ничем не рискуя.

— Скажите Шнитникову, что я приказал выделить в распоряжение Скобелева одну батарею и один батальон пехоты.

— Один батальон? — растерянно воскликнул всегда невозмутимый Паренсов. — Всего один батальон? Ваше превосходительство...

— Один батальон Курского полка и одну батарею, — деревянным голосом повторил Криденер. — И я не задерживаю вас более, полковник.

Но Паренсов все же чуть задержался. В нем все кипело от сильного возмущения, и только тренированная воля еще сдерживала порыв. Он хотел сказать Криденеру, что тот уже проиграл сражение, проиграл бесславно и кроваво, — и не сказал.

Если генерал Скобелев знал, как достичь победы, то барон Криденер точно так же знал, как надо воевать, чтобы не испортить собственной карьеры. Проведя еще одно совещание, он отдал приказ произвести атаку Плевны на рассвете 18 июля 1877 года. Но даже отдав этот приказ, барон тотчас же отрядил нарочного к великому князю испросить еще одно подтверждение. В ночь на 18 июля к барону Криденеру прибыл ординарец главнокомандующего со словесным приказом:

— Атаковать и взять Плевну — такова воля его высочества.

Участь второго наступления на Плевну была решена вторично, и на сей раз уже окончательно.

## 4

В Баязетскую цитадель в тот роковой день рекогносцировки успели отойти не все. Опасаясь курдов, заседавших на измотанные беспрепятственными бросками роты, комендант капитан Штоквич приказал закрыть ворота, как только пропустил основную массу солдат и казаков, оставив калитку для тех, кто запоздал. Сюда, в узкую щель, с детьми, женщинами и скарбом ринулись армяне и греки-торговцы; паника, вопли женщин, плач детей, невероятная толчея — все это оттеснило запоздавших солдат, многие из которых были ранены. Кто залег, отстреливаясь и прикрывая обезумевших от ужаса жителей, кто упрямо рвался к заветной калитке, но большинство бросилось искать спасения в запутанных лабиринтах старого города. Почти все эти солдаты были либо убиты на месте, либо схвачены, встретив вместо помощи выстрелы из-за угла. Вспыхнувшая на улицах разрозненная стрельба и крики вскоре затихли: враждебный город и осажденная крепость затаились, словно прислушиваясь друг к другу, и даже команды в цитадели отдавались в этот первый вечер осады настороженным шепотом. Проходя двором, забитым ставропольцами, Гедулянов подумал, что приглушенность эта оттого, что в дальней комнате умирает сейчас Ковалевский.

Подполковник мучительно расставался с жизнью. Волокли его на бурке торопливо, влопыхах, часто роняя; тогда он еще сохранял сознание, и все толчки и броски отдавались в огнем горевшем животе: ему казалось, что курдский свинец продолжает все глубже и глубже проникать в него при каждом сотрясении, разрывая ткани и отравляя кровь. Но он был воин, он знал, что такое паника в бою, и поэтому сосредоточился на одном: не вскрикнуть, не застонать, задавить боль и стиснуть зубы.

Не стонал он и сейчас, хотя боль все росла и росла в нем, точно большой мохнатый паук. Паук этот ворочался там, внутри, как живой, вонзаясь в беззащитные внутренности, терзая их нестерпимо вспыхивающей болью, от которой подполковник покрывался липким холодным

потом. Сидя у изголовья, Тая то и дело осторожно вытирала его лоб и лицо, и он все время видел ее глаза — огромные, наполненные не ужасом, а болью. А Китаевский лишь беспомощно разводил руками да без толку рылся в походной аптечке. Гедулянов сидел с другой стороны, держал подполковника за руку и что-то говорил: об отряде, о крепости, об отступлении — Ковалевский не слушал. Ему уже не нужно было ни прошлое, ни настоящее. Необходимостью стало будущее, которого у него не было, но о котором он не переставал думать. И молчал, не отвечая на вопросы и никак не отзываясь на доклад Гедулянова.

— Он в сознании? — тихо спросил капитан, уловив это странное безразличие.

Максимилиан Казимирович не успел ответить. Подполковник с трудом разлепил сухие, провалившиеся губы:

— Штоквича.

— Я сам, сам, не беспокойтесь, — поспешно забормотал Китаевский, бросаясь к дверям.

— Матери скажешь — убит сразу, — сказал подполковник, пристально глядя в Тайны глаза. — Сразу. Не мучился.

Оттого, что отец впервые за эти часы обратился к ней, Тая не выдержала. Слезы сами собой потекли по щекам, а глаза оставались, как прежде, полными боли и отчаяния. Не в силах ничего выговорить, боясь, что разрыдается, она лишь часто закивала, и в этот момент вошел Штоквич. Он уже знал, что подполковник безнадежен, что страдать ему осталось считанные часы, но думал не о нем и не об отступлении, а о том лишь, что предстоит сделать. И потому сразу же, еще в дверях, сказал сурово и непреклонно:

— Вы поступили в армию плакальщицей или сестрой милосердия, сударыня? По штатному расписанию — сестрой, а посему извольте исполнять долг: лазарет нуждается в вашей помощи.

И посторонился, давая дорогу. Тая поспешно встала, не зная еще, как поступить: остаться ли с умирающим отцом или исполнять то, что приказано. Но Ковалевский из последних сил улыбнулся ей ободряющей, мягкой улыбкой, и Тая, поцеловав его в потный лоб, поспешно пошла к выходу.

— Обождите за дверь, — внезапно сказал Штоквич; дождался, когда она выйдет, сказал Гедулянову: — Проводите ее дальними коридорами, чтобы не слышала криков: курды режут армян в городе.

Гедулянов молча вышел. Штоквич плотно прикрыл дверь, прошел к табурету, сел, положив на острые колени крепко сжатые кулаки.

— Вы самая большая потеря наша, — сказал он наконец. — Самая тяжелая потеря.

— Из пушек не бьют? — борясь со все возрастающей, нечеловеческой болью, спросил Ковалевский. — Противник не открывал артиллерийского огня?

— У них нет пушек. Пока, во всяком случае, нет.

— Скверно.

— Что? — Штоквич нагнулся к умирающему. — Вам скверно?

— Скверно, что у них нет пушек, — раздельно сказал Ковалевский. — Без пушек они не станут вас штурмовать.

Он сказал «вас штурмовать», уже отрицая себя, уже думая о других, о тех, кого оставлял, и о том, кто оставил его самого сторожить Ванскую дорогу. Штоквич уловил первое, но не понял второго.

— Ну и слава богу.

— Надо заставить их штурмовать. Заставить. Задержать тут, у Баязета. Иначе... — Подполковник крепко стиснул зубы, переживая, когда утихнет очередной накат боли, когда разожмет челюсти этот страшный мохнатый паук, рожденный курдским свинцом.

— О чем вы? — сдерживая раздражение, спросил Штоквич. — Цитадель не приспособлена к обороне, она стара и неудобна. Пусть себе идут куда угодно и курды, и Шамиль, и вся эта сволочь.

— Они не пойдут куда угодно. Они пойдут в Армению, капитан. Штоквич долго молчал, поглаживая колени худыми нервными пальцами. Он догадался, чего боится подполковник, но не знал, как можно помешать восставшим курдам и черкесам Шамиля сделать это.

— Вы просите меня привязать противника к Баязету?..

— Я не прошу, — строго перебил Ковалевский. — Я приказываю. Именем генерала Тергукасова я назначаю вас старшим.

— Я интендант, — криво усмехнулся Штоквич. — Я понимаю, что полковника Пацевича нельзя брать в расчет — он уже растерялся, — но есть же, в конце концов, капитан Гедулянов, ваш помощник. Почему же именно я?

— Потому что вы жестоки, Штоквич, — выдохнул подполковник. — Вы найдете способ, как заставить врага убивать вас, а не армянских женщин и детей.

Он замолчал. Молчал и Штоквич, сдвинув брови и продолжая машинально поглаживать ладонями колени. Потом сказал:

— Благодарю, полковник. Я исполню свой долг.

— Одна просьба... — Даже сейчас, преодолевая боль и уже чувствуя, как снизу, от ног подкатывается цепенящий последний холод, Ковалевский говорил смущенно.

— Сейчас я пришлю вашу дочь.

— Нет, не то. Извините, глупость, конечно.. Не сбрасывайте мое тело со стены. Тае будет тяжело это.

— Я предам ваше тело земле. Позвать ~~вашу~~ дочь?

— Если возможно. И оставьте нас с нею вдвоем.

Штоквич резко выпрямился. Качнулся, точно намереваясь шагнуть к дверям, но вдруг деревянно согнулся, коснувшись губами лба умирающего.

— Прощайте.

Отослав Таю к отцу, Штоквич переходами — они были узки, темны и запутанны, и комендант подумал, что следует сделать проломы, — направился к воротам. И чем ближе подходил он к ним, тем все громче слышались крики, треск костров и пожаров и редкие выстрелы.

У входа в первый двор, где бестолково сновали солдаты и казаки, возбужденно переговариваясь и ругаясь, Штоквич наткнулся на офицера. Молодой поручик сидел на камне, закрыв лицо руками, раскачиваясь и глухо бормоча. Бормотал поручик по-грузински — Штоквич жил в Тифлисе и понимал язык, — то раздражаясь проклятиями, то вспоминая сестру и мать, и комендант остановился.

— Что с вами, поручик?

— Не могу! — Чекаидзе вскочил, обеими руками ударив себя в грудь. — Женщин насилюют, стариков режут, детей в огонь бросают, а мы за стенкой прячемся? Вели открыть ворота, капитан: лучше в бою умереть, чем это видеть. Как я в глаза матери своей посмотрю? Что отвечу, если спросит: а ты где был в это время, сын мой? Как невесте скажу, что люблю ее, как?

По заросшему черной щетиной лицу Ростом от гнева и бессилия текли слезы. Всхлипывая, он мотал головой и мял на груди мундир.

— Вы потеряли бритву? — как можно спокойнее спросил Штоквич. — Одолжите у кого-нибудь и немедленно побрейтесь.

— Не понимаю...

С крыши второго этажа прогремел выстрел, и тотчас же раздался дружный солдатский хохот. Злой и торжествующий.

— Попал!

— Мордой в костер свалил!

— Молодец, юнкер! Ай да выстрел!

— Кто там стреляет? — спросил Штоквич примолкшего поручика.

— Не знаю точно. Кажется, юнкер Уманской сотни Проскура.

— Хорошо стреляет?

— Руки не дрожат, — криво усмехнулся Ростом.



— Вы тоже постарайтесь не порезаться, когда начнете бриться, — сухо сказал комендант.

Он поднялся на плоскую крышу второго этажа, где стояли несколько казаков и солдат и откуда юнкер Проскура лежа вел редкий прицельный огонь.

— Пушку сюда не втащить, — тихо сказал кто-то за спиной.

Штоквич оглянулся. Перед ним стоял молодой поручик.

— Артиллерист?

— Девятнадцатой артиллерийской бригады поручик Томашевский.

— Соберите всех господ офицеров. У меня. Всех.

Штоквич не знал, что в тот момент, когда он отдал первое приказание как старший в цитадели, подполковник Ковалевский в последний раз чуть сжал пальцы дочери, судорожно вздохнул и затих навсегда. А Тая до рассвета сидела не шевелясь, чувствуя, как холодеют руки отца. И уже потом, много дней спустя, ее долго и нудно отчитывал Китаевский, которому с большим трудом удалось правильно сложить на груди руки покойного.

Офицерское собрание, которое созвал Штоквич, решало чрезвычайно важный для коменданта вопрос. Капитан Штоквич поставил его со свойственной ему прямотой:

— Положение наше крайне опасное, если не безнадежное. Мы обложены со всех сторон, связи наши нарушены, противник жесток и беспощаден, а силы далеко не равны. При создавшейся обстановке я как комендант цитадели, где размещены остатки наших частей, решительно объявляю себя старшим в должности и требую от всех вас беспрекословного подчинения, невзирая на чины и звания.

— Если все решено, то к чему этот совет? — благодушно спросил хан Нахичеванский. — Что до меня, то я не рвусь в главнокомандующие.

— Позвольте, позвольте. — Полковник Пацевич встал, выпятив грудь. — Я не понимаю. В присутствии штаб-офицеров вы, господин, проходящий по санитарной части, осмеливаетесь узурпировать... Да, да, именно узурпировать, иначе не могу выразить...

— Я комендант крепости, — холодно прервал Штоквич. — Если вам, господин полковник, не угодно мне подчиняться, я вас не неволю. Но прошу в этом случае покинуть вверенную мне должностью моей территорию.

Пацевич презрительно дернул головой, сел, но тотчас же вскочил снова.

— А где же турки, господин комендант крепости? Где турки, которыми нас так пугали? Где они? Где?

— А вам турок не хватает? — усмехнулся командир уманцев войсковой старшина Кванин. — Молите бога, что их нет доселе. — Он помолчал. — Уманцы в вашем распоряжении, капитан.

— Ставропольцы тоже, — подхватил Гедулянов.

— И хоперцы, — из другого угла отозвался Гвоздин.

— Все в вашем распоряжении, господин капитан, — громко сказал стоявший у дверей поручик Томашевский. — Вы совершенно правы: ситуация требует единоначалия и беспощадной строгости.

— Я не признаю этого! — крикнул Пацевич и демонстративно направился к выходу, расталкивая офицеров. — Это самоуправство и попрание чести старших в чинах и званиях. Я доложу об этом самоуправлению государю. Вас ждет суд, Штоквич!

Последние слова он прокричал уже из коридора. Офицеры хмуро молчали, только Томашевский презрительно кривил тонкие губы.

— А вы, хан, тоже доложите о моем самоуправстве? — спросил комендант.

— Нет, не доложу. — Хан грузно поерзал на неудобной скамье. — Только не поручайте мне ничего. Я кавалерист и соображаю, когда сижу в седле. Кроме того, я числюсь больным.

— Благодарю, хан. Вы свободны. Командиров частей прошу задержаться.

В узком кругу Штоквич сказал то, что так беспокоило умирающего Ковалевского: путь на Игдырь и далее был практически открыт для восставших курдов, черкесов Шамиля и конных банд башибузуков. Мало того что это ставило обремененный беженцами и обозами отряд Тергукасова в чрезвычайно сложное положение, отрезая его от баз, — это означало поголовную резню мирного населения.

— Вы сегодня видели, господа, что ожидает пограничную полосу, если мы не оттянем противника на себя. Следовательно, первейшая задача наша — заставить эту орду уничтожить нас.

— Без артиллерии они на штурм не пойдут, — заметил Томашевский. — А турок что-то пока не видно.

— Если вздумают уходить и оставят заслон — прорвем и ударим в спину, — сказал Гедулянов. — Но это крайняя мера: в поле мы долго не продержимся.

— Готовить цитадель к штурму, — распорядился Штоквич. — Заложить окна, оставив амбразуры. Запастись водой на случай осады. Составить расписание дежурных частей, усиленных караулов и специальных команд. Пока все. Свободны, господа. Прошу прислать ко мне драгомана генерала Тергукасова.

Молодой человек вошел почти беззвучно и молча остановился у двери. Штоквич отрывисто спросил:

— Где турки?

— Не знаю. — Тер-Погосов пожал плечами. — Отряд Фаика-паши двигался к Баязету, о чем мне приказано было известить. Я известил.

— Знаете курдский язык?

— Я вырос в этих местах.

— Мне необходимо во что бы то ни стало доложить генералу Тергукасову, что мы сделаем все возможное, чтобы заставить противника штурмовать цитадель, но... — Штоквич пожал плечами, — там должны быть готовы к возможному вторжению.

— Я понял вас, господин капитан.

— Это не приказ, поймите. Это мольба. Если исполните, обещаю вам, что хотите: золото, Георгиевский крест...

— Нет.

— Что — нет? — с раздражением переспросил Штоквич.

— Золота мне не нужно, а ордена я добуду сам. Если я исполню то, о чем вы сказали, я хотел бы получить за это право сражаться в качестве боевого офицера.

— Ищете славы? — бледно усмехнулся комендант.

— Я армянин, но я всю ночь простоял на крыше. Я никогда не думал, что смогу выдержать то, что видели мои глаза. Обещайте же дать мне возможность с наибольшей пользой применить к делу мою ненависть.

— Я обещаю исходатайствовать для вас офицерский чин, Тер-Погосов.

— Благодарю вас, капитан. Уже светает, и мне пора.

Молодой человек поклонился и вышел. Штоквич долго стоял в раздумье, потом сел к столу и написал первый приказ. В третьем параграфе этого приказа значилось:

*«3. Сего числа предать земле тело умершего от ран, полученных в деле 6 июля, подполковника Ковалевского. Могилу вырыть в дальнем подвале северного фаса на глубину в две сажени; после опущения тела засыпанную землю утрамбовать».*

Подписывая приказ, комендант еще не знал, что подполковника Ковалевского и в самом деле уже нет в живых. Он лишь логически предполагал это и помнил последнюю просьбу.

Утром следующего дня по распоряжению коменданта во внутреннем дворе цитадели были выстроены представители всех воинских частей. По знаку Штоквича солдаты взяли ружья «на караул», офицеры обнажили сабли, и из Тайной комнаты капитан Гедулянов, поручик Чекаидзе, полковник хан Нахичеванский, войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и поручик Томашевский вынесли гроб с телом подполковника Ковалевского, накрытый знаменем 2-го батальона 74-го Ставропольского полка. Следом за гробом шли Тая и Максимилиан Казимирович. Барабанщики ударили дробь, гроб установили в центре каре, и Штоквич встал в головах. Он никогда не произносил речей, да и не любил их и поэтому читал по бумаге.

— Славные русские воины! — Даже сейчас, у гроба, он говорил хмуро и озабоченно, потому что не выносил пафоса, но не избежал его в заготовленной речи. — Многотысячный неприятель окружил нас со всех сторон. Стойко выдержанная осада прославит отечество наше, веру и оружие. Вы же, выдержавши эту осаду, станете истинными героями, которых будут благословлять все народы России, потому что, стойко удерживая эту крепость, вы удержите тем самым и хищные орды варваров от вторжения в пределы Эриванской губернии, где он в противном случае предаст все огню и мечу, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Я не обещаю вам ни скорого спасения, ни самой жизни, но я обещаю вам большее: я обещаю вам честь, если мы все дружно, не щадя живота своего, не допустим хищников в пределы своего отечества. Напоминаю вам, воины, что полвека назад, в двадцать восьмом году, деды наши защищали эту самую крепость двенадцать дней, перенося героически все труды и лишения. Память о них не умерла и не умрет во веки веков, как не умрет слава героически павшего в бою полковника Ковалевского в благодарной памяти наших потомков.

Штоквич аккуратно сложил бумагу, спрятал ее в карман и, неуклюже преклонив колено, поцеловал знамя. И вновь тревожно и печально ударили дробь барабаны.

— Приказываю предать покойного земле со всеми воинскими почестями за исключением ружейного залпа, — сказал комендант, поднимаясь. — Залпы в его честь будут направлены в неприятеля.

Офицеры подняли гроб, и траурная процессия медленно двинулась к подвалам по узким, запутанным коридорам. Штоквич шел позади, неся фуражку на сгибе локтя. Он не успел проводить покойного: за вторым поворотом его нагнал юнкер Леонид Проскура.

— Господин капитан, у ворот парламентареры. Просят срочного свидания с вами.

— Передайте капитану Гедулянову, что я жду его на крыше второго этажа. — Штоквич надел фуражку. — И объясните дочери покойного причину нашего отсутствия.

Он вернулся в первый двор и поднялся на крышу. Отсюда хорошо были видны парламентареры: трое всадников и пеший, державший в руках казачью пику с белой тряпкой. Увидев коменданта, пеший начал усиленно размахивать тряпкой, но Штоквич не торопился с ответом, внимательно разглядывая всадников. Один из них, в белой черкеске с ослепительно вспыхивающими на солнце золотыми газырями, был заметен не только одеждой, дорогим оружием и кровным, белой масти аргамаком: в посадке его было нечто привычно властное.

— Видать, набольший ихний, — сказал Штоквичу казак из охранения, расставленного по стенам. — Паша или князь, а, ваше благородие?

— Это Шамиль, — сказал Штоквич. — Старший сын великого имама. Приготовь лестницу, видишь, гости пожаловали.

Раньше Гедулянова на крыше оказался Пацевич. Узнав о парламентарях, полковник примчался в крайнем возбуждении.

— Что, парламентары? — задыхаясь от быстрого подъема, спросил он. — Вот видите, я же говорил, я говорил. Надо принять с честью, надо распорядиться...

— Господин полковник, — Штоквич сквозь зубы цедил слова, не глядя на Пацевича, — с момента вчерашнего совещания вы частное лицо. Из уважения к вашему званию я разрешаю вам присутствовать при моем разговоре с парламентарями, но если вы...

— Ваш тон возмутителен, капитан!

— Если вы, — холодно продолжал комендант, — хоть раз вмешаетесь в переговоры, я отправлю вас под арест без всякого промедления.

— Вы... Вы ответите! — Полковник затрясся. — Полевой суд. Суд!

— Я не меняю решений, господин полковник. Надеюсь, вы хорошо поняли мои слова и вам не придется проследовать под конвоем на глазах у всего гарнизона.

Штоквич нарочно говорил громко, чтобы слышали стоявшие поодаль казаки. А сказав, замолчал, продолжая смотреть на Шамиля, и Пацевич напрасно что-то шипел за его плечом.

Наконец пришел Гедулянов, сопровождаемый юнкером. Проскура молча отковыряв Штоквичу в знак исполнения приказаний, отошел к казакам, и Гедулянов, не обратив никакого внимания на Пацевича, подошел к парапету.

— Aga! — значительно сказал он.

— Вот именно, — подтвердил Штоквич. — Сбросьте парламентарям лестницу, юнкер.

Поднимались трое: один из верховых остался с лошадьми. Гази-Магома Шамиль лез первым, легко справляясь с ускользавшими из-под ног ступеньками; за ним следовал молодой джигит в черной черкеске с серебряными газырями, а пеший — он был старше, задыхался и явно побаивался высоты — далеко отстал от них.

Шамиль спрыгнул с парапета, коротко кивнул, небрежно коснувшись рукой газырей, и молча остановился перед Штоквичем. К нему тут же присоединился джигит в черной черкеске, поклонившийся русским с изящной восточной вежливостью, а последний, пыхтя, все еще полз наверх. Проскура помог ему перебраться на крышу.

— Имею высокую честь представить русским господам офицерам генерал-лейтенанта свиты его величества султана Гази-Магому Шамиля и его адъютанта князя Дауднова, — задыхаясь, торопливо выговорил запоздавший. — Я есть переводчик Таги-бек Баграмбеков.

Штоквич, Гедулянов и Пацевич молча поклонились. Гази-Магома что-то негромко и быстро сказал переводчику.

— Являетесь ли вы, господа, вождями гарнизона или их полномочными представителями?

— Я командир гарнизона капитан Штоквич. Мой заместитель — капитан Гедулянов, — сказал комендант, сознательно назвав себя командиром и не представив Пацевича.

— Мы прибыли с мирными предложениями, — сказал Таги-бек Баграмбеков, доставая из кармана бумагу и разворачивая ее. — Разрешите зачитать вам предложения, составленные лично его превосходительством генералом Шамилем. — Он откашлялся и начал читать, нарочно произнося слова так, как они были написаны, хотя до этого говорил по-русски вполне правильно: — «Севодни мы присланы здесь из поручения правительства его величества султана для уверения вас, что в моей личности может сложить оружие ваш гарнизон, и уверяю вас, что вся ваша личность будет обеспечена, а вчерашний поступок здешних жителей будет строго наказан и вперед ничего подобного не повторится, и я все мои средства употреблю вас честно сохранять от всех худых последствий. Генерал-лейтенант свиты его величества султана Шамиль».

Закончив чтение, переводчик с поклоном передал бумагу Штоквичу. Документ оказался составленным на русском языке, полную безграмотность которого и продемонстрировал при чтении Баграмбеков. Комендант заметил, какой презрительной насмешкой блеснули на миг глаза переводчика при чтении, и понял, что демонстрация эта была не случайной. Вместе с Гедуляновым он еще раз внимательно перечитал письмо (Пацевич тоже пытался его прочесть, но Штоквич не шевельнулся, а из-за его плеча полковник мало что увидел); затем Штоквич неторопливо спрятал документ в карман и сказал, обращаясь к Шамилю:

— Разве ваш великий отец не говорил вам, что русские берут крепости, но никогда не сдают их?

Шамиль невозмутимо молчал, пока переводчик не закончил перевода. Потом воздел ладони к небу и коротко ответил.

— Все в руках аллаха, — пояснил Таги-бек Баграмбеков.

В этот момент юнкер Проскура, смело тронув коменданта за плечо, громко доложил:

— Извините, господин капитан, весьма срочное дело. Соблаговолите отлучиться со мной.

— Что такое, юнкер? — резко спросил Штоквич. — Я веду переговоры, извольте не мешать и знать свое место.

— В гарнизоне чрезвычайное происшествие, — продолжал рапортовать юнкер. — Я еще раз прошу извинения у господ офицеров и настоятельно прошу уделить мне минуту для важнейшего дела, кое никто, кроме вас, решить не может.

— Черт знает чему вас учили в училище, — ругался Штоквич, следуя тем не менее за Проскурой. — Каким бы ни было происшествие, а вы получите выговор.

Юнкер отвел коменданта за ближайший поворот, обернулся и протянул скатанный в шарик клочок бумаги.

— Читайте, господин капитан.

Штоквич с недоумением посмотрел на худого, с бледным, чахоточным лицом юношу и осторожно расправил бумажку.

*«Фаик-паша стоит на Диадинской дороге. Шамиль не имеет артиллерии. Его задача: прорваться на Кавказ и вновь объявить Газават под знаменем пророка. Курды без него не пойдут».*

— Тут нет подписи. Откуда эта записка?

— Мне сунул ее переводчик, пока я помогал ему подниматься. Прошу простить, но я прочел ее, и мне она показалась важной.

— Благодарю, юнкер, — тихо сказал Штоквич. — Об этом ни слова. Никому.

Поскольку Штоквич ушел, а парламентарии невозмутимо молчали, полковник Пацевич счел возможным кое-что уточнить. Объявив себя представителем высшего командования, он попросил гарантий, обеспечивающих почетную капитуляцию.

— Мне кажется, господа, что если вы не потребуете сдачи знамен, оставите офицерам личное оружие и обеспечите нас сильным конвоем, мы самым серьезным образом оценим ваши предложения.

Баграмбеков не переводил, пауза затягивалась. С неудовольствием посмотрев на своего переводчика, Шамиль ответил полковнику:

— Я лично отберу конвой. Я гарантирую...

— Я тоже гарантирую конвой полковнику, — резко перебил Штоквич, быстро подходя к ним. — Причем казачий, с сорванными погонами и руками за спиной. Юнкер Проскура!

— Я умоляю, — поблуднев, шепотом сказал Пацевич. — Не позорьте меня, капитан.

— Будьте готовы исполнить мое приказание, юнкер, — холодно сказал комендант. — Что же касается ваших предложений, господа, то я не нахожу в них смысла. Мой гарнизон в надежном укрытии, обеспечен боевыми припасами, водой и продовольствием, а вы перед стенами и, увы, без артиллерии. Счет, как видите, в мою пользу, но я готов про-

явить благородство. Вы, генерал, без промедления усмиряете курдов, загоняете их обратно в горы и приводите к полной покорности. Затем ваши головорезы складывают оружие, а вы лично на коленях умоляете простить вам измену собственному честному слову, которое вы дали когда-то моему государю. — Шамиль дернулся, как от удара, но Штоквич жестом остановил его. — Если вы исполните это, я постараюсь сохранить вам жизнь.

— Извините, я перевожу не буквально, — виновато сказал Баграмбеков. — Ваши слова слишком резки.

— Этот лгун и клятвопреступник не нуждается в переводе, — резко сказал комендант. — Предупреждаю, мы разговариваем последний раз. Не трудитесь вторично посылать парламентаров: я их высеку, а вас с особым старанием.

— Я не смею этого слышать! — испуганно прошептал переводчик. — Это сын великого Шамиля.

— Ошибаетесь, — презрительно улыбнулся Штоквич. — Как говорится, Федот, да не тот: и у льва порой рождается шакал.

Гази-Магома разразился горячей, путаной, полной ненависти тирадой, которую Баграмбеков переводить не стал. Выкричавшись, Шамиль взял себя в руки и сказал по-русски почти спокойно:

— Послезавтра я пришлю парламентарера.

— В отличие от вас я не изменяю своему слову, Шамиль.

Шамиль не поклонившись пошел к лестнице. У парапета задержался, пропустив вперед молчаливого князя Дауднова, резко повернулся и с перекошенным лицом крикнул Штоквичу:

— Послезавтра я повторю условия сдачи. Но тебя, гяур, собака, они не будут касаться! Ты будешь умолять меня о смерти, визжать, как свинья, и ползать по собственному калу!

Штоквич молча поклонился.

— Вы сошли с ума! — закричал Пацевич в полном отчаянии. — Вы погубили нас всех, всех, слышите?

— Юнкер, отведите полковника в его комнату, — устало распорядился Штоквич. Подождал, пока Проскура, поддерживая полковника, не исчез в проеме лестницы, пристально глянул на Гедулянова. — Вы тоже считаете, что я вел себя неправильно, капитан?

— Скорее ошибочно, — вздохнул Гедулянов. — Зачем вы сказали, что у нас достаточно воды?

6

Утро третьего дня началось с перестрелки. Огонь противника не причинял осажденным особых хлопот, казаки со стен и крыш отвечали редкими выстрелами, все казалось спокойным, и офицеры собрались во втором дворе у госпитального маркитанта за завтраком.

— Чего пуляют? — удивлялся Гвоздин. — Патронов, что ли, много?

— Развлекаются, — сказал Кванин. — Скучно им стало, резать больше некого.

Гедулянов молчал, погруженный в свои думы: о погибшем командире, лежащем в глухом подвале на двухсаженной глубине, о Сидоровне, оставшейся в далекой Крымской с двумя дочерьми и почти без средств, и главным образом — о Тае. Теперь он стал думать о ней постоянно и совершенно по-иному, теперь она перестала быть просто с детства знакомой девочкой: после смерти Ковалевского капитан ощутил свою особую ответственность за нее. Теперь он обязан был заменить ей отца, стать главной ее опорой, теперь он, он один отвечал за ее жизнь и судьбу, и эта ответственность не только не обременяла его, а ощущалась радостно и немного тревожно. Он не пытался понять, откуда вдруг возникло это ощущение, — он просто принял его как должное.

— Плохо стреляют, — зло сказал Чекаидзе. — Наши, говорю, плохо стреляют.

— Да? — озадаченно спросил Штоквич: он все время настороженно прислушивался не к стрельбе, а к чему-то, что должна была, как казалось ему, прикрывать эта бестолковая, неприцельная стрельба. — Вы правы, поручик. Господа казацьи командиры, прошу отрядить от каждой сотни по десять лучших стрелков в мой личный резерв. Командовать этим резервом назначаю юнкера Проскуру.

Проскура вскочил. Худое, костлявое лицо его зарозовело от радости и смущения. Но сказать он ничего не успел, потому что с балкона минарета раздался крик наблюдавшего унтер-офицера:

— Пыль на дороге, ваши благородия! Густая пыль, идет ктой-то! Наши, поди, наши на выручку идут!

— Наши идут! Наши-и!..

Эти слова вырвались из истомленных неизвестностью и ожиданием солдатских душ стихийно и одновременно. Это был единый восторженный, безудержный порыв: кричали, бестолково металась по двору, обнимались, били в барабаны, трубили в рожки. Многие бросились на стены, потому что осаждающие прекратили стрельбу, что окончательно убедило гарнизон в подходе русских войск. Оставшийся внизу в первом дворе Гедулянов напрасно призывал к порядку: его никто не слушал.

Штоквич поднялся на стены одним из первых: действительно по дороге, ведущей к Баязету, двигался огромный клуб пыли. В первое мгновение он тоже ощутил острую радость, но тут же, прикинув, понял, что пыль эта двигалась по Диадинской дороге.

— Назад! — закричал он. — Господа офицеры, к частям! Занять оборону!

Но его и не слышали и не слушали. Общее безумство продолжалось, и какие-то добровольцы уже копошились у крепостных ворот, разбирая баррикаду. Поняв, что приказами сейчас ничего не добьешься, Штоквич, прыгая через ступеньки, сбежал во двор, расталкивая солдат, пробился к воротам.

— Назад! — надсадно кричал он. — Все назад! Назад!

Выхватив револьвер, комендант дважды выстрелил в воздух. Это подействовало: стоявшие подле отступили, но весь гарнизон по-прежнему орал, суматошно бегал, дудел в рожки и бил в барабаны.

— Застрелю! — Штоквич сорвал голос и говорил хрипло. — Не смей без приказа разбирать завал. Не смей!

Слышали его только те, кто стоял вблизи: он уже не мог говорить громко. И солдаты настороженно молчали, чувствуя за спиной поддержку товарищей, переставших от счастья и радости ощущать себя воинами. Но тут сквозь растущее неистовство донесся тяжелый скрип, и все оглянулись: из второго двора, натужно хрипя, артиллеристы на себе выкатывали пушку. Томашевский распорядился установить ее стволом к воротам, проверил прицел и, одернув китель, строевым шагом направился к Штоквичу.

— Господин капитан, орудие заряжено картечью и готово к открытию огня! — громко доложил он.

— Благодарю, поручик. — Штоквич облегченно вздохнул. — Это турки. Фаик-паша по Диадинской дороге.

— Я понял, господин капитан.

— Где Гедулянов?

— Приводит в чувство ставропольцев.

— Передайте ему...

Рев заглушил слова Штоквича, и первый турецкий снаряд ударился о внутреннюю стену двора. Грохот перекрыл крики, треск барабанов и гудение ротных рожков. И весь двор замер.

— Гарнизон, к бою! — собрав все силы, в полный голос прокричал Штоквич.

Он хотел добавить что-то еще, но из горла рвался бессвязный сип, и комендант только напрасно разевал рот. Второй снаряд разорвался, опять ударившись о внутреннюю стену, и не успел заглохнуть грохот разрыва, как снаружи, из-за стен цитадели раздалась частая ружейная стрельба и дикие крики ринувшихся на штурм курдов. А снаряды уже рвались один за другим, осколки звенели по всему двору, крошился кирпич, и в удушливом дыму бестолково металась люди. Ликование перешло в панику.

Капитан Гедулянов не расслышал взрыва второго снаряда: что-то со страшной тупой силой ударило в голову, и он отлетел в сторону, сразу потеряв сознание. Очнулся, однако, он быстро — ему показалось сперва, что и сознания-то он не терял, настолько ничего не изменилось: грохот артиллерийского обстрела, паническое метание защитников, крики штурмующих, частая беспорядочная стрельба, — но все же первым, что он увидел и осознал, было склоненное над ним лицо Таи. Она перевязывала ему голову, то и дело точно в беспамятстве целуя его грязное, измазанное кровью и пороховой копотью лицо.

— Очнулся? Родной мой, родименький, вы живы?

— Тая, — с трудом сказал он, — ступай отсюда, Тая, не дай бог... Что же я тогда Сидоровне скажу?

— Молчите, молчите... — Вновь разорвался снаряд, и она вновь приникла к нему. — Я унесу вас, унесу. У меня достанет сил...

И тут Гедулянов вдруг ясно увидел полковника Пацевича. Именно в друг, внезапно, точно Пацевич выпал из общей картины суеты, бестолковости, криков и грохота. Увидел, и все сразу же исчезло из его сознания: и боль от раны, и метавшиеся солдаты, и начавшийся штурм, и даже Тая, — Пацевич торопливо поднимался по лестнице на крышу второго этажа, держа в руках палку с привязанной к ней углом большой белой простыней. Увидел и уже не терял из виду и, отодвинув Таю рукой, встал, опираясь спиной об избитую осколками каменную кладку. Он вставал медленно, потому что сил почти не было, но встал, еще раз решительно оттолкнул шагнущую к нему Таю, и правая рука его привычно нащупала кобуру. К тому времени Пацевич уже взобрался на крышу, уже замахал простыней, точно гоняющий голубей мальчишка. Гедулянов достал револьвер, взвел курок, положил ствол для верности на сгиб левого локтя и выстрелил. И сполз по стене, так и не увидев, как закачался Пацевич, как вывалился из его рук самодельный белый флаг и как упал он, корчась от боли, на каменные плиты крыши...

Зато это увидели ставропольцы и крымцы, хоперцы и уманцы, стрелки и артиллеристы. Увидели Штоквич, Ростом Чекаидзе, сотник Гвоздин и войсковой старшина Кванин. И Кванин закричал первым:

— Братцы, не выдавай! Бей их, сволочей, братцы! Не позорь Россию!..

В каждом внезапном — да и не только во внезапном! — бою бывает мгновение, которое оказывается переломным. Уже трус бежит, уже малодушный падает на землю, уже и бывалый, случается, теряет уверенность в себе, в своем мужестве и упорстве; уже враг, чувствуя победу, переходит за ту грань, за которой почти не требуется дополнительных усилий; но неожиданная случайность нарушает создавшееся положение, выравнивает если не силы, то отвагу, и трус с удесятеренной яростью поворачивает назад, малодушный бросается в атаку, а засомневавшийся обретает новые силы и несокрушимую уверенность. И тогда бой как бы поворачивается вокруг невидимой оси, и торжествующий победитель, исчерпав порыв, без оглядки откатывается назад.

Таким поворотным моментом было неожиданное, необъяснимое падение полковника Пацевича, по собственному почину поднявшего флаг безоговорочной капитуляции. В сумятице боя никто не видел, что в него снизу, со двора, стрелял раненый Гедулянов; полковник за-  
**вертелся и рухнул, выронив белую тряпку, и для всех это стало как бы**



знаменем свыше, сигналом к яростному, упорному сопротивлению, новой вехой в обороне цитадели. И люди не искали ни товарищей, ни командиров: они искали боя и начали его там, где их застиг этот момент. Все стены, бойницы, крыши, балкон минарета и даже купол мечети в считанные секунды были заполнены солдатами и казаками, тут же открывшими огонь по штурмующим стены и ворота толпам. И враг бежал, оставив у стен крепости штурмовые лестницы, веревки с крючьями и свыше четырехсот трупов. А через полчаса прекратили обстрел и турецкие батареи.

К вечеру, когда были устранены последствия штурма, заделаны проломы и пробиты новые бойницы, когда ротные командиры проверили своих людей и подсчитали потери, когда раненые были отправлены в лазарет, когда позаботились о мертвых и накормили живых, к Штоквичу пришел Китаевский. Он еле держался на ногах после бесчисленных перевязок и говорил еще тише, чем обычно. Доложив коменданту о раненых и принятых мерах, особо упомянул о Гедулянове.

— К счастью, у Петра Игнатьевича скорее контузия, чем ранение: осколок прошел по касательной. Завтра намеревается приступить к исполнению обязанностей, почему я и не включил его в список выбывших из строя.

— Я не видел капитана на стенах. Где он был ранен?

Окончательно сорвав голос, комендант говорил свистящим шепотом, и потому разговор их походил на совещание заговорщиков.

— Тая говорила, что в первом дворе. В начале обстрела.

— А что с полковником Пацевичем?

— Я с трудом извлек пулю. — Китаевский замялся. — Это странное ранение, господин капитан. Пуля попала в спину.

— Ничего странного, Пацевич слишком вертелся.

— Да, но характер ранения... Пуля вошла снизу. Снизу вверх, будто стреляли со двора.

— Со двора? — Штоквич внимательно посмотрел на Максимилиана Казимировича. — Что же, в бою все бывает.

— Но, видите ли... — Младший врач помолчал. — Полковник ранен револьверной пулей.

Он достал из кармана кителя завернутую в тряпочку пулю и аккуратно положил ее на стол перед комендантом. Штоквич с интересом взял пулю, долго осматривал ее. И неожиданно усмехнулся.

— Ошибаетесь Китаевский, это не револьверная пуля.

— Как не револьверная? — с обидой переспросил Максимилиан Казимирович. — Извините, милостивый государь, я всю жизнь служу в войсках...

— Это не револьверная пуля, — с особой весомостью сказал Штоквич, зажав пулю в кулаке. — Это пуля от турецкой винтовки «Пибоди — Мартини». Вы поняли меня, младший врач Китаевский? Так и напишите в медицинском свидетельстве: полковник Пацевич ранен пулей от турецкой винтовки системы «Пибоди — Мартини», коей на вооружении нашей армии нет.

— Но позвольте, господин капитан, я медик. Я по долгу службы и профессии своей обязан...

— Как вы относитесь к Гедулянову?

— Я? А почему... И при чем тут...

— Вы служили вместе с ним в Семьдесят четвертом Ставропольском полку.

— Да, служили. Много лет. Петр Игнатьевич прекрасный человек и прекрасный офицер, и... Все же я не понимаю, какое...

— Если Гедулянов прекрасный человек и офицер, вы напишете в заключении о ранении полковника Пацевича то, что я вам сказал. «Пибоди — Мартини», запомнили? Заключение покажете мне. Ступайте, Максимилиан Казимирович, я более не задерживаю вас.

Китаевский потоптался, недоуменно пожал плечами и пошел. Но комендант вдруг остановил его:

— Где лежит Гедулянов?

— Его поместила у себя Тая... То есть милосердная сестра Ковалевская.

— Благодарю. Ступайте-ка спать, Максимилиан Казимирович, вы очень переутомлены.

— Спасибо, — растерянно пробормотал Китаевский и вышел.

Как только за младшим врачом закрылась дверь, Штоквич разжал кулак, посмотрел на пулю и беззвучно затрясся от смеха. Потом вышел в коридор, поднялся на стену и, широко размахнувшись, швырнул пулю в сторону необычно притихшего вражеского стана. Спустился, постоял перед своей дверью и решительно направился в дальний двор, где сам когда-то выделил две комнатки милосердной сестре Таисии Ковалевской.

— Прощу, — сказала Тая в ответ на стук. — Пожалуйста.

Вошел Штоквич. Молча поклонился и остался у дверей, оглядываясь. Гедулянов лежал в первой комнатке на старом диване, укрытый солдатским одеялом. На голове его белела свежая повязка, лицо было чисто вымыто, а черная борода аккуратно расчесана.

— Проходите, прошу вас, — пролепетала Тая, намереваясь уйти во вторую комнату.

— Вы можете остаться, Таисия Леонтьевна. — Штоквич снял фуражку и шагнул к дивану. — Я пришел, чтобы выразить вам, господин капитан, свое восхищение и личную душевную признательность. По известным причинам я не могу объявить вам благодарность ни в приказе, ни перед строем, примите же ее в такой форме.

— Помилуйте, за что же? — растерянно улыбнулся Гедулянов.

— За отличную стрельбу, — значительно сказал комендант.

Капитан сразу перестал улыбаться. Обветренное, грубое солдатское лицо его стало хмурым и настороженным. Штоквич отложил фуражку, потянулся к висевшим на стене офицерским ремням, вынул из кобуры револьвер и повернул барабан.

— Все правильно, четыре пули. Хорошо стреляет тот, кто попадает в цель. Но тот, кто стреляет туда, куда нужно, и, главное, тогда, когда нужно, стреляет выше всех похвал.

Гедулянов по-прежнему смотрел колюче. Штоквич невесело улыбнулся, выбил из барабана стреляную гильзу, вставил в гнездо новый патрон, сунул револьвер на место и сел на край дивана.

— Я малопрятный человек, Гедулянов. Я трудно схожусь с людьми, у меня нет ни друзей, ни близких. Мало того, я был оклеветан и изгнан из армии, и только война вернула меня в ее ряды. Впрочем, это все лирика. — Штоквич помолчал, по привычке поглаживая колени. — Сегодня я уверовал, что в крепости есть по крайней мере один человек, который, как и я, во что бы то ни стало исполнит последний приказ полковника Ковалевского. Не смею рассчитывать на вашу дружбу, Петр Игнатьевич, но на мое особое к вам расположение вы всегда можете положиться. — Он встал и, помолчав, сказал иным, привычно непререкаемым тоном: — Вы потеряли сознание в самом начале штурма и ни разу не выстрелили из револьвера. Вы подтверждаете это, сестра Ковалевская?

— Да, — не задумываясь сказала Тая. — Я безотлучно находилась при капитане Гедулянове и готова подтвердить это под присягой.

— Благодарю вас, Таисия Леонтьевна, — с чувством сказал Штоквич. — Только, пожалуйста, не умывайте более капитана. На это я не отпущу воды даже для вас. Спокойной ночи.

Штоквич неуклюже шутил, но шутка оказалась пророчеством: ночью противник отвел воду. А в день ликования, паники, штурма и

боя часовых у бассейна поставить забыли, и к утру его уже вычерпали до дна. Осталось лишь в бочках, ведрах, офицерских самоварах и солдатских котелках. Об этом утром доложил коменданту дежурный по гарнизону сотник Гвоздин.

— Собрать всю воду в один каземат, — распорядился Штоквич. — К дверям надежную охрану. С сего часа воду отпускать только по моему письменному приказанию.

— Слушаюсь. — Сотник усмехнулся. — Воду отвели — значит, в осаду берут, так понимать надо? Турки с пушками подошли: обложат со всех сторон, постреливать будут, а курды с черкесами уйдут.

— Вы думаете? — быстро спросил Штоквич.

— А хрена тут кавалерии делать? Зря фураж жрать? Сам казак, знаю: не годны мы для осад. Уйдут они. На Игдырь: там заслоны слабые, прорвут, и... и все наше баязетское сидение кобыле под хвост, капитан.

Штоквич молчал, растерянно вертя в руках погасшую трубку. Гвоздин подошел к столу, сел напротив, сказал приглушенно:

— Не обидишься, если по-простому скажу? Ты правильно вчера с ними говорил, с парламентарями-то: мне казаки рассказали. Ежели опять пожалуют — сдержи слово. Мои ребята их так отдерут — месяц лежа жрать будут. Их обидеть нужно, понимаешь? Горца обидишь — он никуда не уйдет, пока позора не смоем.

Штоквич отложил трубку, встал, походил по комнате. Остановился перед Гвоздиным.

— А если парламентары не явятся сегодня?

— Должны явиться. Самолюбивы больно.

— Тогда... — Комендант опять походил по комнате, подумал. — Отберите казаков, в которых лично уверены. Если парламентары придут, эти казаки должны присутствовать при встрече и без колебания исполнить любое мое приказание.

— Исполнят. — Сотник улыбнулся. — Казаки верят вам, капитан. Мы тут беседовали промеж себя: верят.

— Благодарю, сотник. Ступайте.

Оставшись один, Штоквич тщательно побрился, не переставая думать о том, придет ли Шамиль парламентаров, а если придет, то хватит ли у него, у коменданта и руководителя обороны, мужества исполнить то, на что он решился во время разговора с Гвоздиным. Он понимал, что этим решением преступает не только военные, но и человеческие законы, но не видел иного выхода. И, неторопливо приводя себя в порядок, все время прислушивался, с нетерпением ожидая и одновременно страшась официального посещения. Он не боялся, что задуманное им может навеки покрыть его позором и выбросить из общества, — он боялся самого себя, не зная еще, сможет ли он, офицер русской армии, в решающий момент преступить черту даже во имя той высокой цели, которую ставил перед собой.

Ровно в десять пропела труба. К тому времени комендант был уже одет в полную, старательно вычищенную форму, но, прежде чем выйти, широко и торжественно перекрестился, точно шел на эшафот. И даже подумал о том, что идет на эшафот, когда поднимался на крышу второго этажа.

Там стояли Гедулянов — Штоквич спросил, как он себя чувствует, и капитан сказал, что совершенно здоров, — войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и четверо бородатых немолодых казаков. Солдат поблизости не было, и комендант отметил про себя, что малоразговорчивый сотник Гвоздин собрал тех, в которых лично был уверен.

— Парламентары, — сказал Гедулянов. — На сей раз без Шамиля.

— Его счастье, — буркнул Штоквич. — Сбросьте им лестницу.

Первым легко поднялся князь Дауднов — в той же черной черкеске. А переводчик Таги-бек Баграмбеков опять долго пыхтел, и казаки

под конец втащили его руками. Во время этой затянувшейся процедуры Дауднов стоял молча, положив руки на кинжал.

— По приказанию его превосходительства генерала Шамиля я... — задыхаясь, начал переводчик.

— Не надо, — резко сказал Штоквич; голос еще не восстановился окончательно и сорвался на фальцет. — Гази-Магома либо страдает выпадением памяти, либо позволяет себе сомневаться в слове русского офицера. Позавчера я предупредил, что если он вздумает вторично прислать парламентаров, я незамедлительно...

— Капитан, попомните, — шепотом сказал Гедулянов.

— Молчите! — оборвал Штоквич; он был бледен, левое веко непрестанно дергалось в нервном тике. — Вы, князь Дауднов, будете пощажены только в том случае, если Шамиль исполнит мои требования: умирение курдов...

— Нет, — по-русски сказал парламентар: поняв всю серьезность положения, он уже не нуждался в переводчике. — Я выполняю лишь то, что мне приказано. Гарнизон обязан сложить оружие, тогда всем будет сохранена жизнь. Кроме вас, господин капитан.

— Обычно я не меняю своих решений, Дауднов, — сипло (ему опять отказали связки) проговорил Штоквич. — Но сегодня вынужден отступить от этого правила. Веревку, казаки!

— Лучше аркан, — хладнокровно уточнил Гвоздин. — Живо, станичники!

— Обождите! — отчаянно крикнул переводчик. — Шамиль поклялся на Коране, что сдерет с вас кожу, господин капитан, если вы хотя бы пальцем тронете князя Дауднова.

— Для этого ему придется сначала взять цитадель. — Штоквич оглянулся: к ним уже подходили казаки, один из них перебирал в руках ременный аркан. — Повесить парламентар! На стене. Над воротами. Лицом к Шамилю!

— Штоквич, это невозможно, — прошептал Гедулянов. — Это позор для всех нас, Штоквич!

— Молчи, капитан. — Кванин дружески облапил Гедулянова. — Коли надо, так мы и родному дядьке голову снесем.

Казаки быстро связали руки Дауднову, накинули на шею петлю. Князь не сопротивлялся, не кричал, только побледнел и стал глубоко и часто дышать.

— Шамиль не простит этого никому из вас... — вдруг громко сказал он. — Никому!..

— Исполнять приказание! — крикнул комендант, вновь сорвавшись на фальцет.

Казаки сноровисто закрепили конец аркана и, схватив парламентаря, сбросили его со стены. Аркан натянулся, как струна, под тяжелым, бившимся в конвульсиях телом.

Все молчали. Штоквич пытался раскурить трубку, но в трясущихся руках его все время ломались спички. Наконец он справился, прикурил и оглянулся. На крыше никого не было, кроме капитана Гедулянова. Комендант долго смотрел на него, и Гедулянов, почувствовав этот взгляд, поднял голову.

— Вы поступили бесчестно, капитан Штоквич.

— Да. — Штоквич жадно затягивался, стараясь унять дрожь. — Я поступил бесчестно, вы правы, Гедулянов. Но Гази-Магома не уйдет отсюда. Не ворвется в Армению, пока не сдерет с меня шкуру!

Гедулянов молчал. Некоторое время молчал и Штоквич, будто ожидал возражений, спора, хотя бы слова. Не дождавшись, вздохнул и тихо и горько сказал:

— Да, я потерял свою честь, но я не нашел другого выхода, чтобы исполнить свой долг перед отечеством. И только оно, оно одно вправе судить меня.

И опять они надолго замолчали, уже не глядя друг на друга. Потом Гедулянов негромко сказал:

— Может быть, вы по-своему правы, капитан. Может быть. Я тоже исполню свой долг и выполню любой ваш приказ без промедления и рассуждений. Только... только никогда более не рассчитывайте на мою дружбу, Штоквич.

Он повернулся и стал спускаться по лестнице. А комендант еще долго стоял над уже замершим телом парламентаря.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

После отказа Криденера Паренсов не уезжал, пока не добился обещанного батальона Курского полка. Батарею сыскать так и не смогли, но клятвенно заверили, что немедля пришлют, как только разберутся сами. Ждать далее времени не было, и Паренсов поскакал к Скобелеву, имея в запасе маленький сюрприз: выпрошенный у Шнитникова черновик еще не подписанного приказа о наступлении.

— Ну и черт с ним, — буркнул Скобелев, когда начальник штаба доложил о неудачном разговоре с бароном. — Меня в твое отсутствие, Петр Дмитриевич, идея осенила: отобрать все пушки у Бакланова. Все — в одном кулаке, в моем кулаке, понимаешь?

Когда Михаил Дмитриевич занимался делом, он не тратил сил на личные обиды, хотя склонен был обижаться с детской непосредственностью. Он уже пребывал в состоянии высокого душевного подъема, который у него, человека крайностей, скорее напоминал бешеный, захлестывающий все и вся азарт.

Выписка из приказа, которую раздобыл Паренсов, была явным следствием разговора Петра Дмитриевича с Криденером, поскольку резко ограничивала активные действия всего скобелевского отряда:

*«Кавказской сводной бригаде с 8-ю Донскою и горною батареями под ближайшим начальством свиты его величества генерал-майора Скобелева выступить от деревни Богот в пять часов утра и, став за левым флангом боевой линии, стараться пресечь сообщение между Плевной и Ловчей, имея постоянное наблюдение по направлению к обоим названным городам».*

— В дозор меня отрядили, — горько усмехнулся Скобелев. — О себе думают, не о победе. Ну и быть им с битыми мордами, а мы Плевну брать будем.

— Помилуйте, Михаил Дмитриевич, с чем вы на Плевну замахиваетесь? — вздохнул Паренсов. — У нас один Тутолмин, куряне еще на марше, а обещанная батарея вообще неизвестно где.

— Поторопи, — не терпящим возражений тоном сказал генерал. — Пехоте отдохнуть дашь, а артиллерию в бой: туда, где сам буду. Ко мне Тутолмина. Ступай.

Тутолмин не спорил, хотя ему до боли было жаль своих кавказцев, которые вынуждены были вести бой в непривычном пешем строю. Не спорил, потому что согласен был с планом Скобелева, зная не только обстановку, но и натуру самого командира отряда, его граничащую с безрассудством отвагу и несокрушимую уверенность в победе. Но решительно воспротивился, когда Михаил Дмитриевич предложил направить осетин в передовую цепь.

— Нецелесообразно, Михаил Дмитриевич. Вояки они отменные, но слишком уж горячи. Настоятельно прошу бросить вперед кубанцев.

— Разумно, — тотчас же согласился Скобелев. — Осетин побережем для решающего удара. В авангарде — две спешенные кубанские сотни и четыре орудия, что пригнали от Бакланова. Орудия — на руках, артиллеристам — обозников в помощь. Ты с основными силами, полковник, следуешь в двух верстах позади.

— Кто поведет авангард?

— Я.

— Ох, Михаил Дмитриевич! — сокрушенно вздохнул Тутолмин. — Ну что вы, капитан, что ли?

— Сегодня капитан, — улыбнулся Скобелев. — Плох тот генерал, который позабыл, что когда-то был капитаном. Что, банальности излагаю? Волнуюсь, Тутолмин, куда трепетнее девицы, на свидание поспешающей, волнуясь. И счастлив, что волнуясь, потому что всякий бой есть наивысший взлет духа человеческого... Казаки вареное мясо утром получали?

— Полтора фунта на суму.

— Прикажи пехоте отдать. И не спорь: солдаты всю ночь на марше, котлы отстали, да и готовить некогда. Млынов, одеваться!

Не получив еще официального приказа (он догнал его уже на походе), Скобелев решил выступить на час раньше. В четыре он — как всегда, в белом сюртуке, с Георгием на шее, в фуражке с белым чехлом — вышел из дома. Моросил дождь, все вокруг было подернуто плотным сырým туманом.

— Смотри-ка, понедельник, а пока везет! — весело сказал Михаил Дмитриевич, легко вскакивая на белого, старательно вычищенного жеребца. — Тьфу-тьфу, но так бы всю дорожку.

Он не успел тронуться с места, как показался Паренсов верхом на порядком-таки утомленной лошади.

— Подошел батальон Курского полка.

— Дай отдохнуть, накорми: Тутолмин обещал мясом поделиться. И жди посыльного. — Скобелев хотел тронуть нетерпеливо перебирающего ногами жеребца, но Петр Дмитриевич придержал за повод. — Что, полковник?

— Я обещал, что вы обратитесь к ним. Бой нелегкий, а они пороха не нюхали.

— С речью, что ли? — усмехнулся Скобелев.

— Желательно.

Скобелев с места бросил коня к батальонной колонне: солдаты стояли вольно, устало опершись на винтовки. Увидев скачущего к ним генерала, подтянулись, офицеры бросились по местам.

— Батальон... смирно! — распевно начал майор Дембровский. — Равнение на... Господа офицеры!

Не обращая внимания на командира, Скобелев подскочил к середине колонны, резко, подняв в свечу, осадил жеребца. Вскинул крепко сжатый кулак, потряс им.

— В бой идти... женихами!

И, развернув жеребца, бешеным аллюром умчался в туман догонять ушедшие вперед спешенные кубанские сотни.

Скобелев нагнал кубанцев у подъема на первый хребет Зеленых гор. Казаки шли осторожно широкой разреженной цепью, выслав вперед многочисленные группы пластунов. Об этом и доложил генералу командир Кубанского полка полковник Кухаренко.

— Пока туман, сопротивления не ожидаю, — добавил он. — А вам лошадку свою оставить придется: мы, кубанцы, шума не любим.

Михаил Дмитриевич спешил, отдал жеребца казаку-коноводу и пошел рядом с Кухаренко впереди жидкой казачьей цепи. Полковник был куда старше своего генерала, кряжистый, с седыми усами и сабельным шрамом на щеке, но шагал легко и упруго.

— Вот так бы до Плевны дойти, — сказал Скобелев.

— Коли разговаривать не будем, так, бог даст, может, и дойдем, — усмехнулся полковник.

Генерал послушно замолчал. Казаки уже втянулись в заросли, затерялись, и Скобелев скорее чувствовал, чем слышал хруст веток да каменные осыпи под их осторожными ногами.

— А пушки где? — недовольным шепотом спросил он. — Я же тебе батарею придал. На кинжалы надеешься? Это тебе не Кавказ.

— Пушки сзади идут, — пояснил Кухаренко. — На руках через два хребта на третий их только по карте проташить можно, а в натуре жила лопнет. Найду дорогу, тогда и пушки подтянем.

— Что-то черкесов не видно, — сказал Михаил Дмитриевич, чтобы переменить неприятный для него разговор. — Отвели их, что ли?

— На тот свет, — недобро усмехнулся полковник. — Я еще затемно Прищепу с пластинами сюда направил.

Во таких делах Кухаренко разбирался куда лучше, и Михаил Дмитриевич промолчал, про себя отметив, что полковник во всем прав и воевать по карте — занятие опасное. Он не только не обижался, когда его тыкали носом в его же упущения, а старательно запоминал, в чем именно допустил промах и как избежать подобного в будущем. Он учился жадно, с благодарностью воспринимая уроки от всех, будь то опытный генерал или последний рядовой.

Без единого выстрела авангард Скобелева миновал два хребта Зеленых гор и достиг третьего. Туман редел, кое-где просвечивало солнце, но обзор еще был надежно закрыт. Бой еще не начинался, в тумане чувствовалось передвижение огромных людских масс, артиллерии и обозов, и генерал с нетерпением ждал, когда обстановка окончательно прояснится.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство? — задыхающимся шепотом спросили за спиной. — Командир Донской номера восьмого батареи полковник Власов. Позиции выбраны, орудия расквивают по номерам. Желаете осмотреть?

— Потом, полковник, — нетерпеливо отмахнулся Скобелев.

Туман начал рваться, оседать, расплзаться по низинам, и Михаил Дмитриевич уже не отрываясь вглядывался туда, где, по его предположениям, должна была находиться Плевна. И все прекратили работы, замерли, примолкли, напряженно вглядываясь в тающую на глазах пелену. Но раньше, чем разорвалась эта пелена, в первых лучах пробившегося солнца нестерпимо ярко и так знакомо блеснули острия тысяч штыков.

— Господи, спаси нас и помилуй, — шепотом сказал Кухаренко.

Плевна открылась сразу, будто подняли занавес. Собственно, не сам городишко — его прикрывала небольшая возвышенность, — а предместья, сады, виноградники: казалось, до них не более трехсот сажен. Но все уже смотрели не на предместья города, а правее: там в походных колоннах стояло несколько тысяч аскеров.

Завздыхали, задвигались казаки, кто крестясь, а кто и ругаясь. Хорунжий Прищеп озадаченно свистнул, тут же получив чувствительный тычок кулаком от хмурого Кухаренко. А Михаил Дмитриевич не шевелясь смотрел и смотрел, но уже не на массы турецких резервов, а на далекие Гривицкие высоты, штурмовать которые надлежало первой колонне генерала Вельяминова, на чуть заметные войска Шаховского, изготовленные согласно приказу для удара между Гривицей и Плевной, и на саму Плевну, прикрытую предместьями на высотке, против которой стояли жалкие силы его собственного отряда. Конечно, Осман-паша не мог знать плана второго штурма — подписанный приказ Скобелев и сам еще не получал, — но, прекрасно поняв тупое упрямство русского командующего, турецкий полководец дальновидно упреждал его главный удар, сосредоточив под Гривицкими редутами основные резервы. На этом направлении русские войска волей-неволей втягивались в затяжной бой и прорваться никак не могли. Скобелев не просто понял это — он это увидел собственными глазами.

Увидел он и другое. Если бы Шаховскому по ходу сражения удалось изменить направление удара и наступать не на изготовившиеся к бою турецкие войска, а левее, за их спинами, он отсекал бы резервы противника от города, заставил бы Османа-пашу менять план обороны,

тасовать таборы, и тогда... Тогда Скобелев получал реальную возможность бросить свой малочисленный отряд на штурм Плевны по кратчайшему и практически незащищенному направлению.

— Артиллерии молчать, пока не подтянутся все батареи, — сказал генерал. — Кухаренко, держись тут хоть зубами и жди пехоту. Я к Шаховскому.

Не оглядываясь он сбегал вниз, вскочил на коня и, нахлестывая его, помчался по разведанной пластунами дороге. Скакал, смутно ощущая, как растет в душе его такое знакомое радостное волнение: яростное, торжествующее предчувствие победы. Он понимал, что с теми силами, что были у него, ему не только не ворваться в Плевну, но и не удержаться на третьем гребне Зеленых гор, если противник бросит на его отряд весь нацеленный на помощь Гривицким редутам резерв, но если бы удалось уговорить Шаховского — в нарушение боевого приказа! — ударить не туда, где ожидал его Осман-паша, тогда отряд Скобелева сразу становился чрезвычайно опасным для турецкого командования. «Конечно, попытаются смиять меня, — думал генерал, нещадно гоня жеребца по крутой извилистой дороге. — Обойти меня не могут, разве только левее. Значит, туда осетин: пусть фланг держат. И навалятся они на меня в лоб... — Он невесело усмехнулся. — Эх, барон, барон, вот бы где ударить: в Плевне бы в полдень обедали...»

Впереди за поворотом послышался шум, тяжкий скрип, хрипенье лошадей, людской говор. Генерал перевел коня на рысь, а оказавшись за изгибом дороги, и вовсе остановил его.

Навстречу двигалась четырехорудийная батарея. Заморенные переходом кони с трудом брали крутой подъем. Артиллеристы, дружно навалившись, толкали пушки, через каждый шаг подкладывая камни под колеса. Все были заняты тяжелой, важной работой, и на генерала никто не обратил внимания. Он поискал глазами офицера; среди солдатских мундиров виднелся кто-то в белой нижней рубаше.

— Навались, братцы! — хрипло кричал он, вцепившись в колесо. — Ну еще. Еще чуть...

— Где командир? — строго спросил Скобелев.

— Камни под колеса! — крикнул тот, что был в одной рубаше. — Закрепили? — Он торопливо заправил в брюки выбившуюся рубашу. — Батарея, смирно! — Подошел к генералу, щелкнул каблуками грязных сапог. — Батарея с марша следует на огневые позиции, ваше превосходительство. Командир батареи штабс-капитан Васильков.

— Почему без мундира?

— Потому что он у меня один.

Штабс-капитан и рапортовал и отвечал негромко, ровно настолько, чтобы было слышно. Скобелев сверху вниз смотрел на него; офицер казался невысоким, худым, но плечистым и ловко скроенным. Потное, в брызгах грязи лицо его было серьезным, спокойным и каким-то уверенным; Михаил Дмитриевич сразу подумал, что именно так смотрят настоящие, убежденные в своем уменье мастера.

— Тебя ко мне отрядили?

— Так точно, ваше превосходительство. — Штабс-капитан вдруг улыбнулся, и некрасивое лицо его точно осветилось. — По правде если, так я сам ушел. Как узнал, что мне в резерве торчать, так и пошел. Им там все едино, кого посылать.

— А тебе, капитан, не все едино?

— Я солдат, ваше превосходительство.

— Спешись со званием, — нахмурился Скобелев. — Займешь позиции правее донцов. Задача не только перед собой турок громить, но и бить их фланговым огнем.

— Слушаюсь, ваше превосходительство. Задачу понял.

Скобелев тронул коня. Позади опять завозились, запыхтели артиллеристы, натужно захрипели лошади. А генерал, погоняя коня, улыбался, словно внезапная встреча с ничем не примечательным армейским офицером была бог весть каким приятным предзнаменованием.



По дороге он заехал к Тутолмину, где полковник и вручил ему официальный приказ, только что доставленный штабным офицером. Скобелев мельком глянул: Лошкареву предписывалось, прикрывшись разъездами, наблюдать за Софийским шоссе.

— Господи, целую дивизию в наблюдение отрядить — это же думаться надо!

Приказав Тутолмину немедленно двигаться на третий гребень Зеленых гор, Скобелев помчался к Шаховскому. К тому времени русские войска уже выдвинулись на исходные позиции, кое-где завязав артиллерийский бой. Все пока шло в полном соответствии с диспозицией, и князь Алексей Иванович пребывал в состоянии скорее равнодушном, нежели спокойном.

— Постреливаем, — сказал он, пожимая руку Скобелеву. — А Пахитонов сказал, у них стальные орудия Круппа. Во! Ты завтракать ко мне, что ли? Так опоздал, я с зарею фриштык принимаю.

Под фриштыком понималась добрая чарка анисовой, с которой Шаховской начинал каждый боевой день еще со времен Кавказской войны. Однако Скобелев не расположен был к шуткам.

— Я к Плевне вышел, Алексей Иванович.

— Как? Как ты сказал? Извини старика, могу и недослышать.

— Я вышел к Плевне без боя, ваше сиятельство, — резко повторил Михаил Дмитриевич: в недоверии князя ему почудилась насмешка. — Стою на последнем гребне Зеленых гор, передо мною низина с ручьем и горушка, которую турки укрепить не удосужились.

Шаховской продолжал в упор смотреть на Скобелева, но в глазах его уже таяло размягченное «фриштыком» добродушие. Они уже начали глядеть зорко, пытливо и напряженно.

— Бискупского! — гаркнул он. — С картой, диспозицией и полным расписанием частей!

Ему уже некогда было расчищать стол, на котором еще стояли тарелки с закусками, рюмки, приборы, он просто собрал скатерть за четыре угла и швырнул к дверям. Глухо звякнула посуда, и почти тотчас же появился Бискупский, зажав под мышкой портфель с бумагами и на ходу разворачивая карту.

— Докладывай, — сердито буркнул Шаховской. — Где стоял, что видел и зачем прискакал.

Скобелев коротко повторил главное, стремясь еще до прямого предложения заронить в князе ту идею, к которой пришел сам, оценив расстановку сил с высоты Зеленых гор. Как Шаховской, так и его начальник штаба сразу поняли предполагаемый маневр, но Алексей Иванович пока осторожничал, а Бискупский не решался высказывать свои соображения ранее непосредственного начальника.

— Так, так, — бормотал Шаховской, уже что-то прикидывая; Скобелев чувствовал его заинтересованность. — Коли правильно понял тебя, то придется мне в бою делать захождение правым плечом?

— Непременно, Алексей Иванович. Именно этот маневр...

— Обожди с маневром, — отмахнулся князь. — Не маневры ведь — сражение. Под картечью солдатики мои захождение-то начнут. Сколько положу на сем безвинно и, боюсь, бессмысленно?

— Я прикрою ваше захождение артиллерийским огнем с фланга. И приказ командиру батареи уже отдал, Алексей Иванович.

— Самоуверен ты, Михаил Дмитриевич! — укоризненно вздохнул Шаховской. — Доложиться не успел, а уж все за меня решил.

— Потому что истинно чту вас, Алексей Иванович, — горячо сказал Скобелев. — Не чин, не княжеское достоинство — война в вас чту.

— А ты, оказывается, и льстить умеешь, — улыбнулся князь.

Скобелев ничего не ответил, уже сожалея о своем порыве. Наступило короткое молчание, которым воспользовался Бискупский.

— Я не сомневаюсь, что Михаил Дмитриевич сделает все возможное и даже невозможное, чтобы облегчить нам перестроение в ходе

боя, — осторожно начал он. — Идея необычайно заманчива, рискованна, но достижима. Однако по долгу службы считаю необходимым высказать вашим превосходительствам, что она в корне противоречит приказу генерала Криденера, утвержденному его высочеством.

— Приказ один: взять Плевну, — возразил Скобелев.

— Не совсем так, — вздохнул Бискупский. — Основной удар по плану наносит Криденер силами колонн Вельяминова и Шильдер-Шульднера, вспомогательный — колонна князя Алексея Ивановича. Вы же предлагаете рокировку, при которой Криденеру выпадает на долю честь вспомогательного удара. Учитывая его характер...

— Учитывая его ослиное упрямство, Криденеру ни слова об этом не говорить, — резко перебил Шаховской. — Пусть соображает в ходе боя, коли вообще способен к соображению. — Он недовольно оттопырил усы. — Нам обещан Коломенский долк, если я помню. Так вот немедленно востребуйте его в мое личное распоряжение.

— Простите, ваше сиятельство, я позволю себе все же несколько слов относительно характера барона Криденера, — с холодноватой настойчивостью продолжал Константин Ксаверьевич. — Он не только болезненно самолюбив и невероятно упрям — он страдает гипертрофированным тщеславием.

— Какое мне дело до его скверного характера! — фыркнул Шаховской. — Я не собираюсь выдавать свою дочь за его сына.

— Но вы лишаете его лавров победителя Османа-паши, — улыбнулся Бискупский. — И он скорее проиграет сражение, чем уступит эти лавры вам, ваши превосходительства.

Оба превосходительства молчали, прекрасно понимая, что помешать Криденеру выиграть сражение способно множество обстоятельств, и прежде всего сам Осман-паша. Но помешать барону проиграть это сражение не способен никто.

— Обращаю ваше внимание и на оперативную сторону прекрасного плана Михаила Дмитриевича, — негромко сказал, помолчав, Бискупский. — После захождения нашего отряда правым плечом между нашими силами и колонной Вельяминова образуется оперативная брешь.

— Турки не рискнут воспользоваться ею, — убежденно сказал Скобелев. — Я скую их беспрерывными атаками.

— Да поймите же, Михаил Дмитриевич, что Криденер не вы! — почти с отчаянием воскликнул Константин Ксаверьевич. — Вы привыкли к маневренному бою, вас не пугают ни фланговые обходы противника, ни даже вероятность окружения. А Криденер всю жизнь воевал на ящике с песком, точно исполняя предписанные военными теоретиками законы и рекомендации. Он панически боится дырок и, клянусь вам, первое, что он сделает, — прекратит атаку Гривицких редутов и станет немедленно штопать эту пустоту. И Осман-паша...

— Осман-паша не барон, — хмуро уточнил Шаховской.

— Вот именно, Алексей Иванович. И, не обладая свойствами барона, он тут же снимет свои войска из-под Гривицы и всей мощью ударит ими прежде всего по вашему отряду, Михаил Дмитриевич.

— Ну, это еще бабушка надвое гадала, — буркнул князь. — Штаб — это рассудок, а бой — вдохновение. И я в него верю. Не во вдохновение, разумеется — я для него слишком стар, — в этого синеглазого искусителя верю. — Он тепло улыбнулся Скобелеву. — Наполеоном, води, бредишь?

— Наполеоном брежу, но учусь у Суворова.

— Хорошо ответил, — довольно сказал Шаховской. — Так вот, Константин Ксаверьевич, маневр этот суворовский. А посему немедленно востребовать обещанный нам Коломенский полк и поступать с сего мгновения согласно плану генерала Скобелева. За полком пошли кого-либо из самых упорных, чтоб как клещ в Криденера вцепился и без коломенцев появляться не смел. А сам на позиции. Лично за маневр отвечаешь. Коли вопросов не имеешь, ступай. — Дождался, когда

Бискупский вышел, крепко обнял Скобелева. — Спасибо, орел. За дерзость спасибо, за доверие, за голову твою бесценную трижды спасибо. Береги ее, она еще ой как России пригодится!

«Золотой старик, — растроганно думал Скобелев, на полном аллюре поспешая в расположение своего отряда. — Ни о карьере, ни о славе, ни о гневе государевом не помышляет — только о победе. Вот бы с таким полководцем...»

Тут он вспомнил Бискупского, спокойный, академически холодный анализ его, скобелевского, плана и понял, что при всей открытости и отваге князь Шаховской к подобному анализу неспособен. Понял, что он лишь прекрасный исполнитель чужих идей, что в исполнении этом ему достанет и решимости, и воли, и той доли безоглядного риска, без которого не выигрывают сражений. Но, исполняя идею, в которую поверил почти с юношеской горячностью, князь уже не сможет внести в нее ни одной своей мысли, даже если этого незамедлительно потребует изменчивая, живая, дышащая не только порохом и смертью обстановка упорного и длительного сражения. Понял, что Шаховской будет ломить, а не маневрировать, ломить со всей убежденностью и страстью, ломить тупо и жестоко. И что помешать ему в этом, своевременно приостановить или, наоборот, подтолкнуть не сможет никто.

Скобелев спускал с цепи льва. Но льва старого, хотя и сохранившего и львиные когти и львиную хватку, но уже растерявшего львиную гибкость.

## 2

Когда окончательно растаял туман, русские батареи открыли огонь по всей линии турецких укреплений. Воздух еще недостаточно прогрелся, и пороховые дымы плотной массой заволакивали поле сражения. Сквозь эту пелену беспрестанно вспыхивали яркие всплески выстрелов и темно-красные, густые розетки снарядных разрывов. Все это так напоминало старинные гравюры, что наблюдавший за началом сражения генерал Криденер довольно отметил своим офицерам:

— Стратегия — точная наука, господа. Смотрите, сколько красоты в пунктуальном исполнении расписанной по нотам симфонии.

Начало битв всегда приводило в восторг генералов от теории. В эти минуты все шло в строгом соответствии с приказами: противник выжидал, не торопясь обнаруживать своих намерений.

— Бой развивается в полном соответствии с нашими планами, господа. А посему прикажите подать завтрак. Грохот артиллерии способствует аппетиту.

В то время как Криденер и его офицеры с соответствующим грохоту артиллерии аппетитом завтракали на высоте восточнее деревни Гривица, четыре табора турецкой пехоты под прикрытием пушечного огня перешли в атаку на третий гребень Зеленых гор. На правом фланге атакующих показались конные группы черкесов.

— Где твои осетины, Тутолмин? — спросил наблюдавший за атакой Скобелев.

— В резерве, как вы распорядились.

— Видишь черкесов? Надо мне, чтобы осетины атаковали их в конном строю. Смогут?

— Они, Михаил Дмитриевич, черкесов в любом строю атаковать будут. Им только прикажи.

— Вот и прикажи: в конном. Отбросить, пробиться к реке Вид и войти в соприкосновение с отрядом генерала Лашкарева.

— Далековато.

— Я говорю не о географии, а о тактике, полковник. Необходимо передать генералу Лашкареву мою личную просьбу: как только он услышит, что мы пошли на штурм, пусть немедленно атакует Плевну по Софийскому шоссе.

— То-то Осман-паша завертится! — заулыбался Тутолмин, сразу оценив неожиданность этого удара для противника.

Осетины вылетели из-за склона внезапно для черкесских отрядов. Привычные к горам кони несли молчаливых всадников, не пугаясь ни крутизны, ни обрывов. Атака была стремительной, рубка короткой и яростной; не выдержав ее, черкесы развернули лошадей, поспешно уходя от осетинских клинков. Часть отступающих с лёта нарвалась на разъезд улан, часть, бросив коней, разбежалась по виноградникам и зарослям кукурузы. Осетины радостно встретились с уланами; началось взаимное угощение и безудержная кавалерийская похвальба, а есаул Десаев сразу же помчался к генералу Лашкареву, которому тут же доложил то, что было приказано.

— Передайте генералу Скобелеву, что я, к моему глубочайшему сожалению, не смогу исполнить его просьбу, — холодно сказал Лашкарев: его вывела из равновесия повышенная экзальтация и неприятный для него акцент примчавшегося прямо с рубки есаула. — Задно помните его превосходительству, что я подчиняюсь только генералу Криденеру, а просьбы исполняю не в боях, а по окончании оных.

Десаев напрасно горячился, в волнении еще более путая русские слова, частенько обращаясь к генералу с недопустимой простотой: «Понимаешь, очень нужно, генерал очень просит...» Лашкарев леденел все более и более и в конце концов, грубо оборвав осетина, приказал ему немедленно убираться восвояси. Ругаясь последними словами, Десаев вскочил на коня, но сообщить о категорическом отказе Лашкарева не успел: черкесская пуля напав уложила не в меру горячего есаула. А от расстроенных гибелью командира осетин Скобелев узнал лишь, что Десаев был у генерала Лашкарева, и потому не сомневался, что кавалерийская дивизия, трижды превосходящая его отряд по ударной мощи, своевременно сделает то, о чем он просил, и Осман-паша в самом начале русского штурма получит неожиданный удар в спину.

Но удар в спину получил не Осман-паша, а сам Скобелев — если не прямой, то иносказательный. Тупо руководствуясь диспозицией, Лашкарев за день не отдал ни одного самостоятельного приказа, проторчал в полном бездействии в тылу у отчаянно сражавшихся турок. А Скобелев, рассчитывая на его атаку, строил на этом все свои последующие действия, лишь к концу сражения поняв, что строил их на песке.

Криденер еще завтракал, когда ему доложили, что от князя Шаховского прибыл специальный порученец капитан Веригин.

— Его сиятельство просит тотчас же выслать ему Сто девятнадцатый Коломенский полк.

— Еще бой не начался, а князь уже о резервах беспокоится, — тихо проговорил сидевший рядом с Криденером Шнитников.

Барон сделал вид, что не слышал этого многозначительного замечания. Медленно отер усы салфеткой, вздохнул:

— Сами этот полк с вечера ищем, капитан. Где находятся, куда идут — одному богу ведомо. Биргер, — обратился он к офицеру штаба, — найдите этот таинственный полк как можно быстрее.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство.

— Обождите, Биргер, я укажу вам по карте его примерный маршрут. — Шнитников встал. — Вы позволите, Николай Павлович?

— Мне приказано не возвращаться без коломенцев, ваше высокопревосходительство, — сказал Веригин.

— Хвалю за исполнительность, капитан, — добродушно улыбнулся Криденер. — А пока суд да дело, прошу закусить.

119-й Коломенский полк искать не было никакой необходимости: он стоял в деревне Болгарский Караагач и начальник штаба Криденера генерал-майор Шнитников прекрасно знал об этом. Выйдя вслед за Биргером, он приказал немедля скакать к полку с устным приказом уйти из деревни. Он старательно прятал полк от Шаховского не потому, что хотел сделать пакость, а исходя из твердого убеждения, что старый

генерал занервничал и, коли получит резерв, сгоряча бросит его в дело преждевременно. По-своему он был прав, но, вместо того чтобы откровенно сказать Шаховскому, что полк прибудет не сию минуту, схитрил. Многие в армии побаивались сурового гнева и солдатской прямоты Алексея Ивановича, и Шнитников с Криденером в этом смысле не были исключением. При всей благосклонности государя Криденер всегда помнил, что он все же только остзейский барон, а не природный Рюрикович князь Шаховской.

А капитан Веригин ничего не мог поделаться с гибкими, вежливыми, даже логичными разъяснениями офицеров криденеровского штаба, что полк этот будет незамедлительно отослан в распоряжение Алексея Ивановича, как только где-либо обнаружится. Но исполнительный Веригин не уезжал, все время беспокоя самого начальника штаба генерала Шнитникова. И все вокруг играли в странную игру, а бой уже разгорался, и Шаховской, надеясь на обещанную поддержку, уже двинул свои войска с задачей захода правым плечом и стремительного удара в новом направлении в полном соответствии с дерзкой, но вполне реальной идеей Скобелева.

Все было в этой идее. Блеск самобытного и смелого таланта, понимание планов Османа-паши, полная неожиданность смены удара во время боя, выход на оперативный простор и свобода маневра. Не хватало только сил, которые находились в чужих руках, и эти чужие холодные руки и задавили в конце концов скобелевскую жар-птицу. Руки своих же генералов, а отнюдь не таборы Османа-паши.

## 3

— Князь Шаховской двинул свои войска! — еще на скаку прокричал Млынов.

Он оставался в наблюдении ради этого известия и был весьма удивлен, не заметив никакого особого восторга. Скобелев сидел на расстеленной бурке и играл в шахматы с полковником Тутолминным. Услышав крик, которого ждал давно, достал часы, щелкнул крышкой.

— Сдавайся, полковник, я тебе во фланг выхожу. — Вдруг вскочил, застегивая сюртук. — Пехоте трубить атаку. Тутолмин, отряди казаков подвозить в торбах патроны, снаряды и воду, а на возврате раненых. Кто принял командование осетинами?

— Подъесаул князь Джагаев.

— Прикажи быть в готовности атаковать турок во фланг вдоль ручья. С богом, товарищи мои. Приказов об отходе более не будет, а коли случится такое, последним отступать буду я.

Пехота двинулась в атаку с песней: куряне шли в свой первый бой женихами. Легко сбив турок расстреливая с позиций, они настойчиво атаковали высоту, за которую противник цеплялся с ожесточенным упорством: Осман-паша оценил внезапное появление русских сил в трехстах сажнях от предместий Плевны.

— Тутолмин, дави туркам на фланги! — прокричал Скобелев, появляясь впереди на белом коне. — Молодцы, ребята! Вперед!

Турки то откатывались к ручью, то снова бросались в контратаку. Кубанцы залповым огнем расстроили их ряды, и аскеры откатились к предместьям, к небольшой высотке, на вершине которой еще не было никаких укреплений. Здесь в виноградниках, садах и зарослях кукурузы они и залегли, огнем отбивая все попытки скобелевцев форсировать топкие берега зеленогорского ручья.

На большее Осман-паша пока рассчитывать не мог: войска Шаховского напирала левее, явно собираясь — турецкое командование быстро поняло эту вероятность — зайти правым плечом и всей мощью вместе со Скобелевым обрушиться на последнюю высотку перед Плевной. Если бы это случилось, русские с ходу, на одном порыве скатились бы прямо в город. Для защиты его Осману-паше пришлось бы отвести туда все

резервы, оголив поле сражения. А колонны генерала Вельяминова при поддержке частей Шильдер-Шульднера упорно рвались к Гривицким высотам, по тылам турок, многозначительно бездействуя, гуляли разъезды Лашкарева, и Осман-паша уже стал стягивать запасные таборы поближе к городу.

— Если они ворвутся в предместье со стороны Зеленых гор, готовьтесь с боем прорываться на Софийское шоссе, — сказал он.

— Между первой и второй колоннами русских образуется разрыв, — осторожно подсказал командующему его начальник штаба Тахир-паша. — Может быть, нам следует ударить в этом месте? Русские не любят маневра.

— Тому, кто нашел ключ к дверям, не нужно окно, — усмехнулся Осман-паша. — Хотел бы я знать, кто же нашел этот ключ?

Ключ был найден, и дверь плевненской твердыни практически отперта, но на то, чтобы распахнуть ее, сил уже не осталось. Но именно с этого дня, со дня Второго Плевненского сражения, турецкое командование приметило и уже не упускало из внимания нового генерала, бесстрашно появившегося в самых опасных местах. Турецкие аскеры сразу же нарекли его Ак-пашой, белым генералом, а к вечеру Осман-паша узнал и его имя: Михаил Дмитриевич Скобелев.

К полудню, когда Скобелев окончательно утвердился на господствующих позициях, Вельяминов продолжал кровавый затяжной штурм Гривицких редутов, а Шаховской начал захождение правым плечом, Криденер не выдержал вежливых напоминаний капитана Веригина об исчезнувшем известии куда 119-м пехотном Коломенском полку.

— Пошлите известить князя, что резерв выступил в его распоряжение, а этому... — он поискал обидное слово для определения вьюдливой настойчивости капитана Веригина, не нашел и рассердился, — велите тут ждать и пусть ведет полк куда хочет!

Коломенцы выступили без промедления. И кто знает, может быть, даже эта изо всех сил затянута помощь и сыграла бы в конечном счете роль в битве за Плевну, если бы не еще одно обстоятельство в той сложной и запутанной цепи обстоятельств, в результате которых Россия, по словам Шаховского, еще раз умылась кровью.

Криденер по-прежнему пребывал на высоте возле деревни Гривица. Генерал-лейтенант Вельяминов слал раз за разом отчаянные донесения, что турки оказывают бешеное сопротивление и что не пора ли бросить в дело общий резерв. Резервов барон Вельяминову не давал, приказав всем посыльным отвечать одно и то же: «Атаковать и взять редут». Вельяминов атаковал, от Шаховского никаких сведений не поступало, Скобелева вообще никто в расчет не принимал, и Николай Павлович, притомившись, сидел в складном кресле, предоставив наблюдение за ходом битвы своему штабу. Хотя он и был огорчен неудачей Вельяминова, но продолжал твердо верить, что остается лишь ждать, когда наконец дрогнут турки, сдадут укрепления и покатаются к Плевне под фланговый удар Шаховского. И он ждал, полузакрыв глаза и прикидывая, куда может устремиться Осман-паша, когда Вельяминов собьет его с Гривицких высот. Растерянный возглас офицера вывел его из состояния приятной истомы:

— Шаховской заходит правым плечом! Смотрите, господа, смотрите, что он делает!

Криденер вскопчил с не подобающей его осанке, чину и темпераменту быстротой. Схватив услужливо протянутый бинокль, сквозь пороховые дымы и пыль разглядел темные массы войск, четко, как на маневрах, менявших фронт атаки под огнем противника.

— Что он, с ума сошел? — сквозь зубы процедил Криденер.

— Он удаляется от войск Вельяминова, — сказал стоявший рядом Шнитников. — Обратите внимание, Николай Павлович, на это захождение: образуется брешь, в которую немедленно ринутся турки.

— Козлов! — окликнул Криденер адъютанта. — Немедленно пере-

хватите Коломенский полк и заткните им дыру, которую создал Шаховской. Немедленно!

Князь Алексей Иванович своевременно получил известие, что в его распоряжение идут коломенцы. Захождение продолжалось, хотя турецкие батареи, сосредоточенные поблизости, обрушили на его войска убийственный огонь. Но Шаховской не терял уверенности в победе, в расчете на подходящий резерв бросив на подкрепление поредевших колонн все силы. И послал записку Скобелеву: *«Коломенцы идут. Верю, что в их и божьей помощью доведу дело до конца. Держись, пособи пушкойми сколь можешь и — до встречи в Плевне!»*

Скобелев читал записку, когда рядом разорвался снаряд. Осколки просвистели мимо, в двух местах прорвав распахнутый сюртук, комья земли больно ударили в грудь, горячая, удушливая волна сшибла генерала с седла. Он сразу вскочил, глянул на бившуюся в судорогах лошаадь, достал револьвер и выстрелил ей в ухо.

— Коня!

— Целы, Михаил Дмитриевич? — испуганно спросил Млынов.

— Коня! — гаркнул Скобелев. — Живо!

Он отер грязное, в пороховой копоти лицо полою сюртука, вспомнил, что фуражку унесло взрывом, и оглянулся. Фуражку он так и не обнаружил, но близко заметил позицию, откуда вели огонь две пушки. Артиллеристы сноровисто выравнивали орудия после каждого выстрела, а офицер, быстро проверив прицелы, подавал отрывистые команды. «А, мастеровой... — с натугой припомнил Скобелев встречу на дороге. — Мундир бережет. Как его? Васильков, что ли?..»

— Молодцы, артиллеристы! — крикнул он, направляясь к ним. — Не холодно тебе без мундира, Васильков?

— Не простужусь, — отозвался штабс-капитан: он весь был там, в прицелах, в орудиях, в смертельной дуэли с вражеской батареей. — Спокойней наводи, Воронков, спокойней. Заметил, откуда били?

— Точно так, вашброды!

— Пли, Воронков!

Тяжело ухнуло орудие, и Васильков вместе с артиллеристами кинулся устанавливать его на место, тут же, еще в движении, торопясь выровнять прицел.

— Попали, ваше благородие, попали! — радостно заорал чумазый артиллерист. — Ну, господин унтер, быть тебе с крестом: глаз — ватерпас, знай наших!

— Еще раз по тому же месту! — крикнул Скобелев. — Бейте их, ребята, крестов не пожалео!

— Вместо советов лучше о зарядах побеспокойтесь, — не оглядываясь огрызнулся командир. — Я последние запасы расстреливаю, скоро одна картечь останется.

— Это генерал... — испуганно прошептал наводчик.

— Голубенко, наводи второе по разрыву, — строго приказал артиллерист и только после этого повернулся. — Виноват, ваше превосходительство, во время работы я на оглядку время не трачу, а советов вообще не терплю. Так что лучше потом взыщите, а сейчас не мешайте. Голубенко, сукин сын, влево заваливаешь!

— Потом взыщу, — согласился Скобелев. — Снарядов, говоришь, мало? Работай, капитан, снаряды будут.

Он тут же отошел от батареи, почти обрадовавшись грубоватой прямоте замурзанного штабс-капитана в изодранной нижней рубаше. При всей своей непосредственности и кажущейся безалаберности Скобелев ценил прежде всего мастерство, достигаемое изнурительным каждодневным трудом. Результаты такого труда он видел на позиции в четкой работе артиллеристов, в их немногословии, в жарком азарте боя и дружной, общей радости от тех маленьких побед, что выпадали на их долю. «Мастеровой, — еще раз с уважением подумал он. — Мне бы таких

мастеровых тысяч двадцать — я бы через месяц коня в Босфоре купал...»

Он тут же нещадно разнес Тутолмина за казаков, обязанных обеспечить позиции снарядами, озабоченно переговорил с Паренсовым, почему до сей поры не атакует Лашкарев, наспех выпил полкружки водки у кубанцев и, вскочив на приведенную Млыновым запасную белую лошадь, вновь помчался вдоль залегшей цепи, выводя из себя турецких стрелков. А Лашкарев почему-то не атаквал, Коломенский полк не появлялся, и князь Шаховской уже с трудом, с крайним напряжением сил выдерживал прежний темп наступления.

## 4

— Русские бросили в брешь между колоннами свежие силы, — доложил Тахир-паша.

— Глупцы, — усмехнулся турецкий командующий. — Вот уж истинно: если аллах решил кого-то наказать, он начинает с головы. Снимите резервы с Гривицких высот: русские там выдохлись, пусть себе врываются в редут, на дальнейшее у них уже не будет сил. Все таборы — против Зеленых гор. Бейте белого генерала, пока он не выронит ключей от Плевны.

Случилось так — то ли в силу стечения обстоятельств, то ли потому, что Михайл Дмитриевич, чувствуя, что вот-вот затопчется на месте Шаховской, решил немедленно помочь ему, — а только и Скобелевцы и аскеры Османа-паши начали атаку одновременно. Штыковой бой развернулся на топких берегах зеленогорского ручья: противники то переходили его, то пятились, то дрались прямо в воде, и ручей на много верст нес вниз горячую человеческую кровь. Скобелев приказал полковнику Паренсову водрузить знамя на зарядный ящик, оставил в охранении наспех собранный из легкораненых взвод и велел Петру Дмитриевичу в случае прорыва турок лично взорвать знамя. Он бросил в бой все, что у него было, вплоть до обозников и музыкантов. Спешенные казаки Тутолмина дрались в одной цепи с солдатами, оставив коней не только без прикрытия, но и без коноводов; лишь осетины, затаившись за обратным скатом высоты, стояли в конном строю. Это был единственный резерв Скобелева, его единственная ударная сила и единственный шанс прикрыть артиллерию, если турки выдержат штыковой удар и перехватят инициативу.

— Смотри сам, князь, когда ударить, — сказал он подъесаулу Джагаеву. — Не промахнись: мне некогда приказывать будет.

— Ударю, ваше превосходительство, — сказал молодой осетин. — Не беспокойся, пожалуйста, мы умеем ждать.

Турецкие батареи упорно громили жалкую скобелевскую артиллерию. Донская батарея вскоре практически примолкла, отвечая лишь одним орудием: три прямых попадания вывели из строя батарейцев. Лишь штабс-капитан Васильков еще огрызался, но всего двумя орудиями из четырех. Как раз в том месте, где была его позиция, куряне подались назад, и двойная турецкая цепь сверкала штыками в двадцати саженьях от орудийных стволов.

Скобелев метался по всему фронту, подбадривая солдат не столько криком — в хрипе сотен глоток, лязге оружия, столах раненых и орудийном грохоте любой крик тонул, как в пучине, — сколько своим появлением. Его всегда все видели сквозь дым, пыль, грязь и кровь. И, видя, верили, что нет сил, способных сломить их в этом бою.

Но турки продолжали нажимать: свежие таборы выкатывались из виноградников, сменяя расстроенные рукопашным боем цепи. Уже солдатские рубахи и кубанские черкески были мокры от пота, уже нестерпимой болью ломило плечи, уже подрагивали колени и пересохшие рты жадно хватали пропитанный пороховой гарью воздух, а бою не было видно конца.



Штабс-капитан Васильков в черной от грязи и копоти нижней рубахе работал и за прислугу и за наводчиков при двух орудиях, бросая то к одному, то к другому. Скобелев подскакал, когда Васильков с тремя артиллеристами, хрипя от натуги, выкатывал на позицию сбитую пушку. Спрыгнув с коня, навалился плечом.

— Снаряды тебе доставили?

— Мерси, генерал... — прохрипел Васильков.

— Турки в двадцати саженьях. Тебе что, глаза запорошило? Не дай бог ворвутся на позицию: банниками отбиваться будешь?

— Ворвутся — картечью отброшу. У меня два орудия наготове.

— Чего же сейчас не стреляешь?

— Некому стрелять: я тут сам-пят. Дай бог еще хоть парочку турецких пушечек развалить.

— Ну гляди. Пушки туркам не отдай.

— Живым не отдам. А с мертвого взятки гладки.

— Спасибо, солдат!

Это была высшая похвала в устах Скобелева, выше любого ордена, чина и награды. И офицер, хоть однажды названный Скобелевым солдатом, помнил об этом всю жизнь, с гордостью рассказывая о величайшей чести внукам и правнукам.

Слабенький фронт русских, не растеряв моральной упругости, гнулся, а кое-где и пытился под неослабевающим напором аскеров. Особенно заметно начало осаживать левое крыло, правда осаживать без разрывов, сохраняя чувство плеча и не поддаваясь панике. Заметив это, Скобелев метнулся туда, перескакивая через ползущих вверх, к хребту, раненых.

— Держись, ребята! — изо всех сил кричал он, пришпоривая коня. — Держись, иду!..

Он не проскакал и половины пути, когда из-за склона на бешеном аллюре в полном зловещем молчании вылетели осетины. Солнце играло на стали бесценных кавказских клинков, лошади, хрипя, мчались наметом через изрытое, истоптанное, залитое кровью и заваленное убитыми и ранеными поле, и турки, потеснившие левый фланг русских, не успели развернуться, чтобы встретить атакующую конницу дружным частоколом штыков: князь Джагаев вовремя нанес удар. И началось самое страшное, что только возможно в бою: рубка пехоты со спины. Шашки сверкали в воздухе, опускаясь на головы, плечи, руки; лошади, обезумев от скачки и крови, зубами рвали аскеров.

Сабельный удар осетин был столь внезапен, столь стремителен и жесток, что турки побежали сразу. Побежали не только те, на кого обрушился этот страшный удар, — бежали все, к кому приближалась эта сверкающая сталью беспощадная волна. Бежали, бросая оружие, из последних сил стремясь под защиту виноградников и первых домов плевенских предместий. Осетины метеором промчались вдоль всего фронта, опрокинули его и, развернувшись, умело и быстро исчезли за скатом высоты, оставив после себя страшные следы внезапной кавалерийской атаки.

— Вперед! — закричал майор Дембровский. — Сейчас вышибем их...

— Нет, — тяжело вздохнул Скобелев, ощутив странную, давящую боль в груди. — Там не удержимся. Отводи солдат на гребень. Пусть передохнут, воды напьются. У них же сил нет. И у меня тоже...

Турки еще не успели опомниться, и Тутолмин с Дембровским спокойно отвели своих на гребень Зеленых гор. При отходе забрали всех раненых: зная, что Скобелев никогда не прощает такой забывчивости, Тутолмин лично — уже под турецкими пулями — дважды проскакал вдоль ручья, приглядываясь, не забыли ли кого сгоряча, и только после этого доложил генералу:

— Раненых подобрали, Михаил Дмитриевич. Проверил лично.

— Хорошо. Держите гребень до последнего. Я к Шаховскому: кажется, он ломит уже по инерции, а ее надолго не хватит...

Скобелев сидел на бурке. После двух добрых глотков коньяка боль отпустила, но он чувствовал непривычную слабость во всем теле. Он впервые испытывал ощущение полного бессилия, и оно не пугало, а лишь раздражало его. Пугало другое: Лашкарев до сей поры ни разу не попытался атаковать Плевну, хотя не мог не понимать, что сейчас самое подходящее время для этого. Михаил Дмитриевич послал к нему три разъезда с письменным напоминанием о личной просьбе. Один разъезд вернулся, не сумев прорваться сквозь черкесские заставы, а два как в воду канули. Но главным сейчас был все-таки Шаховской: Скобелев видел, как выдыхается его наступление, и до сей поры не знал, получил ли князь Коломенский полк, а если получил, то почему не вводит его в дело.

Он упорно продолжал верить в победу. Даже если Лашкарев по какой-либо причине так и не ударит туркам в спину, свежий Коломенский полк и еще одно усилие войск Шаховского заставили бы Османпашу вновь перетасовать свои таборы, и тогда — Скобелев был твердо убежден в этом — его маленький, прошедший тяжкое испытание и уверовавший в свои силы отряд пройдет эти три сотни сажен, ворвется в предместье, сомнет турок и на их плечах вкатится в город. А там вцепится насмерть в окраинные дома, и Криденеру ничего не останется, как только ввести все, что успеет собрать, в уже сорванную с петель дверь Плевны. Это был последний, но вполне реальный шанс, и Скобелев, не дав себе ни секунды отдыха, вскочил на коня и помчался к Шаховскому.

Князь Шаховской грузно утонул в кресле в тени орехового дерева. Лицо его отекло, дряблые мешки повисли под безмерно усталыми тусклыми глазами, и даже усы уныло опустились. Увидев подскакавшего Скобелева, он тяжело посмотрел на него из-под хмуρο нависших бровей и сказал по-солдатски:

— Продали нас, Миша, генералы.

— Где Коломенский полк?

— Не дошел. Криденер его в дырку между мной и Вельяминовым сунул прямо с марша. Весь бой Тришкин кафтан латал, сволочь.

— А вы? — тихо спросил Скобелев, чувствуя, как к сердцу вновь подступает боль, а в горле клокочет с огромным трудом сдерживаемое бешенство. — Вы в креслах дремлете?

— Я бросил в цель все, что у меня было, до последнего солдата. — Шаховской говорил горько и устало: у него уже не доставало сил замечать скобелевское истеричное напряжение. — Дело проиграно, Скобелев. Я приказал выводить войска из боя.

— Дело не проиграно. — От боли и душившего его гнева Михаил Дмитриевич говорил почти шепотом. — Дело не проиграно, пока мы с вами, князь, верим в победу. И мы вырвем ее. Вырвем, Алексей Иванович! Мне осталось триста сажен до Плевны. Триста сажен всего, один бросок. Я кровью там каждый аршин полил, солдатской кровью, а вы мне отступить предлагаете? — Он помолчал, ладонями крепко потер вдруг покрывшееся потом лицо, слипшиеся грязные бакенбарды. Сказал с мольбой: — Князь, я прошу вас. Я умоляю вас, князь, отдайте приказ на еще один, последний штурм. Мы ворвемся в Плевну, всеми святыми клянусь, ворвемся!

Шаховской грустно усмехнулся, медленно покачав седой головой.

— Нет, Михаил Дмитриевич, не обессудь, слишком уж это по-гусарски. Выдохлись мы весь день ступу эту кровавую толочь, понимаешь? Выдохлись, и духу победного более нету в запасах.

— У меня солдаты шестой час на Зеленых горах мрут, а вы духу набраться не можете? — уже не сдерживаясь, бешено выкрикнул Скобелев. — Нет духу, так в отставку подавайте, место тем уступите, у кого духу на весь бой хватит! Я же верил в вас, как в отца верил, а вы...

Какого черта вы боитесь? Гнева государева? Вы божьего гнева побойтесь, что напрасно солдат загубили. Вы себя...

— Молчать! — гаркнул, поднимаясь, Шаховской. — Как смеешь голос повышать, мальчишка? У меня седина...

— Седина еще не старость, — сдерживаясь, тихо сказал Скобелев. — Старость—это когда веру в себя теряешь, когда тряпка вместо... характера. Вот тогда все, тогда — в монастырь, грехи замаливать. Что вам, ваше сиятельство, и рекомендую.

Он резко кивнул, звякнул шпорами, не коснувшись стремян, влетел в седло и с места взял в карьер. Не оглядывался более и не видел, как затрясся Алексей Иванович и как бросился к нему Бискупский, доселе безмолвно присутствовавший при встрече.

— Вам плохо, ваше сиятельство?

— Каков стервец! — прошептал князь, смахивая слезы. — Жаль, не мой сын, очень жаль. Выдрал бы я его как сидорову козу, а потом расцеловал бы в обе щеки...

Скобелев скакал, не разбирая дороги, и Млынов едва поспевал за ним. Он считал, что генерал спешит к отряду, чтобы еще до темноты начать планомерный отход: это логично вытекало из того разговора, свидетелем которого Млынов невольно оказался. Но Скобелев и тут остался человеком неожиданных поступков. Он вдруг на скаку остановил коня, слетел с седла, обеими руками с силой ударил себя в грудь и ничком упал на землю. Он катался по траве, грыз ее, бил по земле кулаками и рыдал — громко, зло, вздохнув, содрогаюсь всем телом от терзавшей его муки. Млынов спрыгнул с коня.

— Михаил Дмитриевич, Михаил Дмитриевич!..

— Подлец я. Подлец!.. — Скобелев повернул к адъютанту мокрое от слез, в грязи, в травяной зелени лицо. — Я солдат обманул, Млынов. Они с песней... С песней на смерть шли, верили в меня. А я? Как я в глаза им теперь погляжу, как?

Он снова уткнулся лицом в землю, плечи его судорожно задрожали. Млынов снял с ремня фляжку, отвинтил пробку, силой поднял голову Скобелева.

— Глотните. Глотните, говорю. И в себя придите: слава богу, нет вокруг ни души. Ну?

Он насильно заставил генерала сделать глоток, усадил. Стал напротив на колени, взял за руки, встряхнул.

— Ну хватит убиваться. Будет, проплакали.

— Ох, Млынов, Млынов... — Скобелев тяжело вздохнул, ладонями долго тер лицо, размазывая по бороде и бакенбардам слезы и грязь. — Что же теперь делать-то мне, Млынов, что?

— Отдать приказ об отступлении.

— Вот и отдай. Скажи к Парецкову. Поиграли в войну — и будя. А я тут посижу. Ну, что смотришь? Не бойся, не застрелюсь. — Он вдруг потряс кулаком в сторону далекой криденеровской ставки. — Не дождутся они этого от Скобелева, мать их...

Млынов секунду сидел неподвижно, точно уясняя сказанное. Потом встал, вытянулся.

— Там, на хребте, до сей поры умирают. И будут умирать, пока вы лично им не объясните, что отступать надо. Все полягут, вас дожидаясь. — Он помолчал и вдруг крикнул резким, звенящим голосом: — Встать, генерал Скобелев! Уж коли признаете, что заманули, то хоть тех спасите, что живы покуда!

Темнело; бой замирал. Он не прекратился сразу по решению полководца, понявшего, что сражение проиграно и что не следует зря губить людей. Криденер устранился от такого решения, предоставив командирам отрядов самим брать на себя ответственность. Первым это сделал Шаховской: его отряд отходил поэтапно и в полном порядке, огрызаясь залпами и заботясь о раненых. Но потрепанные затяжным штурмом войска Вельяминова ворвались-таки в Гривицкий редут, да

так и завязли там, потому что сил уже не было. Там отстреливались, дожидаясь темноты, чтобы под покровом ее отступить из залитого кровью, никому не нужного редута.

Активный огневой бой продолжался только на левом, скобелевском фланге. Засевшие на последней перед Плевной высоте турки более не атаковали, хорошо запомнив беспощадный удар осетин, но непрерывно вели сильный ружейный и артиллерийский обстрел третьего гребня Зеленых гор, где закрепились остатки скобелевского отряда.

Скобелев прискакал туда уже в сумерках. Не останавливаясь выехал из кустов на скат и шагом проехал вдоль всей линии: белая лошадь и белая фигура хорошо были видны как своим, так и туркам.

— Солдаты! — громко крикнул он. — Товарищи мои боевые, братья мои! Велика ваша отвага, тяжелы ваши жертвы, беспримерно мужество ваше! Низко кланяюсь и от всего сердца благодарю вас за это.

Турки не слышали, о чем кричит Ак-паша. И тем не менее по чьему-то приказу и стрелки и артиллеристы прекратили огонь: даже враг уважал бесстрашие русского генерала.

— Вы славно потрудились сегодня, — продолжал Скобелев, шагом разъезжая вдоль цепи. — Мы не добились того, за что умирали наши товарищи, не по своей вине. Сражение наше проиграно, резервов более нет, а посему... — он гулко сглотнул подступивший к горлу комок, — приказываю отступить. Отступить неторопливо, сохраняя порядок и воинское достоинство, и не позабыть при этом о раненых. Предупреждаю господ офицеров: если мне станет известно хоть об одном оставленном тут раненом, я предам его командира суду! Полковник Паренсов, полковник Тутолмин, полковник Кухаренко — ко мне! — Он спрыгнул с седла. — Возьмите коня. И знайте, что ваши командиры покидают поле боя последними.

В кустах раздался шум, негромкие команды, людской говор. Какой-то казак принял у Скобелева лошадь, а к генералу подошли его полковники.

— Вот и кончилось все, — невесело усмехнулся Скобелев. — Сами знаете, кого благодарить.

— Не стоит отчаиваться, Михаил Дмитриевич, — тихо сказал Паренсов. — Солдат-то каков? Отважный, инициативный, упорный...

— А мы их — в землю, в землю! — резко перебил Скобелев. — Щедра держава наша на солдатскую кровь. У тебя есть водка, Кухаренко?

— Найдем. — Полковник прошел к кустам. — Станичники, у кого фляга не с водой? — Вернулся, протянул генералу. — А с чем принес, не знаю.

— Вино. — Скобелев отхлебнул. — Местное, красное. Как оно?

— Не знаю, как называется, а только после этой войны оно еще краснее будет, — проворчал Тутолмин, принимая фляжку. — Глотнете, Петр Дмитриевич?

— Не откажусь. — Паренсов пригубил, отдал фляжку Кухаренко. — А турки не стреляют. Пойдем, что ли, Михаил Дмитриевич?

Командиры шли позади отступающих частей молча и от усталости и от дум. Топот, голоса, звон оружия постепенно удалялись, спускаясь ко второму, а затем поднимаясь на первый гребень Зеленых гор. За обратным скатом стояли казачьи лошади; на них передложили раненых и грузы, и отступающие сразу ускорили шаг. Но Скобелев продолжал идти прежним неспешным темпом.

— Как бы нас черкесы не нагнали, — беспокоенно сказал Паренсов.

— Осетин поопасутся, — усмехнулся Тутолмин. — Они им сегодня хорошую баньку устроили, не скоро забудут.

— А где осетины? — отрывисто спросил генерал.

— Стоят где стояли, — ответил Тутолмин. — Я через час им отходить велел.

Скобелев хотел что-то сказать, но впереди в низине послышались голоса, лошадиный хrap, надсадный голос: «Раз-два... взяли!» — и он невольно ускорил шаг. А пройдя поворот, в густых уже сумерках увидел медленно двинувшуюся вперед батарею.

— Почему отстали?

— Нагоняем, — ответил хриплый сорванный голос. — Орудие провалилось, спасибо, казаки помогли.

Скобелев сразу узнал в говорившем командира батареи штабс-капитана Василькова; на сей раз он был в форме. «Закончил работу», — усмехнулся про себя генерал, но не сказал этого: на лафетах, передках, зарядных ящиках — всюду лежали люди.

— Почему раненых казакам не отдали? — строго спросил он. — Ползете еле-еле, а их трясет.

— Им уж все равно, — тихо ответил Васильков. — То не раненые, ваше превосходительство, то — убитые.

— Значит, и убитых вывозишь?

— Убитый тоже солдат.

— Тоже солдат, — эхом откликнулся генерал. — Веди батарею, капитан, мы позади пойдем.

Без помех они добрались до исходных позиций, до деревни Богот, откуда в предрассветном тумане утром этого дня уходили в бой. Скобелев сразу же ушел к себе, лично написал боевое донесение и памятную записку Паренсову с просьбой не позабыть при представлении к наградам есаула Десаева, подъесаула князя Джагаева, хорунжего Пришепу и штабс-капитана Василькова. Написав эту фамилию, сказал Млынову:

— Узнай, из какой артбригады была сегодня батарея. — Он помолчал. — Может, когда-нибудь воевать надумаем.

Походил, снова сел к столу и написал еще одну — уже личную — записку полковнику Паренсову:

*«Дорогой Петр Дмитриевич! Спасибо тебе великое за труды и советы: работать с тобою мне было весьма отраднo. Черновик донесения найдеишь на столе; там же список офицеров, коих считаю необходимым представить за сегодняшнее дело. Приношу извинения, что лично не попрощался: сил нет и на душе кошки скребут. При случае скажи барону, что генерал Скобелев-второй заболел и отныне числит себя в резерве...»*

Затем наскоро перекусил, приказал приготовить пару для дальней поездки и, ни с кем не попрощавшись, глубокой ночью выехал вместе с Млыновым неизвестно куда...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Утром следующего дня в болгарском городке Бела император Александр II на свежем воздухе пил кофе с другом детства графом Адлербергом. Сообщений о результатах сражения еще не поступало, но государь был мрачен и разговор не вязался. Свита скованно перешептывалась, и только Адлерберг что-то говорил о победах летучего отряда Гурко и о дальновидности цесаревича Александра Александровича, командовавшего Рушукским отрядом.

— Его энергия и распорядительность достойны всяческого восхищения, ваше величество. Вот уж воистину он державный сын державного отца.

— А Бореньке исполнился бы годок с месяцем, — вдруг вздохнул Александр. — А прожил всего-то сорок два денька. Бог мой, как несправедлива порою бывает судьба, граф.

Боренька Юрьевский был внебрачным сыном Александра, и Адлерберг тактично замолчал, позволив лишь многозначительный, полный горестного сочувствия вздох. Он уже ругал себя, что так некстати помянул о талантах цесаревича, ибо из всех его талантов самым заметным было пристрастие к неумеренным возлияниям. На счастье, показался спешащий к ним дежурный генерал Щелков.

— Безуспешно, ваше величество, — тихо сказал он, протягивая депешу.

— Опять! — Александр огорченно развел руками. — Каковы подробности?

— Подробностей в депеше нет. Для личного доклада вашему величеству сюда выехал его высочество главнокомандующий со штабом.

— А князь Имеретинский?

— О светлейшем князе Имеретинском в депеше не указано, ваше величество.

— Хорошо, ступай. — Александр встал, рукавом зацепив чашку. Адлерберг едва поймал ее на краю стола. — Я хочу обдумать положение. Как только прибудет мой брат или князь Александр, немедленно проведите их ко мне. — Он пошел к дому, обернулся, нацелив палец в Адлерберга. — Это роковой день, граф. Роковой. — Он подумал. — Тотчас же сообщи депешей в Царское Село Ребиндеру, чтобы он возложил на могилку Бореньке белые розы и распорядился каждое утро отсылать генералу Рылееву фрукты с моего личного стола.

Загадочность распоряжения императора по получении им сообщения о Втором Плевненском разгроме может быть объяснена только полной растерянностью Александра II, поскольку никакой логики здесь усмотреть невозможно. Логика появилась лишь тогда, когда в Белу прискакал шатающийся от усталости и бессонной ночи светлейший князь Александр Константинович Имеретинский.

Как было велено, он вошел без доклада и остался у дверей, чтобы отдышаться, а заодно и понять, что происходит в приемной императора. Он увидел бледного Криденера, трясущегося, растерянного Непокойничкого, Левицкого, суетливо двигающего руками, в которых был раскрытый портфель, и самого государя, молча сидевшего в кресле у стола и непонимающе глядевшего в карту. А по приемной метался великий князь главнокомандующий, выкрикивая бессвязные фразы:

— Он стар, стар, стар и бездеятелен! Это не начальник штаба, это развалина. Рамоли! Он подтвердил цифры Криденера, взятые с потолка. Откуда они, откуда, Криденер? Кто ответит? Кто ответит государю, я спрашиваю? Кто позволил Шаховскому изменить диспозицию? Где он — сказался больным, старая лиса? Он разорвал единую боевую линию, он повинен в нашей неудаче! Он...

Тут Николай Николаевич столкнулся глазами с князем Имеретинским и замолчал, гулко сглотнув окончание фразы. Потом беспомощно развел руками.

— Вот светлейший князь, брат мой. Пусть доложит, что видел.

— Всю правду, — тихо сказал Александр, не поднимая глаз. — Всю правду, невзирая на лица.

— Его высочество неверно определил результат вчерашнего сражения, — негромко сказал князь Имеретинский. — Он назвал его неудачей, а это поражение, государь. Это разгром, вследствие которого по предварительным подсчетам мы потеряли не менее восьми тысяч.

— Всю правду, — вздохнув, повторил император. — Все кричат о дурно проведенной подготовке, о каких-то захождениях и перестроениях, а я хочу знать причины, а не следствия.

— Главная причина, государь, заключена в полной бездеятельности барона Криденера. Командующий штурмом не только ничего не делал сам, но всячески мешал командирам подчиненных ему отрядов.

— Ваше величество, позвольте задать один вопрос светлейшему князю Имеретинскому, — сдавленным голосом сказал Криденер. —

Где вы были во время боя, Александр Константинович? Я ни разу не видел вас.

— Простите, государь, задета моя честь, — тихо сказал князь Имеретинский и расстегнул мундир, обнажив левое плечо со свежей повязкой. — Я был там, где в лучшем случае получают пули, барон. Я был в Гривицком редуте, в войсках Вельяминова, которые вы бросили на верную гибель. — Он столь же неторопливо застегнулся на все пуговицы. — А теперь позвольте спросить вас, генерал Криденер. Почему вы прятали от князя Шаховского Сто девятнадцатый Коломенский полк? С какой целью вы ввели его в заблуждение, сообщив, что коломенцы идут к нему, а сами тут же отправили этот злосчастный полк затыкать никому не нужную оперативную пустоту? Почему вы не отдали кавалерийской дивизии Лашкарева ни одного приказа об активизации действий, хотя не могли не знать, что отряд Скобелева истекает кровью в предместьях Плевны?

— В предместьях? — точно проснувшись, удивленно спросил император. — Мы ворвались в предместья?

— Да, государь, Скобелев пробился к предместьям, опираясь лишь на личный талант и собственную отвагу, и Шаховской сколь только мог помогал ему в этом. И если бы генерал Криденер с самого начала не решил, что ему выгоднее проиграть битву, чем помочь Скобелеву, я имел бы сегодня высокую честь встречать ваше величество в Плевне! Мне со слезами рассказал об этой неприличной интриге — извините, государь, я не нахожу иного слова — князь Алексей Иванович.

Спокойствие оставило князя Имеретинского: слова, адресованные Криденеру, он произнес с такой горячностью и страстью, что все подавленно молчали. Первым заговорил Александр:

— Я не слышал мнения начальника штаба.

Это прозвучало почти вызовом. После истерических криков Николая Николаевича («Рамоли!») император как бы заново утверждал старого генерала в прежней высокой должности.

— Светлейший князь Александр Константинович абсолютно прав в своей оценке. Но важно другое. Позволю себе настаивать на быстрой переброске корпуса генерала Зотова. — Непокойчицкий говорил очень тихо, но все его слышали. — А также... — он помолчал, — я умоляю ваше величество принять мою отставку.

— Нет. — Александр решительно поднял руку. — Дело, дело, сначала дело. Я жду совета, генерал.

— Необходимо начать переброску гвардии на этот театр военных действий, — тяжело вздохнул Непокойчицкий. — Я не вижу иного выхода: мы рискуем единственной переправой.

— Да, ты прав. Я разрешаю вытребовать часть моей гвардии.

— Слава богу! — Главнокомандующий широко перекрестился, прошел к дверям и велел позвать дежурного генерала.

Пока его искали, князь Имеретинский вновь попросил разрешения обратиться.

— Все, мною сказанное, будет изложено вам, государь, в письменной форме. После чего я осмеливаюсь просить ваше величество об особой милости.

— Ты заслужил ее, — важно сказал Александр.

— Поскольку в присутствии государя мне, светлейшему князю Имеретинскому, было высказано сомнение в моей деятельности, я прошу ваше величество доверить мне командование боевой частью.

— В гвардии?

— Гвардия прибудет не так скоро, государь. А я хотел бы принять участие в следующем штурме Плевны.

— Ты думаешь, нам следует еще раз штурмовать?

— Я тоже так думаю, ваше величество, — тихо сказал Непокойчицкий. — Осман-паша слишком опасен. Стал опасен после нашего поражения.

— Все это следует тщательно обдумать. — Александр милостиво улыбнулся Имеретинскому. — Мне жаль расставаться с тобою, князь, но я понимаю тебя. У нас есть вакансии в дивизиях?

— Вторая пехотная... — Левицкий так спешил подсказать, что чудом удержал на носу очки.

— Назначаю начальником Второй пехотной дивизии генерал-майора светлейшего князя Имеретинского. Ступай отдыхать, князь, и готовь подробнейшее письменное донесение.

Князь Имеретинский поклонился и пошел к выходу, но, столкнувшись в дверях с дежурным генералом, задержался. Увидев Щелкова, главнокомандующий шагнул навстречу.

— Срочная депеша начальнику Петербургского округа. Пиши. — Он откашлялся и неожиданно начал диктовать со столь неуместным сейчас пафосом. — «Слава богу! Гвардия с высочайшего государя императора соизволения посылается мне. Распорядиться следует быстро и молодецки, как я это люблю. Гвардейскую легкую дивизию следует живо приготовить и выслать первую. Гвардейская стрелковая бригада и саперный батальон тоже отправляются. Передай моим молодцам, моему детищу — гвардии, что я жду их с чрезвычайным нетерпением. Я их знаю, и они — меня. Бог поможет, и они не отстанут от моей здешней молодецкой армии». Все. Можешь идти... Цветы, цветы. — Александр жестом остановил Щелкова. — Белые розы на могилку Бореньке. Напомни Ребиндеру. Белые розы. Белые. Ступай.

Дежурный вышел. Генералы молчали. И в молчании сквозь распахнутые окна чуть слышно донесся далекий скрип множества тележных колес. Александр поднял голову, прислушиваясь.

— Что это скрипит?

— Обозы, ваше величество, — торопливо объяснил Левицкий. — Раненные под Плевной следуют этапным порядком...

— Черт бы их побрал, сколько раз повторять, чтобы возили дальней дорогой! — гневно крикнул Николай Николаевич. — Позвольте мне удалиться, брат. Я живо наведу порядок!

Светлейший князь Имеретинский, прикрыв брезгливую улыбку черными, переходящими в бакенбарды усами, сознательно вышел из комнаты первым, оттеснив главнокомандующего плечом, простреленным при штурме никому не нужного Гривицкого редута.

2

По всем дорогам тянулись бесконечные обозы. Санитарные фуры, легкие коляски, болгарские повозки, румынские каруццы, скрипучие турецкие арбы и русские телеги — все было до последней возможности заполнено ранеными. Ловчинская резня мирного населения и второе поражение войск под Плевной поколебали веру болгар в скорую победу, и в санитарные обозы то и дело вклинивались снявшиеся с родных мест группы беженцев с детьми, стариками, скотом и скарбом. Вся Придунайская равнина была заполнена тысячами повозок, медленно ползущих к единственной ниточке, связывающей окровавленную, горящую, стреляющую и стонущую Болгарию со спокойной, сытой, цветущей Румынией.

А навстречу шли войска, двигались кавалерийские части, артиллерия, саперы и длинные ленты обозов с продовольствием и фуражом, снарядами и патронами, с военным и санитарным имуществом. Интендантских транспортов не хватало, и среди их четких колонн все чаще и чаще встречались теперь мобилизованные с собственными лошадьми и телегами русские, украинские и молдаванские мужики, называвшиеся погонцами. Из этих погонцев формировались обозы под командой отставных офицеров, чиновников, вольноопределяющихся, а то и просто бывалых грамотных крестьян.

— Откуда, братцы?



— Орловские. А вы откуда?  
 — А мы, борода, плевенские.  
 — Слышать, побил вас турка?  
 — Выходит, покуда побил. Сверни-ка, земляк, сигарку: вишь, руки забинтованы.

Сворачивал погонiec сигарку, прикуривал, совал в зубы раненому и бежал к своей подводе. А слух о том, что наших («Видимо-невидимо!..») побили турки под Плевной, обрастая новыми подробностями, полз от телеги к телеге, от обоза к обозу, а потом, оторвавшись от них и от самой земли, устремился вперед, далеко опережая израненное воинство.

И все это неудержимо катилось в переполненный ранеными, обозами, войсками и болгарскими беженцами Свиштов. Атмосфера перенаселенного городка уже насквозь была пропитана взрывчатой смесью неясных слухов; не хватало лишь искры, чтобы все взорвалось, перемешалось, задвигалось, заорало и ринулось к переправам. И эта искра — да не одна, а три кряду — сверкнула в наэлектризованном воздухе в половине первого пополудни.

В это время в Свиштов входила первая партия раненых, следовавшая на фурах интендантского транспорта. Раненые пострадали в самом начале сражения, не знали истинного положения дел, но слухи, уже достигшие Свиштова, пронесли и над их головами.

— Да нам ништо, мы проскочили! — радостно поведал какой-то молоденький солдатик. — А тех, что за нами везли, всех турецкая кавалерия отрезала. Кого порубали, кого в плен увели — ужасное, сказывают, дело!

— Какая кавалерия? — озадаченно переспросили словоохотливого героя.

— Так погоня же! Наши-то отступили повсюду, ну а турка черкесов вдогон бросил. Видимо-невидимо черкесов. Ужасное дело!

Не успели опомниться от этого страшного известия, не успели переварить его, даже уяснить просто, как на въезде в город действительно показалась колонна в знакомых и болгарам и русским синих мундирах и красных фесках. Сообразить, что это пехота, что следует она без оружия, да еще под конвоем, уже недостало не только времени, но и просто здравого смысла: первую партию пленных восприняли однозначно.

— Турки! Турки входят в Свиштов!

И тут же, еще тогда, когда люди попросту метались по улицам, когда паника еще бурлила внутри каждого, не вылившись в единое, всесокрушающее бегство, по городу на неоседланной лошади охлюпкой промчался ошалевший от хмеля казак:

— Турки в городе! Турки! Братцы, спасайся кто может!

Это стало последней каплей: паника взорвалась, обретя материальную форму. К переправе вскачь помчались повозки и всадники, толпой побежали пешие, заковыляли, поползли, закричали раненые:

— Братцы, не оставляйте! Братцы, туркам не оставляйте! Братцы-и!..

Но братцы уже ничего не слышали и не понимали. Толкаясь и давя упавших, теряя детей, сталкивая с обрывов женщин и стариков, орущая масса ринулась к понтонам.

Понтонный мост делился на две неравные части: южную — от Болгарии до острова Адды, и северную, более короткую, — от острова до Румынии. По южной половине в то время неспешно двигался небольшой обоз погонцев; впереди шла обывательская бричка, в которой сидел длинный худой вольноопределяющийся, загорелый до черноты, но настолько еще юный, что его можно было скорее принять за мальчишка-гимназиста, чем за начальника хотя и нестроевого, но все же состоящего при армейском интендантстве обоза. Услышав далекие крики на берегу, он сначала привстал в бричке, а потом и вовсе спрыгнул на

мост, пытаюсь понять, что происходит на болгарской стороне, о чем кричат и куда бегут люди.

Естественно, что моста первыми достигли конные во главе с пьяным казаком, скакавшим охлюпкой и хрипло оравшим уже совсем что-то несусветное. Они влетели на мост, и юноша посторонился, крикнув своим погонцам, чтоб приняли правее и очистили дорогу. Он ничего не успел сообразить, но следом за этой наполовину пьяной компанией к мосту валом валили повозки, люди, ревушие быки, ослы, козы и даже десятка полтора овец, то ли захваченных всеобщим стремлением поскорее попасть в Румынию, то ли дальновидно угнанных кем-то запасливым с соседнего мирного пастбища. Вся эта орущая, мычащая, кричащая и блеющая орава разом вкатилась на первый понтон, мгновенно запрудив его и образовав пробку. Пошли в ход кулаки и дреколье, матерщина и просьбы, проклятия и слезы, а сзади все мощнее напирала толпа.

— Разворачивай поперек! — звонким голосом скомандовал вольноопределяющийся. — Поперек! В несколько рядов! Остановить!..

Последние слова он прокричал, бросившись навстречу тем, кто сумел пробиться сквозь пробку, чтобы хоть немного сдержать их, пока его погонцы развернут тяжелые телеги. Он бежал, раскинув руки, во все горло крича одно слово: «Стой! Стой! Стой!..» Первые еще как-то умудрились ускользнуть от него, но из толчи вырывались все новые и новые — красные от бега и схватки, обезумевшие от ужаса, озверевшие от сопротивления. Мальчика уже не просто отталкивали — его били кулаками, ногами, палками, стремясь сбросить с моста или свалить под ноги. И он упал, но сумел подняться, снова загородить дорогу, а его опять сбили, и он бы уже никогда не встал, раздавленный озверелыми ногами и копытами, но к этому мгновению погонцы успели развернуть груженные мешками многопудовые телеги и бросились к своему командиру. Это были взрослые, кряжистые мужики, кулаки их работали с мужицкой силой, сноровкой и яростью. Они отбросили первый ряд, вырвали из-под ног вольноопределяющегося, но толпа продолжала напирать, отгеснать их к телегам, и уже кто-то из погонцев в разорванной до пула рубаше, с разбитым в кровь лицом зло и нетерпеливо кричал:

— Топоры давай, Микита! Топоры! Порубим всех, мать их в перемать! Порубим!..

Грохнул нестройный, но неожиданный, а потому и отрезвляющий залп. И все вдруг замерло: и напор толпы, и драка, и рев сотен глоток; на поставленных поперек моста телегах стояли семеро солдат с ружьями и полный, красный от волнения седой генерал в распахнутом сюртуке.

— Назад! — надсадно кричал он. — Все назад! Нет никакой паники, нет никаких турок! Виновные уже арестованы! Назад!..

Все молчали, слушали, но никто не отступал. Толпа уже слушала, но еще не пришла в соображение, еще не верила: все решали секунды. Генерал понял эти напряженные секунды неустойчивого равновесия. Трясущимися руками вытащил из кармана сложенную вчетверо бумагу.

— Вот! Вот депеша его высочества великого князя главнокомандующего! Он сообщает о полном разгроме турок под Плевной и пленении самого Османа-паши. Он сообщает о победе, вы слышите? Ура героям! Ура!

— Ура-а!.. — растерянно, вразнобой донеслось из толпы.

— Это победа, — уже нормальным голосом, без крика продолжал генерал. — Спокойно возвращайтесь в город. Виновные понесут суровое наказание. Ну ступайте же, господа, ступайте, вы задерживаете движение воинских грузов. А ко мне сюда, пожалуйста, пришлите коменданта города майора Подгурского.

Усталое старческое спокойствие, с которым были произнесены последние слова, подействовало больше, чем депеша главнокомандующего. Толпа начала отступать, расходиться, и вскоре на мосту уже не

осталось никого, кроме генерала, солдат мостовой охраны, разгоряченных дракой погонцев да мальчика-вольноопределяющегося, которого мужики от греха подальше еще в драке спрятали под бричкой. Генерал сопя, неуклюже слез на мост, присел на корточки и заглянул под колеса.

— Живы, голубчик?

— Благодарю, ваше превосходительство.

— Это я, я благодарю вас, голубчик! — всхлипнул старик и тут же, устыдясь этого, закричал недовольно: — Да достаньте же вы его, бестолочи! Что же, прикажете мне с ним на карачках разговаривать?

Погонцы живо извлекли вольноопределяющегося, заботливо уложили на бричку. Лицо юноши было разбито в кровь, глаза заплыли, гимнастерка изодрана в клочья.

— Так, так, осторожнее, — приговаривал генерал. — Сенца ему под голову, сенца. Федоренко! — строго окликнул он солдата. — Живо доктора сюда. Самого Павла Федотыча. Самого!

— Не надо, ваше превосходительство, — мальчик слабо улыбнулся разбитыми губами, — заживет.

— Нет, нет, слушайте старика. — Генерал улыбнулся доброй стариковской улыбкой. — У меня, знаете ли, сердце пошаливает, а я — две версты бегом. Да через ваши подводы. Ах мерзавцы, ах мерзавцы, что натворили! Если бы не вы... — Он вдруг строго выпрямился, с начальственной благосклонностью всмотрелся в погонцев и неожиданно поклонился им в пояс. — Спасибо вам, мужики! Молодцы, не выдали ни командира своего, ни меня, старика, ни дело наше великое. От души кланяюсь: спасибо, братцы.

— Да мы что, — смущенно заулыбались погонцы. — Мы, это, помочь, значит, завсегда рады.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство... — задыхающимся басом прохрипели сзади.

Перед генералом стоял немолодой, багровый от прилива крови майор. Толстые пальцы его дрожали у козырька фуражки.

— Явились? — зловещим шепотом спросил генерал. — А где были? У какой мамзели, в каком кабаке?

— Никак нет, ваше превосходительство! Со всеми наличными силами отражал атаку турок.

— Атаку? Какую атаку?

— Возможную, ваше превосходительство!

— Идиот, — доверительно шепнул генерал избитому вольноперу, тут же, без паузы переходя на командный крик: — Каких турок, каких, мифических? Из «Тысяча одной ночи»?.. Вот кто отражал атаку! — Он ткнул рукой в бричку. — И вы за его кровь ответите, майор! И за кровь этих погонцев тоже! И за ложь мою ответите, черт бы вас побрал с вашими турками! Вы меня прилюдно толпе лгать заставили! Лгать! Я, знаете ли, расписание обозной очередности за депешу его высочества публично выдал! Ибо не мог иначе вразумить, не мог! О чем в особой реляции на имя государя лично повинюсь... — Он повернулся к бричке. — Как ваше имя, голубчик? Нет, нет, вы уж, пожалуйста, лежите.

— Вольноопределяющийся Иван Олексин. Следую с обывательским обозом до деревни Булгарени, где приказано сдать муку и получить обратный груз.

— Запомнил, — растроганно сказал генерал. — На всю жизнь тебя, голубчик, запомнил. Позвольте отрекомендоваться: заведующий переправой генерал-майор Рихтер. Искренне рад внезапному знакомству нашему, на обратном пути всенепременнейше в гости жду, уж не обманите старика, голубчик, не обманите.

— Благодарю, ваше превосходительство. Я с радостью.

— Достойны вы... — Генерал вздохнул. — По положению лишен я возможности лично представлять к наградам, но примите от души. — Он достал из кобуры небольшой револьвер «лефосе». — Нет, нет, и не

вздумайте отказываться: вам по нашим тылам ехать, а там ведь и вправду черкесня пошаливает, не в одном воображении майора Подгурского. — Рихтер вдруг сдвинул нестрашные брови и вновь накинулся на коменданта. — Лгать меня, старика, заставил, чего в жизни не прощу! А посему приказываю ради успокоения жителей вверенного вам города всю ночь праздновать победу. Всю ночь — с музыкой, танцами и иллюминацией. Кругом... и — бегом марш!..

Придерживая саблю, грузный майор, задыхаясь, бежал к болгарскому берегу. А с другой стороны, не столько поддерживаемый, сколько подталкиваемый исполнителем солдатом, к Ивану Олексину спешил старенький доктор. Сам Павел Федотыч.

А Иван улыбался разбитыми губами, бережно прижимая к груди свою первую боевую награду.

## 3

— Душегуб он, барышня, как есть душегуб. Видала, сколько стражников за ним приехало, да еще с офицером. Убиец!

Оля Совримович часто вспоминала слова старой Тарасовны, потому что постоянно, днем и ночью думала об Отвиновском. Государственный преступник, как назвал его жандармский офицер, преступник, сказавший, что у него нет никакого оружия, и тут же добровольно положивший револьвер на стол. И она понимала, что он мог бы пробиться и уйти, но предпочел арест, позор и каторгу из-за нее.

Сразу же после ареста барыня слегла, тихо отойдя на шестые сутки. Жить стало совершенно не на что, но Оле повезло, повезло почти сказочно: разбогатевший управляющий сахарным заводом купил за бесценок этот завод у промотавшегося хозяина. Новое положение обязывало, и Олю пригласили учить детей новоявленного сахарозаводчика французскому, музыке, танцам и хорошему обхождению. Оля очень обрадовалась и тотчас же выехала в присланной за ней коляске. Все начиналось прекрасно — и эта коляска, и веселый молодой кучер, весь путь распевавший песни, и сама дорога. И Оля всему радовалась, строя планы, как будет учить детей и как эти дети непременно полюбят ее.

Дети — две девочки и мальчик — были тихими, аккуратными, скорее исполнительными, чем старательными. Они улыбались, когда улыбалась Оля, словно улыбка была визитной карточкой, а не естественным проявлением живости и веселья. Это расходилось с ее представлениями: она выросла в провинциальной усадьбе, где детские шалости, беготня, суматоха, слезы и смех были столь же естественны, как дождь или солнце. Оля самостоятельно решила восполнить этот пробел в воспитании, для чего вывела детей на лужайку. Дети никак не могли понять, что от них требуется, а когда наконец сообразили и Оля увидела в их глазах нечто похожее на живые искорки, из распахнутого окна раздалась размеренные хлопки:

— Дети, дети, дети!

Хлопала в ладоши сама матушка, и дети, а вслед за ними и несколько смущенная Оля вернулись в класс. Перед ужином в ее небольшую, пугающе аккуратную комнатку заглянул («На момент, фройляйн») сам хозяин Ганс Иванович.

— Я имел хорошие рекомендации о вас, фройляйн. Я радостно вижу, что не ошибся: вы добропорядочная, аккуратная и весьма старательная молодая особа. Но вы не понимаете, что есть работа, а что есть не работа. Я нанимал вас для работы, фройляйн, но я не хотел стеснять вас и потому не заключал контракт.

— Не надо, Ганс Иванович, — торопливо пробормотала Оля. — Я считала, что дети должны двигаться. Это полезно для...

— Вы сказали хорошее слово: это полезно. Это слово я часто слышал на моей любимой родине и очень редко в России. Я очень хочу,

чтобы мои дети двигались полезно: учите их танцевать. Я очень хочу, чтобы мои дети говорили полезно: учите их французскому языку. Я очень хочу, чтобы мои дети имели полезные знакомства: учите их общению и манерам. И больше не учите ничему, потому что только за это я плачу вам деньги.

— Да, но уроки тянутся долго. Это утомляет...

— Я велю давать чашечку кофе. Чашечка кофе — это полезно.

Оля больше не выходила с детьми, но уже на другой день между первой и второй парами уроков стала регулярно получать чашечку кофе, настоящего, ароматного, вкусного, только чашечка была настолько мала, что в ней умещалось ровно два глотка.

Обедали всей семьей, и в это время Оля должна была указывать своим ученикам, как следует вести себя за столом. В ужин этого от нее не требовалось: детей отправляли спать; обычно хозяйка, как всегда, молчала, но хозяин любил поговорить.

— Я родился в бедной семье, где все работали и никто не имел в кармане немножечко денег. Но мой дядя уехал в Россию и очень быстро имел в кармане свои деньги. «Ганс, — сказал он мне, — если ты хочешь иметь в своем кармане деньги, тебе надо ехать в Россию». Я очень хотел иметь эти деньги, и я стал учиться у дяди говорить по-русски, и я приехал в Россию. И я увидел, что в этой стране, где от одного города до другого города может уместиться целая страна, все почему-то бегает. Бегают от помещика, бегают от царя, бегают от семьи, бегают от работы, бегают от царской службы и бегают просто так. И я очень удивился: мы, немцы, никогда не бегаем. Мы сначала смотрим, где есть работа, а потом идем прямо к ней. И мы идем шагом, потому что мы думаем, как получить пользу от этой работы.

Из-за круглых очков на Олю смотрели благожелательные, понимающие, вечно озабоченные поисками «пользы» хозяйские глаза. И Олю сердили не слова — у нее хватало и здравого смысла и спасительной иронии, чтобы пропускать их мимо ушей, — а этот полный мудрого превосходства взгляд, каким смотрят на детей очень довольные собой, а потому и навек позабывшие о собственном детстве не очень-то далекие взрослые.

— Разве в мире дорога только польза и ничего более? А цветы, благородные поступки, искусство, красота?

— Вы ребенок, фройляйн. Все славяне — дети. Вечные дети, которым господь бог за грехи не дал мудрого счастья повзрослеть.

И всякий спор прекращался не потому, что у Оли не было аргументов. Оля замолкала, тут же вспоминая взрослого, в шрамах и седине тридцатилетнего человека, у которого не было ни дома, ни семьи, ни даже родины. У которого не было ничего, ничего абсолютно, кроме детской убежденности, что честь выше, дороже, бесценней любой пользы. Душой и сердцем она была с ним, и спорить более не хотелось.

Оле нравилось возиться с детьми, хотя их скованная старательность часто смущала. Ей аккуратно платили жалование, хорошо кормили, не лишали возможности перед сном погулять, почитать или просто посидеть на веранде, глядя, как медленно темнеет небо, как еле заметно начинает прорисовываться луна, как нехотя загораются звезды. И каждое утро после двух первых уроков приносили чашечку кофе. Крохотную, как наперсток.

И никто не входил, когда она занималась. Ей доверяли, и она ценила это доверие, стараясь изо всех сил отдать то, что знала и умела. И была крайне удивлена, когда правила, на которых держался этот дом, были однажды нарушены. Сам Ганс Иванович вошел в классную комнату в середине урока, и все в нем — Оле почему-то особенно запомнились очки, — все выражало попранное доверие.

— Дети, идите к себе, — сказал он. — А вас, фройляйн, я прошу пройти в мой кабинет.

— Но почему же, Ганс Иванович? — в растерянности спрашивала Оля, идя вслед за хозяином.— Что-нибудь случилось?

Ганс Иванович не отвечал, и его сутуловатая спина выражала то же оскорбленное доверие, что и очки. Он пропустил Олю в кабинет, закрыл дверь и, не предлагая садиться, протянул конверт.

— Тринадцать рублей и семьдесят три копейки. Это полагается за незаконченный месяц минус стоимость ежедневной чашечки кофе.

— Что это значит, Ганс Иванович? — тихо спросила Оля. — Я уволена? Но за что же, за что? И почему же без предупреждения? Я могла бы подыскать место.

— Вы не можете подыскать место, фройляйн. Особа, которой интересуются господа жандармские офицеры, не может учить детей.

— Жандармские офицеры? При чем тут...

— Не знаю, это не мое дело. Мое дело — мой завод, который я купил, откладывая каждый грошик в копилку. Я не могу портить мое доброе имя. Я ошибался в вас и понес убыток. Прошу собрать свои вещи и через половину часа покинуть мой дом.

— Значит, вы меня уволили. — Оля с трудом подавила вздох. — Хорошо, я сейчас соберусь. Только я была бы вам очень признательна, если бы...

— Лошадь стоит овса, который она кушает, а кучер стоит времени, которое он тратит. Если вы оплатите овес и время, я велю подать бричку.

— Благодарю, Ганс Иванович, у меня нет денег на это. И поэтому я с особым удовольствием пройду пешком. Это такие пустяки, всего-то каких-нибудь двадцать верст лесом...

Через полчаса Оля ушла. Она так спешила, что не переделалась, оставшись в закрытом, как и подобало учительнице, темном платье. Баул, в который она второпях покидала вещи, купленный когда-то Андреем, был тяжел и громоздок, и Оля прилагала все силы, чтобы легко пересечь сад, спуститься к реке, миновать деревушку, выгоны и поля, за которыми начинался лес. С точки зрения аккуратного немца, приехавшего в Россию сколотить капиталец, это было «не полезно», и Оля сейчас спорила с этой практичной немецкой полезностью как могла. Спина разламывалась от боли, немела и начинала ныть рука, дрожали колени, но Оля заставила себя пройти весь этот путь так, как считала нужным: с гордой спиной и без единой слезинки. И отревелась только тогда, когда забились в кусты.

Выплакавшись, она спустилась к ручью, нашла укромное местечко и, стеснясь самой себя, поспешно разделась. Кое-как умывшись, натянула свое самое простенькое платье, спрятала в баул одежду, чулки и единственные хорошие туфельки. Двадцать верст предстояло прошагать босиком, и Оля постаралась придать себе вид заправской крестьянки. Платочка не нашлось, но она оторвала от старой юбки лоскут и повязалась так, как повязывались знакомые деревенские девушки. Совершив этот маскарад, она посмотрелась в зеркальце, осталась довольна и, подхватив баул, ойкая и оступаясь, выбралась из кустов на дорогу.

Шлепать по пыли босыми ногами было даже приятно, а поскольку за Олей никто более не следил, то она могла изгибаться под тяжестью баула, как ей было удобно, и поминутно менять руки. Вскоре ей повстречался мужик на подводе; сонно глянул на нее, равнодушно отвернулся, и Оля очень обрадовалась, что не вызывает подозрений. Но, миновав ее, мужик придержал лошадь и крикнул:

— Далеко ли идешь?

— Далеко, — отозвалась Оля не задерживаясь.

— Поопасись, девка, солдаты кругом шастают!

Прокричав это, мужик зачмокал, задергал вожжами, и телега закричала дальше. Оля остановилась, ощутив неуверенность, граничащую с ужасом. Все ее воспитание было лишено подобных тревог — кто, какой солдат осмелился бы заговорить с барышней! — но сегодня ей

суждена была иная роль. И пока она размышляла, впереди раздался топот, и из-за поворота выехали три конных жандарма. Старший — грузный, с рыжими прокуренными усами — загодя перевел коня на шаг, а поравнявшись, и вовсе остановился, грубым голосом спросив, кто она такая, откуда, куда и зачем идет. Мобилизовав всю выдержку и с огромным усилием над собой назвав жандарма дядечкой, Оля объяснила, что служит у хозяина сахарного завода, а идет в Климовичи к заболевшей матери.

— По дороге никого не встретила?

— Мужик на подводе проехал... — Оля похолодела, когда у нее сорвался с языка этот «мужик».

— На заводе ничего не слыхала? Не говорили — человек, мол, чужой объявился?

— Не слыхала. Вот те крест, не слыхала я, дядечка.

— Жаль, времени нет. — Жандарм вдруг крепко ухватил ее пальцами за щеку, потряс. — Побеседовал бы я с тобою под кусточком, черноголазая!

Жандармы уже скрылись, уже таял вдали мягкий перестук копыт, а Оля как села на баул, так до сей поры никак не могла подняться. То, что для обычной, выросшей среди двусмысленных шуточек и недвусмысленных шлепков крестьянской девушки звучало лишь похвальбой, грубой шуткой, для нее было оскорбительной угрозой. Но впереди было добрых пятнадцать верст, баул с каждым шагом прибавлял в весе, а туфельки оставались единственными. И, оценив все, она вздохнула, перекрестилась, подхватила вещи и пошла дальше. А когда услышала легкий топот за спиной, прятаться было уже поздно; она просто сошла с дороги, поставила баул на пыльную траву и оглянулась, прикрываясь концом платочка, как это делали крестьянские девушки. И сразу успокоилась, вдруг обессилев и опустившись на баул: к ней размашистой рысью приближалась легкая коляска самого Ганса Ивановича.

— Добрый день, мадемуазель. — В коляске сидел молодой офицер в голубом мундире, Оля узнала его. — Позвольте помочь вам.

Он сам управлял лошадей, никого больше не было, но Оля уже ничего не боялась. Офицер спрыгнул на землю, положил в коляску баул, помог Оле сесть. При этом он весело улыбался, был очень оживлен и говорил не умолкая. Оля с трудом понимала, о чем он говорит: контраст с только что пережитым и этой подчеркнутой вежливостью был чрезвычайно велик.

— Немцы — странная нация: я сам наполовину немец, а потому сужу беспристрастно. У истого, стопроцентного немца старательность заменяет энтузиазм, аккуратность — рыцарство, а пресловутый ордуунг — нормальный человеческий темперамент. Они все скроены на одну колодку — размеры могут быть разными, но фасон не меняется.

Сытая лошадь шла размашистой рысью, коляска мягко покачивалась на гнутых рессорах.

— ...В глуши, вдали от родных и друзей? Неужели вас никто не навещал, никто не передавал поклонов, писем, известий?

— Никто.

Оля уже справилась со смущением. Она была достаточно умна и наблюдательна, чтобы связать в единую цепь и трепет немца перед властями, и разъезды стражников, и необыкновенную любезность жандармского офицера. Цепь выстроилась, в начале ее — Оля в этом не сомневалась — стоял ночной арест Отвиновского, но что было в конце, куда вела эта цепь, Оля понять не могла. А жандарм перескакивал с природы на музыку, с музыки на живопись, с живописи на одиночество, с одиночества на... Он плел кружева легко и привычно, но Оля уже смотрела сквозь эти кружева. И сквозь них ясно просвечивали два вопроса: не посещал ли кто ее на сахарном заводе и не получала ли она каких-либо известий по почте или через знакомых. Оля ничего не получала, ни с кем не встречалась; лгать ей не приходилось, но ее все время трево-

жило, кого имел в виду словоохотливый сосед. Отвиновский был арестован на ее глазах, препровожден в Киев под сильным конвоем, и все же... Все же Оля где-то подспудно, пугаясь и гоня от себя эту мысль, непрестанно думала, что и рыскающие по дорогам стражники, и настойчивые вопросы жандарма означают, что Отвиновский каким-то образом вновь обрел свободу.

Жандармский офицер был отменно предупредителен до конца поездки. Остановив коляску у подъезда их дряхлого, запущенного, годового лишь на дрова дома, лично втащил баул в прихожую, обстоятельно осмотрел все комнаты и только тогда укатил. А Оля, почувствовав и облегчение оттого, что наконец-таки добралась до дома, и все возрастающую смутную тревогу, бросилась к Тарасовне. Старушка была больна, обрадовалась Оле до долгих слез и все пыталась подняться. Но Оля категорически запретила ей подниматься. напоила старую няню чаем и лишь после этого прошла к себе. Распахнула настежь окно, выходящее в заросший сад, и придвинула к нему кресло.

Оля ждала. Ждала, боясь в этом сознаться самой себе, ждала неистово и жадно, как ждут только чуда. И потому почти не удивилась, когда в тумане чуть двинулось темное пятно и Збигнев Отвиновский бесшумно перепрыгнул через подоконник.

## 4

В воздухе висела тонкая зудящая пыль. Все двигалось к Плевне, сгужалось, и тут же волна опустевших обозов откатывалась назад, к переправам, чтобы, пополнившись, заново совершить тот же путь. Дороги были забиты; чтобы справиться с медленно ползущим потоком грузов и войск, штабы разработали очередность путей, отдав лучшие воинским и санитарным перевозкам. На перекрестках, в селениях и у мостов стояли специальные команды, сортировавшие движение в соответствии с дорожным реестром. В этом реестре последнее место занимало частное предпринимательство: кибитки вольных торговцев-маркитантов ползали по совсем уж глухим проселкам.

В конце июля по скверной дороге, пролегающей недалеко от обозного тракта, тащился легкий фургон. Стара была усердная лошаденка, немолод был и хозяин: сутулый, смуглый, с черной, в обильной проседи бородой. Основную часть фургона занимала натянутая на деревянные опоры палатка из выгоревшего на солнце брезента; передние полы ее были распахнуты, и возница сидел как раз перед ними. Понукая лошадь, он часто с беспокойством оглядывался, но равнина была пустынная; удостоверившись в этом, хозяин ненадолго замирал, а потом снова начинал озираться.

— Кибитка! Эй, кибитка, слышь, что ль, кибитка?

Услышав окрик, хозяин торопливо прикрыл полог палатки и после этого остановил лошадь. К нему через поле на крупной рыси приближался казачий разъезд: пятеро донцов в лихо задомкленных набок фуражках. Хозяин спрыгнул на землю, снял с головы войлочную шляпу и, часто кланяясь, пошел навстречу.

— Кто таков? — строго спросил урядник, тесня конем сутулого хозяина к кибитке. — Куда едешь, по какому такому праву?

— Торговля. Маленькая торговля. Есть разрешение, есть бумага.

Хозяин говорил с сильным акцентом, перевирая и путая слова. Большие черные, с синеватыми белками глаза его с жалким искательным ужасом бегали по казачьим лицам.

— Бумага. Торговля. Мало-мало торговля.

Он не хотел отступить к фургону, а казаки, подскакав, уже окружили его. Перепуганный хозяин, беспрестанно кланяясь, то лез за пазуху, то пытался что-то объяснить, больше помогая себе жестами, чем языком.

— Чего лопочет-то? — спросил рябой казак.



— Не пойму. Бумагу давай, чернявая рожа! — гаркнул урядник.  
 — Бумага. Бумага. Да, есть, есть.  
 — Либо цыган. либо жид, — определил рослый парень. — Руками-то, руками хлопочет, чисто мельница.

Тревожа коней, казаки тесно зажали торговца. Он уже достал какую-то бумагу, что-то пытался объяснить, путая слова, а вокруг, появляясь и исчезая, проплывали конские крупы, конские морды, сапоги с уходящими вверх лампасами шаровар, ножны шашек, подрагивающие в руках плети, приклады винтовок и снова — крупы, лошадиные морды, крылья седел, сапоги...

— Чего сует-то? Вроде без печати?  
 — А кто его знает. Кто таков? Почему по степу едешь и куда?  
 — Торговля. Грек. Гречанин.  
 — Грек?  
 — Брешет, поди, — сказал черноусый казак. — Ишь, трясется. Коли хрещеный, так чего ему трястись?

— А ну покажь, чего везешь. Покажь, покажь.  
 — Нет, нет, господа казаки! — Грек испугался еще пуще, пот ручьями тек с его лица. — Товар там. Мало-мало. Жена умерла..  
 — Жена, — протянул урядник. — Ну покажь товар, чего боишься? Ежели вино, так поднесешь по чарочке и мотай отсюда с богом. Глянь-ка, чего у него в кибитке, Афоня.

— Нет!.. — дико закричал, забился в тесном кругу торговец. — Нет, нет! Господа! Нет!..

Он пытался вырваться из кольца, повсюду натываясь на живые преграды, хватал казаков за сапоги, прикивал к ним лбом.

— Нет, нет! Господа! Нет!..

— Глянь, говорю, Афоня, чего он прячет!

Рослый казак тронул коня, но грек, извернувшись, сразу вцепился в повод. Казак, ругаясь, рвал повод, бил по рукам — потерявший от непонятного ужаса соображение хозяин кибитки не отпускал поводьев, почти повиснув на них и пригибая к земле голову недовольно храпевшего коня.

— Дай ты ему раза! — крикнул рябой.

Молодой привстал на стременах и со злобой, с остервенением ударил торговца по темени огромным, как кувалда, кулаком. Грек обмяк, повис на поводьях, забормотал. Из рта у него тонкой струйкой потекла кровь, руки разжались, и тело грузно рухнуло на землю. И сразу замерло коловращение: не ожидавшие такого оборота казаки остановили коней. Рябой, свесившись с седла, взгляделся в синюшное лицо с вылезшими из орбит огромными белками.

— Готов вроде. Дых вышел.

— Зачем ты его, Афанасий? — укоризненно спросил урядник.

— Вонял, — глуповато улыбнулся Афоня.

Казаки переглянулись. Урядник снял фуражку, перекрестился, озаченно поскреб затылок. Черноусый спросил тихо:

— Чего делать-то теперь, казаки?

— Сотнику разве доложить? — не то спросил, не то подумал вслух урядник.

— Ништо! — ухмыльнулся рябой. — На черкесню сплшем, а нас тут и не было.

— Убили — и кибитку не тронули? — усомнился урядник.

— Тронем! — Рябой выхватил шашку. — Поглядим, чего он трясся.

Подъехав к фургону, с седла широко полоснул шашкой по старому натянутому брезенту. И брезент, развалившись надвое, опал, обнажив кули, ящики, свертки и в самом углу — девочку лет тринадцати. Сжавшись в комочек, она молча смотрела на казаков огромными черными глазами.

И казаки тоже молчали. То, что открылось, было не просто неожиданностью — это было катастрофой, провалом, полным крушением очень простого, а потому и без рассуждений принятого плана свалить невольное убийство на черкесов. И хотя никто еще ничего не сказал, но каждый подумал: свидетель. Свидетель убийства мирного торговца, за которое полагалась одна, не подлежащая никакому обжалованию кара: расстрел. И еще ничего не сказав, еще даже не посмотрев друг на друга, казаки спрыгнули с седел; только рябой замешкался, спешился последним, и ему молча сунули поводья остальные.

— Что делать-то, казаки? — снова, теперь уже шепотом, спросил черноусый.

Молчали казаки. Черноусый гулко сглотнул и закончил:

— Может... Может, туда же, а?

— Грех-то какой, — вздохнул урядник. — Дитя ведь. Жалко.

— Жалко опосля будет, — уже громче, решительнее и злее сказал черноусый. — Жалко будет, когда нас под расстреляние подведут. Ишь, глаза чернявые, так и зыркают, так и зыркают.

— Волоки ее оттудова! — не выдержав напряжения, истерично закричал державший коней рябой. — Волоки, Афоня, волоки!..

Туповатый огромный казак послушно шагнул к кибитке, вытянув длинные руки. Девчка забилась, завертелась, ускользая от них, цепляясь за дуги шатра, за борта фургона. Афанасий, деловито сопя, тащил ее, но тащил осторожно, не решаясь применять всю силу. Девочка не давалась, начав пищать тонким, жалким голосом, как заяц.

— Чего возишься, Афанасий? — раздраженно крикнул урядник.

— Ловка, — с придыханием ответил Афоня, начав улыбаться. — Что твоя лоза гнется. А теплая!..

— Волоки-и! — почти с восторгом закричал рябой, покрывшись красными пятнами и в растущем нетерпении переминаясь с ноги на ногу. — За одежду тащи, за одежду!..

— Кусается, ишь ты! — радостно засмеялся Афоня. — Ах ты, хорек!

Возня с девочкой, ее упорное сопротивление как-то отодвинули то, ради чего выволакивали ее из фургона. Казаки уже улыбались, уже оживленно переглядывались, уже ожидали нечто такое, что непременно должно было доставить всем удовольствие. Непрекращающийся жалобный писк девочки не только не раздражал их, а, наоборот, веселил, и, когда раздался треск разрываемого платья, все дружно засмеялись.

— Молодец, Афоня! Не разучился еще с девками управляться!

На их глазах «управлялись с девкой» — это-то и было главным, остро волнующим событием. Если бы она не сопротивлялась, если бы ее вытащили из фургона сразу, то все кончилось бы одним взмахом клинка; но она билась в мужских руках, вертелась, извивалась — она боролась, и эта борьба стала игрой, в которую включились все.

— Тащи ее!

Афоня выволок-таки девочку — раскрасневшийся, возбужденный, улыбающийся от уха до уха. Он держал ее двумя руками вперехват, спиной прижав к себе; рубашки на девочке уже не было, тело обнажено до пояса, до разорванной в клочья широкой юбки, и казаки, вдруг смолкнув, во все глаза глядели на это смуглое тело. И под их взглядами девочка перестала верещать, перестала биться, только тяжело и часто дышала, и от этого дыхания с живой дрожью поднимались и опускались крупные, но еще по-детски круглые груди с крохотными сосками.

— Вот, — задыхаясь, сказал Афанасий. — Ух тепла!..

— Наземь... Наземь ее! — крикнул, топая ногами, рябой. — Ах ты, разговеемся, казачки!

— Грех ведь, — глухо сказал урядник. — Мала больно девка.

— А мы ее враз бабой сделаем! — крикнул черноусый. — Вали ее, Афоня! Вали!

Девочка закричала, прежде чем ее успели повалить. Закричала страшно, по-женски, изо всей силы, поняв весь ужас того, что ее ожидает. Афанасий и черноусый уже свалили ее у фургона, но она выворачивалась и билась с таким отчаянием, что они никак не могли справиться с нею.

— Рот ей зажми! — зло крикнул урядник. — И навались, навались да руки держи!

— Эй, казаки, что это вы там?

В вопросе было удивление, но казаки враз отпрянули в сторону; только Афоня, стоя на коленях, еще продолжал держать крестом раскинутые руки девочки. Остальные, отпрянув, тут же оглянулись: к ним неспешной рысью подъезжал коренастый немолодой казак с Георгиевским крестом. Подскакав, остановил коня, неторопливо оглядел все: убитого грека с кровавой пеной на черной, с густой сединой бороде; располованное шашкой полотнище фургона; лежавшую на земле голую девочку, которая уже не билась, но которую все еще держал за руки туповатый Афоня. Все оглядел, во все всмотрелся и спрыгнул с седла.

— Вы что это? Вы что это делаете, опомнитесь!

Он сказал негромко, еще не придя в себя, еще скорее размышляя. Все молчали, опустив головы. Афанасий встал, но девочка при этом не шевельнулась, не закрылась, даже не свела рук, разбросанных по обе стороны черной, растрепанной головы.

— Да турка она, — угрюмо пояснил черноусый. — Чего уж...

— Турка? А крест? — Пожилой ткнул корявым пальцем в серебряный крестик, сбившийся на голое плечо девочки. — Крест на ней, крест!..

— Крест? Крест сымем, чего орешь?

— Ништо и с крестом! — закричал рябой. — Она мала, да в теле: есть за что подержаться! А дуван продуваем, станичник! Давай с нами, будто черкесня, а? Кавалеру без очереди.

— Без очереди? — Георгиевский кавалер ловко сорвал с плеча бердану. — Бросай оружие. Ну, кому говорю? Арестовываю вас.

— Ты погоди, погоди, станичник, — тихо сказал урядник. — Зачем так-то? Свои ведь, донские. Ну погорячились маленько, ну...

— Да что вы наделали, мужики! — в отчаянии выкрикнул пожилой. — Под суд ведь отведу! Под суд прямо!

— Ах мужики?.. — громко, даже радостно подхватил рябой, стоявший поодаль с лошадьми. — Да не казак он, станичники! Поддельный он! Поддельный!

Пожилой не ожидал сопротивления, да и не мог держать под наблюдением всех: рябой стоял в стороне. И именно оттуда неожиданно, когда казаки после крика «поддельный он!» угрюмо двинулись навстречу, грохнул выстрел. Пожилой выронил винтовку, обеими руками схватившись за грудь.

— За что...

— Отойди!.. — бешено заорал рябой, перезаряжая бердану. — Сторонись, добыю сейчас! Добью...

— Стой!.. — донеслось издали. — Стой!..

От дороги бежали мужики. С топорами, вилами, дрекольем. Впереди мчался высокий худой вольноопределяющийся.

— Всем стоять! Стоять!

— Погонцы! — испуганно крикнул урядник. — На конь, казаки!

Казаки мгновенно вскочили в седла, взяв с места в намет. Сзади сухо треснули два револьверных выстрела, но расстояние уже было велико: казаки не жалели плетей.

Иван Олексин далеко обогнал своих погонцев. Еще издали, еще на бегу заметил три тела, а подбежав, сразу бросился к тому, которое выделялось и белизной и длинными черными волосами. Бросился и тут же остановился, увидев обнаженную девочку, остановился, точно налетев на стену. Он решил, что девочка эта мертва, но не пошел к ней не

поэтому, а потому, что была она голой и тем самым как бы запретной для него. Крикнул мужикам, чтоб посмотрели, что там с теми двумя, а сам шагнул к казаку, ничком лежавшему на земле. Стал на колени, повернул на спину — и обмер, узнавая и не веря в то, что узнавал.

— Захар?..

Захар медленно открыл глаза. Они уже стекленели, уже теряли живой блеск и мысль, уже подергивались тем невидимым и столь ощутимым занавесом, что отделяет жизнь от смерти.

— Захар, ты? Ты?..

— Ваня... — Захар с напряжением разлепил губы, в груди его хрипело и булькало; давясь, он все время глотал кровь. — Ванечка. Ванечка мой...

— Захар!.. — отчаянно выкрикнул Иван. — Кто тебя, кто?

— Эстафета при мне, — с бульканьем шептал Захар, цепляясь за последние остатки сознания. — Эстафету доставишь. Девочку береги. Тебе ее... тебе отдаю. Я за нее кровью...

И кровь эта, которой Захар оплатил девичью жизнь, хлынула широким неудержимым потоком из горла, заливая лицо, бороду и новенький Георгиевский крест. Захар мучительно выгнулся, захрипел, забил ногами и обмяк. А Иван все еще прижимал к груди его окровавленное, застывшее в последнем оскале лицо. Вокруг суетились мужики, что-то делали — он ничего не соображал.

— Иван Иванович, — его осторожно тронули за плечо, — Иван Иванович, кончился казак, царство ему небесное.

Иван непонимающе оглянулся. Вокруг, сняв шапки, угрюмо стояли мужики. Один из них держал на руках завернутую в одеяло девочку.

— Другой тоже упокоился. А девочка жива, обеспамятела только.

Иван осторожно опустил голову Захара на землю и встал. Оглядел всех, сказал тихо:

— Дядя это мой. Родной мой дядя.

5

В ближайшем селении, где оказалась караульная команда под начальством майора из запасных, Иван доложил о происшествии. Он не мог с точностью сказать, кто совершил преступление, в какой убийцы были форме, откуда появились и куда ускакали. Он находился еще в потрясении, и майор, оставив его писать подробнейший рапорт, пошел к погонцам. Однако и они ничего определенного сказать не могли: услышали выстрел, бросились, а тех и след простыл. Только артельщик, мужик основательный, грамотный (тот, что кричал на мосту: «Микита, топоры давай!..»), с глазу на глаз сказал:

— Подумалось мне сперва, ваше благородие, что казаки: и форма вроде и посадка. Только ведь убитый тоже казак. И дядя родной командира нашего господина Олексина Ивана Ивановича.

— Так, — вздохнул майор: не хотелось ему волюнку со следствием заводить, но в службе он старался. — Пики были при них?

— Нет, ваше благородие, пик не было.

— Ну, значит, обознался ты, братец, — с облегчением сказал майор. — Донцы сплошь пиками вооружены.

— Очень возможное дело, однако — разъезд. Разъезды и без пик выезжают, встречали мы, которые без пик.

Майор нахмурился, размышляя. Мужик был умен и, главное, самостоятелен: не тянулся, не поддакивал. Такой и далее мог утверждать, что убили донцы, и майор боялся неприятностей.

— А девочка что говорит?

— Молчит: страх — он надолго. А может, по-нашему не понимает.

— Слушай, братец, на Войско Донское поклеп возводить — сам знаешь, чем пахнет. Тут ведь доказательства нужны, а где они?

— Знамо дело: не пойман — не вор. Да и покойников обратно не воротить, хоть сто комиссий наряжай, только... — Артельщик помолчал, с какой-то особой, точно предупреждающей твердостью выдержав майорский взгляд. — Только кибитка та — она девочке принадлежит. Надо бы так сделать, чтобы интендантство ее не отобрало. Бумагу какую, что ли?

— Сделаем! — с облегчением сказал майор. — У меня маркитант знакомый: выдам тебе доверенность на продажу, а деньги ей.

— Пойдет, — сказал артельщик. — Главное дело, ваше благородие, чтоб мороки поменьше. И вам и нам.

— Вот и столковались, сейчас бумагу выправлю. — Майор пошел к дому, остановился, погрозил пальцем. — Гляди не продешеви!

Иван был поглощен гибелью Захара, похоронами, собственным горем и собственными мыслями и без возражений согласился с доводами майора, что во всем виноваты башибузуки. Довольный прекращением замаячивших на горизонте осложнений, майор с воинскими почестями похоронил Захара, вполне пристойно опустил в соседнюю могилу торговца, написал донесение в 29-й казачий полк о геройской гибели георгиевского кавалера Тихонова и выдал артельщику доверенность на продажу кибитки, лошади и товара.

— А девочку лучше здесь оставить, — сказал он Ивану. — Ей сейчас женский уход нужен, я уж и с батюшкой местным договорился.

— Благодарю, господин майор. На возврате возьму с собой.

— Помилуйте, Олексин, куда вам такая обуза?

— Это не обуза. Это воля моего дяди.

Наутро обоз двинулся далее, оставив девочку на попечении добродушной матушки, близко к сердцу принявшей трагедию ребенка. В Булгарени Иван сдал муку и получил обратный груз, который приказано было доставить в Кишинев. Пока он отчитывался, артельщик Андрон Кондратьев, долго и настырно торгуясь, продал маркитанту кибитку с товаром и лошадей и, очень довольный сделкой, принес деньги Ивану.

— Спасибо. Что нам с девочкой делать, как советуешь? Ну, доведем до Кишинева, а дальше? Одну в Смоленск не отпустишь.

— Знамо дело, что не отпустишь. А ты с тем, с генералом, поговори. Ну, что приглашал-то тебя на переправе.

На обратном пути взяли девочку. За это время она пришла в себя, но почти ничего не помнила, да ее и не расспрашивали. Говорила она по-гречески и совсем немного по-румынски, и имя ее звучало незнакомо, почему погонцы тут же и переименовали ее в Алену. Мужчин она поначалу очень боялась, сразу же сжимаясь в комочек, но быстро признала артельщика, с которым и ехала, а вскоре начала — застенчиво, одними глазами — улыбаться Ивану. Иван почему-то смущался, начинал хмуриться и говорил кратко. А Андрон Кондратьев разговаривал с нею постоянно, нимало не смущаясь, что она его не понимает.

— Заговорит. По-русски ведь я с нею, чего уж проще.

Леночка, правда, не заговорила, но понимать стала многое. В пути телегу, где она ехала, непременно сопровождал кто-либо из погонцев. Тыча кнутовищем, объяснял:

— Небо. Это — земля. Ну-ка скажи: зем-ля, земляца. По ней ездют. Бьют ее, режут, ломают всяко, а она — кормит. Так-то.

На привалах ей старались приготовить что-нибудь повкуснее артельного кулеша. Никита — уже седой, уже не только глава многочисленного семейства, но и дед — раздобыл у болгар матери, сшил девочке рубаху, кофточку и сарафан, и в Свиштов она въезжала стихийно удочеренной двумя десятками обутых в растоптанные лапти, добрых и дружных русских мужиков.

— Ты к генералу тутошнему обещался, — напомнил Ивану артельщик. — Ступай себе, а мы покудова переправимся. Только Аленку не бери: ей смущение да и тебе покойней будет.

Добродушный экспансивный Рихтер долго не мог успокоиться. Метался по комнате, бросался обнимать Ивана, смахивал слезу, грубно сморкался.

— Утром панихиду отстоял в церкви Всех Святых. Молодая вдова, тягостные слезы, и единственно что хоть как-то примиряет с неизбежностью — героическая гибель ее мужа. Может быть, слышали о подпоручике Тюрберте? Газеты писали, сам государь при отпевании присутствовать изволил. — Он вздохнул. — Да, немного нам в утешение остается, немного и неуловимое: память. А пройдет время, помрут современники, истлеют газеты, погибнут новые герои — и все сотрется в памяти людской.

— Кроме памяти, есть еще воля покойного, — не очень кстати сказал Иван, конфузясь, что вынужден просить: как все Олексины, он не умел да и не любил этого. — Дядя завещал мне позаботиться о девочке. До Кишинева-то я ее довезу, а как дальше? Я оставить службу не могу, а одну ее...

— Ни-ни-ни!.. — Рихтер строго погрозил пальцем. — И одну отправлять нельзя и в Кишинев тоже, знаете, не стоит с обозом. Тут подумать нужно, подумать. — Он прошел в угол, к столику, заваленному бумагами, порылся. — Девочке женщины нужны, а особо после этого потрясения. Военно-временные госпитали нам не помогут, а вот добровольческие отряды... — Он продолжал рыться в бумагах. — Там и женщин побольше и служба повольтоннее: могут специальную провожатую отрядить. Вот! — Он торжественно потряс найденной наконец-то бумагой. — Сообщение о прибытии санитарного добровольческого отряда братьев Рожных. Отряд-то еще в пути, но первая группа уже здесь. Я вам письмо напишу, и вы завтра же к ним зайдите. Старшая там... — Он сосредоточенно потер лоб. — Фамилия из головы выскочила.

Наутро Иван, взяв девочку, выехал в добровольческий отряд братьев Рожных. Его встретила пожилая строгая дама в черном глухом платье с красным крестом на рукаве. Ему сразу показалось, что это не начальница, и он, от растерянности так и не представившись, сразу спросил старшую.

— Мария Ивановна выехала встречать отряд, вернется вместе с ним. Что вам угодно?

Дама говорила сухо, смотрела неприветливо, и Иван ощутил неуверенность и внутреннее раздражение.

— Его превосходительство генерал Рихтер просил передать письмо.

— Оставьте, я передам.

Дама взяла письмо и снова строго и холодно уставилась на нескладного юношу в пропыленной, латаной-перелатаной солдатской рубахе. Иван уял окончательно, хотел было уходить и уже взял девочку за руку, но именно оттого, что взял ее руку в свою, ощутив и детское тепло и мягкую нежность покорного его воле существа, вдруг вновь обрел решимость.

— Мои затруднения, а также просьба генерала Рихтера изложены в письме, — сказал он с резковатой ноткой в голосе. — Я убежден, что просьба эта будет исполнена. Однако служба требует моего отъезда, почему я вынужден обратиться к вам за разрешением оставить эту девочку здесь до возвращения вашей старшей.

Он ожидал отказа, в крайнем случае занудных возражений, но строгая дама тотчас же кивнула и протянула руку девочке.

— Пойдем со мной. Как тебя зовут?

Темные длинные глаза девочки, широко раскрывшись, стали вдруг совсем круглыми. Мгновенно повернувшись спиной к строгой даме, она двумя руками вцепилась в Ивана, уткнувшись лбом ниже груди, куда-то под вздох.

— Да что ты, Леночка, что ты? — дрогнувшим голосом сказал Иван, с трудом отцепив детские руки и присев, чтобы оказаться лицом

к лицу. — Я вернусь за тобой, понимаешь? Как тогда вернулся, в Болгарии.

Кажется, девочка поняла. Глубоким, совсем не детским взглядом глянула в глаза, прижалась на миг щекой к его щеке и послушно пошла к пожилой даме, кулаками вытирая слезы.

— Девочка — сирота, — счел нужным пояснить Иван. — Впрочем, все изложено в письме.

— Не беспокойтесь более за нее.

— Благодарю. — Иван помолчал. — Могу ли я оставить записку Марии Ивановне?

— Прошу вас. Бумага на столе.

Дама вышла, ведя за руку притихшую, съежившуюся девочку. Иван вздохнул, сел к столу и начал писать:

*«Милостивейшая государыня Мария Ивановна!*

*По обстоятельствам службы я лишен возможности лично засвидетельствовать Вам свое нижайшее почтение. Положение мое крайне затруднительно, ибо я без Вашего на то соизволения оставил на Ваше попечение сиротку, за спасение которой заплатил жизнью мой дядя. Во исполнение его последней воли осмелюсь просить Вас, глубокоуважаемая Мария Ивановна, принять посильное участие в судьбе несчастного ребенка, препроводив его при ближайшей оказии к моей тетушке в Смоленск (Кадетская, дом Олехиных). Подробности этой трагедии, а также личная просьба по сему вопросу изложены в письме его превосходительства генерала Рихтера. Я лишь осмеливаюсь просить Вас об особой милости: по возможности ускорить разрешение этого затруднения.*

*Остаюсь заранее благодарный и вечно преданный Вам вольноопределяющийся вспомогательной службы дворянин Иван Олексин».*

6

*«По случаю неудавшейся вчерашнего числа вылазки за водой выдать раненым, больным и детям по половине крышки воды, а остальному составу гарнизона по ложке».*

Капитан Штоквич писал приказ № 19 от 24 июня 1877 года. Точнее, не писал, а с величайшим напряжением пририсовывал букву к букве, и буквы эти все время сливались в глазах. Написав слово, он откладывал карандаш и долго отдыхал.

Шел девятнадцатый день осады, и застоявшийся воздух цитадели насквозь пропитался тяжким смрадом разложения, проникавшим даже сквозь плотные двери казематов. Липкая вонь гниющих под стенами человеческих останков стала настолько непереносимой, что часовые зачастую теряли сознание не от жажды и изнурения, а просто надышавшись ею, и комендант обязал офицеров обходить вверенные им участки каждый час. Содрогаясь в рвотных потугах, офицеры бродили от поста к посту, цепляясь за камни и отдыхая после каждых пяти шагов, точно были не молодыми людьми, а глубокими старцами в грязных, изодранных мундирах, мешками висевших на исхудалых плечах. Хотелось, все время неудержимо хотелось дышать ртом, но рот мгновенно пересыхал, а воды доставалось по глотку на сутки.

Вода... Штоквич видел, слышал и думал о ней постоянно. Он никогда и представить себе не мог, что вода — самое главное, сама основа жизни. Даже та, которую добывали они ценой гибели товарищей. Даже она — вода баязетской осады.

Уже на четвертый день осады турки запрудили ручей, протекавший у стен крепости, свалив в него мертвых лошадей, всевозможную падаль, отбросы, дохлую скотину и человеческие трупы. Доставляемая оттуда вода уже перестала быть жидкостью: это было нечто студенистое, жирное, кишевшее червями. И это нечто распределялось приказом коменданта по ложке на человека.

В самом начале баязетского сидения Штоквич спустился в дальние подвалы, где размещались мирные жители. Оглядел с ожиданием, мольбой и страхом смотревшие на него лица — смутные, еле различимые в слабом свете отдушин, — сказал скрипуче:

— У меня нет ни пищи, ни воды. Я беру на госпитальное довольствие только детей. Взрослые могут рассчитывать на помощь лишь в том случае, если будут работать: женщины — в госпитале, мужчины — на ремонтных и общих работах. Предупреждаю, что денег в крепости не существует: первого, кто попытается купить продовольствие, а тем паче воду, я расстреляю без суда, будь то мужчина или женщина. Ваш труд на общее дело есть ваша единственная плата за пищу и воду.

Он пришел не потому, что пожалел тех, кто отдал себя под его защиту: ему было не до сострадания. Он боялся вспышки эпидемии, остро нуждался в рабочих руках и требовал помощи. Общего труда на общее дело — только так можно было выжить, выстоять, вытерпеть все, отбить штурмы и либо дождаться своих, либо... Либо на возможно больший срок приковать к Баязету осаждавших.

А Гази-Магома Шамиль не уходил. Он ждал своего часа, и Штоквич, обходя стены, со злорадным торжеством видел в отдалении его бунчуки и знамена.

С обстрелами, которым крепость подвергалась каждый день, стало легче. Поручик Томашевский с помощью солдат сумел-таки втащить одно орудие на второй этаж и неожиданно в пух и прах разнес турецкую батарею. А другая его пушка, заряженная картечью, так и осталась во дворе, угрюмо уставив жерло в заваленные плитами ворота. На случай штурма возле нее постоянно дежурили артиллеристы, но турки медлили с приступом, выжидая, когда сломленный жаждой, голодом и болезнями гарнизон сам сложит оружие.

— Не беспокойтесь, господин капитан, они не уйдут отсюда, — говорил Таги-бек Баграмбеков.

Но Штоквич уже думал не столько о Шамиле и курдах, сколько о том, дошел ли до своих Тер-Погосов. Он хотел верить, что дошел — молодой человек представлялся ему уравновешенным, отважным и разумным, — но ни от генерала Тергукасова, ни со стороны других русских войск до сей поры не поступало никаких известий. Комендант вызвал охотников, отобрал двоих и разными путями направил их к Тергукасову. Один как в воду канул, а голову второго перебросил в крепость подкакавший к стенам джигит Шамиля. После этого Штоквич уже перестал верить в спасение, но долг оставался долгом...

Штоквич закончил приказ, подписал, отложил карандаш и надолго замер, прикрыв ввалившиеся глаза. Потом с усилием очнулся и так же мучительно медленно написал еще один приказ: *«Выдать коменданту крепости капитану Штоквичу крышку... — Тут он задумался, но исправлять не стал и закончил: — ...воды для особых нужд гарнизона».*

Написав, комендант тяжело поднялся и, шаркая ногами, вышел из каземата. Иесушающий, наполненный разложением зной висел над точно вымершей крепостью. Никого не было ни в переходах, ни в крепостных дворах: дежурные части лежали на стенах, отдыхающие — в казематах, и по цитадели, покачиваясь и задыхаясь, бродили командиры.

В тени сидел дежурный по гарнизону войсковой старшина Кванин. Штоквич опустился рядом, молча протянул первый приказ. Кванин прочитал его, сунул в карман. Сказал, помолчал:

— С минарета солдат бросился.

— Свалился?

— Унтер говорит — сам. Перекрестился — не поминайте, мол, братья, недобрым словом — и вниз головой. Это уж третий, капитан.

— Ставьте, которые покрепче.

— А где их взять, которые покрепче? — Кванин опять помолчал:



язык распух, стал шершавым, негнуцимся и разговаривать было мучительно. — Казаков ставить буду.

Штоквич молча кивнул. Посидел без дум, отдыхая. Посмотрел на зажатый в кулаке второй приказ, грузно поднялся.

— Я в лазарет. Потом буду у себя.

— Кого за водой пошлем?

— Зайдите к вечеру, подумаем. Чтоб наверняка, иначе...

Он не договорил, расслабленно кивнул Кванину и зашаркал по внутренним коридорам. Добравшись до каземата, в котором хранилась вода, предъявил караулу — караул здесь несла особая команда из унтер-офицеров и сверхсрочных казаков — второй приказ, получил котелок, в который отмерили ровно одну крышку густой, желеподобной, дурно пахнувшей жидкости, и побрел к лазарету, неся котелок двумя руками у груди, потому что боялся упасть и уронить его. Дойдя до лазарета, он не зашел в него, а свернул напротив, в жилые помещения, где размещался Максимилиан Казимирович Китаевский, младший врач 74-го пехотного Ставропольского полка.

Он тоже писал, точно так же дрожащей, неверной рукой приставляя букву к букве. Писал свидетельства о ранениях, санитарные рекомендации, скорбные листы — писал и писал, пока еще были силы водить карандашом, по-своему, с точки зрения врача стараясь помочь тем, кто придет потом, через много лет, коли и им выпадет горькая доля осажденных: *«...на пятые сутки возникают зрительные и слуховые галлюцинации, кожа сохнет, лущится и обвисает складками. И силы убывают быстро...»*

Когда вошел Штоквич, Китаевский попытался встать, но лишь качнулся и горестно затряс головой.

— Ноги более не держат.

— Как же вы пули извлекаете?

— На коленях. На коленях еще могу. — Китаевский пожевал сухими губами, старательно отводя глаза от котелка: он видел, чувствовал, чуял воду. — Трое умерли от ран, двое — от общего истощения, а еще один сошел с ума. Воду везде видит, песок пить пытается. Рот песком забил и смеется.

Он замолчал. Штоквич сел напротив, осторожно поставив на стол котелок. Китаевский часто задышал, задергал лицом, отвернулся.

— Вы нарушаете мой приказ, младший врач Китаевский, — тихо сказал капитан. — И нарушаете систематически.

— Какой приказ?

— Вы не пьете ту порцию, которую я отпускаю приказом по гарнизону.

— А вы пьете?

— Я пью. Ровно столько, сколько положено каждому без различия чинов и званий.

— Вы сильный. — Китаевский попробовал улыбнуться, на треснувших губах сразу показалась кровь. — Вы сильный, а я слабый. Я не могу пить, когда кричат дети. У двух кормящих женщин пропало молоко. Им нужна вода, Федор Эдуардович, у них кричат дети.

— У меня нет воды.

— А у меня есть: целая ложка. И я ее отдаю. Я отдаю им свою ложку воды, потому что если умирают дети, то все бессмыслица.

— Новых нарожают, — думая об ином, сказал комендант.

— Новых детей не бывает, — горько покачал головой Китаевский. — Ни новых, ни старых: дети всегда только дети. Будущие человеки. Они ничего не смыслят ни в долге, ни в чести, ни в славе. Зачем вы спасли их от курдов? Чтобы уморить жаждой? Так ведь в костре умереть легче, скорее!

— Пейте. — Штоквич осторожно переставил котелок. — Пейте при мне.

— Н-нет. — Китаевский судорожно, с трудом проглотил колючий, раздиравший воспаленную гортань ком. — Я не могу. Не могу пить, когда у матерей пропадает молоко и груди ссыхаются, как сушеные груши. Не мучайте меня, Штоквич. Отнесите им воду, а меня оставьте. Я хочу описать коллегам некоторые личные ощущения.

— Кроме этих матерей, есть еще одна, общая мать для всех нас, — сказал Штоквич. — Вы обрусевший поляк, я обрусевший литовец, Чекаидзе — грузин, а Гедулянов — русский. Но у всех нас одна мать, суровая, холодная, но родная, — Россия. И от ее имени я, комендант крепости, приказываю вам выпить эту воду.

Китаевский медленно покачал головой. Штоквич вздохнул, спросил вдруг:

— Вы мне верите? Мне лично верите?

— Верю.

— Даю вам слово, что с завтрашнего дня все кормящие матери будут получать ровно столько воды, сколько вы выпьете при мне.

Максимилиан Казимирович пристально глянул на него сухими горячечными глазами. Штоквич выдержал взгляд и двумя руками, как величайшую из драгоценностей, протянул котелок. Китаевский схватил его, мучительно давясь и булькая, выпил. Штоквич, призвав всю свою выдержку, не отрывал от него глаз. И с последним его глотком непроизвольно сглотнул сухой, рвущий горло комок. И заставил себя улыбнуться.

— У вас слезы, Максимилиан Казимирович. Ай-ай, как ослабли.

— Это не слезы, — тяжело передохнув, строго пояснил Китаевский. — В обезвоженном организме нет слез, я написал об этом в своих заметках. Знаете, я маленький врач, неудачник и недоучка, но для коллег — все, что мог. Может быть, пригодится. А это, — он смущенно потер пальцем уголки глаз, — соль выступает. Кристаллики соли. В Баязете плачут солью, Федор Эдуардович. — Он слабо улыбнулся, и опять на иссохших губах показалась кровь. — У меня ощущение, будто я выпил шампанского. Кружится голова, покалывает во всем теле... и хочется спать.

— Отдыхайте, Максимилиан Казимирович. — Штоквич взял котелок и пошел к дверям.

— Вы верите в бога? — вдруг спросил Китаевский.

— Не знаю. — Штоквич неуверенно пожал плечами. — Я верю в людей, которыми команду.

— А я верую в него больше, чем прежде. У меня большая семья. Она будет молиться за вас каждый день, капитан Штоквич.

Лицо Китаевского сморщилось, плечи затряслись в бессильной попытке разрыдаться. И в уголках глаз вновь остро блеснули кристаллики соли — сухие слезы баязетской осады.

Выйдя от Китаевского и плотно закрыв дверь, комендант воровато оглянулся и, дрожа всем телом, старательно вылизал весь котелок жестким, как пергамент, покрытым язвами и трещинами языком. На стенках оставалась еще тонкая пленка влаги, и он ловил, всасывал, втягивал ее в себя.

В комнате Штоквича ждал Гедулянов. Он высох, рваная грязная форма висела на нем как на вешалке, а в черной бороде впервые появилась седина.

— Тая умирает, — глухо сказал он.

Штоквич повесил фуражку, расслабил ремни, сел за стол.

— Умирает Тая, — без интонаций, словно про себя повторил Гедулянов.

— У нас нет воды.

— Она все равно не может ее пить. Даже то, что ей положено. Ее рвет. Мучительно, до судорог. Это же не вода, Штоквич, это какой-то... холодец из тухлятины.

— У меня в резерве два ведра этого холодца, капитан. Для детей и раненых, если сегодня вылазка опять будет неудачной.

— Будет! — Гедулянов зло сверкнул глазами. — Будет неудача, потому что мы ходим за водой точно по расписанию, которое прекрасно изучили турки. Вы слишком большой педант, Штоквич, для вас порядок дороже целесообразности.

— А вы предлагаете импровизацию?

— Я предлагаю провести вылазку днем, в пять часов.

— Самый зной, — вздохнул Штоквич.

— И в этот зной турки заваливаются спать. Я три дня наблюдал за ними: оставляют двух наблюдателей и уходят дрыхнуть в тень. Наблюдателей снимут пластуны, а от возможной атаки меня прикроют стрелки Проскуры.

— Вас прикроют?

— Да, меня: я сам возглавлю вылазку за водой, это мое первое условие.

— А второе?

— Второе? — Гедулянов помолчал. — Оно не второе, оно главное: лишняя фляжка воды, которую вы не учтете.

— Но Таисия Ковалевская не может пить этот компот из падали.

— Я проберусь выше по течению, где свежая вода.

— Где полно курдов и нет возможности прикрыть вас огнем. — Комендант подождал, ожидая возражений, но Гедулянов угрюмо молчал. — Вы любите Ковалевскую? Извините, я не могу иначе объяснить ваше безрассудство, капитан.

— Больше жизни, — хрипло сказал Гедулянов. — Больше своей жизни, Штоквич, чтобы не звучало так красиво.

— Понятно. — Штоквич устало потер заросшие щеки. — Я согласен, но у меня тоже есть условие. Вы принесете две фляжки, которые я не учту. Вторую отдадите Китаевскому. Найдите Кванина, Гвоздина и юнкера — обсудим.

Дневная вылазка удалась. Разомлевших от зноя наблюдателей кинжалами сняли казаки, а когда турки опомнились, последние водоносы уже укрылись в траншее, что вела к отхожим местам цитадели. Однако Проскура навязал противнику перестрелку и вел ее, пока не вернулся Гедулянов. На нем был перепачканный глиной и кирпичной пылью госпитальный халат, которым он прикрыл от посторонних глаз две доверху наполненные фляги.

— Пей, — говорил он Тая. — Это чистая вода, я вверху брал.

Сделав несколько судорожных глотков, Тая пила теперь медленно, сдерживая себя. Бледное лицо ее чуть порозовело, и даже в потускневших глазах затеплился отблеск прежнего огонька. Глядя на нее, Гедулянов испытывал необыкновенное, доселе неведомое счастье. Оно настолько переполняло его, что он не мог сидеть спокойно, а все время теребил бороду, гладил лоб или потирал руки. И улыбался в густую, еще недавно черную бороду.

— Теперь я смогу поплакать, — сказала Тая. — Нам, женщинам, иногда очень нужно поплакать. Особенно от счастья.

— От счастья?

Он почти не понимал, о чем она говорит, он только слушал ее голос. Слушал и улыбался.

— От огромного счастья, дорогой мой, родной, единственный мой Петр Игнатьевич. Теперь мы не расстанемся никогда, никогда в жизни не расстанемся, слышите? Только не подумайте, пожалуйста, что я навязываюсь, я просто буду жить рядом, нянчить ваших детей, ухаживать за вами...

— Тая, — он неуклюже опустился на колени, поймал ее руки, спрятал в ладонях свое косматое грязное лицо, — я никому не отдам тебя, Тая. Я не могу отдать тебя. У меня ничего нет, я простой пехотный офицер, ты знаешь, но я... Я не могу без тебя.

— Господи, — прошептала Тая. — За что же мне такое счастье? За что, господи?..

Они не знали, что до освобождения осталось всего четверо суток. Из всех посланцев Штоквича до своих добрался один Тер-Погосов. Об осаде Баязета узнали быстро, но измотанные маршами войска Тергукасова нуждались в отдыхе и пополнении.

28-го после восьмичасового боя противник был разгромлен наголову. Заслышав стрельбу, Штоквич приказал открыть ворота. Их разбарикадировали, распахнули, очистили площадку и выкатили орудие. Пока поручик Томашевский громил со второго этажа турецкие цепи, его старший фейерверкер Яков Егоров картечью расстреливал отступающих черкесов Шамиля; курды бежали в горы при первых же залпах.

Когда Тергукасов вошел в распахнутые ворота крепости, в первом дворе его встретил выстроенный гарнизон. Возле знамени 2-го батальона 74-го пехотного Ставропольского полка стоял капитан Гедулянов, поддерживая сестру милосердия Таисию Ковалевскую. Генерал принял рапорт Штоквича, до земли поклонился защитникам и обнял коменданта.

— Поспешите с представлением. И никого не позабудьте. Никого, слышите?

Вечером того же дня капитан Штоквич писал последний приказ № 23 от 28 июня 1877 года. Он не надеялся на память, все время роясь в приказах и донесениях, стараясь вспомнить каждый из страшных дней осады. Приказ получался длинным, а ему все казалось, что он перечислил не всех, кто достоин награды. И потому это был единственный из приказов коменданта, рыхлый по стилю, нескладный по содержанию и непривычно многословный:

*«...а в особенности я должен поблагодарить за неусыпную бдительность, труды и распорядительность заведующего 2-м батальоном 74-го пехотного Ставропольского полка капитана Гедулянова...*

*...казацких командиров войскового старшину Кванина и сотника Гвоздина...*

*...сестру милосердия Таисию Ковалевскую...*

*...командира 4-го взвода 4-й батареи 19-й артиллерийской бригады поручика Томашевского...*

*...командира роты Ставропольского полка поручика Чекаидзе...*

*...младшего врача 74-го пехотного Ставропольского полка Китаевского...*

*...юнкера Леонида Проскуру...*

*...старшего фейерверкера Якова Егорова...*

*...состоявшего при мне переводчиком Таги-бек Баграмбекова...*

*...а также всех нижних чинов пехотных и казачьих частей...»*

Написав приказ, капитан еще раз внимательно сверил его с документами, опасаясь, не упустил ли кого, и только после этого подписал.

И лишь одной фамилии не было в этом приказе-перечне — перечне, который шел на представление к наградам, — фамилии самого коменданта цитадели капитана Федора Эдуардовича Штоквича.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

В последних числах июля небольшой особняк на одной из тихих улиц Бухареста внезапно ожил, засветился окнами, заскрипел заржавевшими петлями. Хозяин его еще в январе уехал в Париж, заломив за аренду сумасшедшие деньги. Однако к означенному времени нашлась-таки мошна.

Поначалу Варя наотрез отказалась переезжать. Здесь ее двусмысленное положение было еще терпимым: рядом находился Федор, который в Бухаресте задерживаться не собирался, поскольку вместе с ними ехал штабс-капитан Алексей Николаевич Куропаткин.

В Кишиневе она освоилась быстро. Роман Трифонович вел себя безукоризненно, был внимателен, ненавязчив и ни на чем никогда не настаивал. До ее отказа ехать с ним в Бухарест.

— Колеса мои заскрипели, — вздохнул он. — Поглядеть надо, что застопорилось: то ли подмазать, то ли из грязи вытолкнуть, то ли подпрячь кого. Это на месте только решить можно, а потому не обойтись мне без вас, Варвара Ивановна.

Если бы он уверял, что дня не может прожить один, если бы умолял для себя, Варя не согласилась бы. Но он беспокоился о деле, просил помочь, и Варя, поколебавшись, дала согласие. И через неделю засветился огнями заброшенный особняк румынского богатея.

Вскорости по прибытии в Бухарест Хомяков навестил Варю.

— Варвара Ивановна, нижайшая и обязательная просьба: будьте хозяйкой ужина. Ожидаю гостей, мне весьма нужных, которых принять надобно со всей любезностью.

— Сударь, это невозможно. — Варя встала, прошлась по гостиной, нервно теребя руки. — Вы представьте мое положение.

— Нет уж вы сперва наше, — он резко подчеркнул последнее слово, — положение представьте. Нашупал я стену, в которую все дело уперлось. Крепкая стеночка, такую лбом не прошибешь, такую только обойти можно, и тут уж я на вас уповаю. Они ведь на меня как на мужика смотрят, а надо, чтоб мужик этот им своим показался. Вот какая задачка, Варвара Ивановна, так что готовьтесь любезной быть.

Поспорив немного, Варя сдалась. И хотя роль ее была оскорбительна, она решительно приказала себе обо всем забыть и стала готовиться к предстоящему приему.

Первым гостем оказался Алексей Николаевич Куропаткин. Следом прибыли экипажи с Александрой Андреевной Левашевой, князем Насекиным и Лизонькой с мужем, весьма напыщенным генералом из того сорта, что получают чины и ордена за умение своевременно говорить своевременные слова. О приглашении Левашевой с братом Варя знала, но появление Лизоньки было для нее полной неожиданностью. Она вспомнила их последнее свидание и с ужасом ощутила, как начинает увядать. Но Лизонька рассылалась в таких любезностях, что Варя сразу поняла, что в Бухаресте роли их поменялись.

— Я так рада, так счастлива видеть вас в этом противном городе, дорогая Варенька! Мы же знакомы целую вечность, я помню вашу прелестную усадьбу. А здесь у вас — дворец. Шик, просто шик! О, Федор Иванович, очень, очень рада вас видеть.

Левашева была сама приветливость, князь улыбнулся одними губами, но поцеловав руку, что больно кольнуло Варю. Она сразу напряглась, ожидая язвительных намеков, но Насекин молча прошествовал к мужчинам. Зато генерал хрипло зарокотал, едва успев раскланяться:

— Слышали новость, господа? Светлейший князь Имеретинский отказался от службы при государе и пожелал в строй. Положительно эти грузинские царевичи до сей поры ничему не научились. Учтивость есть первейший признак истинного благоговения перед монархом. — Он понизил голос. — Кстати, та особа, присутствие которой было обещано вами, почтеннейший, — генеральская голова чуть отметила направление, где стоял Хомяков, — в свое время пострадала именно в связи с нарушением первейшего признака.

— Вы говорите о госпоже Числовой? — холодно уточнил Роман Трифонович. — Напомните, чтобы я не позабыл вас представить.

— Благодарствую. — Генерал заметно сбавил спесь. — Я был бы искренне рад засвидетельствовать глубокоуважаемой Екатерине Гавриловне мое нижайшее почтение.

Генерал спешил засвидетельствовать свое почтение бывшей танцовщице Числовой вовсе не из сострадания к ее недавней опале, а потому, что она была гражданской женой великого князя Николая Николаевича старшего.

— Несчастливая женщина, — вздыхала Левашева. — Разлука с детьми; с горячо любимым человеком — ужасно, ужасно!

— Можно подумать, сестра, что ты говоришь о боярыне Морозовой, — желчно усмехнулся князь. — Тогда присовокупи к мукам и нагайку, которая всенародно была пущена в ход Николаем Николаевичем младшим.

Князь говорил с бледной улыбкой, глядя при этом только на Варю. Этот холодный иронический взгляд лучше всяких слов давал понять, что Сергей Андреевич во всем уже разобрался: и в целях этого вечера, и в планах Хомякова, и в жалкой, двусмысленной роли самой Варвары. Она ощутила обессиливающую неуверенность, представив, что и остальные гости, поняв игру, включатся в нее со всей светской беспощадностью и что против этого союза бессильны и она, и Куропаткин, и сам Роман Трифионович.

— Это... это чудовищно, на что вы намекаете, князь, — вспыхнула Лизонька.

— Грязные сплетни, — вельможено рокотал генерал. — Вы повторяете неприличную клевету, князь, и мне, право, странно.

— Возможно, генерал, возможно, — согласился князь. — Во всяком случае, я расскажу о ваших сомнениях Николаю Николаевичу младшему. Вполне вероятно, что я что-то напутал с той поры, как он мне рассказывал, и хлестал он не нагайкой, а стеком. Я плохо запоминаю детали, но обещаю вам уточнить их.

Онемел не только генерал, но и обе гостьи: Насекин внезапно изменил фронт атаки. При этом он и Хомяков оставались совершенно невозмутимыми, Куропаткин, подмигнув Федору, отвернулся, пряча улыбку, а Варя с трудом сдержала смех. И этот возникший в ней неудержимый злой смех окончательно смыл неуверенность. Она отчетливо поняла, что сегодня и генерал и дамы будут льстить и угодничать, ибо по их представлениям дом, в который должна была прибыть сама Числова, был домом всесильным. И сила этого дома олицетворялась в тяжелой, мужицкой фигуре его хозяина. Нет, она не ошиблась в его ослепительной улыбке, в его зеленоватых, с хитрым прищуром глазах, умевших так презрительно и властно смотреть на всех и с такой любовью — только на нее. Это мгновение оглушающей тишины стало мигмом ее прозрения: она поняла, что не только он любит ее, но что и она — она, столбовая дворянка Варвара Олексина! — тоже любит этого уверенного, властного, сильного и решительного человека так, как и должна любить женщина, — на всю жизнь.

Все это мелькнуло, осозналось, и тут же Варя легко повела разговор, из которого выбился неожиданно громкий голос Федора:

— Равенство есть идеал справедливого общества, Алексей Николаевич, всеобщее равенство перед законом. А для этого необходимо прежде всего уничтожить сословия.

— Насколько мне известно, учение социалистов требует большего, Федор Иванович.

— При чем тут социализм! — отмахнулся Федор. — Я говорю не о перестройке общества, а лишь об улучшении существующего порядка. Произвол, нищета, казнокрадство, темнота и безграмотность — вот болезни отечества. Разве это не должно тревожить душу каждого честного человека?

— Кхе-кхе! — внушительно прокашлялся генерал.

Он решил, что пришло время реабилитировать себя в глазах присутствующих. Однако князь опередил его.

— Мечтаете об идеальной державе, Федор Иванович? Я тоже, но мечта моя более радикальна: ликвидировать все виды доходов. Любыми средствами: выкупом поместий, акций, земель, предприятий или их насильственным отчуждением в казну — это детали, которые всегда можно оправдать государственной необходимостью. Важно все, решительно все — золото, драгоценности, земли, заводы и фабрики, рыбные

ловы и саму рыбу, скот и недра земли — сосредоточить в одних руках. И далее вы — сам господь бог. Вы единственный кормилец целой страны, ценитель заслуг и талантов, вы раздатель милостыни в виде жалованья, единовременного пособия или пенсионера. И вы разом покончите со всеми неприятностями — с возмущением рабочих, строптивостью интеллигенции, бунтами мужиков и опасной самостоятельностью господ промышленников: жрать-то, пардон, всем хочется. Поверьте, правительство, которое первым осуществит это на практике, будет самым все-ильным правительством мира. И что самое парадоксальное: созданное на этой основе государство — называйте его, как хотите, дело ведь не в словах — будет государством абсолютного равенства и общественной гармонии, ибо все равны перед куском хлеба насущного.

— Все это уже было, было, было! — почти с отчаянием выкрикнул Федор. — Вы смеетесь над нами, князь? Так признайтесь, посмеемся вместе. А если говорите искренне, то зачем же зовете нас назад? Государство, воспетое вами как идеал, существовало в России в прошлом веке, когда все, решительно все вплоть до жизни каждого подданного было сосредоточено в руках монарха. И только указ Екатерины тысяча семьсот шестьдесят второго года положил конец этому варварскому абсолютизму. Это идеал прошлого, а где же будущее, князь? Или по свойству своего ума вы способны лишь думать о том, что было вчера, и бессильны представить, что будет завтра?

— Завтра будет вчера, — улыбнулся Насекин. — История — это манеж, в котором скачут по кругу все те же лошади. Меняются лишь жокеи; старея, они уходят на покой, и новое поколение с энтузиазмом начинает брать те же барьеры. Так что моя идея, Федор Иванович, столько же в прошлом, сколько и в будущем.

Насекин говорил с обычной ленцой, бесстрастно и незаинтересованно, будто читал нечто всем давно известное. И нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит, предлагает нечто наболевшее или иронизирует по поводу социальных утопий. И поэтому все молчали: Федор хмурился, готовя новые аргументы, генерал растерянно соображал, Куропаткин улыбался, и только Хомяков оставался невозмутимым.

— Идея ваша блестяща, но, увы, неосуществима, Сергей Андреевич. В вашей схеме нет места для частной собственности.

— В этом весь смысл, Роман Трифонович.

— Не получится, — вздохнул Хомяков. — Разворуют: раз не мое, не соседа, так отчего же не украсть?

— Любопытно, — холодно отметил князь. — Аристократия рождает бунты, а буржуазия — теории.

— Естественно, — улыбнулся Хомяков. — Буржуазии думать приходится.

— Любопытно, — повторил князь, вздохнув. — Умеете анализировать, думать, теории создавать, но все так, будто до вас и света божьего не было. Будто появились вы на пустом месте, прикинули, как дом поставить, и начали котлован копать, не обратив внимания, что фундамент уже давно заложен.

— Какой же хозяин на старом фундаменте новый дом поставит?

— Он не старый, он вечный, — с необычной ноткой утверждения сказал князь. — Вечный, как сам народ.

— Поясните, — вмешался Федор. — Аллегии кончились, князь.

— Видимо, придется. — Князь надменно улыбнулся. — Видите ли, вчерашние лавочники, ныне ставшие господами философами, утверждают, что мы, аристократы, паразитируем на теле народа. Им простительно это заблуждение: они учились на медные деньги и считают, что эти медные деньги и есть наивысшая ценность. Но ведь есть и другие ценности: понятие долга, верности отечеству в лице государя, веры — в лице церкви и рыцарства — в лице женщины, и если подсчитать их, то мы с лихвой отработываем свой хлеб. Мы цементируем нацию: убе-

рите нас — и нация не будет. Останется народ с названием таким-то, но народ с названием — это еще не нация.

— Насколько я понимаю, князь, вы изложили свое кредо, — сказал Куропаткин.

— Совершенно верно, капитан, — серьезно подтвердил Насекин. — Причем вполне своевременно, в качестве последнего прости. Через два дня я отбываю, так сказать, на ту сторону: еду к туркам с миссией Красного Креста. С особым удовольствием я запомню сегодняшний вечер. — Князь, привстав, поклонился Варя. — Благодарю вас за него, Варвара Ивановна. При случае не откажите в любезности передать поклон вашей сестре. Она все еще в Москве?

— Право, не знаю, — сказала Варя. — Последнее письмо ее было столь восторженным, что я не удивлюсь, если она окажется за Дунаем.

— Всех Олексиных неудержимо влечет к себе война, — грустно улыбнулся князь. — Вот и мне еще осталось проститься с одним из ее неукротимых демонов.

— Кто же заслужил столь необычный титул? — спросила Варя.

— Естественно, Скобелев-второй.

— Михаил Дмитриевич в Бухаресте? — быстро спросил Куропаткин.

Князь помедлил с ответом. Ему не хотелось открывать чужую тайну, но не хотелось и выкручиваться.

— И да и нет, — нехотя сказал он. — Для вас, капитан, по всей вероятности, — да.

Объявили о прибытии новых гостей, и неловкость сменилась оживлением, потому что в гостиную вошла сама Числова в сопровождении полного, брызгливого вида господина. Это был бывший управляющий генерала Непокойчицкого, старый друг и доверенное лицо Числовой Гартинг. Наступило то, ради чего затевался этот вечер, а возможно и сам приезд в Румынию. Приди Числова часом раньше, она бы встретила не приветливую, уверенную в себе хозяйку дома, а плохо знающую роль статистку, случаем попавшую в героини. Но сейчас Варя уже не нужно было искать темы для беседы, думать о манере поведения: желанье нравиться Хомякову и ощущение собственного места в его жизни придавало ей особую, заражающую живость.

— Само очарование, — сказала Числова Гартингу. — И где наш мужлан откопал этакую карамзинскую свежесть?

И встреча и последовавший за ней ужин прошли так, как Роман Трифонович и помечтать не смел при всем своем умении не только строить, но и дотошно разрабатывать собственные планы.

После ужина Хомяков увел Числову и Гартинга в свой кабинет. Прочие гости, посидев немного, начали разъезжаться. Генерал был доволен, что его представили всесильной любовнице главнокомандующего; Левашева — утолив свое любопытство; Лизонька с трудом скрывала раздражение, а князь Насекин, непривычно посерьезнев, сказал на прощанье:

— Предчувствия мои дурны, а чувства смешны до слез. Признаюсь, что пришел с одним образом в душе, а уйду с двумя. Очень близкими, родными — и непохожими. Прощайте, Варвара Ивановна.

— До свидания, князь.

— Конечно, конечно. — Насекин вздохнул. — Прошу при случае поклониться вашей сестре. Нет, не поклониться, а кланяться. Всегда.

Он и на этот раз поцеловал руку, но в этом поцелуе уже было признание. Варя стало грустно, и она вернулась в гостиную с этой непонятной грустью. Федор и Куропаткин расставляли шахматы — капитан оставался ночевать, намереваясь спозаранку отправиться на поиски Скобелева. Варя постояла подле них, вздохнула.

— Устали, Варвара Ивановна? — спросил Куропаткин.

— Князь, — Варя опять вздохнула, — он странный сегодня.

— Я мало знаком с ним.



— Оригинальничает, — сказал Федор. — Каждый утверждает свое «я» на свой манер.

— Нет, Федя, здесь не то. Машу отчего-то вспомнил.

Она вышла отдать распоряжение, чтобы приготовили комнату Куропаткину, а возвращаясь, столкнулась с деловыми гостями.

— А вот и наша прелестная хозяйка, — ласково улыбнулась Числова. — Жду вас, дорогая, у себя в воскресенье в пять часов.

Гартинг расплылся в улыбке, Числова расцеловалась с Варей, и гости отбыли. Роман Трифионович вышел проводить, а Варя ждала, когда он вернется. Ей необходимо было видеть его тотчас после отъезда этих людей, услышать, что он скажет. А он, войдя, сразу же взял обе ее руки в свои и долго не отпускал, сияя глазами. И Варя, чувствуя, как краснеет, улыбалась и не отводила взгляда.

— Коли валит счастье, так пусть охапкой, а на половинку мы с тобой не согласны, — тихо сказал он. — Так или нет?

— Да, — сказала она, плохо понимая, о чем он говорит, а слушая лишь голос и расцветая еще пуще от его голоса. — А что же эти... господа эти?

— Ах эти! — Глаза Хомякова утратили влажный блеск. — Подпряг, Варвара Ивановна, с божьей, а паче того с вашей помощью. Теперь у меня два компаньона: госпожа Числова да господин Гартинг. Прибыли, соответственно, на сорок процентов уменьшились, да я на обороте не прогадаю. С такими пристяжными нам сам черт не страшен! — Он склонился, бережно поцеловал обе ее руки, и взгляд его вновь заволочился нежностью. — Наши, поди, в шахматы сражаются? Вели туда шампанского подать.

И пошел в гостиную, более не оглядываясь, а Варя еще стояла, удивляясь и радуясь, как спокойно и просто принимает она его внезапные переходы от подчеркнуто вежливого до интимно ласкового обращения.

## 2

Скобелев пил вторую неделю. Начинал с раздраженного непонимания, почему в его постели оказалась женщина, кто она такая, о чем стрекочет и как ее зовут. Лихорадочно пытался припомнить вечер, как правило, ничего вспомнить не мог и торопился опрокинуть рюмку, чтобы обрести равновесие духа. Голова у него никогда не болела, но внутри было тревожно и скверно, а когда выпивал, все вроде бы вставало на свои места. Первое время Млынов пытался вразумить Михаила Дмитриевича, но потом махнул рукой, решив ждать, когда сам перебежится и потребует утром холодной воды. Но генерал закусил удила, швыряя деньги цыганам, кокоткам, подозрительным карточным партнерам, выматывающим душу румынским скрипачам и красивым ножкам, плясавшим по его заказам. Тут уж не могло хватить никаких средств, и Скобелев не задумываясь подписывал векселя и расписки под любые проценты; разобравшись в этом, Млынов пришел в ужас и срочно бросился разыскивать старика — Дмитрия Ивановича Скобелева 1-го, генерал-лейтенанта и командира не существующей более Кавказской дивизии.

— А как пьет? — спросил генерал, когда Млынов вкратце обрисовал ему скобелевский разгул.

— Много, ваше превосходительство.

— Дмитрием Ивановичем мое превосходительство зовут, знаешь, чай, нечего на казенном языке объясняться. Я тебя спрашиваю — как, а ты — много. Это не ответ: для кого много, а для Мишки в самый раз. Так как все-таки пьет-то?

— По-черному, Дмитрий Иванович, — подумав, определил Млынов.

— Вот это ответ. — Старик вздохнул. — Ах сукин сын, гусар, лоботряс, прощелыга. С бабами?

— Каждый день новая.

— Это в меня, — не без самодовольства отметил Дмитрий Иванович; в его ругани было куда больше одобрения, чем порицания, что очень не нравилось Млынову. — Ну, это хорошо, скорее уморится. А ты чего прискакал? Уговаривать не пойду, я Мишку лучше тебя знаю. Стало быть, ждать надобно, покуда силы в нем кончатся.

Млынов явился не за советом, а за деньгами: старик был богат, но прижимист и в отличие от сына считать умел. Кроме того, он обладал редкостным упрямством, которое возникало в нем вдруг, без всякой видимой причины, и капитан опасался начинать разговор. Пока он раздумывал, с какой стороны подступить к старому кавказскому рубаке, Дмитрий Иванович продолжал не без удовольствия сокрушаться по поводу беспутного сына.

— Лихой солдат и командир отменный, а перед юбкой устоять не может. Это у него смолоду: как лишнюю чарку хватит, так и глядит, где шелками зашелестело. Сколько разов говорил: «Мишка, поопасись, этак и карьеру сгубить недолго. Бабские шепотки нам, военным, самое зло». Какое там! Еще пуще глаза выкатывает. Упряма!

Последнее генерал произнес с особым удовлетворением, но Млынов не слушал его кавалерийских восторгов. Он поймал ниточку, за которую следовало тянуть, чтобы заставить папашу раскошелиться.

— Совершенно верно заметили, Дмитрий Иванович, — таинственно приглушив голос, сказал он. — Я ведь с тем к вам и прибыл. Известно, сколь предвзято относится к Михаилу Дмитриевичу его высочество главнокомандующий, а тут вот-вот долги всплывут.

— Долги? — нахмурился Скобелев-старший. — Опять влез?

— Главное, необдуманно векселя подмахнул, — будто не слыша, продолжал Млынов. — Дошел до меня слух, Дмитрий Иванович, что все эти векселя собирается скупить некое лицо, дабы затем при удобном случае показать их его высочеству и тем самым...

— Кто скупает? Ну? Что молчишь? Какой мерзавец под Скобелевых копать вздумал?

До сей поры Млынов импровизировал спокойно, приправляя правду общими многозначительными намеками. Но генерал потребовал конкретного имени; на размышление времени не было, и капитан брякнул, основываясь на чистой интуиции:

— Барон Криденер. Через подставных лиц.

— Ах колбасник, душу мать! — рявкнул генерал, хватив кулаком по столу. — Ах немец-перец-колбаса! Ну врешь, не видать тебе скобелевского позора! — Старик сложил корявую дулю и почему-то сунул ее в нос Млынову. — На-кося, выкуси!

Он бурно дышал и стал красным, как помидор. Млынов начал опасаться, не хватит ли его удар, но генерал был могуч, как дуб. Легко вскочив, по-скобелевски метнулся к дверям, развернулся на каблуках и оказался перед капитаном.

— Сколько?

— Много, Дмитрий Иванович, — политично вздохнул Млынов.

— Сколько, я спрашиваю?! — взревел старик.

— Тысяч около десяти, если с процентами.

— Хорошо гуляет, стервец! — неожиданно заулыбался генерал. — Ай да Мишка! Ай да гусар! Молодец: знай наших, немецкая твоя душа!

— Завтра, коли прикажете, доложу точно до копейки.

— Сегодня! Через три часа, и чтоб к вечеру рассчитался: лично тебе деньги даю. А этого сукина сына я все равно ремнем выдеру, нехай себе что свитский генерал. Ступай, капитан, одна нога здесь, другая там.

Заплатить скобелевские долги для Млынова было еще полдела: оставалось вырвать Михаила Дмитриевича из няного круга, вырезать, привести в чувство, заставить вспомнить о деле и тем самым вновь

зажечь в опустошенной душе угасший факел веры в самого себя. Здесь Млынов мог надеяться только на авторитеты, которые признавала самодлюбивая и обидчивая скобелевская натура. Ни Драгомирова, ни Шаховского в Бухаресте не было, и верный адъютант, поразмыслив, поехал в русскую военную миссию, ведавшую перемещением русских войск, а наипаче генералов.

В этот беспокойный для Млынова день Скобелев пил в номере старое монастырское. На нем был любимый бухарский халат, памятный по анекдоту, который он уже дважды начинал рассказывать незадолго до молодому человеку. Молодой человек, беспрестанно улыбаясь, бестактно льстил, но Михаил Дмитриевич витийствовал не по этой причине. Истинная причина сидела поодаль на диване, изредка вскидывая ресницы и обжигая генерала обожающим взглядом вишневых глаз.

— Уж к чему у меня способности, так это к языкам. В детстве гувернеры нахвалиться не могли. Да. Ну, потом — Париж, Дания, Италия, Англия... Прошу прощения, мадемуазель, что принимаю в халате: знобит. Да, о чем это я?.. А, о халате! Мне преподнесла его депутация уважаемых старцев аксакалов. Кажется, в Фергане... Но это не важно. А важно, что вышел я к ним в полной форме, но со свирепого похмелья. Свирепейшего! В башке барабанная дробь, звон бокалов и обрывки вчерашней кутерьмы, а тут — седобородые. С этим вот самым халатом. Я к тому времени уж и по-арабски читал, а поди ж ты! Принял халат, сделал шаг вперед и гаркнул: «Господа саксаулы!..» — Он громко расхохотался. — Это вместо аксакалов — саксаулы! Вот какой камуфлет мыслей анекдотический. «Господа саксаулы» вместо «господ аксакалов». — Генерал вдруг вздохнул. — В жизни себе этого не прошу. Гадость какая — стариков обидеть.

— Да что вы, ваше превосходительство, — затараторил молодой человек. — Как говорится, кантитэ неглижабль!

— Неглижабль. — Скобелев посмотрел на заманчивую брюнетку, но та лишь томно ворохнула ресницами. — За милых женщин, друг мой. За украшение нашей грубой жизни, за венец творения, правда с шипами, как и положено венцу.

За венец выпить не успели, как в номер вошел Алексей Николаевич Куропаткин.

— Шел на ваш львиный рык как на маяк, — сказал он, сухо поклонившись с порога.

— Алеша?.. — радостно заорал Скобелев. — Алешка, друг ты мой туркестанский, откуда? Дай обниму тебя.

— Вы знаете, Михаил Дмитриевич, мою слабость: я никогда не обнимаюсь при посторонних. А поскольку обняться нам необходимо, то прошу вас, господа, незамедлительно покинуть этот номер. Живо, господа, живо, я не привык дважды повторять команду!

Гости ретировались мгновенно, но друзья с объятиями не спешили. Скобелев вдруг обиделся, а Куропаткин разозлился.

— Ну и зря, — надутó сказал Скобелев. — Брюнеточка страстью полыхала, а ты... В каком виде меня показал перед ней?

— В хмельном, — отрезал Куропаткин, садясь напротив. — Чего изволите делать дальше, ваше превосходительство? Хвастаться победами, ругать тыловых крыс или страдать от непонимания? Я весь ваш репертуар наизусть знаю, так что давайте без антрактов.

Скобелев усмехнулся, налил полный бокал, неторопливо выпил. Привычно расправив бороду, сказал неожиданно трезво и горько:

— Нет, Алексей Николаевич, ничего ты не знаешь. Война здесь другая, не наша какая-то война. Здесь за чины воюют, за ордена, за царское «спасибо», а потому и продают. Меня, думаешь? Да плевать я на себя хотел: эка невидаль для России еще один талант под пулю подвести. Солдат продают, Алеша, силу и гордость нашу. И меня продавать заставляют. — Он помотал тяжелой головой. — Как вспомню песню, с которой курае в бой шли, так... Женихами шли! Верили!

мне, как... как своему верили, понимаешь? И осталась та вера на Зеленых горах...

— Так вернитесь за нею, — тихо сказал Куропаткин. — Не знаю, какой вы полководец, но вы вождь. Прирожденный вождь, в вас какая-то чертовщина необъяснимая, за вас умирают радостно. Лет этак двести назад вы бы ватаги по Волге водили и княжон персидских в полон бы брали не хуже Стеньки Разина.

— А может, и лучше, — не без самодовольства заметил генерал. — Ватаги бы водил, а войска более не поведу. Не хочу я, чтоб моим именем солдат на бессмысленную смерть обрекали, а посему кончим этот разговор. Хочешь со мной выпить — милости просим, а нет — так ступай задницу Криденеру лизать.

— Или — или? Отчего же такие крайности?

— А оттого, что я гордый внук славян, как назвал меня Александр Сергеевич. И каждый русский должен всегда помнить, что он гордый внук славян, а не половецкий холоп и не ганзейский купчишка. И доколе мы будем помнить это, дотоле и останемся русскими. Особливым народом, которому во хмелю море по колено, а в трезвости так и вовсе по щиколотку.

— Жаль, наши славянофилы не слышат этой патетической речи.

— Плевать я хотел на славянофилов. Я уважаю всех людей, особо если они мои враги. А глупое славянофильство не уважает никого, кроме себя. Нет уж, ты меня, Алеша, с этими господами не мешай, я Россию со всеми ее болячками люблю, без румян и помады.

— А что же на поле брани ее бросили? — Куропаткин подождал ответа, но Михаил Дмитриевич угрюмо молчал. — Нелогично.

— Боль не признает логики, — вздохнул Скобелев. — Потерял я право людьми командовать. Уверенность ту ослепительную, что непобедим ты, что каждое слово твое понимают, что с песней на смерть пойдут, коли прикажешь. С песней. — Он еще раз тяжело вздохнул. — Вот ты сказал, что я вождь, и тут же Стеньку Разина вспомнил. Правильно вспомнил, потому что никакой я не вождь, я атаман. Делай, как я, — вот и все, что я требую. А сейчас и этого требовать не могу, потому что не верю.

— В победу?

— В необходимость гибели солдат русских не верю! — яростно крикнул Скобелев. — Понасажали старичья в эполетах на нашу голову, а я не желаю кровью своих солдат их тупость оплачивать. Не желаю!

Он залпом выпил вино, расправил бакенбарды, пересел на диван, где до этого в томлении ждала вишневоглазая «причина», и взял гитару. Подстроив, негромко запел, но Куропаткин видел, что занят он не песней, а думами и что думы эти тяжелы и тревожны.

— А я-то, дурень, к вам стремился, — сказал он. — Мечтал, что пригожусь, что повоюем вместе, как в Туркестане воевали.

— За чем же дело стало? — спросил Скобелев. — Возьми газеты, читай вслух, где дерутся. И рванем мы с тобой, Алексей Николаевич, куда хошь — хошь в Африку, хошь в Америку. Наберем тысячу молодых и покажем миру, что такое русская удаль.

Не распахнись дверь, может, и вправду уехал бы Михаил Дмитриевич Скобелев в чужие земли. Воевал бы за чью-то свободу, или стал бы конкистадором, покорял бы народы государям и президентам, или сложил бы где шальную голову свою. И не зубрили бы тогда гимназисты его биографию, не ставили бы ему болгары памятников, не называла бы Россия его именем свои улицы. Но дверь распахнулась и вошел светлейший князь Имеретинский.

— Здравствуйте, господа. Не помешал, Михаил Дмитриевич?

Из-за плеча Александра Константиновича выглядывала всегда не приветливая, хмуро озабоченная, но сегодня прямо-таки источавшая благодостное удовлетворение скуластая физиономия капитана Млынова.

Федор существовал в полном соответствии с вращением Земли. Он ел, пил, спал, даже строил какие-то планы, но жить начал, точно шагнув из времени абсолютного во время относительное, где сутки наполнены не часами, а событиями, секунды отсчитываются биением собственного сердца.

— Я за вами, Федор Иванович, — сказал Куропаткин, появившись через несколько дней. — Коли не раздумали, собирайтесь.

— Куда же? — ахнула Варя.

— Куда, Варвара Ивановна? — улыбнулся Алексей Николаевич. — А куда Скобелев пошлет, туда и пойдем.

Больше Алексей Николаевич ничего рассказывать не стал, а рассказывать было что. Князь Имеретинский, не обратив ни малейшего внимания ни на бухарский халат, ни на бутылки, ни на гитару, коротко поведал, что образована Ловче-Плевненская группа и что в состав этой группы входит отряд генерала Скобелева.

— Мой отряд? — глухо спросил Михаил Дмитриевич, туго сообщая от неожиданности. — Вы знаете его судьбу, ваша светлость. Остатки Курского батальона да потрепанные сотни Тутолмина.

— Не совсем так, генерал. Ваш отряд — Шестьдесят четвертый пехотный Казанский полк, батальон Шуйского полка, взвод саперов и прошедшая полевой ремонт Кавказская бригада полковника Тутолмина.

Скобелев растерянно глянул на скромно стоявшего в стороне Куропаткина, на невозмутимо торжествующего адъютанта, медленно провел руками по лицу, окончательно растрепав бороду.

— Простите, ваша светлость, что принимаю вас в таком виде...

— Вы в законном отпуске, — спокойно перебил Александр Константинович. — С семи утра считаю вас вступившим в должность командующего отрядом.

— Все же позвольте возразить, — мямлил Скобелев, никак не ожидавший такого оборота. — Я самовольно покинул войска.

— Сулейман отбросил Гурко к перевалам, — сказал Имеретинский. — Что же будет, если турки прорвутся через Балканы? Что нам делать с армиями Османа и Сулеймана? Что вы можете предложить, Михаил Дмитриевич?

— Братъ Ловчу, — негромко сказал Куропаткин. — Немедленно брать Ловчу, чтобы не дать соединиться этим двум пашам.

Князь Имеретинский впервые посмотрел на незнакомого молодого офицера. Куропаткин, шагнув, коротко поклонился.

— Разрешите представиться, ваша светлость. Генерального штаба штабс-капитан Куропаткин.

— Очень рад. Следовательно, у вас уже есть начальник штаба, Михаил Дмитриевич? В таком случае я беру Паренсова себе.

— Берите, берите. — Скобелев уже впился глазами в карту. — Алексей Николаевич прав: Ловча — основная задача.

— Вот и решайте ее, — улыбнулся князь Имеретинский. — Я даю вам полную свободу действий.

— Воды! — вдруг крикнул Скобелев. — Что ухмыляешься, Млынов? Два кувшина со льдом, быстро!

Скобелев никогда не узнал, чего стоило светлейшему князю Имеретинскому упротить императора закрыть глаза на очередную скобелевскую выходку. Даже знавший все и вся Паренсов отнесся к этому весьма неодобрительно: «Вы взяли на себя тяжелый крест, ваша светлость».

Федор ехал на позиции в компании неразговорчивого адъютанта. Лошади неспешно трусили по холмистой степи, капитан чаще ехал верхом, а Федор — в коляске с генеральскими вещами. На второй день их практически безмолвного путешествия Олексин не выдержал.

— Простите, капитан, что нарушаю ваши думы, но хотел бы кое-что уяснить. Если соизволите, конечно.

— Что именно?

— Я хотел бы представить круг своих обязанностей.

— Круг безграничен, а исполнять следует быстро. — Млынов с седла поглядел на Федора, усмехнулся. — Погодите обижаться, Олексин. Лошадей покормить остановимся — поговорим.

Федор был склонен к обидам, а положение, в которое он попал по собственному желанию, казалось несерьезным: будто взяли из одолжения. Однако напоминать Млынову о просьбе не пришлось: на первой же стоянке, передав конвойным казакам лошадей, он достал из коляски кое-какую снедь, жестом пригласил Федора закусить и сразу же начал разговор. Правда, не совсем обычно.

— Смерти боитесь?

— Боюсь, — не задумываясь сказал Федор. — Один раз пробовал.

— Это хорошо, — одобрительно отметил Млынов. — Следовательно, рисковать будете осмысленно. Михаил Дмитриевич требует немедленного исполнения приказаний, но при этом он не любит бессмысленной бравады, что и прошу всегда учитывать. И еще одно: в бою Михаил Дмитриевич слов даром не тратит. Не торопитесь. Лучше пять раз переспросить, чем один раз напутать.

Первое задание оказалось настолько простым, что Федор приуныл. По прибытии в расположение отряда Млынов приказал найти батарею штабс-капитана Василькова и добиться, чтобы ее передали в распоряжение Скобелева.

— Разуштите генерала Пахитонова, — пояснил Млынов. — Это его артиллеристы.

Федор выехал с неудовольствием, поскольку ничего героического в поручении не содержалось. Досада, которую он незаметно для себя уже лелеял в душе, усугублялась еще тем, что его останавливали разъездные казаки, встречные офицеры, дежурные команды и просто часовые: господин в штатском, скачущий по ближним тылам, всем казался подозрительным. Приходилось предъявлять бумагу, в которой удостоверялось, что предъявитель сего «охотник из дворян Смоленской губернии Федор Олексин» действительно является ординарцем для особых поручений самого генерала Скобелева. Бумага действовала, но Федор сердился.

— Кто вы и что вам угодно? — холодно осведомился и дежурный офицер генерала Пахитонова.

— Я личный порученец генерала Скобелева, а угодно мне видеть вашего начальника, — сухо сказал Федор, уже привычно протягивая бумагу. — Дело может решить только его превосходительство.

— Генерал Пахитонов занят.

— Это не имеет значения. Вы что, поручик, генерала Скобелева не знаете?

— Наслышаны, — вздохнул офицер, все еще колеблясь, как ему поступить: пропустить личного порученца или сначала доложить о нем. — Видите ли, там вешание.

«Быстрота», — сказал про себя Федор. Взяв бумагу у дежурного, решительно отодвинул его и распахнул дверь в комнату, где толпились офицеры и плавали сизые облака дыма.

— Что ты мне девятифунтовые считаешь? — сердито спрашивал генерал. — Для бумаг они, возможно, годятся, а в дело? — Тут он увидел вошедшего и замолчал, хмуро глядя на него.

Федор по возможности кратко изложил просьбу Скобелева: выделить батарею Василькова.

— Ловок Михаил Дмитриевич, ничего не скажешь, — сказал молодой полковник. — Вынь да положь ему лучшего бомбардира.

— Просит — значит, нужен, — вздохнул Пахитонов. — Пусть заготовят приказ. Я потом подпишу.

Сказав это, генерал вновь ворчливо накинулся на офицера из артиллерии, которому удобнее было доставлять на позиции девятифунтовые заряды. Поручение было формально выполнено: дежурный заготовит приказ, Пахитонов подпишет и... И Федор не уходил.

— Извините, ваше превосходительство, мне этого недостаточно, — волнуясь, а потому и с особым нажимом сказал он. — Ваш дежурный рохля, он три дня батареею искать будет.

— Не беспокойтесь, найдет.

— Все же разрешите побеспокоиться, ваше превосходительство. Михаил Дмитриевич стоит перед Ловчей, и ему дорог каждый час. Поэтому не сочтите за труд написать приказ батарее Василькова лично.

Федору очень трудно было произнести это: он буквально преодолел себя на каждом слове, потому что привычная, столь знакомая ему апатия жила в нем, готовая каждое мгновение вылезти на свет. Он до боли ощущал ее, эту проклятую апатию, это равнодушие ко всему и вся, он сейчас физически боролся с нею, со страхом ощущая, что суровое генеральское «нет» окончательно сломает не только эту попытку, но и навеки похоронит в нем все дальнейшие потуги. Поэтому каждое его слово звучало с таким напряжением, что Пахитонов впервые с интересом посмотрел на скобелевского порученца.

— Вот, — неожиданно сказал он своему нерадивому офицеру, — учитесь у скобелевцев добывать то, что вам приказано. Молодец! — Генерал улыбнулся Федору. — Так и передайте Михаилу Дмитриевичу, что Пахитонов вас молодцом назвал. — Он написал распоряжение и вздохнул. — У них стальные орудия Круппа, а у нас Васильковы. Так-то. Держите. И поспешайте.

— Благодарю, ваше превосходительство! — с огромным облегчением сказал Федор.

К пяти утра следующего дня Олексин привел батарею. Попросив обождать, без стука вошел к Млынову.

— Господин капитан, батарея штабс-капитана Василькова стоит у крыльца! — с порога выпалил он.

— Что? — Адъютант сидел на походной кровати, спустив голенастые ноги в сиреневых кальсонах. — Где, говорите, Васильков?

— У крыльца! — Федор, не выдержав, заулыбался. — Надо бы разместить да накормить: всю ночь шли.

— Молодец! — Хмурое лицо Млынова просветлело; незаметно для себя он перешел на дружеское «ты».

— Генерал Пахитонов тоже назвал меня молодцом, о чем и приказал лично доложить Михаилу Дмитриевичу.

— С этим еще успеешь, — усмехнулся Млынов. — Иди спать, я о батарее позабочусь.

— Поесть бы, — вздохнул Федор. — Сутки крошечки не видел. Рюмку бы водки да шей котелок.

— Ступай к конвойным: и шей нальют и водки поднесут.

Конвойные казаки Скобелева относились к Федору с неприкрытой насмешкой, и Млынов отсылал туда Олексина не случайно. Он чувствовал его взлет и хотел закрепить его.

— К казакам так к казакам.

— Погоди, — улыбнулся Млынов. — Не вздумай сказать «здоровствуйте, господа». Скажешь: «Здорово, станишники, как ночевали?» Поешь, ложись спать. До двенадцати.

Федор отправился к конвойцам, а Млынов, глянув на часы — было уже начало шестого, — пошел будить генерала.

— Олексин батарею Василькова привел, — сказал он.

— Нашел? — не понял Скобелев.

— Привел, Михаил Дмитриевич, привел. Молодец, а?

Скобелев одобрительно хмыкнул, но хвалить не стал.

— Погодим до боя, Млынов. Ступай размести да накорми артиллеристов. А Василькова ко мне завтракать.

Дождался, когда адъютант вышел, легко вскочил с койки, улыбаясь в растрепанную бороду. День обещал быть радостным.

## 4

20 августа начались перемещения частей, в тактическом смысле которых Федор не разбирался. Он получал задания, доставлял письменные приказы, провожал командиров до указанных пунктов, возвращался с докладом и почти тотчас же скакал с новыми поручениями. Вскоре скобелевцы охватили Ловчу со всех сторон: Кавказская бригада Тутолмина была заблаговременно брошена в глубокий обход.

— Завтра надавим — и хрустнет орешек! — сказал Тутолмин. — Отужинаете со мной, Олексин?

— Благодарю, полковник, увы. Тотчас же и назад.

Он вернулся к вечеру, отдал лошадь конвойцам и заглянул в штабную палатку. Палатка разделялась пологом на две неравные части, в первой — узкой — стоял стол дежурного и походная койка для отдыха ординарцев.

— Тутолмин на позициях, — тихо доложил Федор: за пологом слышались голоса. — Где Млынов?

— Вами интересовался. Обождите тут.

Дежурный беззвучно скользнул на вторую половину, а Федор сразу завалился на койку. Хотелось есть, но еще больше лежать: тело ломило от ежедневных скачек. Но не успел он прикрыть глаза, как из-за полога выглянул Млынов и жестом поманил его. Федор осторожно прошел за полотнище и остановился у входа. Возле стола в походном кресле сидел князь Имеретинский, вокруг толпились генералы и штабные офицеры.

— ...ключом турецкой обороны является высота Рыжая, — продолжал Скобелев. — Высота сильно укреплена, и нам следует громить ее артиллерией, пока противник не откатится за обратные скаты. Тогда и только тогда нужно атаковать пехотой, но непременно в сопровождении артиллерии. Пока передовые части будут захватывать высоту, следующие за ними колонны обязаны на руках втащить пушки на вершину. Задача одна: уберечь солдат наших поелику возможно. Полагая это святейшей обязанностью любого командира, прошу вас, господа, запомнить. Первое: противник патронов не жалеет; значит, сближение с ним должно быть стремительным. Второе: турки целиться не любят и бьют, как правило, положив винтовки на бруствер. Задача каждого командира — суметь уловить зону поражения и миновать ее единым броском. И третье: огонь противника наносит максимальный урон по частям стоящим или, упаси бог, отступающим. Коли кто попадет под обстрел, так уж извольте командовать только вперед. Только в атаку! Вы согласны со мной, Александр Константинович?

Князь Имеретинский, спрятав улыбку, кивнул. Потом спросил:

— За высотой — река Осма. Она проходима?

— Не везде, ваша светлость, — ответил Куропаткин. — В местах бродов болгары обещали поставить условные знаки.

— Сколько артиллерии у Рифата-паши?

— Шесть орудий.

— Вы совершенно правы, Михаил Дмитриевич, — сказал Имеретинский. — Ежели понадобятся батареи из общего резерва, сообщите через капитана Жилия: он останется здесь.

— Слушаюсь, ваша светлость.

— Следовательно, приказ о штурме может исходить только от вас, Михаил Дмитриевич, — продолжал князь. — Если вопросов нет, предлагаю господам командирам выехать к своим частям.

— Млынов, Олексин вернулся? — отрывисто спросил Скобелев.



— Так точно, Михаил Дмитриевич, — Федор шагнул к столу. — Тутолмин на месте.

— Проводишь генерала Добровольского.

Сопроводжать генерала Добровольского пришлось уже в темноте, и Федор, как ни пытался, ориентиров запомнить не смог. Возвращался один, все время старался держаться левее, чтобы не угодить к туркам, окончательно запутался и приехал уже под утро. На сон оставалось не более трех часов, и, доложив дежурному, сразу же завалился спать.

Проснулся от грохота: в пять утра пятьдесят шесть орудий Скобелева открыли огонь по укреплениям Рыжей горы. И хотя батареи расположены были поодаль, земля вздрагивала, а полотнища палаток полоскало от тугих ударов потревоженного воздуха. Федор оделся и поспешил к штабу.

— Чего ты здесь маешься? — спросил Млынов, выйдя из штабной палатки. — Поднимись на горку, что левее: Михаил Дмитриевич ее Счастливой назвал, с нее все — как на ладони.

На возвышенности толпились офицеры, свободные, пока работала артиллерия. Федор на подъеме запыхался, а когда огляделся, перед ним предстала вся панорама артиллерийского боя.

Гора Рыжая выглядела сейчас уже не рыжей, а огненно-рыжей, поскольку на ее скатах непрерывно рвались снаряды. Всплески разрывов, клубы дыма, комья земли извергались в воздух, тугие удары воздушных волн, рев и грохот больно били в уши.

— Зажали мы турок! — с восторгом прокричал Федору капитан Жилый. — И удрать не могут!

Вскоре на Счастливую поднялись Скобелев — как всегда, в белом кителе, с Георгием на шее, — Куропаткин, Млынов и незнакомый Федору немолодой полковник-артиллерист. Генерал долго осматривал в бинокль Рыжую и высоты правее.

— Прекрасно работают! — перекрывая грохот, сказал полковник. — Точно и слаженно.

— Слаженно, да неточно, — недовольно отозвался Скобелев. — Второй час по одному месту — это, по-твоему, точно?

— Дальность не позволяет, Михаил Дмитриевич.

— Дальность?.. Млынов, передай Василькову, пусть выдвинется как можно ближе к туркам.

Млынов молча побежал к батареям.

— Помилуйте, а коли турки ружейный огонь откроют?

— Какой огонь, когда они головы боятся поднять.

Федор видел, как из общей линии батарей отделилась четверка орудий. Впереди размашистой рысью ехал командир — без мундира, в нижней рубахе.

— Васильков выехал, — с удовольствием отметил Скобелев. — Сейчас он им покажет кузькину мать.

— Что это он — без мундира, без сабли? — удивился полковник.

— Обет дал, — невозмутимо пояснил Скобелев. — Алексей Николаевич, почему турки на огонь не отвечают, а?

— Сам удивляюсь, — мрачно отозвался Куропаткин.

— Хитрит Рифат-паша, — задумчиво сказал Скобелев. — Не хочет орудия обнаруживать. Ничего, заставим. Как только Васильков пристреляется, подбросьте ему еще парочку батарей. Посмотрим, паша, у кого нервы крепче: у вас или у меня. Сколько ему лет?

— Сорок пять, что ли.

— Не «что ли», а докладывать точно! — строго сказал Скобелев. — Я должен знать, с кем воюю, а посему приказываю изучать врага досконально, вплоть до имен его любовниц. Теперь вот извольте гадать, почему он на огонь не отвечает. То ли страх, то ли выдержка, то ли расчет — что у него на уме?

Рифат-паша ответил около семи утра, но совсем не так, как можно было предполагать. Оставив без внимания пятьдесят шесть орудий,

громивших его укрепления на Рыжей горе, он обрушил артиллерийский и ружейный огонь против стоявших в колоннах войск Добровольского.

— Что он стоит? — гневно крикнул Скобелев. — Олексин!

Федор кинулся вниз, не дожидаясь приказа: он был уверен, что знает этот приказ. Вырвав поводья у казака, вскочил в седло, с места дав шпоры. Дороги искать было некогда — да он и не знал этой дороги! — и Федор помчался напрямик.

— Куда это он? — обескураженно спросил генерал.

— К Добровольскому, — пожал плечами Куропаткин.

— Под пулями? Идиот, его же убьют сейчас.

— Авось проскочит, — сказал Куропаткин.

— Авось? — заорал Скобелев. — На авось девки рожают, а не бои выигрывают. Вот Рифат-паша на авось не воюет: он точно мое слабое место нащупал. Так двинул по сопатке, что искры из глаз. А этот... Жив он еще?

— Скачет, — сказал Млынов, не отрываясь от бинокля.

— Хотел бы я знать, с каким приказом! — продолжал бушевать Скобелев. — Ведь не спросил даже, зачем его окликнули! Может, я воды хотел попросить, а он... Чтобы духу его к вечеру не было...

Федор мчался, прикинув к напряженно вытянутой, мокрой от пота лошадиной шее. Он схватил не своего коня, подседлан конь оказался по-казачьи, и Олексин до ужаса боялся, что лошадь споткнется. Может быть, от этого, а может, и от твердой убежденности, что пуля его не тронет, он не обращал внимания на обстрел, хотя слышал его и чувствовал всем телом. На том же бешеном аллюре он вылетел из-за поворота, оказавшись перед фронтом изготовленных к бою колонн.

— Где генерал?

Ему что-то сказал офицер, которого он миновал. Но Олексин уже увидел Добровольского.

— Вперед! Что вы под пулями стоите? Вперед, в атаку!

— Вы привезли приказ? — спокойно осведомился Добровольский.

— Приказ! — крикнул Федор. — Именем генерала Скобелева!

Трубы пропели сигнал, ударили дробь барабаны. Офицеры вырвали сабли из ножен, и колонны дружно, как на параде, шагнули навстречу турецкому огню.

— Бегом! — кричал Федор. — Сближение опаснее всего! Бегом!

Все его военные знания основывались на том, что он вчера слышал от Скобелева. Он не понимал, что бежать еще преждевременно, что обвешанные амуницией и оружием солдаты выдохнутся во время бега и у них уже не останется сил на штыковой удар. Сам он бежал впереди всех в английском костюме для верховой езды, коротких сапожках со шпорами и нелепой каскетке: именно этот наряд и вселял уверенность, что турки в него целиться не станут. Позади него, все убыстряя шаг, грузно топала пехота.

— Быстрее!.. Быстрее!..

На Счастливой все молчали. Вопреки диспозиции колонна Добровольского начала атаку раньше взятия Рыжей горы. Бой грозил перевернуться с ног на голову, но Скобелев умел подчинить общей идее любую случайность. Поэтому Куропаткин с академическим спокойствием отметил:

— Восемь двадцать пять. Правая колонна генерала Добровольского начала атаку Осминских высот.

— Прекрасно начали! — крикнул Скобелев. — Жиляй, доложи его светлости об инициативе Добровольского и перебрось две резервные батареи прикриты его правый фланг.

— Что прикажете? — спросил Куропаткин. — Играть атаку?

— Зачем? Все батареи — на линию Василькова: громить Рыжую и берег Осмы. Ну, Рифат-паша, не ожидал ты такого афронта? — Ско-

белев весело расхохотался. — Проверим, что ты за полководец: сейчас мы тебе окончательно карты спутаем. Млынов, расчехлить все знамена! Оркестрам непрерывно играть марши!

— Парад? — с долей иронии спросил полковник-артиллерист.

— Парад, полковник. Увидев мои знамена, Рифат-паша не станет рисковать резервами. А пока разберется, Добровольский успеет зацепиться за берега.

На Счастливую в сопровождении Жилыя поднимался светлейший князь. Поздоровавшись, спросил, что происходит.

— Генерал Добровольский упредил турок с фланговым ударом, — спокойно пояснил Скобелев. — Сейчас он займет Осминские высоты.

Аскеров с береговых возвышенностей вышибли быстро: не получив подкреплений, они сопротивлялись вяло. Задохнувшиеся от бега и рукопашной русские солдаты падали на гребнях высот, готовясь огнем отбивать возможные контратаки. Федор сидел в кукурузе, вытирая каскеткой мокрое лицо.

— Разрешите представиться: поручик Одиннадцатого батальона Василенко.

Федор оглянулся. Чуть ниже на скате стоял молодой офицер.

— Вас просит Добровольский.

Командиру правой колонны пришлось пробежать изрядный кусок, продираясь сквозь кустарник, и выглядел он весьма усталым.

— Исполнили, — сказал он Олексину. — А что это вы все впереди бежали?

— Я еще не добежал...

Федор отвечал не генералу, а себе, вспомнив собственные слова, которые сказал Маше после гибели Владимира. Добровольский не вслушался в ответ, а поручик Василенко понял его по-своему.

— Олексин прав, ваше превосходительство. Пока турки не опомнились, не худо бы нам через речку перемахнуть.

— Каким образом, поручик?

— Брод, — сказал Федор: он еще не отдышался и говорил отрывисто. — Болгары обещали броды обозначить.

— Что брод, — с неудовольствием проворчал Добровольский: ему очень не хотелось вновь бросать своих солдат под пули. — Тот берег — как блин: ни кустов, ни укрытий.

— Там мельница, — пояснил Василенко. — Если мы в ней закрепимся, ваше превосходительство...

— Ну попробуйте, — без энтузиазма согласился генерал: он ни за что бы не рискнул, но Скобелев ценил самостоятельность. — Отберите полсотни охотников, больше не надо.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Пока поручик собирал охотников, Федор внимательно осматривал берега Осмы, ища оставленные болгарами знаки. На противоположном берегу лежало несколько лодок, и больше не было никаких предметов. А они непременно должны были быть: Олексин знал, как тщательно готовится к бою Куропаткин. Он еще раз всмотрелся, разглядывая каждую лодку, и увидел то, на что прежде не обратил внимания: одна из лодок лежала носом к реке.

— Видите лодку носом к нам?

— Вижу. Спасибо болгарам. — Поручик отцепил саблю, аккуратно положил ее на землю. — Ну, пошли, Олексин? — Не дожидаясь ответа, вскочил. — За мной, ребята! Бегом и точно за мной!

С бродом Федор не ошибся: воды было чуть выше колен. Но сильное течение кое-кого сбilo с ног, и все же турки, не ожидавшие этой атаки, опомнились, когда все уже были на низменном левом берегу. Встречный залп прозвучал нестройно; Олексин кожей ощутил прожужжавшую у щеки пулю и сразу же упал на землю.

— Ранены? — спросил офицер.

— Ложись! — закричал Федор. — Надо под пули нырнуть!

Подобной команды не было в практике армии, но Олексин кричал столь убежденно, что солдаты сразу упали на землю и даже поручик, чуть помедлив, нехотя опустился рядом.

— Это что-то новое, Олексин, — проворчал он.

— Как только снизят прицел, вскочим — и рывком к мельнице.

На Счастливой не успели еще оценить внезапного броска стрелков через Осму, как стрелки упали на землю.

— Неужто одним залпом? — растерянно предположил Млынов.

Скобелев молчал, напряженно всматриваясь в бинокль. Он не верил, что один ружейный залп может уложить полсотни солдат, и хотел понять, почему это произошло, куда стремились стрелки и какую выгоду от этого мог получить бой в целом.

— Может, офицеров убили? — спросил полковник-артиллерист.

Группа вскочила явно по команде, оставив на земле нескольких то ли убитых, то ли раненых. Турки не успели вскинуть винтовки, как горсточка солдат уже скрылась за каменными стенами мельницы.

— Да они пуль испугались! — презрительно заметил Жилый. — Какой позор для русского мундира — перед врагом по земле ползать!

— Молодцы! — громко сказал Скобелев. — Ну получил Рифат-паша подарочек: мост-то теперь под ружейным огнем. — Он рассмеялся. — Млынов, узнай, кто скомандовал упасть под пулями. Георгия ему за то, что солдат спас и задачу выполнил. Алексей Иванович, готовь общую атаку. Ровно в двенадцать — сигнал!

А уволенный со службы и внезапно представленный к награде Олексин сидел под стеной. Уже при входе в мельничный двор турецкая пуля рикошетом попала в голову, содрала кожу, но кость не пробила. Голова кружилась, все плыло перед глазами, и Федор с трудом улавливал слова бинтованного его солдата.

— Ничего, барин, потерпи, контузия это. Спасибо тебе солдатское, господин хороший, что уберег нас: кабы не ты — ни в жисть бы нам до этой мельницы не добежать. Ни в жисть!..

— Добежал... — с трудом ворочая языком, сказал Федор. — Добежал я, братец. Добежал!..

*(Окончание следует)*



---

## НА ОРБИТЕ



АРКАДИЙ РЫВЛИН

Впервые в метро

Я видел это когда-то,  
Как женщина пожилая  
Ступает на эскалатор,  
Словно в реку ступая,  
Не сразу, а постепенно  
В этот поток ступеней...  
И правой, как перед бродом,  
Пробует робко воду,  
Пробует еле слышно,  
Видно впервой в столице, —  
Как бы чего не вышло,  
Как бы не оступиться...  
Мы ехали с ней в соседстве.  
И женщина пожилая  
Смотрела, как смотрят в детстве,  
Достоинство сохраняя.  
Смотрела светло и свято,  
Как мама моя когда-то...

\* \*  
\*

Я уповаю, уповаю,  
Что не окончусь никогда.  
Я только тихо убываю,  
Как после паводка вода...  
И что меня туда, где не был,  
Реки уносит благодать,  
Хотя все меньше, меньше небо  
Я начинаю отражать.  
И хоть ничуть, ничуть не грустно  
Мне в лодке у прибрежных ив,  
Но только меньше, меньше русло  
И тише, тише мой разлив...  
И все-таки я уповаю,  
Что не окончусь никогда...  
Я только тихо убываю,  
Как после паводка вода.

## ЮРИЙ УСЕНКО

\* \*  
\*

За Хинганом драпали японцы,  
И, вписавшись в гишину сполна,  
На вершинах так сверкало солнце,  
Что была немислима война.  
В этом удивительном покое  
Непривычной тишине назло,  
Вздвогнув, зазвенело ветровое,  
Смертником пробитое стекло.  
И опять покой. В такую пору  
Пять минут не пережить войну!  
Даже смертник, отрекаясь, поднял  
Руки в голубую тишину.  
И теперь, едва лишь сердцем трону  
И тебя, и травы, и зарю,  
Все же за последний в жизни промах  
Смертника того благодарю!

## ТАТЬЯНА ГЛАДКАЯ

\* \*  
\*

Дорога кружится, синяя,  
Летит над всадником луна...  
Беременная Дульсиня  
Шьет распашонки у окна.  
Хлопочет будущая мама —  
Готовит первенцу белье.  
А где-то дерзко и упрямо  
В свод неба тычется копьё.  
Гремят ракеты или латы,  
Смертельный закипает бой,  
И наступает час расплаты  
За смелость быть самим собой.  
Но всех перипетий важнее:  
Во все века и времена  
Беременная Дульсиня  
Шьет распашонки у окна.

Черкасская обл.

## ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ

\* \*  
\*

Пока еще не лег на снег последний вечер,  
пока еще ледок прихватывает след,  
остановись со мной, мой самый первый встречный,  
поговорим, пока и воздух есть и свет.  
Пускай в морозный день восходят наши души,  
в извечном их родстве свой обретая путь.  
Так говорить легко, легко молчать и слушать,  
слова находят плоть и раскрывают суть.  
За время, что займет случайная беседа,  
неуловимо день изменит свой узор,  
здесь места больше нет, исчезли мы бесследно,  
но в воздухе пустом все длится разговор.

\* \*  
\*

День ноября, заставь открыть тетрадь,  
разлей свой свет мерцающий и скудный,  
мне жить легко и умереть нетрудно —  
забыть привычку воздух твой глотать.  
Вот бьет родник, река впадает в море,  
я здесь живу, и где-то умер я,  
в ноябрьском леденеющем просторе,  
как легкий дым, летит душа моя.  
И жизнь мне дорога и дорог всяк живущий,  
наверно, потому, что в небе ледяном  
душа моя, исполнившись грядущим,  
колышет воздух трепетным крылом.

### НИНА ГАБРИЭЛЯН

#### Из цикла «Камни и травы»

\* \*  
\*

Кудрявый ребенок сидит под горой  
И красное яблоко держит в руке.  
Колышется, плавится бронзовый зной,  
Ползет по камням и дрожит на реке.  
Кудрявый ребенок сидит под горой,  
И стадо спускается на водопой,  
И бык меднорогий склоняется, пьет  
Могучую силу полуденных вод.  
Вот так бы все длилось века и века:  
Ребенок, и полдень, и зной, и река.

#### Гегард

И купол звуки пьет, но не видать лица  
Поющего, лишь тьму колеблет голос мерный.  
И кажется на миг, что вовсе нет певца,  
Лишь голый голос льет печаль мелодий медных.  
А может быть, и знать не надо, кто певец?  
Ведь большее, чем он, переполняет своды.  
И кажется, еще мгновенье — и конец:  
Певец уже глотнул убийственной свободы.  
Мы все, мы все уйдем. Сотрутся имена.  
На шепот и на крик разъято будет слово.  
Не мы, не мы, не мы — лишь музыка важна.  
Уйдет один из нас — она найдет другого.  
Она в него войдет тоскою всех времен,  
Расширит грудь его умерших голосами.  
А купол звуки пьет, и голос обнажен,  
И безначальный свет поет в гегардском храме.

\* \*  
\*

На кухне невымытая посуда.  
По комнате влажная бродит простуда.  
Склонившись над мискою в темном углу,  
Ребенок притихший сидит на полу.

А в комнате холодно, в комнате душно,  
 И мне головы не поднять от подушки.  
 И тело мое, как чужое, хрипит.  
 Ребенок, склонившись над мискою, спит.  
 Мне кажется, все это было когда-то:  
 Я помню пещеру и блики заката,  
 Костер средь пещеры вот-вот догорит,  
 Ребенок над глиняной миской сидит.  
 Под сводом пещеры пищит, и кружится,  
 И хочет спуститься какая-то птица.  
 Но рук мне тяжелых своих не поднять,  
 Ее от ребенка мне не отогнать.  
 Когда это было? Когда это было?  
 Я, кажется, главное что-то забыла.  
 Лишь помню пещеру, закат, полумглу...  
 ...Ребенок над миской склонился в углу.

### БОРИС КУНЯЕВ

#### Я — Россия

Мне все чаще тревожные видятся сны,  
 Тот окопчик под Белгородом на пригорке.  
 Хмурый полдень, дымок сладковатый и горький,  
 Две травинки как память сожженной весны.  
 Громыкает от топота танков земля.  
 Я встаю им навстречу под взглядом орудий.  
 Я — Россия, я — небо ее и поля.  
 Если я упаду — и России не будет.  
 Первокурсник, лихой футболист, балагур,  
 Я бросаю под дымные траки гранаты.  
 И застыл перед бруствером ящер горбатый —  
 В рыжем пламени корчится, лязгая, Рур...  
 Мой солдатский окоп запахали года.  
 И дыхание павших вобрали росинки.  
 За всю жизнь только раз побывал я Россией,  
 Может быть, потому и не умер тогда.

#### Петровна

То белошвейка, то портниха —  
 Вся жизнь как тоненькая нить.  
 Петровна умирала тихо,  
 Боясь и смертью досадить.  
 Сухие пальцы в синих жилах.  
 Был муж — остался на войне.  
 С тех пор как помнит — шила, шила:  
 Невестам, бабам, ребятам.  
 В глаза не видела вокзала —  
 Не выходила из села.  
 Словечка в гневе не сказала,  
 Работой только и жила.  
 Всегда раскройки на коленях —  
 И в будний день и в выходной.  
 Ни в сельсовете, ни в правленье  
 Ни просьб, ни жалоб — ни одной.  
 А тут шубейку на халатик,  
 Внесла полешки со двора.  
 «Чего там, пожила — и хватит»  
 Знать, и моя пришла пора»



Печь разожгла, полы помыла.  
 Сняла пошивку со стола.  
 И даже кошку не забыла,  
 К знакомым дальним отвела.  
 Надела платье голубое,  
 Что муж когда-то преподнес.  
 «Зачем врачуху беспокоить?»  
 Ведь на дворе такой мороз...»  
 Лишь через сутки в снежной пыли  
 Забрел колхозный счетовод...  
 Ее соседи хоронили.  
 Село справляло Новый год.  
 Но до сих пор гудит любовно  
 О ней стоустая молва:  
 «Неужто умерла Петровна?»  
 А мы-то думали — жива...»

### В гостях у матери

На Рязанщине зреют овсы,  
 Духотища и пахнет хлебами.  
 Землероба погибшего сын,  
 На неделю я выбрался к маме.  
 Косяками заходит родня.  
 Мама чинно к столу приглашает.  
 Целый день она кормит меня,  
 Целый день на ногах — угощает.  
 Подставляет жаркое и мед,  
 Ломтик масла подцепит на ножик,  
 То сметанки из кринки нальет,  
 То ветчинки в тарелку подложит.  
 От стола не поднимет руки,  
 Пирожки, словно ласточек, нежит,  
 Отбирает покрепче грибки,  
 Помидор покраснее разрежет.  
 То отыщет арбуз, чтоб хрустел,  
 То лучок принесет с огорода...  
 Будто я эти годы не ел,  
 Будто я голодал эти годы.  
 Просит бражки медвяной вкусить  
 И ни слова про беды и войны.  
 Будто хочет навек накормить,  
 Чтобы спать, час настанет, спокойно.

\* \*  
\*

Теплыню тянет с низких крыш,  
 Грибами, вянущей листвою,  
 Луна, как стриженный малыш,  
 Сверкает голой головою.  
 За дальним лугом огоньки,  
 Стога, как лошади, уснули,  
 В кустах тяжелые жуки  
 Пронесятся со свистом пули.  
 Над речкой луч зари погас,  
 Ромашки от росы сырые...  
 Все это было сотни раз,  
 Но удивляет, как впервые.

Туман одел речную гладь,  
 Над поездом клубочки дыма...  
 Земля моя, родная мать,  
 Ты каждый час неповторима.

## ИННА КАШЕЖЕВА

### Дождь на Парнасе

Итак, была с Парнасом встреча.  
 Как жаль, что позади она!  
 Мы знали, что искусство вечно,  
 но думали, что жизнь длинна.  
 Мы замерли благоговейно,  
 под нами плыли облака...  
 Здесь время вопреки Эйнштейну  
 окаменело на века.  
 Оно стремилось вниз тропею  
 и ввысь — обломками колонн...  
 И жизнь была перед тобою  
 обнажена, как Аполлон.  
 Стекала медленно по коже  
 случайного дождя вода...  
 И мы на этот дождь похожи,  
 на миг попавшие сюда.

### Эпидавр

В Эпидавре рядом с храмом бога здорovia расположен один из древнейших театров планеты.

Чудеса Эпидавра  
 над веками царят.  
 Ну а нас и по давню  
 от всего исцелят.  
 Здесь достаточно взгляда —  
 и спадает покров,  
 и проходит Эллада  
 на котурнах веков.  
 Здесь не речь, а тирада,  
 здесь все лица строги...  
 В древней чаше театра  
 молодеют стихи.  
 Хоть не очень известна  
 прозвучавшая песнь,  
 голос нашего века  
 пусть останется здесь,  
 где крылато и круто  
 ввысь рядов этажи.  
 Да пребудет искусство —  
 исцеленье души!

### Микены

У наших ног бессмертные Микены  
 приподнимались на холмах своих.  
 Мы выглядели здесь как манекены,  
 природа лишь была жибей живых.

Ее зовут — пусть города не стало! —  
 Микенами, как прежде, так и впредь.  
 ...По склону медленно спускалось стадо,  
 казалось: склон рожден, чтобы звенеть.  
 Любой ягненок, хочет ли, не хочет,  
 на дно непостижимой тишины  
 ронял свой дребезжащий колокольчик,  
 и долго тот звенел из глубины.  
 Звук был для нас и запахом и цветом,  
 заполонил собою все вокруг.  
 Сливались миг и вечность в звуке этом,  
 но впитывала вечность миг и звук.  
 Она дышала, как вулкан дремавший...  
 Наверно, приручить ее могли  
 лишь люди, что еще до эры нашей  
 Микенами Микены нарекли.

### НИКОЛАЙ ГОДИНА

\* \* \*

Парадная форма стиха  
 Для службы моей не годится.  
 Рабочей спецовкой гордится  
 Строка, неболтливо тиха.

Урал, ты мой трудный Парнас.  
 И, если судьба не шутила,  
 Поэты высокого штиля  
 Красиво напишут про нас.

### Будни

Не без соли, не без пота,  
 Не без праздника души,  
 Не романтика — работа,  
 Как ее ни опиши.  
 Пыль с ковша слетает роем...  
 Каждый день иду в забой  
 Не лирическим героем,  
 А вот так, самим собой.



---

МАРГАРИТА АЛИГЕР



## НОВЫЕ СТИХИ

### Барселона

Ближе к роковому рубежу  
проще и мудренее законы.

Не спеша по Рамблас прохожу,  
улыбаясь розам Барселоны.  
А они, как смолоду, горят,  
им плевать на то, что путь мой прожит,  
что в душе моей кромешный ад  
и ничто унять его не может.  
Им не важно, для кого цвести.  
Только бы поярче — вот и чудно.  
Я ворчу?!

Прости меня, прости,  
мир, в котором мне живется трудно.

Нет, я не ропщу и не тужу,  
не казню себя, не бью поклоны.  
Не спеша по Рамблас прохожу,  
улыбаясь птицам Барселоны.  
А они, как смолоду, поют,  
им плевать на то, что путь мой прожит,  
что в душе разор и неуют  
и помочь никто уже не может.

Буду же довольна тем, что есть,  
попрошу лишь самого простого:  
хорошо б до смерти перечесть  
девятистотомного Толстого.

Край дороги, роковая пядь...  
Как ее осилить, эту малость?  
Хорошо б до смерти написать  
то, что до сих пор не писалось.

Все тончает и тончает нить...  
Все же довела, скажи на милость!  
Хорошо б до смерти разлюбить  
то, что до сих пор не разлюбилось.

На ногах стою, вперед гляжу,  
жизни доверяюсь изумленно...  
Не спеша по Рамблас прохожу,  
улыбаясь людям Барселоны.

Думаю, какой она была  
боевой, тревожной, опаленной...

В сущности, вся жизнь моя прошла  
между той и этой Барселоной.

### Тень

Вышел на небо месяц двурогий  
проводить угасающий день,  
Я иду по вечерней дороге,  
и за мною бежит моя тень.  
То взлетит по крутому сугробу...  
То скользнет ненароком в кювет...  
Притаилась.

Отстала.

Попробуй!

Спохватилась и мчится вослед.  
Ах ты глупая! Ах ты бедняга!  
Навязалась, однако, родня!  
Без меня никуда ты ни шага.  
Просто нету тебя без меня.  
Впрочем, так ли уж этого мало —  
я недолгую жалость гашу.  
Кое-что я тебе показала  
и, пожалуй, еще покажу.  
Кой-куда я тебя потаскала  
и, пожалуй, еще поташу.  
Утомилась?

Я тоже устала.

Загрустила?

Я тоже грущу.

И, пожалуй, мне нечем гордиться,  
и хвалиться мне нечем пред ней.  
Выбирала ль я время родиться?  
Родилась ли по воле своей?  
Все решалось не мной, а другими.  
Не отыщешь незримую нить.  
Дали дату рожденья и имя  
и без спросу отправили жить.  
Из какого возникла я мрака?  
Занялась от какого огня?  
Поднялась, получилась, однако!  
Даже тень завелась у меня.  
Поживаю себе как умею.  
Если худо, моя ли вина?  
И таскаемся по свету с нею  
неразлучные — я и она.  
Нам бывает и славно, и туго,  
и уныло, и празднично жить.  
Упрекать нам не стоит друг друга  
и друг друга нам не в чем винить.  
Так что ты не гушуйся, сквозная.  
Не тужи, будь довольна судьбой.  
Я ведь, честно признаться, не знаю —  
ты за мной или я за тобой.

### Староконюшенный переулочек

О, сколь выносливы наши души!  
Силам их нет ни весов, ни мер.  
Дом моей юности, ты разрушен.

Вместо тебя насадили сквер.  
 Помнится, редкий, в пушке тополином  
 садик застенчиво окружал  
 этот приземистый дом с мезонином,  
 дом, переживший московский пожар.  
 Я полагаю, что в нем когда-то  
 жили просторно, жили богато —  
 в книжках написано,

нам ли не знать —  
 те, кто рождался в районе Арбата,  
 аристократы, московская знать.  
 Минули годы...

Ни шатко, ни валко  
 дом поживал, невелик, небогат,  
 обыкновенная коммуналка,  
 судеб и личностей конгломерат.  
 Тут и московские и чужестранцы...  
 Разные судьбы, наречья, глаза...  
 Некие Мухины и Кнуньянцы,  
 венгр Куташи и татарин Мирза.  
 Все же, избегнув угроз всевозможных,  
 вышли из этого дома на свет  
 видный ученый, известный художник,  
 токарь, хирург, альпинист и поэт.  
 Все-таки, сколь он там ни был скромен  
 или по нынешним меркам убог,  
 все они выросли в этом доме,  
 всем он им на ноги встать помог.  
 Не допуская ни малых поблажек,  
 он ничего не спускал никогда,  
 дом, выходящий на Сивцев Вражек,  
 в мире исчезнувший без следа.  
 Ты, на скамейку присевший в сквере  
 командировочный,

пенсионер,  
 не понимаешь ни в малой мере,  
 что уничтожил он, этот сквер.  
 Как уничтожил, зачем уничтожил,  
 из-под какого обвала воскрес...  
 В мире творится одно и то же  
 и называется это — прогресс.  
 Полный неистовства, света и грома,  
 город живет, не смыкая глаз,  
 и, как сегодня без нашего дома,  
 он обойдется однажды без нас.  
 Кочки сровняет, пространство замерит —  
 бедные наши сердца и умы! —  
 и разобьет незначительный скверик  
 там, где сегодня волнуемся мы.



---

ЕВГ. ВИНОКУРОВ



## ИЗ ЦИКЛА «МИФЫ»

Иов

Мне хочется разделаться вчистую  
с природой,  
что нас бьет по одному.  
И вот я против смерти протестую —  
на бесконечность руку подниму!..  
И понимаю:  
с птичьего полета  
уже не ждать мне никаких вестей.  
На окрик мой  
ответствует природа  
бездонным эхом  
мертвых пропастей.  
И я кричу средь  
поднебесной сини.  
Мой голос глушит океанский вал...  
В безмолвной исторической пустыне  
вот так, видать, Иов протестовал.

Авгур

Надо веровать только в природу,  
вера та не имеет границ!..

Он предсказывал все по полету,  
по окраске и пению птиц.  
И, бывало, бредущий понуро,  
он такому ж мигал подлецу,  
и скупая улыбка авгура  
пробегала, как тень, по лицу.  
И толпа замирала часами!..  
Ведь авгуры превыше вельмож!  
Но считали гадатели сами,  
что гадание — чистая ложь...  
Только я б обратился к народу:

— Я-то верую в смысл небылиц,  
сам постиг я сей мир по полету,  
по окраске и пению птиц!

## Грех

Вот Адам и Ева, рядом овен —  
на лугу, среди простых утех...  
Мир был изначально безгреховен,  
а потом уж появился грех.  
И тогда не стало с миром слада,  
человек, вкусив добра и зла,  
рухнул, и греховная услада,  
словно мед прозрачный, потекла.  
И девчонке непонятен довод  
истины, и — к высоте глуха —  
жадно ртом потрескавшимся ловит  
каплю вожделенного греха.  
Можно долго говорить о разном,  
но одно ведь на уме у всех:  
женщина, блеснувшая соблазном,  
тайно зазывающая в грех.  
Что ж, в него бросаются, как в прорубь...  
Только вон гуляет без помех  
по карнизу белоснежный голубь,  
тот, что вечен, как и вечен грех.





## УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР



### АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!\*

Роман

**П**отому что он вовсе не обиделся. Он упорно твердил это дедушке. Он просто размышлял; он понимал — необходимо что-то сделать, непременно надо что-то сделать, иначе он до конца дней своих не сможет жить в ладу с самим собой; но что именно надо сделать — он не знал, не знал из-за того простодушия, которое только что в себе открыл и с которым (именно с этим простодушием, а не с этим человеком и не с обычаем) ему и придется вступить в борьбу. Единственный масштаб, мерку, давало ему сравнение с ружьем, но оно тут ровно ничего не объясняло. Он был совершенно спокоен, рассказывал он; охватив руками колени, он сидел в своей маленькой берлоге у звериной тропы, и когда ветер дул в его сторону, в каком-нибудь десятке футов от него несколько раз проходили олени; сидел и потихоньку вел спор с самим собой, и оба спорщика соглашались, что надо бы спросить кого-нибудь постарше и похитрее. Но никого такого не было, был только он один, вернее, в его теле их было двое, и эти двое тихо и мирно спорили друг с другом: *Но ведь я могу его пристрелить.* (Не черномазую обезьяну. Этот черномазый значил не больше, чем тот, которого его отец в ту ночь отдубасил. Этот черномазый опять-таки был всего лишь намалеванной на воздушном шаре растянутой гладкой рожей, которая заливалась таким зычным, громким и жутким смехом, что он не смел ее проткнуть; и в ту секунду, когда она, загородив полуоткрытую дверь, смотрела на него сверху вниз, какая-то частица его существа от него отделилась и — он даже не мог закрыть ей глаза — уставилась на него из той самой намалеванной на шаре рожи, точь-в-точь как тот человек, которому даже незачем было носить свои собственные башмаки, человек, которого этот шар своим смехом защищал и ограждал от всех ему подобных, из какого-то невидимого места, где бы ему (тому человеку) в ту минуту ни случилось быть, смотрел на косолапого босоногого мальчишку, стоявшего перед закрытой дверью в своей залатанной одежонке, смотрел сквозь него и через него, а сам он увидел своего отца, братьев и сестер такими, какими, наверно, видел их все время хозяин, богач (а не черномазый), — скотами, тупыми уродливыми тварями, которых грубо вышвырнули в этот мир, где нет для них ни надежды, ни цели, и которые, в свою очередь, станут бесконечно плодиться и размножаться и, удваивая, утраивая, многократно умножая свое число, заполнят мировое пространство и землю отвратительным племенем, которому в будущем предстоит носить все те же ушитые, латанные-перелатанные одежки, купленные ими, потому что они белые, в кредит по грабительской цене в лавках, где черномазые получают ту же одежду бесплатно, а единственное их наследство — это намалеванная на воздушном шаре захлебывающаяся от смеха рожа, которая глядела на какого-то забытого безымянного прародителя, когда он маленьким мальчиком постучался в дверь и черномазый прогнал его на заднее крыльцо): *Но я могу его пристрелить,* говорил он самому себе, а тот, другой, возражал: *Нет. От этого не будет никакого проку;* и тогда первый спрашивал: *Так что же нам делать?* а второй отвечал:

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8 с. г.

*Не знаю, а первый: Но ведь я могу его застрелить. Я прокрадусь туда сквозь кусты, дождусь, когда он придет и ляжет в гамак, и пристрелю его; второй же говорил: Нет. От этого не будет никакого проку; и тогда первый спрашивал: Так что же нам делать? а второй говорил: Не знаю.*

В конце концов он проголодался. Он вышел из дому еще до обеда, а теперь в его тайнике было уже темно, хотя он видел, что солнце все еще освещает верхушки деревьев вокруг. Но желудок говорил ему, что уже поздно, а когда он придет домой, будет еще позже. И вот тут-то, по его словам, он начал думать *Домой. Домой*, и сначала ему показалось, что он хочет засмеяться, и он продолжал уверять себя, будто смеется, даже когда понял, что это вовсе никакой не смех; домой, подумал он, когда вышел из лсу, приблизился к своей лачуге и увидел прогнившие, необтесанные бревенчатые стены, просевшую, прохудившуюся крышу — никто и не думал заменять недостающие драйки, а под те места, где крыша протекала, просто подставляли тазы и ведра; пристройку, служившую кухней, — она была в самый раз, потому что в сухую погоду никто не замечал, что печка без трубы, а когда шел дождь, ею просто не пользовались; во дворе он увидел сестру — склонившись над корытом, она мерно сгибала и разгибала спину; на ней было бесформенное ситцевое платье, стоптанные отцовские башмаки без шнурков хлопали ее по голым ногам; широкозадая, как корова, она равнодушно и тупо выполняла свой неблагодарный труд, тяжелую, доведенную до своей грубой первоосновы бессмысленную работу, какую способна выдержать лишь тупая бессловесная тварь, и только теперь, сказал он, он впервые задался вопросом, что сказать отцу, когда тот спросит, выполнил ли он поручение, сказать ему правду или соврать — ведь если он соврет, обман может тотчас же открыться: хозяин, наверно, уже послал черномазого узнать, почему отец не сделал, что ему было велено, и даже ничем не отговорился — если в этом состояло поручение, в чем (зная своего отца) он был почти уверен. Но отец еще не возвращался, и пока все обошлось. Зато сестра, казалось, только и ждала — не дров, а того, что он придет и даст ей возможность пустить в ход свои голосовые связки, и не успел он появиться, как она тут же набросилась на него с криком, требуя, чтоб он принес ей дров; он не отказывался, не возражал, он просто ее не слушал, не обращал на нее внимания, потому что все еще думал. Потом пришел отец, сестра на него пожаловалась, и старик отправил его за дровами; его не спросили о поручении ни за ужином, ни когда он улегся на тюфяк — лечь в постель означало просто растянуться на тюфяке, — однако он не уснул, а просто лежал, подложив под голову руки, но о поручении опять не было речи, и он так и не мог решить, соврать или нет. Ведь, как он говорил дедушке, самое страшное до него еще не дошло; он просто лежал, а те двое, расположившись поудобней у него внутри, не перебивая друг друга, спокойно, рассудительно и беззлобно продолжали свой спор: *Но я могу его убить. — Нет. От этого не будет никакого проку. — Что ж нам тогда делать? — Не знаю; а он, по его словам, без особого любопытства прислушивался, а потом даже и слушать перестал, хотя слова все еще доходили до его сознания. В голове его теснились совсем непрошенные мысли, они возникли сами по себе, потому что, хотя они и были вполне естественны для мальчишки, для ребенка, он не обращал никакого внимания и на них, ибо всякому мальчишке пришлось бы в голову то же самое, и ему было ясно: чтобы сделать то, без чего он не сможет жить в ладу с самим собой, он должен сначала все хорошенько обмозговать как подобает мужчине, и вот он думал Черномазый так и не дал мне ничего ему сказать, и теперь он (опять-таки не черномазый) ничего про это не узнает, а того, что надо было сделать, теперь никто не сделает, и он про это тоже не узнает, а когда узнает, будет слишком поздно, ну и поделом ему: чего он своему черномазому велел такими делами заниматься, а вдруг меня послали сказать, что у него горит конюшня или дом, черномазый и тогда не дал бы мне и слова вымолвить, его предупредить. А потом, говорил он, он вдруг перестал думать, а вроде как бы крикнул, да так громко, что могли услышать сестры на другом тюфяке и храпевший спяну отец с двумя малышами на кровати Он так и не дал мне ничего сказать, и слова сыпались до того быстро, все до того перепуталось, что ему казалось, будто это кричат на него, будто крики бурлят, захлестывая его, как смех черномазых Он так и не дал мне ничего сказать, а папаня так и не спросил меня, сказал я ему или нет, и потому он вовсе не знает, что папаня хотел ему что-то передать; так выходит, ему все равно, узнает он про это или нет, а папане и подавно; выходит, я туда пришел, только чтобы тот черномазый велел мне больше никогда не приближаться к ихней парадной двери; и выходит, если б я ему сказал, ему бы это не пошло, а если б не сказал, ему бы это не повредило: вот и выходит, что я ничем на*

свете не могу ни помочь ему, ни повредить. И вот, рассказывал он, произошел как бы взрыв — яркая ослепительная вспышка, она появилась и исчезла, не оставив за собой ни пепла, ни других следов; перед ним открылась бесконечная плоская равнина, посреди которой, словно памятник, торчала суровая глыба его нерушимого простодушия, и это простодушие поучало его так же спокойно, как разговаривали те двое, оно использовало его же сравнение с ружьем, и когда оно говорило *они* вместо *он*, это значило гораздо больше, чем все, вместе взятые, ничтожные людишки, которые могут целый день валяться в гамаках без башмаков; и он размышлял: «Если ты задумал воевать с теми, у кого есть хорошее ружье, ты должен первым долгом раздобыть себе ружье, хотя бы и похуже, чем у них, — взять его взаймы, украсть или смастерить самому, верно?» — и отвечал себе: «Верно. Да только дело не в ружье. Если ты задумал с ними воевать, надо, чтоб у тебя было все, что есть у них, все, что позволяет им поступать так, как поступил тот человек. Надо, чтоб у тебя была земля, черномазые и красивый дом, и тогда ты сможешь с ними воевать. Понял?» — и снова согласился: «Понял». В ту ночь он ушел. Он проснулся на рассвете, встал с постели точно так же, как и лег: просто поднялся с тюфяка и на дыпочках вышел из дома. Он никогда больше не видал своих родных.

Он отправился в Вест-Индию. — Квентин не шелохнулся, даже не поднял головы, в задумчивости склоненной над раскрытым письмом; оно лежало на раскрытом учебнике, по обе стороны которого лежали на столе его руки; одна половина листа в том месте, где проходила пересекавшая его складка, поднялась кверху под косым углом и стояла, ни на что не опираясь, словно уже наполовину проникла в тайну преодоления силы тяжести. — Так сказал сам Сатпен. Они с дедушкой теперь сидели на бревне, потому что собаки потеряли след. То есть они нашли дерево, с которого он (архитектор) никак не мог слезть, но на которое он несомненно забирался: они нашли шест, к которому были привязаны его подтяжки, — с его помощью он и залез на дерево; правда, сперва они никак не могли взять в толк, при чем тут подтяжки, и только часа через три их осенило, что архитектор использовал свою архитектуру и физику, чтобы от них ускользнуть, — так человек в минуту смертельной опасности всегда прибегает к тому, что умеет лучше всего: убийца — к убийству, вор — к воровству, лжец — ко лжи. Если даже он (архитектор) не мог знать, что Сатпен приведет собак, про диких черномазых он знал и потому залез на это дерево, втащил за собою шест, рассчитал нагрузку, дистанцию и траекторию и перепрыгнул на ближайшее соседнее дерево, преодолев расстояние, какого не смогла бы преодолеть никакая белка, и, перепрыгивая с дерева на дерево, прошел не меньше полмили, прежде чем снова ступил ногою на землю. Только через три часа один из диких черномазых (собаки ни за что не отходили от дерева, они были уверены, что он там сидит) отыскал место, где он спустился вниз. И вот они с дедушкой сидели на бревне и разговаривали; тем временем другой черномазый сбегал обратно в лагерь за едой и остатками виски, потом они затрубили в рог, созвали остальных и поели, а пока они ждали, он рассказывал дедушке, что было дальше.

Он отправился в Вест-Индию. Так сказал сам Сатпен; он не говорил, как он узнал, где Вест-Индия находится; как он добрался до места, где стояли суда, и как попал на одно из них; не говорил, понравилось ли ему море, не рассказывал, как тяжело живется морякам, а ведь ему, мальчишке четырнадцати или пятнадцати лет, который прежде никогда не видел океана и вышел в море в 1823 году, наверняка пришлось там тяжело. Сидя с дедушкой на бревне — собаки между тем все лаяли и лаяли под деревом, где, как они думали, засел архитектор, потому что куда ж он мог деваться, — он просто сказал: «И вот я отправился в Вест-Индию», — точно так же тридцать лет спустя, сидя у дедушки в конторе (на этот раз он был в своей великолепной форме, которая, правда, слегка замусолилась и поизносилась за три года войны; в кармане позвякивали монеты, борода тоже никогда не была краше — борода, тело и ум его достигли той высшей точки, когда соединяются воедино все качества, составляющие зрелого мужчину, и когда он может наконец сказать *Я добился всего, чего хотел, и при желании могу теперь остановиться, и никто на свете, даже я сам, не упрекнет меня в ленисти*, — возможно, это и есть та самая минута, которую судьба всегда выбирает, чтобы огреть тебя по башке, да только эта высшая точка кажется такой надежной и прочной, что сразу не заметишь, как покатился под уклон, и вот, слегка вскинув голову — никто точно не знал, то ли он кому-то подражает, то ли по-заинтересовал эту позу из той самой книжки, по которой учил слова и высренние цве-

тистые обороты; он, говорил дедушка, уснащал ими свою речь, даже когда просил спички, чтобы раскурить сигару, или предлагал сигару; причем в этом не было ничего суетного, ничего смешного благодаря простодушию, которого он так никогда и не утратил, ведь после того как той ночью оно наконец указало ему, что делать, он и думать о нем забыл и знать не знал, что оно еще при нем осталось), он сказал дедушке — заместь себе: просто сказал, он не искал никаких извинений или сочувствия, ничего не объяснял и не оправдывал; он просто сказал дедушке, что отстранил свою первую жену, все равно как короли в XI и XII веке: «Я убедился, что она без всякой провинности со своей стороны не может и никогда не сможет спешествовать и благоприятствовать выполнению цели, которую я себе поставил, и потому я ее обеспечил и отстранил», — и вот, сидя с дедушкой на бревне в ожидании, когда черномазые возвратятся с остальными гостями и принесут виски, он тем же тоном продолжал: «Итак, я отправился в Вест-Индию. За одну неполную зиму я получил начатки образования, благодаря которым узнал о существовании Вест-Индии, и уяснил себе, что опа в высшей степени отвечает моим намерениям». Он не помнил, каким образом попал в школу. Вернее, почему отец вдруг ни с того ни с сего решил послать его учиться; какое смутное видение могло возникнуть в той смеси паров спиртного, расправ над черномазыми и всевозможных уловок с целью уклониться от работы, которая образовалась в голове старика: едва ли это были честолюбивые мечты о славе, о том, чтобы сын его занял более высокое положение в обществе, или минутная вспышка безотчетного отвращения к лачуге, сквозь дырявую крышу которой заливало дождем не один десяток семей, как и они, поселявшихся, ютившихся там, а потом исчезавших оттуда, не оставив за собой никакого следа, ничего, ни грязных тряпок, ни черепков; нет, скорее это была черная зависть к двум или трем плантаторам, с которыми ему временами приходилось сталкиваться. Как бы там ни было, одну зиму он почти три месяца подряд ходил в школу — подросток лет тринадцати или четырнадцати сидел в комнате, битком набитой ребятишками; он был на три или четыре года старше любого из них и на столько же лет от них отстал; он наверняка не только на целую голову перерос самого учителя (а что за учитель обучал детей в сельской школе, состоящей из одной-единственной комнатухи, в самом сердце плантаций Тайдуотера, нетрудно себе представить), но вообще казался взрослее его; кроме здравого смысла, осторожности и сдержанности горца, он несомненно принес с собой в школу врожденное отвращение ко всякой дисциплине, о котором и сам не подозревал, как, впрочем, сперва не подозревал и о том, что учитель его побаивается. Нельзя назвать это своеволием или гордостью; это была скорее воспитанная уединением уверенность в себе — ведь, по крайней мере, некоторые из его предков были горцами (мать его родилась в горах Шотландии и, судя по тому, что он рассказывал дедушке, так никогда и не научилась толком говорить по-английски); как бы там ни было, эти его свойства запрещали ему снисходить до заучивания правил арифметики и тому подобной сухой материи, зато не мешали внимательно слушать, когда учитель читал вслух. «В школе, — рассказывал он дедушке, — я мало чему научился, не считая того, что все, находящееся в пределах возможностей человека, большинство хороших и дурных деяний, влекущих за собой хвалу, посрамление или награду, уже совершены и узнать о них можно только из книг. Поэтому когда он нам читал, я слушал. Теперь я понимаю, что он по большей части прибегал к чтению вслух, лишь убедившись, что все ученики того и гляди встанут и разбегутся. Но что бы ни заставляло его нам читать, я все равно слушал, хотя и не знал, что услышанное подготовит меня к осуществлению моего позднейшего замысла гораздо лучше, нежели вся таблица умножения, которую я мог бы выучить по книжке. Так я узнал про Вест-Индию. Не про то, где она расположена, — знай я тогда, что эти сведения могут позднее сослужить мне службу, я бы узнал и про это тоже. А узнал я то, что есть на свете местность под названием Вест-Индия, куда бедняки уплывали на кораблях и где они богатели — как именно, не важно, коль скоро человек был расчетлив и смел; последним качеством я, мне кажется, был наделен, что же до первого, если его можно приобрести в школе жизни усилием воли и энергией, мне казалось, что я непременно его приобрету. Помню, однажды вечером после уроков я дождался, вернее, подстерег учителя; это был плюгавый человек, всегда как бы покрытый пылью, словно он родился и всю жизнь прожил на чердаках и в чуланах. Помню, при виде меня он отпрянул, и я тогда подумал, что если б я его ударил, он даже не посмел бы крикнуть, послышался бы только звук удара и взвились клубы пыли, какие поднимаются в воздухе, когда выколачивают висящий на ве-

ревке половик. Я спросил его, правда ли то, что он нам читал про людей, которые поехали в Вест-Индию и там разбогатели. «Конечно, правда, — отвечал он, отпрянув. — Ты не слышал, что это написано в книге?» «А почему я знаю, что вы читаете то, что написано в книге?» — спросил я его. Понимаете, я был тогда самым настоящим неучем, деревенщиной. Я даже не умел еще прочитать свое собственное имя, и хотя ходил в школу уже почти три месяца, смею вас уверить, что знал не больше, чем в тот день, когда впервые переступил порог классной комнаты. Но, понимаете, мне необходимо было это узнать. Быть может, человек закладывает основу своего будущего не одним способом, а несколькими, строит в расчете не только на свое тело, которым он сможет расплагаться и завтра и в будущем году, но и на поступки и на неотвратно вытекающие из них последствия, которых его слабые чувства и разум не могут предвидеть, но которые он через десять, а то и через двадцать или тридцать лет предпримет, должен будет предпринять, чтобы эти поступки пережить. Возможно, именно такое безотчетное побуждение и заставило меня схватить его за руки в ту минуту, когда он от меня отпрянул (я, в сущности, не подвергал сомнению его слова. Думаю, даже в то время, даже мальчишкой, я понял, что он не мог этого выдумать, что он был неспособен обмануть даже малого ребенка. Но, понимаете, мне необходимо было знать все это точно, я должен был во что бы то ни стало узнать все это точно. А у меня под руками был только он и больше ничего) и, в ужасе глядя на меня, старался вырваться, а я крепко держал его и спокойно, совершенно спокойно — ведь мне надо было только узнать — говорил: «А что, если я туда поеду и увижу, что это неправда?»; он закричал: «Спасите! Помогите!» — и я его выпустил. И вот когда настало время, когда я понял, что для претворения в жизнь моего замысла прежде всего и главным образом потребуются деньги, и притом в значительном количестве и в самом ближайшем будущем, я вспомнил то, о чем он нам читал, и отправился туда, в Вест-Индию».

Тут стали собираться остальные, а вскоре вернулись и черномазые с кофейником, оленьим окороком и с виски (и с бутылкой шампанского, про которую, по словам дедушки, они раньше забыли), и Сатпен на время умолк. И ничего больше не рассказывал, пока они не кончили есть и не уселись в кружок, закулив сигары, между тем как черномазые и собаки совершали вылазки во все стороны. Им пришлось оттащить собак от дерева и особенно от шести с подтяжками, словно этот шест был последним предметом, который хранил не только следы архитектора, но и следы восторга, охватившего его, когда он нашел еще одну возможность от них ускользнуть, и собак этот восторг взбесил. Черномазые и собаки уходили все дальше, и наконец перед самым заходом солнца один черномазый издал клич, и тогда Сатпен (он, по словам дедушки, некоторое время молча лежал, опершись головой на руку; он был в хороших сапогах, в своих единственных брюках и в рубашке — он надел их, когда вылез из болота и умылся, очевидно поняв, что если он хочет поймать архитектора живым, то должен сам пуститься за ним в погоню; он молчал и, возможно, не слушал, как другие говорили о политике и о хлопке, а только курил дедушкину сигару, смотрел на тлевшие угли, возможно еще раз мысленно совершая то путешествие в Вест-Индию, которое проделал четырнадцатилетним мальчишкой, даже не зная, куда он едет, придет ли когда-нибудь туда или нет: ведь он не мог проверить, врут или не врут люди, сказавшие, что корабль отправляется именно туда, как прежде не мог поверить, правду или неправду говорит учитель о том, что написано в книге. И он никогда не рассказывал, тяжело ли далось ему путешествие и что он пережил в пути. Но ведь он был уверен, что нужны только смелость и расчетливость и что смелость у него есть, а расчетливость будет, если только ее можно приобрести, и, наверное, его даже утешало, что путешествие было тяжелым, а значит, люди, сказавшие, что судно направляется в Вест-Индию, не соврали: дедушка говорил, что в то время он, наверное, не мог поверить ни во что простое и легкое) — тогда Сатпен сказал: «Это здесь», встал, и все двинулись вперед и нашли место, где архитектор снова спустился на землю, выиграв у них почти три часа. Поэтому им теперь пришлось поторопиться, и разговаривать было некогда, во всяком случае, по словам дедушки, он явно не собирался продолжать свой рассказ. Наконец солнце село, и гостям надо было возвращаться в город, и все уехали, кроме дедушки: он хотел послушать, что было дальше. Поэтому он попросил одного из гостей передать, что не будет ночевать дома (он тогда еще не был женат), и они с Сатпеном продолжали идти вперед, пока не стемнело. Двое черномазых еще раньше отправились обратно за едой и одеялами (до лагеря было уже миль тринад-

цать). Потом спустилась ночь, и черномазые стали зажигать сосновые ветки, и они прошли еще немного по следу, стараясь продвинуться как можно дальше — ведь архитектору с наступлением темноты непременно придется залечь в какую-нибудь нору, чтобы не блуждать по кругу. Дедушке запомнилось, как они с Сатпенем ведут в поводу лошадей (оглядываясь назад, он видел, как в глазах лошадей отражается свет факелов; они вскидывают головы, и по их бокам и спинам ползут черные тени); впереди бегут собаки; черномазые (они почти все голые, лишь там и сям промелькнет пара штанов) несут дымящиеся факелы, алые отблески пламени играют у них на руках, на круглых, как шары, головах; глина, которой они обмазались на болоте, спасаясь от москитов, высохла, затвердела и переливается, как стекло или фарфор; их тени то удлиняются, то совсем исчезают; даже деревья, кусты и заросли тростника то появляются, то совсем исчезают, хотя знаешь, что они все время здесь, потому что ощущаешь их своим дыханием, словно, оставаясь невидимыми глазу, они вытесняют и сгущают невидимый воздух, которым ты дышишь. И тут Сатпен снова заговорил, и прежде чем дедушка понял, что это продолжение рассказа, ему подумалось, что в судьбе человека (или в самом человеке) заложено нечто, заставляющее судьбу к нему прилаживаться, — как бывает с одеждой, например с сюртуком: новый он будет в пору тысяче людей, а стоит кому-нибудь его поносить, он уж больше не подойдет никому, и тогда его не спутаешь ни с каким другим, даже если увидишь только рукав или воротник, и вот его... (—...демонова,— вставил Шрив)... судьба приладилась к нему, к его простодушью, к его природной склонности к героической мелодраме, к его детской непосредственности, точь-в-точь как парадная форма тонкого сукна — в такой же четыре года ходили десятки тысяч мужчин, — в которой он явился в контору к дедушке тридцать лет спустя, приладилась к его спеси и к выпренным цветистым выражениям, в каких он спокойно, с простодушной откровенностью (мы называем ее детской, хотя дитя человеческое — единственное в мире живое существо, которое никогда не бывает ни простодушным, ни откровенным) излагал нечто в высшей степени простое и в высшей степени страшное. Он рассказывал, что было с ним дальше; он уже как бы вернулся в то место, о котором говорил, хотя еще ни словом не обмолвился ни о том, как он туда попал, ни о том, каким образом произошли те события, участником которых он оказался (в то время, о котором шла речь, ему было, наверное, уже лет двадцать; он притаился у окна и стрелял в темноту из мушкета, который кто-то другой заряжал и подносил ему); вместе с дедушкой он перенесся в осажденный дом на острове Гаити так же легко и просто, как перенесся в Вест-Индию, — сказал, что решил отправиться в Вест-Индию, и так и сделал. Случай, о котором он теперь говорил, вовсе не вытекал из рассказанного раньше, а просто всплыл у него в памяти при виде шагавших перед ними черномазых с факелами; он не говорил, как он туда попал, что произошло за шесть лет, отделявших тот день, когда он решил отправиться в Вест-Индию и разбогатеть, от той ночи, когда он — надсмотрщик, де-шант или еще что-то в этом роде, служивший у француза — владельца сахарной плантации, — сидел, забаррикадировавшись, в доме вместе с семьей плантатора. И тут, по словам дедушки, впервые была упомянута некая тень; она на мгновение как бы возникла, а потом снова рассеялась, хотя и не совсем, тень... (— Это девушка, — вмешался Шрив. — Можешь мне этого не говорить. Просто продолжай, и все.)... женщины, о которой он тридцать лет спустя скажет дедушке, что, убедившись в ее несоответствии его замыслу, он ее отстранил, хотя и обеспечил; там было еще несколько насмерть перепуганных мулаток-служанок, и приходилось то и дело отрываться от окна, чтобы пинками и бранью заставить их помогать этой девушке заряжать мушкеты, из которых они с плантатором стреляли в окна. И дедушка наверняка твердил: «Подождите, бога ради подождите», совсем как ты, и он наконец остановился, вернулся назад и начал все сначала хотя бы для того, чтобы у событий были хоть какие-то причины и следствия, раз уж рассказ его лишен был всякой логической последовательности и связи. А может, просто потому, что теперь они уже снова сидели, решив, что на сегодня хватит, и черномазые разбили лагерь, приготовили ужин, и они (он с дедушкой) выпили виски, поели и уселись у костра, и он повторил все сначала, и все-таки не до конца было ясно, как и почему он очутился там и кем он был, потому что он говорил не о себе. Он просто рассказывал какую-то историю. Он не хвастался чем-то, чего достиг, он просто рассказывал историю о чем-то, что произошло с человеком, которого звали Томас Сатпен, и эта история ничуть не изменилась бы,

если б того человека вообще никак не звали и если б ее рассказывали вечером за стаканом виски о первом встречном, а то и вообще ни о ком.

Может, это заставило его сбавить скорость. Но от этого история ничуть не прояснилась. Он все еще рассказывал дедушке вовсе не о жизни человека, которого звали Томас Сатпен. По словам дедушки, о тех шести или семи годах, которые должны были где-то пройти и действительно прошли, он только сказал, что ему пришлось выучить местное наречие — иначе он не мог занять место надсмотрщика, — а также французский язык: если не для того, чтобы сделать предложение своей будущей жене, то хотя бы для того, чтобы суметь от нее отречься уже после женитьбы; он рассказал дедушке, что сначала думал, будто смелости и расчетливости будет достаточно, но затем понял, что ошибся, и пожалел, что, кроме сведений о Вест-Индии, не приобрел в школе никаких других познаний, когда открыл, что не все люди говорят на одном языке, и увидел, что ему потребуется не только смелость и ловкость, но придется еще выучить новый язык, иначе замысел, которому он себя посвятил, окажется мертворожденным. И вот он выучил этот язык — наверное, так же, как выучился ремеслу моряка; дедушка спросил его, почему он не взял себе какую-нибудь девушку, чтобы, живя с нею, усвоить язык самым простым способом, а он сидел у костра, на его лице и бороде играли отблески пламени, и, глядя на дедушку своими спокойными и ясными глазами, ответил — по словам дедушки, это был единственный случай, когда он выразил свою мысль просто и ясно: «В ту ночь, о которой я рассказываю (и, я мог бы добавить, до моей первой женитьбы), я был еще целомудрен. Вы, наверное, этому не поверите, а если я начну вам объяснять, усомнитесь еще больше. Поэтому я только скажу, что это тоже было частью моего замысла» — и тогда дедушка спросил: «Почему вы думаете, что я вам не верю?» — а он, снова бросив на дедушку тот же спокойный и ясный взгляд, проговорил: «Неужели верите? Вряд ли вы обо мне такого низкого мнения, чтобы поверить, будто в двадцать лет я еще не испытал соблазна и сам никого не соблазнил» — и тогда дедушка сказал: «Вы правы. Мне не следовало вам верить. Но я верю». И так, это был рассказ не о женщинах и уж конечно не о любви; женщина, девушка была всегда лишь тенью, которая могла заряжать мушкет, но которой нельзя было позволить выстрелить из окна в ту ночь (или в те семь или восемь ночей, что они провели, притаившись во тьме и глядя в окна на объятые пламенем и дымом поля, амбары, житницы — словом, как еще там зовутся помещения, где хранят урожай сахарного тростника; он рассказывал, как все было пропитано этим запахом, густым, терпким, сладковатым запахом, словно ненависть, и жестокость, и породившие эту ненависть и жестокость тысячелетня темных страшных тайн многократно усилили запах сахара; и при этих словах дедушка вспомнил, что Сатпен никогда не пил кофе с сахаром, и теперь он (дедушка) понял почему, но все-таки для верности спросил еще раз, и Сатпен сказал, что это правда и что он не испытывал страха, пока не сгорели дотла все поля и амбары и пока они не забыли даже самый запах горящего сахара, но что с тех пор он не переносит сахар), она лишь на мгновение возникла в рассказе, чуть ли не в одном-единственном слове; дедушке даже показалось, будто ее озарило вспышкой мушкетного выстрела, и перед ним на мгновение мелькнула склоненная голова, щека, подбородок за прядями распущенных волос, шомпол в маленькой узкой белой руке — и это было все. Больше никаких подробностей — так же коротко и сжато он рассказывал и о том, как пришел в осажденный дом с полей, где выполнял обязанности надсмотрщика, когда черномазые набросились на него со своими мачете, и о том, как попал на эти поля из полуразвалившейся виргинской лачуги; и это казалось дедушке еще более невероятным, чем даже путь на эти поля из Виргинии, потому что путь из Виргинии подразумевал пространство, которое надо было преодолеть за какое-то время — ведь время длиннее любого расстояния, — тогда как с полей в осажденный дом он прорвался с неистовой скоростью, презрев и пространство и время; этот путь был столь же кратким, сколь и самый его рассказ, потому что время как бы сжалось, превратилось в мерило этой скорости, да и рассказывал он об этом легко и небрежно, словно занятый анекдот из судебной хроники, — очевидно, излагая эти события так, как они ему запомнились, со сдержанным беспристрастным любопытством, которое даже страх (единственный раз, когда он упомянул о страхе, он в присущей ему манере говорил о времени, когда еще не испытывал страха или еще не начал его испытывать) не мог вытеснить. Ведь, по словам дедушки, он испугался только тогда, когда все уже кончилось, потому что все это было для него не более как спектаклем, зрелищем, которое надо непременно посмотреть, ибо

такая возможность едва ли повторится, — ведь его простодушие еще продолжало действовать, и он не только не знал, что такое страх, пока все не кончилось, он даже не знал, что сначала не испугался; он даже не знал, что нашел то место, где человек может быстро добыть себе деньги, если он смел и расчетлив (дедушка говорил, что он имел в виду не расчетливость, а скорее неразборчивость в средствах, просто он не знал такого выражения — его, наверное, не было в книге, которую читал им учитель. А может, это понятие он вкладывал в смелость, сказал дедушка), но где деньгам сопутствует высокая смертность, где доллары отливают не золотом, а кровью — клочок земли, который, по словам дедушки, небеса создали и отвели под сцену, где разыгрываются кровавые драмы насилия и беззаконий, сатанинской алчности и злобы, где обреченные отщепенцы и изгои испуленно бросаются в последнюю отчаянную схватку с роком, маленький островок в ласковом, коварном, невыразимо синем море, на полпути между тем, что мы называем варварством, и тем, что мы называем цивилизацией, на полпути между загадочным темным континентом, у которого насильники вероломно похитили его черную плоть и кровь, его мысль, память, надежды и чаянья, между ним и холодной знакомой страной, которой суждено было стать им тюрьмой, цивилизованной страной и народом, который отторг от себя тех из своих сынов, чьи дерзновенные мысли и желанья он не в силах был больше терпеть и забросил их, отчаявшихся и бездомных, в бескрайнюю пустыню океана, маленький затерянный островок, лежащий в широтах, чей климат способны переносить лишь отпрыски древних племен, что десять тысяч лет прожили на экваторе; земля, обильно политая кровью жертв двухсотлетнего порабощения и гнета, которая словно в насмешку вскормила мирные луга, алые цветы и молодые побеги сахарного тростника не более четырех дюймов в обхвате, в три раза выше человеческого роста: фунт его, хотя и больше по объему, почти равен по стоимости фунту серебряной руды, словно сама природа вместо человека вела счета, подводила итог и предлагала возмещение за искалеченные тела и разбитые сердца; где посевы природы и людей не только удобрены напрасно пролитой кровью, но и овеяны ветрами, от которых напрасно бежали обреченные корабли, ветрами, под чьим напором погружался в синие волны последний лоскут парусов и замирал последний отчаянный вопль женщины или ребенка; да, и посевы людей: еще нетронутые тела и мозг, чья извечно недреманная кровь, впитавшись в землю, по которой они ступали, и поныне вызывает о мести. А он присматривал за всем этим, мирный надсмотрщик верхом на лошади; он изучал язык (эту, как говорил дедушка, тонкую хрупкую нить, что на мгновение соединяет уголки и края людского одиночества, прежде чем они снова погружаются во тьму, где впервые раздался никем не услышанный зов души и где он раздастся в последний раз и его вновь никто не услышит), не зная, что ступает по вулкану; он слушал, как по ночам воздух трепещет и дрожит от барабанной дробы и от песнопений, но не подозревал, что этот голос исходит из самой земли; он верил (так говорил дедушка) в доброту и кротость земли и думал, что за тьмой скрывается лишь нечто, доступное или недоступное глазу; он присматривал за тем, что видел, сам не зная, за чем присматривает; он ежедневно совершал вылазки из вооруженной крепости, пока не настал тот самый день. О том, как это случилось, что к этому дню привело, он тоже не рассказывал — по словам дедушки, он, очевидно, из-за своего простодушия сам не знал, не понимал того, что ему приходилось видеть каждый день: свиную кость, на которой еще торчал кусочек тухлого мяса; пучок куриных перьев; грязный, покрытый пятнами тряпичный узелок с горстью камешков — старик однажды утром нашел его у себя на подушке, и никто (а меньше всех сам плантатор, который на этой подушке спал) не знал, как он мог туда попасть, потому что одновременно стало известно, что все слуги-мулаты куда-то исчезли, и пока плантатор не сказал ему, что пятна на тряпке не от грязи, не от жира, а от крови, он понятия об этом не имел, равно как о том, что плантатора охватила вовсе не бешеная ярость, а страх, ужас; ему было просто любопытно, интересно, потому что плантатор и его дочь все еще оставались для него иностранцами. Он рассказывал дедушке, что до той первой ночи осады ему ни разу не пришло в голову, что он не знает, как зовут его девушку, не знает даже, слышал он ее имя или нет. Он также рассказывал дедушке, мимоходом бросил — так игрок мимоходом вытаскивает из свежей колоды карт джокер, а потом не может вспомнить, вынимал он его оттуда или нет, — что жена старика была испанкой, и тут дедушка, а отнюдь не сам Сатпен понимал, что до той первой ночи, когда началась атака, он, по всей вероятности, видел эту девушку всего несколько раз. Труп одного из мулатов в конце концов был най-



ден, его нашел Сатпен, он искал его два дня, даже не подозревая, что постоянно наткнется на глухую стену из непроницаемых черных лиц, стену, за которой могло готовиться невесть что — и, как он позже убедился, так оно и было, и на третий день он нашел труп в таком месте, где его никак нельзя было заметить в первый же час первого дня поисков, будь он там. Рассказывая это, он все время сидел на бревне, он говорил и, по словам дедушки, сопровождал свой рассказ жестами, а ведь дедушка сам видел, как этот человек, голый до пояса, боролся с одним из своих собственных диких черномазых при свете костра, пока строился его дом, и продолжал в том же духе при свете фонаря на конюшне уже после того, как наконец добыл себе жену, способную содействовать осуществлению его замысла, боролся без особых церемоний и без всяких рукопожатий и поздравлений, смывал с себя кровь и надевал рубашку, потому что к концу раунда черномазый всякий раз, задыхаясь, навзничь валился на землю, и другой черномазый обливал его водой. Он сидел на бревне и рассказывал дедушке, как в конце концов нашел мулата или то, что осталось от мулата, и только тогда начал понимать, что положение может стать опасным; а после того — осажденный дом, они пятеро (плантатор, дочь, две служанки и он сам) заперлись изнутри; воздух насыщен дымом и запахом горящего тростника, в небо отблески пожара, воздух дрожит и трепещет от барабанной дробы и песнопений — маленький затерянный островок под перевернутой вверх дном пустою чашей сменяющих друг друга дней и ночей, и нет ниоткуда подмоги, и даже ветры не проникают сюда из внешнего мира, и лишь унылые, тоскливые пассаты продувают его из конца в конец, обремененные отзвуком тоскливых голосов умерщвленных женщин и детей, чьи бездомные непогребенные души носятся над пустынным, отгородившим их от мира океаном, — две служанки и девушка, чьего имени он все еще не знает, заряжают мушкет, из которых он и отец этой девушки стреляют не во врага, а в саму гаитянскую ночь, тщетно мечут слабые, еле заметные искорки в душную, тяжелую, кровотокающую тьму — и все это как раз между ураганами и долгожданном сезоном дождей. Он рассказал, что на восьмую ночь, когда иссяк запас воды и надо было что-то предпринять, он положил мушкет на пол, вышел из дома и усмирил их. Он именно так и выразился: вышел и усмирил их; а когда он вернулся, они с дочерью плантатора обручились, и тут дедушка сказал: «Подождите, подождите» — он наверняка сказал: «Вы ведь ее совсем еще не знали; вы говорили, что, когда началась осада, вы даже еще не знали, как ее зовут», — а он взглянул на дедушку и сказал: «Да. Но ведь я и поправился далеко не сразу». И ни слова о том, как он усмирил негров. Об этом тоже не было речи, это тоже не имело значения для его рассказа; он просто положил мушкет, велел кому-то открыть запертую засовом дверь, потом снова ее за ним закрыть, вышел в темноту и усмирил их — то ли тем, что кричал громче их, то ли тем, что мог вынести, выдержать больше, чем любая плоть и кровь, по их мнению, может или должна выдержать (да, да, вот именно должна, и это было самое ужасное — что нашлась плоть, которая выдержала больше, чем от нее надо требовать), а возможно, в конце концов они сами повернулись и в ужасе кинулись прочь от белого человека, из чьих рук и ног, таких же, как у них, могла брызнуть и политься такая же кровь, но в чьем теле жил неукротимый дух — он, очевидно, родился в том же первозданном огне, что и они, хотя и не мог, никоим образом не мог в нем родиться. Он показал дедушке рубцы от ран; одна из них, по словам дедушки, могла оставить его целомудренным навеки. Потом забрезжил рассвет, барабаны впервые за восемь дней умолкли, и они (вероятно, старик с дочерью) выбрались из дома, прошли по выжженной земле — над ней как ни в чем не бывало светило яркое солнце, — по этой жуткой немислимой пустыне, объятай мирной тишиной, отыскали его, принесли в дом, а когда он поправился, они с девушкой обручились. На этом он все оборвал.

— Ладно, — сказал Шрив. — Продолжай.

— Говорят тебе, что он все оборвал, — сказал Квентин.

— Слышу. Оборвал что? Он был помолвлен, потом все оборвал, и тем не менее у него была жена, которую он позже бросил, — так, что ли? Ты говорил, будто он не помнил, как приехал на Гаити, не помнил, как попал в дом, окруженный черномазыми, а теперь ты хочешь мне сказать, будто он даже не помнил, как женился? Что он обручился, потом решил все оборвать, но в один прекрасный день обнаружил, что не только ничего не оборвал, а, наоборот, уже женат? И ты еще утверждаешь, что он был целомудрен?

— Оборвал — это значит умолк, оборвал свой рассказ, — ответил Квентин. Он

сидел неподвижно, и слова его, казалось, были обращены (если он вообще к чему-нибудь обращался) к письму, лежавшему на столе между страницами раскрытой книги, по обе стороны которой лежали его руки. Сидевший напротив Шрив набил трубку и снова ее выкурил. Белесый пепел из перевернутой вверх дном головки веером просыпался на стол перед скрещенными голыми руками Шрива, который, казалось, одновременно и опирался ими о стол и, прижав их к груди, пытался согреться — было всего одиннадцать часов, но комната уже начала остывать; к полуночи батареи будут теплыми лишь настолько, чтоб не замерзли трубы, а он еще должен пойти в спальню (сегодня вечером он не будет делать дыхательных упражнений возле открытого окна), откуда вернется сначала в купальном халате, потом в пальто, натянутом на халат, и с пальто Квентина, переброшенным через руку. — Он просто сказал, что обручился, — продолжал Квентин, — а потом оборвал свой рассказ. Просто оборвал, сказал дедушка, раз и навсегда, словно все было исчерпано, говорить больше было не о чем, за бутылкой виски один собеседник больше не мог услышать от другого ничего интересного. Может, так оно и было. Он (Квентин) сидел, опустив голову. Он все еще говорил тем же странным, глухим, даже чуть-чуть сердитым голосом, и потому Шрив с самого начала следил за ним с пристальным вниманием и любопытством — выражение это на его физиономии ученого херувима еще больше усиливали, а возможно, даже создавали его очки. — Сатпен просто-напросто поднялся, посмотрел на бутылку виски и сказал: «На сегодня хватит. Нам надо выспаться — завтра рано вставать. Может, нам удастся поймать его, пока он еще не успеет очухаться».

Но это им не удалось. Они поймали его, я имею в виду архитектора, только к вечеру, да и то лишь потому, что он повредил себе ногу, пытаясь с помощью своей архитектуры переправиться через реку. Но на сей раз он допустил ошибку в расчетах, и тут собаки и черномазые его затравили, и, вытаскивая его наружу, черномазые подняли страшный шум. По слухам дедушки, черномазые, наверное, решились, что, совершив побег, архитектор добровольно отказался от своего права быть запретной пищей, совершив побег, он добровольно предложил черномазым гамбит, который они, пустившись за ним в погоню, приняли, а поймав его, выиграли партию, и теперь им позволят его зажарить и съесть, причем обе стороны — и победители и побежденный — примут это, как и полагается по правилам игры, мужественно, без всякой горечи и обиды. Все участники погони, которые накануне вечером уехали домой, теперь вернулись, кроме троих; они захватили с собой и других, так что теперь, говорил дедушка, их было даже больше, чем в первый день. Они вытащили его из пещеры на берегу реки, и вот перед ними предстал этот маленький человечек во фраке с оторванным рукавом; когда он упал в реку, его расшитый цветами жилет был безнадежно испорчен водой и глиной; сквозь разорванную штанину видно было, что он перевязал ногу лоскутом от рубашки, тряпка пропиталась кровью, нога распухла, а шляпа бесследно исчезла. Ее так и не смогли отыскать, и поэтому в день его отъезда, когда постройка дома закончилась, дедушка подарил ему новую шляпу. Это было у дедушки в конторе, и дедушка сказал, что архитектор взял новую шляпу, посмотрел на нее и заплакал.. этот маленький изможденный человечек с диким взглядом, заросший двухдневной щетиной; когда его, словно дикую кошку, вытаскивали из пещеры, он, несмотря на раненую ногу, отчаянно сопротивлялся; собаки заливались лаем, черномазые кричали и гикали в радостном предвкушении жуткого пира — они, наверное, думали, что раз погоня длилась больше суток, правила игры сами собою отпадут и им можно будет съесть его сразу, не дожидаясь, пока он сжарится; в конце концов Сатпен перешел вброд реку, разогнал палкой собак и черномазых, и архитектор остался один — ничуть не испуганный, он только слегка задыхался, и лицо его слегка искажилось от боли, потому что негры в пылу схватки заделали его раненую ногу, и тут он произнес длинную речь на французском языке, и притом такой скороговоркой, что, по словам дедушки, даже другой француз навряд ли бы все в ней понял. Но звучала она просто замечательно, и, по словам дедушки, даже он, да и все они сразу поняли, что архитектор вовсе не просит прощения; это была замечательная речь, сказал дедушка; он сказал, что Сатпен повернулся к нему, но он (дедушка) уже подошел к архитектору и протянул ему откупоренную бутылку виски. И дедушка увидел глаза на изможденном лице, отчаянные, безнадежные, но и неукротимые, непобежденные глаза, потому что все равно они его не одолели — пусть он двое суток бродил по темному лесу, увязая в болотах, не зная ни отдыха, ни сна, пусть ему было нечего есть, некуда идти, негде преклонить голову, пусть, заранее зная, что его ждет пора же-

ние, он держался только волею к победе — все равно они его не одолели; и он взял бутылку маленькой, как у енота, грязной рукой, поднял другую руку, словно хотел приложить ее к шляпе, но вспомнил, что шляпы нет, и безнадежно махнул рукой — по словам бабушки, этот жест просто невозможно было описать, казалось, он собрал в одну горсть все неудачи и невзгоды, какие когда-либо выпадали на долю рода человеческого, и, как щепотку пыли, швырнул их через голову назад, поднес к губам бутылку, отвесил поклон сначала бабушке, потом всем остальным — образовав кружок, они смотрели на него, сидя верхом на лошадях, — и отхлебнул из бутылки не только первый в своей жизни глоток чистого неразбавленного виски, но глоток, какого он вообще ни при каких обстоятельствах не мог себе представить, — так индийский брамин ни за что не поверит, что может попасть в положение, при котором он позволит кому-нибудь себя унижить.

Квентин умолк. Шрив тотчас сказал:

— Ладно. Можешь не говорить, что он оборвал рассказ. Просто продолжай, и все. — Но Квентин заговорил не сразу — ровный, странно безжизненный голос, склоненная голова, расслабленное тело — он не шевелился, только дышал; они оба не шевелились, только дышали; оба были молоды; родившись в один год на разных концах одного континента — один в Альберте, другой в Миссисипи, — они как бы претерпели некое географическое перевоплощение, оказались каким-то образом связанными воедино этой Трансконтинентальной Трубой, этой Рекою, которая не только протекает по физической почве, чью географическую пуловину она сама собой являет, не только питает духовную жизнь обитающих вокруг нее существ, хотя некоторые из них, как, например, Шрив, никогда ее не видели, она сама не что иное, как Окружающая Среда, для которой не существует никаких градусов температуры и широты, — они, эти двое, еще четыре месяца назад не подозревавшие о существовании друг друга, теперь спали в одной комнате, ели за одним столом, читали одни и те же учебники, штудировали начальный университетский курс, эти двое теперь смотрели друг на друга через освещенный лампой стол, а на нем лежал испещренный каракулями лист бумаги, этот бранный ящик Пандоры, из которого, презрев логику, вырвались на свободу свирепые демоны и джины, заполнив эту уютную монашескую келью, эту призрачную студеную обитель чистой мысли. «Ничего, — сказал Шрив. — Продолжай, и все».

— Это заняло бы тридцать лет, — заметил Квентин. — Сатпен только через тридцать лет рассказал бабушке, что было дальше. Может, он был слишком занят. Ему некогда было разговаривать, потому что все время уходило на осуществление его замысла, и единственным его развлечением была борьба с дикими черномазыми на конюшне, где гости, пробравшись по задам, привязывали лошадей, чтоб их не увидели из дома, — ведь он теперь был женат, дом был закончен, а его самого уже успели арестовать за то, что он украл всю обстановку, а потом выпустили, так что теперь все было в порядке, в доме была жена и двое, нет, трое детей, земля была расчищена и засеяна семенами, которыми ссудил его бабушка, и он теперь все богател и богател...

— Да, — сказал Шрив. — Этот мистер Колдфилд; что у них там было?

— Не знаю, — ответил Квентин. — Никто точно не знал. Кажется, речь шла о каком-то коносаменте; он каким-то образом уговорил мистера Колдфилда воспользоваться его кредитом; это было одно из тех дел — в случае, если выгорит, ты молодец, нет — ты меняешь фамилию и перебираешься в Техас; и отец говорил, что мистер Колдфилд, наверно, сидел в этой своей лавчонке и видел, как его товар, некогда умещавшийся в одном фургоне, примерно каждые десять лет удваивается или, по крайней мере, не уменьшается; он всегда видел такую возможность, да только совесть (не робость — отец говорил, что он был совсем не робкого десятка) ему не позволяла. А тут является Сатпен и предлагает ему это дело, и, если оно выгорит, они с мистером Колдфилдом делят добычу, а если нет, он (Сатпен) берет всю вину на себя. И мистер Колдфилд на это пошел. Отец говорил, будто мистер Колдфилд не верил в успех, не верил, что они выйдут сухими из воды, но никак не мог отказаться от этой мысли и потому решил, что, если они попытаются и потерпят неудачу, он (мистер Колдфилд) сможет наконец выбросить это из головы, а если все окончательно провалится и их поймут, мистер Колдфилд настоит на том, чтобы взять на себя свою долю вины во искупление греха, который он все эти годы мысленно совершал. Ведь мистер Колдфилд никогда не верил, что это дело выгорит, и потому когда он

увидел, что оно вот-вот выгорит и даже уже выгорело, отказался от своей доли прибыли — самое меньшее, что он мог сделать, — вот почему, убедившись, что дело в конце концов выгорело, он возненавидел не Сатпена, а свою совесть — свою совесть и землю, страну, которая создала его совесть, а потом предоставила ей возможность заработать эти огромные деньги, и совести не оставалось ничего, кроме как от этих денег отказаться; он так сильно возненавидел эту страну, что даже обрадовался, видя, как она все больше и больше приближается к неизбежной роковой войне; отец говорил, что он даже готов был вступить в армию янки, да только он не был рожден солдатом и знал, что либо погибнет в бою, либо умрет от лишений и потому не доживет до того дня, когда Юг поймет: пришла пора расплатиться за то, что он возвел здание своей экономической системы не на твердой скале суровой добродетели, а на зыбучих песках беспринципного приспособления к обстоятельствам и разбойничьей морали. И вот он сделал единственный шаг, какой только мог измыслить, чтобы выразить свое неодобрение тем людям, которые переживут войну и вследствие этого будут тоже испытывать муки совести...

— Разумеется, — сказал Шрив. — Замечательно. Однако Сатпен. Его замысел. Продолжай.

— Да, — сказал Квентин. — Его замысел. Он богател все больше и больше. Ему, наверное, казалось, что в будущем все просто и ясно — дом построен, он даже намного больше и белее того дома, к дверям которого он в тот день подошел, а расфуфыренная обезьяна-черномазый прогнал его на заднее крыльцо, и даже черномазые у него своей, особой породы, каких не было у человека, что без башмаков валялся в гамаке, и он может послать одного из них к двери, когда босоногому мальчишке в перешитых отцовских штанах настанет черед прийти и постучаться в эту дверь. Но только отец сказал, что теперь суть была не в этом, что в тот день, когда он спулся тридцать лет пришел к дедушке в контору, он не собирался оправдываться, равно как и в пойме реки в ту ночь, когда ловили архитектора; на этот раз он просто хотел объяснить, изо всех сил старался объяснить — ведь теперь он был стар и знал это, знал, что своим рассказом должен победить старость, что впереди остается все меньше и меньше времени и что это может сократить и неизбежно сократит его возможности, даже если б он доверял своим физическим силам так же, как своей смелости и воле; и вот он говорил дедушке, что суть не в том мальчишке-символе, что стоял у дверей; ведь тот мальчик-символ был всего лишь плодом воображения изумленного и отчаявшегося ребенка; что теперь он возьмет того мальчика к себе и ему никогда больше не придется стучаться ни в какую запертую белую дверь, возьмет не только для того, чтобы дать ему кров, но для того, чтобы этот мальчик или любой другой безмянный незнакомец мог сам раз и навсегда закрыть за собою дверь, отгородиться от всего, что он прежде знал, и глядеть в таинственное светлое будущее, где все его потомки, которым, возможно, даже никогда не придется услышать его (мальчика) имя, ждут только часа своего появления на свет, и им даже не надо знать, что их однажды навеки вырвали из тьмы невежества, как это было с его (Сатпеновыми) детьми...

— И ты еще утверждаешь, что я говорю точь-в-точь как твой отец? — сказал Шрив. — Но продолжай. Сатпеновы дети. Продолжай.

— Да, — сказал Квентин. — Эти двое детей. — Говоря это, он думал *Да. Может, мы оба — это и есть мой отец. Может, ничто никогда не случается только раз, и, может, все случается не один раз, а расходится, как круги по воде, когда камешек падает в пруд: круги движутся, расширяются; пруд связан тонкой водяной пуповиной со следующим прудом, который он, этот первый пруд, питает и все время питал, пусть даже у того первого пруда иная температура воды, иной молекулярный состав, иная способность видеть, чувствовать, вспоминать, отражать в ином ракурсе бесконечное неизменное небо — все равно водное эхо от падения камешка, которого второй пруд даже не видел, бежит по его поверхности изначальными кругами, в том же нерушимом ритме. Да, думал он, мы оба — это и есть мой отец. А может, мы с отцом — это Шрив и, может, нужны были бы мы с отцом, чтобы был Шрив, или мы со Шривом, чтобы был отец, или Томас Сатпен, чтобы были мы все.*

— Да, эти двое детей — сын и дочь; они по своему возрасту и полу так идеально соответствовали его замыслу, словно он заранее задумал и это, а их духовные и физические свойства тоже так идеально ему соответствовали, словно он облюбовал их среди небесных сонмов серафимов и херувимов точно так же, как отобрал себе двадцать черномазых при заключении сделки, которая, очевидно, состоялась, когда он

отверг свою первую жену и ребенка, узнав, что они не могут споспешествовать осуществлению его замысла. Дедушка говорил, что совесть тут ни при чем; когда Сатпен в тот день, спустя тридцать лет, сидел у него в конторе, он сказал, что вначале совесть его немного мучила, но что он спокойно и логично разубеждал ее до тех пор, пока она не успокоилась; он, наверное, точно так же разубеждал свою совесть насчет их с мистером Колдфилдом коносамента (только тогда, вероятно, менее обстоятельно, потому что времени было в обрез), пока все не уладилось; он, мол, вполне допускает, что с определенной точки зрения поступил не совсем справедливо, но постарался, насколько это было в его силах, эту несправедливость устранить, действуя открыто и честно, — ведь он мог попросту бросить жену, взять шляпу и уйти, но он так не поступил; он, как дедушка несомненно должен признать, имел вполне законное основание претендовать если не на всю плантацию, которую вместе с жизнью всех находящихся там белых он единолично спас, то, во всяком случае, на ту ее часть, что особо оговаривалась и передавалась в его собственность согласно брачному контракту, который он заключил чистосердечно, не утаив ни своего низкого происхождения, ни своих материальных средств, тогда как они со своей стороны пошли не только на утайку, но и на прямой обман, обман столь чудовищный, чтобы без его ведома не только подорвать и уничтожить самую основу его замысла, но и превратить в жалкую насмешку все, что он выстрадал и вытерпел в прошлом, равно как и все, что мог совершить для осуществления этого замысла в будущем, — однако же от вышеозначенных законных претензий он добровольно отказался, взяв себе лишь двадцать черномазых из всего, на что мог бы претендовать и чего многие другие на его месте без сомнения стали бы настоятельно требовать, и последнее безусловно было бы оправдано с точки зрения юридической и моральной, хотя, быть может, не с точки зрения шепетильной совести; и дедушка теперь даже не стал говорить ему: «Подождите, подождите», потому что снова усмотрел здесь то самое простодушие, простодушие, которое внушило ему, будто составные части морали — все равно что составные части торта или пирога, и коль скоро вы их взвесили, отмерили, смешали и поставили в духовку, значит, все в порядке и ничего, кроме торта или пирога, из них получиться не может... Да, вот так он сидел у дедушки в конторе и терпеливо, недоуменно, в который раз повторял все сначала, пытался объяснить — не дедушке и не себе, — ведь, по словам дедушки, самое его спокойствие доказывало, что он уж больше и не надеется все это понять, нет, он пытался объяснить обстоятельствам или даже самой судьбе те логические построения, которые привели к итогу, навеки и безнадежно для него непостижимому; он повторял простое и ясное резюме своей истории (теперь известной и ему и дедушке), словно пытаясь объяснить ее упрямому и своенравному ребенку:

«Видите ли, у меня был замысел. Хороший это был замысел или плохой — несущественно; вопрос состоит в том, где я ошибся, что я сделал или чего не сделал, кого и чем обидел, если это могло так кончиться. У меня был замысел. Чтобы его осуществить, мне требовались деньги, дом, плантации, рабы, семья и, между прочим, разумеется, жена. Я начал обзаводиться всем этим, не прося помощи ни у кого. Я даже один раз рисковал своей жизнью, как я вам уже говорил, я пошел на этот риск отнюдь не с целью добыть себе жену, хотя это и имело такое следствие. Но и это тоже несущественно; достаточно того, что у меня была жена, с которой я вступил в брак чистосердечно, не утаив ничего о себе, и ожидал того же от них. Заметьте, я этого даже не требовал, как можно было ожидать (или, во всяком случае, считать пристегельным) со стороны человека столь низкого происхождения, не обученного благородным манерам в обращении с благородными господами. Я этого не требовал, я принимал их такими, какими они себя представляли, сам же со своей стороны решительно настаивал на том, чтобы сообщить им все и о себе и о своих предках, и тем не менее они умышленно скрыли от меня то единственное обстоятельство, которое, как я имею все основания полагать, по их мнению, заставило бы меня от всего этого отказаться — в противном случае им незачем было бы его от меня скрывать, — обстоятельство, ставшее мне известным лишь после рождения моего сына. Но даже и тогда я не стал действовать поспешно. Я мог бы напомнить им об этих потерянных напрасно годах, о годах, которые теперь отделяли меня от цели, а также о дополнительном времени, какое потребуется, чтобы еще раз добиться того, чего я уже достиг, но теперь снова лишился. Однако я этого не сделал. Я просто объяснил, что из-за этого нового обстоятельства я не могу включить эту женщину и ребенка в мой замы-

сел, после чего, как я вам уже говорил, я не только не попытался сохранить то, что мог считать заработанным мною с риском для собственной жизни и что было передано в мою собственность согласно законным документам, а, напротив, отказался от всех прав и претензий на вышеозначенное, дабы загладить несправедливость, в коей меня могли бы упрекнуть, и обеспечил оба эти лица — ведь меня опять-таки могли бы упрекнуть, что я лишил их того, что мог бы приобрести впоследствии; и заметьте, что это было согласовано, согласовано между обеими сторонами. И несмотря на это и более чем через тридцать лет, более чем через тридцать лет после того, как моя совесть окончательно завершила меня в том, что если я и совершил несправедливость, я сделал все возможное, чтобы такую загладить...» — и теперь дедушка не сказал: «Подождите», — теперь он сказал, может даже крикнул: «Совесть? Совесть? О Господи, милый мой, чего еще вы ожидали? Неужели вы с вашей склонностью, я бы сказал даже, с инстинктивным тяготением к неудачам, проведя столько времени в монастыре, не говоря уж о той жизни, какой вы все время жили, можете этому удивляться? Неужели робость и страх перед женщинами, который вы, наверное, впитали с молоком матери, ничему вас не научили? Кому могло прийти в голову назвать невинностью это безграничное слепое простодушие? Какая сделка с совестью могла внушить вам уверенность, будто вам не удастся откупиться от этой женщины какой-либо иной монетой, кроме справедливости?..»

На этом месте Шрив пошел в спальню и надел купальный халат. Он не просил подождать, он просто поднялся, оставил Квентина за столом наедине с письмом и раскрытой книгой, вышел и вернулся в халате, снова уселся, взял холодную трубку, но ни набавать, ни раскуривать ее не стал.

— Ладно, — сказал он. — Значит, на Рождество Генри привез его домой, и демон, взглянув на него, увидел лицо человека, с которым, как ему казалось, он сполна рассчитался и от которого отделался двадцать восемь лет назад. Продолжай.

— Да, — сказал Квентин. — Отец говорил, что он, наверное, сам дал ему имя. Чарльз Бон. Чарльз Добрый. Дедушке он про это не говорил, но дедушка был уверен, что он это сделал, должен был сделать. Без этого уборка осталась бы незащищенной — точно так же он после осады помогал бы убирать стреляные капсюли и гильзы, если бы не был ранен (или, возможно, уже помолвлен); возможно, он бы даже на этом настаивал; и опять-таки совесть, которая не позволяла отвести этой женщине и ее ребенку никакого места в его замысле, хотя он мог бы закрыть на это глаза, и даже если б ему не удалось обмануть весь свет, как обманули его, он все равно сумел бы запугать любого, кому бы вздумалось во всеулышание заявить об этой тайне, та самая совесть, которая не позволяла этому ребенку, поскольку он был мальчиком, носить ни его имя, ни имя деда с материнской стороны, тем не менее запретила ему по общепринятому обычаю спешно отыскать мужа для брошенной им женщины и таким образом дать сыну не выдуманное, а настоящее, законное имя. Дедушка был уверен, что он выдумал это имя сам, точь-в-точь так же как давал имена всем, всем этим Чарльзам Добрым, Клитемнестрам, Генри, Джудит — всей поросли зубов дракона, как называл их мой отец. И еще отец рассказывал...

— Ох уж мне твой отец, — вставил Шрив. — До чего ж он быстро получил кучу запоздалых сведений — всего каких-нибудь сорок пять лет прошло. Если он все это знал, почему он тогда сказал тебе, что Генри с Бонем поссорились из-за окторонки?

— Он в то время этого еще не знал. Дедушка рассказал ему не все, потому что Сатпен тоже рассказал дедушке не все.

— Кто же тогда мог ему рассказать?

— Я. — Квентин не шелохнулся, не взглянул на Шрива, хотя тот не сводил с него глаз. — На следующий день после того, как мы... после той ночи, когда мы...

— А-а, — отозвался Шрив. — После того, как ты со старой тетушкой. Понятно. Продолжай. И еще твой отец рассказывал...

— ...рассказывал, как он в тот день, наверное, стоял на веранде, ожидая, когда Генри со своим другом, о котором он писал всю осень, покажется на аллее, и как, прочитав в первом же письме Генри это имя, Сатпен, наверное, сказал себе, что этого просто не может быть, что даже ирония судьбы имеет пределы, за которыми она превращается либо в злую, но не смертоносную шутку, либо в безобидное совпадение, ведь, говорил отец, даже и Сатпену должно было быть известно, что никто еще не придумал такого имени, какого бы кто-нибудь не носил теперь или прежде; и вот они наконец подъехали к дому и Генри сказал: «Папа, это Чарльз» — и он... (—...демон,—

вставил Шрив)... увидел это лицо и понял: порою события принимают такой оборот, когда совпадение — все равно что маленький мальчик, который прибежал на футбольное поле поиграть с мячом, а игроки, сталкиваясь друг с другом, носятся вокруг беззащитного ребенка, и в пылу борьбы за нечто, называемое победой или поражением, ни один из них про него не вспомнит и даже не заметит, кто явился и спас его от неминуемой гибели; он стоял у дверей своего собственного дома точь-в-точь так, как он воображал, задумывал, планировал, и вот спустя пятьдесят лет одинокий, бездомный, безымянный, заблудившийся мальчик пришел, чтобы в них постучаться, и нет нигде на свете расфуфыренной обезьяны-черномазого, который мог бы прогнать этого мальчика от дверей; и отец сказал, что даже в ту минуту, даже зная, что Бон и Джудит еще никогда не видали друг друга, он наверняка почувствовал и увидел, как весь его замысел — дом, положение, потомство и все остальное — рушится, словно весь он был построен из дыма, без звука, без шороха, какой издает вытесняемый воздух, и даже не оставляя обломков. А он не хочет думать, что это возмездие, что его постигла кара за грехи отцов или что это просто неудача, нет, он называет все это ошибкой; он не мог найти эту ошибку сам и потому пришел к дедушке — даже не оправдываться, а изложить все факты, чтобы беспристрастный (и, добавил дедушка, юридически образованный) ум рассмотрел их, обнаружил его ошибку и ему на нее указал. Понимаешь, не моральное возмездие, всего лишь старая ошибка, которую человек, наделенный смелостью и расчетливостью (первой, как он еще раньше убедился, он обладал, а расчетливости, по его мнению, он теперь тоже научился), все еще смог бы преодолеть, если бы только ему удалось узнать, в чем она заключалась. Поэтому что он не сдался. Он не сдался до самого конца, и дедушка говорил, что дальнейшие его поступки (например, что он некоторое время вообще ничего не предпринимал, отчего, вероятно, и возникло положение, которого он так страшился) объяснялись вовсе не недостатком смелости, расчетливости или жестокости, а тем, что он был уверен, будто все произошло из-за какой-то ошибки, и не хотел рисковать, куда не узнает, в чем эта ошибка заключалась.

Поэтому он пригласил Бона в дом и все две недели каникул (правда, на это не понадобилось столько времени; отец говорил, что миссис Сатпен, наверно, обручила Джудит с Боном в ту минуту, когда увидела имя Бона в первом же письме Генри) следил за Боном, Генри и Джудит или, вернее, за Боном и Джудит, потому что про Генри и Бона он все уже знал из писем Генри; следил за ними две недели и ничего не предпринимал. Потом Генри с Боном вернулись в университет, и теперь черномазый конюх, который каждую неделю доставлял почту из Оксфорда в Сатпенову Сотню и обратно, привозил Джудит письма, написанные отнюдь не почерком Генри (в чем, по словам отца, тоже не было никакой надобности, потому что миссис Сатпен уже разнесла по всему городу и округу весть о помолвке, которой, как говорил отец, еще даже и не существовало), а он все еще ничего не предпринимал. Он не предпринимал ровно ничего до тех пор, покуда в самом конце весны Генри не написал ему, что пригласил Бона провести у них два-три дня перед его поездкой домой. Тогда Сатпен отправился в Новый Орлеан. Выбрал ли он это время, чтобы застать Бона и его мать вместе и покончить с этим делом раз и навсегда, или нет, никто не знает, равно как никто не знает, виделся ли он тогда с матерью Бона, согласилась она его принять или отказалась или, быть может, согласилась, и он попытался еще раз с нею столковаться, быть может, даже откупиться от нее деньгами — ведь, как сказал отец, если человек способен думать, будто от оскорбленной, возмущенной и обездоленной женщины можно отделаться доводами формальной логики, он вполне способен поверить, что ее можно купить деньгами, — и из этого ничего не вышло; или если Бон был там, сам Бон отказался от его предложения, хотя никто никогда не мог сказать наверняка, знал ли Бон, что Сатпен его отец, или не знал, пытался ли он отомстить за мать вначале и лишь позже влюбился, лишь позже его затянуло в водоворот возмездия и рока, который, по словам мисс Розы, привел в движение Сатпен, чем погубил всех своих потомков, как черных, так и белых. Но из этого явно ничего не вышло, и наступило следующее Рождество, Генри с Боном снова приехали в Сатпенову Сотню, и теперь Сатпен убедился, что все пропало, что Джудит влюблена в Бона и что теперь безразлично — хочет ли Бон отомстить или же он просто попал в водоворот, идет ко дну и тоже обречен на гибель. И тогда, в тот сочельник, незадолго до ужина он, очевидно, послал за Генри (отец говорил, что, возможно, теперь, после поездки в Новый Орлеан, он наконец узнал про женщин достаточно, чтобы понять —

идти сначала к Джудит нет смысла) и рассказал Генри все. Он знал, что Генри ему скажет, и Генри именно это ему и сказал, он молча проглотил обвинение во лжи, и тогда Генри убедился, что отец сказал ему правду; мой отец говорил, что он (Сатпен) наверняка знал, как Генри поступит, и именно на это и рассчитывал — ведь он все еще думал, будто допустил всего лишь мелкую тактическую ошибку. Он был как командир разезда, который перед лицом превосходящих сил противника не может отступить и надеется, что, если станет действовать достаточно терпеливо, достаточно умно, достаточно спокойно и достаточно осторожно, ему удастся рассеять вражеских солдат и перестрелять их всех поодиночке. И Генри именно так и поступил. И он (Сатпен) наверняка знал, как Генри будет вести себя дальше, знал, что Генри тоже поедет в Новый Орлеан, чтоб убедиться во всем самому. Потом наступил шестьдесят первый год, и Сатпен знал, что они теперь предпримут — не только что предпримет Генри, но и к чему он принудит Бона; возможно (будучи демоном — хотя теперь, чтобы предвидеть войну, вовсе не надо было быть демоном), он даже предвидел, что Генри с Боном вступят в ту самую университетскую роту; он, вероятно, нашел какой-то способ за ними следить и даже узнал, когда их имена появились в списке добровольцев, какой-то способ узнавать, где находится их рота, даже прежде чем дедушка стал командовать полком, в который она входила, пока дедушка не был ранен при Питсберг-Лендинге (где ранили также и Бона) и не вернулся домой привыкать обходиться без правой руки, а сам он (Сатпен) в шестьдесят четвертом году приехал домой с двумя надгробными камнями и зашел к дедушке в контору поговорить, перед тем как они оба опять вернулись на войну. Может, он все время знал, где находятся Генри с Боном, знал, что они все время были в дедушкином полку, и дедушка, пусть даже сам того не ведая, мог как-то за ними присматривать, если за ними вообще нужен был присмотр; ведь Сатпен должен был знать и об искусстве и о том, что теперь Генри держит всех троих, себя, Джудит и Бона, в напряженном ожидании, а сам борется со своей совестью, стараясь вырвать у нее согласие на то, что он хочет сделать, — совсем как более чем тридцатью годами раньше его отец; может, он теперь даже стал таким же фаталистом, как Бон, и предоставлял войне возможность самой все уладить, убив его, или Бона, или обонх вместе (но без всякой помощи, без всякой подтасовки с его стороны — ведь это он вынес раненого Бона в тыл после битвы при Питсберг-Лендинге), а может, он знал, что Юг потерпит поражение и что тогда будет все равно, тогда не останется вообще ничего дорогого, ради чего стоило бы волноваться, возмущаться, страдать, умирать и даже жить. Он пришел к дедушке в контору в тот день, единственный день, когда ему... (—...демон,— сказал Шрив)... дали отпуск и он привез домой надгробные камни. Джудит была дома, и, я думаю, он посмотрел на нее, и она посмотрела на него, и он сказал: «Ты знаешь, где он», — и Джудит не стала ему врать, и он (он ведь знал Генри) сказал: «Но ты не получала от него писем» — и Джудит и тут не соврала, но **я** **не** заплакала: ведь они оба знали, что будет написано в письме, когда оно придет, и ему не надо было спрашивать: «Когда он напишет тебе, что едет, вы с Клиты начнете шить подвенечное платье?» — даже если бы Джудит ему про это соврала, но она, конечно, не соврала; и вот он поставил один камень на могилу Эллен, а второй в прихожую и поехал к дедушке; он пытался все ему объяснить, надеясь, что дедушка сможет отыскать ошибку, которую он считал единственной причиной всех его бед; он сидел в своей потрепанной, заношенной форме, перчатки у него протерлись, пояс выцвел, а плюмаж на шляпе (у него непременно должен был быть плюмаж. Он мог остаться без сабли, но плюмаж у него наверняка был) изорвался, измялся и запачкался; оседланная лошадь ждала его на улице, и хотя, чтобы найти свой полк, ему предстояло проехать тысячу миль, он сидел там в единственный вечер своего отпуска, словно нигде на свете не было никаких нестолжных спешных дел, словно ехать ему предстояло всего лишь за двенадцать миль в Сатпенову Сотню, а впереди — тысяча дней или даже лет неизменного благополучия и мира, а он, даже после смерти, по-прежнему останется здесь, по-прежнему будет наблюдать, как повсюду сколько сколько вырастают его замечательные внуки и правнуки; а он, хотя и лежит мертвый в земле, все тот же представительный мужчина, каким называл его Уош Джонс; но все это будет позже, не сейчас. Сейчас он блуждал в тумане своей же собственной воинствующей морали и в то время, когда (по словам дедушки) рушился Рим и погибал Мерихон, занимался казуистикой, предаваясь отвлеченным рассуждениям вроде *это было бы хорошо, если бы мы то было бы плохо, но*, что, как говорят отец, есть признак разжижения крови и



окаменения артерий и суставов — к ним склонны дряхлые старики; когда они были молодыми, подвижными и сильными, они так же мгновенно, безоговорочно и бездумно отзывались на простое и ясное Да и на простое и ясное Нет, как щелкают выключателем, чтобы зажечь или погасить электричество; он сидел и говорил, а дедушка никак не мог взять в толк, о чем он говорит: по словам дедушки, Сатпен, казалось, и сам этого не знает, потому что даже тогда Сатпен еще не все ему рассказал. И опять-таки из соображений морали, сказал дедушка, той самой морали, которая не позволяла ему чернить и порочить память о его первой жене или, во всяком случае, память о женьтебе, при которой, как он чувствовал, его надули; не позволяла чернить и порочить их даже в глазах своего знакомого, которому он доверял настолько, что решился пред ним оправдаться; даже в глазах сына от второго брака ради того, чтобы спасти достигнутое им положение, цель всей его жизни, разве что уж в самом крайнем случае. Не то чтобы он стал колебаться тогда, сказал дедушка, но уж, конечно, никак не раньше. Его самого надули, но он выпутался, не прося и не принимая помощи ни от кого; так пусть теперь всякий, кто будет обманут так, как он, поступит точно так же... И вот он сидел и рассуждал насчет того, что, какой бы путь он ни выбрал, итог все равно был один — плана и замысла, которому он посвящает пятьдесят лет своей жизни, с таким же успехом и в течение тех же пятидесяти лет могло бы и вовсе не существовать, а дедушка даже не понимал, о каком выборе идет речь и в чем заключался второй выбор, который он должен сделать, не понимал, пока он не произнес последнее слово, перед тем как встал, надел шляпу, пожал дедушке левую руку и уехал; этот второй выбор, необходимость снова выбирать, казался дедушке таким же темным, как и причина первого — ухода Сатпена от первой жены, и дедушка даже не сказал: «Я не знаю, что вам следует выбрать», не потому, что больше сказать было нечего, не потому, что это было даже меньше чем отсутствие ответа, а потому, что любой ответ его был бы столь же бесполезен: ведь Сатпен не слушал, не ожидал ответа, он пришел не за сочувствием, советовать ему тоже было нечего, а оправдание он уже вырвал у своей совести тридцать лет назад. Он по-прежнему знал, что обладает смелостью, и хотя мог в последнее время усомниться, действительно ли научился расчетливости, в чем еще недавно был уверен, он тем не менее по-прежнему думал, что где-нибудь на свете существует возможность ей научиться, а раз так, то он еще ей научится, и, по словам дедушки, возможно еще и вот что: если расчетливость не поможет ему выпутаться вторично, как это было в первый раз, то смелость поможет ему найти в себе волю и силы, чтобы в третий раз взяться за осуществление своего замысла, как это было во второй раз; он пришел в контору не за сочувствием и не за помощью — по словам дедушки, он так никогда и не научился обращаться ни за помощью, ни за чем другим и потому, сумеет даже дедушка оказать ему какую-нибудь помощь, не знал бы, что с нею делать; он просто явился, погруженный в спокойное и трезвое раздумье, быть может, надеясь (если он вообще на что-нибудь надеялся, если вообще что-нибудь имел в виду, а не просто размышлял вслух), что юридически образованный ум сможет обнаружить и разъяснить ту первоначальную ошибку, на существовании которой он по-прежнему упорно настаивал, но которой сам найти не мог: «Мне пришлось либо закрыть глаза на обстоятельство, перед которым меня без моего ведома поставили, когда я трудился над осуществлением моего замысла, что было бы равносильно полному и окончательному отрицанию этого замысла; либо и дальше придерживаться первоначального плана, для чего необходимо было это обстоятельство устранить. Я сделал выбор и постарался — насколько это было в моих силах — возместить ущерб, какой я своим выбором мог бы нанести, заплатив за право сделать именно этот выбор даже больше, чем от меня могли бы ожидать или даже (по закону) требовать. Однако мне теперь приходилось вторично встать перед необходимостью сделать выбор, причем интересно не то, на что указывали вы и что вначале пришло в голову мне, то есть что возникла необходимость в новом выборе, а то, что, какой бы выбор я ни сделал, какой бы путь ни избрал, итог один и тот же: либо я своей же собственной рукой уничтожаю свой замысел — что произойдет, если я буду вынужден пустить в ход свой последний козырь; либо я не делаю ровно ничего, предоставляю событиям идти своим, заранее известным мне путем и вижу, что мой замысел претворяется в жизнь совершенно закономерно, естественно и успешно — в глазах света; в моих же глазах, напротив, выглядит насмешкой и предательством по отношению к тому мальчику, который пятьдесят лет назад подошел к тем дверям и которого оттуда прогнали, к мальчику, ради отщепенения которого

весь этот замысел и план был задуман и осуществлен вплоть до той минуты, когда возникла необходимость вторично сделать выбор, выбор, вытекающий из первого, каковой, в свою очередь, был мне навязан договором, соглашением, в которое я вступил чистосердечно, не утаив ничего, тогда как другой его участник или участники скрыли от меня то единственное обстоятельство, которое должно было уничтожить весь план и замысел, над осуществлением которого я трудился, скрыли так ловко, что я узнал об этом обстоятельстве лишь после рождения своего сына...»

— Ох уж мне этот твой папаша, — сказал Шрив. — Когда твой дед рассказывал все это ему, он понял из его рассказа ровно столько, сколько сам твой дед понял из рассказа демона. А когда твой папаша рассказывал это тебе, ты из всех их рассказов вообще ничего бы не понял, если бы не побывал там и не увидел Клити? Верно?

— Да, — сказал Квентин. — Дедушка был его единственным другом.

— Чьим другом — демона?

Квентин ничего не ответил, не шелохнулся. В комнате теперь было холодно. Батареи почти совсем остыли; холодное рифленое железо просвистело грозный сигнал, предупредило, что наступает время сна, малой смерти, обновления. Часы уже давно пробили одиннадцать.

— Ну ладно, — сказал Шрив. Он закутался в свой купальный халат, как прежде кутался в свою голую, розовую, почти безволосую кожу. — Он сделал выбор. Он выбрал блуд. Я следую его примеру. Однако продолжай.

Его замечание вовсе не было дерзким или презрительным. Оно исходило (если у него вообще был какой-либо источник) из той несправимой несентиментальной сентиментальности молодых людей, которая принимает форму жестокой и часто глупой развязности, на что, кстати, Квентин не обратил ни малейшего внимания; он сидел, все еще опустив голову, все еще размышляя над развернутым письмом, лежавшим на раскрытой книге меж его рук, и, словно его и не перебивали, продолжал:

— В ту ночь он отправился в Виргинию. Дедушка рассказывал, что стоял у окна и смотрел, как он едет через площадь на отошалом вороном жеребце — прямой, в выцветшей серой форме, шляпа со сломанным пером слегка набекрень, хотя и не так лихо, как касторговая шляпа в былые времена, словно (говорил дедушка), даже несмотря на все свои воинские отличия и чины, он чванился уже не так, как прежде, однако не потому, что был сломлен несчастьем, измучен или просто устал от войны, а потому, что, даже сидя в седле, казалось, все еще не одолел оторопи, все еще отчаянно боролся, стараясь удержать над бурным потоком людского безумия и сумасбродства не столько свою голову, чтобы вдохнуть воздух, и даже не столько пятьдесят лет усилий и попыток основать и утвердить свой род, сколько свой кодекс логики и морали, свой собственный рецепт и формулу соотношения причин и следствий, чей конечный итог упорно отказывается плавать и даже просто держаться на поверхности. Дедушка увидел, как он подъехал к трактиру Холстон Хаус, как оттуда, прихрамывая, вышли старый мистер Маккаслин и еще два старика; они остановили его, и он, не спешиваясь, с ними заговорил, и хотя он не повышал голоса, дедушка сказал, что самая его осанка и скупые жесты подчеркивали его адвокатское красноречие. Потом он двинулся дальше. Он успел еще засветло добраться до Сатпеновой Сотни и потому, вероятно, лишь после ужина повернул вороного в сторону Атлантического океана, и, быть может, у него оставалась целая минута, когда они с Джудит могли еще раз посмотреть в глаза друг другу и ему не было нужды говорить: «Я помешаю этому, если смогу», — и ей не было нужды говорить: «Ну что ж, помешай, если можешь»; было лишь краткое слово прощанья, поцелуй в лоб, и не было даже слез; потом он сказал несколько слов Клити и Уошу, господин — рабыне, сеньор — вассалу: «Прощай, Клити, береги мисс Джудит. Уош, я пришлю тебе из Вашингтона фалду от фрака Эйба Линкольна», — а Уош, наверное, ответил ему, как бывало под виноградными лозами за бутылкой виски и ведром ключевой воды: «Так точно, полковник, раздавите этих гадов всех до одного!» Он съел кукурузную лепешку, запил ее желудевым кофе и уехал. Потом наступил шестьдесят пятый год, и армия (дедушка тоже вернулся в армию; он стал теперь бригадным генералом, и, я думаю, не только потому, что лишился руки) уже отступила через Джорджию в Каролину, и все знали, что теперь остается недолго. Потом в один прекрасный день Ли послал на подкрепление Джонстону несколько полков из одного своего корпуса, и дедушке стало известно, что в число их входит Двадцать третий Миссисипский полк. И ему (дедушке) было неизвестно, что произошло: то ли Сатпен каким-то образом узнал, что Ген-

ри в конце концов заставил свою совесть вступить с ним в сделку, как его (Генри) отец тридцатью годами раньше; то ли Джудит известила отца о том, что Бон наконец ей написал, и об их с Боном намерениях; то ли они все четверо вдруг дошли до такой точки, когда что-то непременно нужно было сделать, что-то непременно должно было произойти, — ему (дедушке) было неизвестно. Просто однажды утром ему доложили, что Сатпен приехал в штаб бывшего дедушкиного полка, попросил разрешения поговорить с Генри, поговорил с ним и еще до полуночи уехал обратно.

— Значит, он в конце концов сделал выбор, — сказал Шрив. — В конце концов он козырнул этим тузом. И тогда он приехал домой и нашел...

— Подожди, — сказал Квентин.

— ...нашел то, что, наверное, хотел или, во всяком случае, думал там найти...

— Говорят тебе, подожди! — сказал Квентин; он все еще не шевелился и даже не повысил голос, этот хрипловатый, напряженный голос. — Я же рассказываю *Неужели мне придется выслушать все это снова*, думал он. *Да, мне придется выслушать все это снова я уже слышу все это снова я слушаю все это снова мне придется снова слушать только это и больше ничего никогда во веки веков и потому ясно что не только никто никогда не переживает своего отца но и все его друзья и знакомые тоже...* Он приехал домой, и то, что ему там открылось, по крайней мере не требовало ни писем, ни предупреждений, даже если бы Джудит ему написала, сообщила, что он одержал над нею верх; но она, по словам мистера Компсона, не только ему не сообщила, что он одержал над нею верх, она (та, по выражению мисс Колдфилд, что никого не оплакивала) встретила его по возвращении не с яростью и отчаянием, какие он мог бы ожидать, хотя он, как думал мистер Компсон, так мало знал, так мало успел узнать про женщину; однако он, уж во всяком случае, не ожидал того ледяного спокойствия, с каким она, по словам мисс Колдфилд, его встретила: опять, как почти два года назад, поцелуй в лоб, голоса, речи — тихие, сдержанные, почти бесстрастные: «А...?» «Да. Генри его убил», — сопровождаемые слезами, они полились и тотчас иссыхали, словно капли состояли из одного-единственного слоя влаги, тонкого, как папиросная бумага, и принявшего форму человеческого лица; потом: «А, Клити. А, Роза... Здорово, Уош. Хоть я тебе и обещал отрезать фалду от того фрака, я не смог так далеко пробраться за линию янки»; потом гоготанье, фырканье (Джонса), непоколебимая, непробиваемая тупость наделенной даром речи грязи, которая, как выразился мистер Компсон, переживает все победы и все поражения: «Ну что ж, полковник, они нас убили, но не побили; верно я говорю?» — и все. Он вернулся. Он снова был дома, и теперь ему нужно было спешить, бежать наперегонки со временем, торопиться. *Теперь*, сказал мистер Компсон, *его уж больше не тревожило, достанет ли ему смелости, воли и, наконец, расчетливости. Он ни на минуту не усомнился в своей способности в третий раз начать все сначала. Он заботился лишь о том, чтобы ему хватило времени это сделать, вернуть потерянное. Он не тратил попусту ни минуты отпущенного ему времени. Воли и расчетливости он тоже попусту не тратил, хотя наверняка не считал, что именно воля и расчетливость позволили ему воспользоваться подвернувшейся под руку возможностью, и, вероятно, меньше всего благодаря расчетливости и даже воле, а больше всего благодаря смелости он сумел обручиться с мисс Розой всего через три месяца после своего возвращения и даже прежде, чем она успела осознать, что, собственно, произошло... мисс Роза, первая ученица и жрица культа изгнания демонов, чьим главным объектом (хотя и жертвой) он был, оказалась обрученной с ним прежде, чем успела привыкнуть к его присутствию в доме, — да, благодаря скорее смелости, чем воле, хотя отчасти и благодаря расчетливости — расчетливости, которую он мучительным трудом пятьдесят лет капля за каплей добывал, расчетливости, которая то затащит, то вдруг пускает пышные ростки, как зерно, что оставалось бесплодным в пустоте или в одном-единственном окаменелом комке земли. Ведь обходя свой дом, словно все еще продолжая свой бесконечно долгий путь из Виргинии, он, на секунду остановившись — даже не для того, чтоб поздороваться с семьей, а лишь чтобы зайти за Джонсом, потащить его на заросшие кустарником поля, к поваленным изгородям, сунуть ему в руку топор или кирку, — успел заметить единственное слабое место, единственную уязвимую точку в вооруженном до зубов девстве мисс Розы, пошел на приступ и одним махом взял штурмом эту цитадель, применив беспощадную тактику своего бывшего командира (Двадцать третий Миссисиппский полк одно время входил в состав корпуса Джексона). И тут расчетливость подвела его опять. Он рухнул, потонул в том извечном бессилии логики и морали, которое уже однажды его*

предало; и кто знает, в какой день, в какой борозде он вдруг остановился, подняв ногу для следующего шага, на мгноенье выпустив из внезапно утративших чувствительность рук бесчувственные рукоятки плуга, или когда рука его повисла в воздухе, держа какую-то жердь от изгороди, внезапно показавшуюся невесомой мышцам, кто знает, когда его вдруг осенило, что беда его заключается не только в недостатке времени, что она — в самой квинтэссенции этого недостатка: что ему уже за шестьдесят, что у него может родиться всего лишь один сын, что в лучшем случае у него в чреслах таится всего лишь один сын — так старая пушка, наверное, чувствует, что в ее стволе осталось всего лишь одно, последнее ядро. И вот он предложил ей то, что предложил, и она поступила так, как должна была поступить, о чем он должен был бы знать и, вероятно, и впрямь бы знал, если бы не позволил себе по горло увязнуть в болоте своей морали, у которой были на месте все составные части, но которая упорно отказывалась действовать, работать. Отсюда предложение, смертельная обида, изумление, и вот уже порыв негодования и гнева унес мисс Розу прочь от Сатпеновой Сотни; легкая, как пушинка, она неслась по волнам, гонимая ветром, что раздувал паруса ее юбок, в ярости нахлобучив под немыслимым углом шляпку (очевидно, одну из шляпок Эллен, украденную ею на чердаке). А он стоял, держа в руке поводья, и, может быть, в его бороде и в уголках глаз таилось какое-то подобие улыбки, но только это была не улыбка — прищурив глаза, он сосредоточенно, мучительно думал; он спешил, ему надо было спешить; это был не страх, не тревога, нет, просто лихорадочная спешка — ведь он потратил столько времени попусту; к счастью, то была всего лишь пристрелка легким зарядом, и старая пушка, старый ствол и лафет от этого еще не пострадали, только в следующий раз и на пристрелку и на полный выстрел может не хватить пороха; просто нить расчетливости, смелости и воли наматывалась на ту же катушку, что и нить оставшихся ему дней, и эта катушка была так близко, что, кажется, стоит протянуть руку — и ты ее достанешь. Но он еще не начал тревожиться всерьез, потому что все это (извечная логика, извечная мораль, которые до сих пор неизменно его подводили) уже складывалось в готовый шаблон, непроверяемо доказывая ему, что он был прав, о чем он знал и сам, и, значит, то, что произошло, было всего лишь иллюзией, обманом чувств, а на самом деле не существовало.

— Нет, — сказал Шрив. — Теперь ты подожди. Дай мне тоже немножко поговорить. Теперь еще этот Уош. Он (демон) стоял там со своей лошадей, с этим оседланым боевым конем, сабля покоилась в ножнах, серая форма мирно ждала, когда ее уберут на съедение моли, и не осталось ничего, кроме бесчестья, и тут вдруг раздается голос верного могильщика, который открыл пьесу и должен ее закрыть; он выходит из-за кулис, совсем как у старика Шекспира, и произносит: «Ну что ж, полковник, они, может, нас и побили, но им нас не убить, верно я говорю?»...

Это тоже была не дерзость. Это тоже была всего лишь напускная развязность, за которой стыдливая молодость прячет свои чувства; то же самое испытывал и Квентин, отсюда угрюмая задумчивость Квентина, легкомысленный тон (обоих), вымученные остроты; они оба — сознательно или бессознательно — в этой холодной комнате (теперь она уже совсем остыла), отведенной для изощренных логических рассуждений, которые, в сущности, весьма напоминали морализирование Сатпена и демонологию мисс Колдфилд; в этой комнате, не только отведенной, но и как нельзя более для этого пригодной, ибо именно здесь — из всех возможных на земле мест — они (эта логика и это морализирование) могли причинить меньше всего вреда, — они оба плечо к плечу, словно у последней траншеи, говорили Нет Квентинову призраку из Миссисипи, действия которого при жизни в минимальной степени соответствовали логике и морали, который на пороге смерти совершенно ими пренебрег, а после смерти остался к ним не только равнодушен, но и совершенно глух и даже ухитрился сделаться в тысячу раз живей и энергичней. Шрив вовсе не хотел обидеть Квентина и ничуть его не обидел, и потому Квентин даже не остановился. Он даже не запнулся, а без всякой запятой, точки или двоеточия подхватил слова Шрива:

у него уже не осталось боезапаса, чтобы рискнуть на пристрелку, и потому он прямо приступил к делу — так выгоняют из кустов кролика, швыряя в него комьями сухой земли. Может, это была первая нитка бус из лавочки, которую он держал вместе с Уошем, откуда он, когда ему надоело торговаться с покупателями — черномазыми и белой швалью, — в большинстве выигрывал их вон, после чего запирали дверь изнутри и напивался до бесчувствия. Отец говорил, что Уош вполне мог и сам отнестись эти бусы; Уош, который стоял у ворот, когда он в тот день приезжал с вой-

ны, а когда он уехал с полком, с таким упорством твердил соседям, будто он (Уош) присматривает за плантацией и черномазыми полковника, что вскоре и сам этому поверил. Мать моего отца рассказывала, что когда Сатпеновы черномазые в первый раз услышали эти его речи, они остановили его на дороге, что вела из поймы реки, где был старый рыбацкий лагерь, в котором Сатпен разрешил поселиться ему с внучкой (ей в то время было лет восемь). Их было слишком много, чтобы он рискнул, попытался отколотить их всех; они приставали к нему с вопросом, почему он не пошел на войну, а он ответил: «Прочь с дороги, черномазые!» — и тогда они расхохотались ему в лицо и стали спрашивать друг друга (а на самом деле вовсе не друг друга, а его): «Кто он такой, чтоб обзывать нас черномазыми?» (и он бросился на них с палкой, а они отступили — самую малость, без всякой злости, только со смирением. Он по-прежнему приносил в дом рыбу и дичь, которых ловил (а может, и крал), а также овощи — они теперь составляли почти единственное пропитание миссис Сатпен и Джудит (да и Клити тоже), и Клити не пускала его на кухню даже с корзиной, говоря: «Стойте тут, белый человек. Вы никогда не переступали порог этого дома при полковнике, не переступите его и теперь». Так оно и было, и отец говорил, что он даже немножко гордился тем, что никогда не пытался войти в дом, хотя был уверен, что если бы и попытался, Сатпен не позволил бы им его выгонять; он (по словам отца) как бы говорил себе *Я не вхожу не потому, что вдруг какой-нибудь паршивый черномазый скажет: тебе туда нельзя; я просто не хочу, чтоб мистеру Тому пришлось из-за меня бранить черномазых или слушать брань от своей жены.* Но воскресными вечерами они вместе выпивали в виноградной беседке, а в будни он смотрел, как Сатпен (видный мужчина, как он выражался) на вороном жеребце галопом скачет по плантации, и отец говорил, что в эти минуты в сердце Уоша воцарялись гордость и покой, и, быть может, ему казалось, что этот мир, где черномазые, которых, как сказано в Библии, Господь Бог создал и обрек быть скотами и слугами всех людей с белой кожей, питались, жили и даже одевались лучше, чем он со своей внучкой, что этот мир, где его вечно преследовали раскаты глумливого презрительного негритянского смеха, всего лишь сон, виденье, а настоящий мир — это тот мир, где скачет на чистокровном коне воплощение его одинокой мечты (как говорил отец), и, быть может, говорил отец, он думал, что раз в священном писании сказано, что все люди созданы по образу и подобию Божьему, значит, все люди равны перед Богом или, во всяком случае, кажутся Богу одинаковыми, и потому он смотрел на Сатпена и думал *Прекрасный гордый человек. Если бы сам Господь сошел с небес и стал ходить по матери земле, он захотел бы быть таким, как он.* Может, он даже сам отнес первую нитку бус, а может, говорил отец, доставлял и все ленты потом, следующие три года, когда девчонка быстро созревала, как бывает с девчонками подобного сорта; во всяком случае, он узнавал на ней каждую ленту, даже если она вралла, где и как ее раздобыла, чего она скорей всего старалась не делать — она должна была знать, что он все эти три года ежедневно видел эти ленты на прилавке и они были ему знакомы, как шнурки его башмаков. И знакомы они были не только ему, но и всем другим мужчинам — покупателям и просто бездельникам, белым и черным, которые стояли или сидели на корточках на крыльце лавки и смотрели, как она проходит мимо — не то чтоб вызывающе, не то чтобы смущенно, не то чтобы совсем уж открыто похваляясь своими лентами и бусами, но и не без этого, а одновременно дерзко, хмуро и опасливо. Но отец говорил, что душа у Джонса еще была спокойна, даже когда он увидел платье и спросил о нем — наверное, теперь слегка озабоченно, — и, глядя на ее замкнутое, упрямое, испуганное лицо, слушал, как она ему объясняла (еще не дождавшись его вопроса, может быть, слишком настойчиво, слишком поспешно), что мисс Джудит подарила ей это платье и помогла его сшить; и отец сказал, что, может быть, он вдруг, неожиданно понял, что, когда он проходит мимо мужчин, сидящих на крыльце, они провожают взглядом и его и что они уже знают то, о чем они, как ему только что пришло в голову, наверно, думают. Но отец говорил, что душа его еще была спокойна — даже теперь — и что он ей ответил, если он вообще что-нибудь ответил — пресек все ее возражения и отговорки и сказал: «Ну и ладно. Если полковник и мисс Джудит решили сделать тебе подарок, надеюсь, ты догадалась сказать им спасибо». Он не встревожился, говорил отец, он только задумался, *нахмурился*, и отец рассказывал, что в тот вечер дедушка зачем-то поехал к Сатпену, но в лавке никого не оказалось, и он уже хотел было уйти и отправиться к нему домой, как вдруг из задней комнаты до него донеслись голоса, и прежде чем

они смогли услышать, что он зовет Сатпена, он невольно кое-что подслушал. Дедушка их еще не видел, он еще даже не приблизился к тому месту, откуда они могли услышать его голос, но он сказал, что и без того точно знал, что там должно происходить: когда Сатпен велел Уошу достать бутылку, тот заговорил, и Сатпен стал к нему поворачиваться, и еще прежде, чем до него дошло значение слов, он понял, что Уош не собирается доставать бутылку, а когда слова до него дошли, он все еще сидел полуобернувшись, потом вдруг как бы отпрянул, вскинул голову и посмотрел на Уоша, а Уош стоял перед ним без всякого раболепства, и Сатпен сказал: «Что там насчет платья?» — и дедушка рассказывал, что отрывисто и резко звучал голос Сатпена, а вовсе не Уоша — голос Уоша звучал спокойно и ровно, ничуть не подобострастно, он говорил медленно и сдержанно: «Я вас уже скоро двадцать лет как знаю. Я никогда не отказывался делать, что вы мне велели. Мне уже за шестьдесят. А она девчонка, ей всего-навсего пятнадцать» — и Сатпен отвечал: «Ты хочешь сказать, что я могу ее обидеть? Да ведь мы же с тобой ровесники», — а Уош ему в ответ: «Будь это кто другой, я б тогда сказал, что он мне ровесник. И будь он хоть молодой, хоть старый, я б запретил ей брать от него платья или что другое. Но вы не такой, как все». «Что значит — не такой?» — спросил Сатпен, и дедушка говорил, что Уош на это ничего не ответил, и тогда он (дедушка) опять их позвал, но они его опять не услышали, и Сатпен сказал: «Значит, ты поэтому меня боишься?» — а Уош ему ответил: «Я не боюсь. Потому что вы храбрый. Не то что вы были храбрый одну секунду, одну минуту или час за всю жизнь и получили в том бумагу от генерала Ли. Вы просто храбрый — все равно как вы живой и дышите воздухом. Вот в чем вся разница. И ни от кого мне в том никакой бумаги не надо. И еще я знаю — если вы за кого возьметесь, будь то полк солдат или глупая девчонка, а то и просто охотничья собака, — вы все сделаете как надо». Потом дедушка услышал, как Сатпен вдруг с грохотом встал и, по словам дедушки, наверняка стал размышлять, гадать, что может думать Уош. Но Сатпен сказал только: «Доставь бутылку», — а Уош отозвался: «Так точно, полковник».

И вот настало то самое воскресенье — спустя год после этого дня и спустя три года после того, как он предложил мисс Розе сначала попробовать, и если родится мальчик и он выживет, то они поженятся. Еще не рассвело, и в этот день его кобыла должна была родить жеребенка от вороного, и потому, когда он еще затемно вышел из дома, Джудит подумала, что он идет на конюшню. Никто не знал, что и сколько известно Джудит про ее отца и внука Уоша, что именно она могла невольно узнать или не узнать из того, что, наверное, знала (и о чем ей, вероятно, рассказала, а может, и не рассказала) Клити, потому что это знали все соседи, и белые и черные, каждый, кто хоть раз видел девчонку в бусах и лентах, про которые всем было известно, откуда они берутся; никто не знал, на что она (Джудит) закрывала глаза во время примерки и шитья того самого платья (отец говорил, что Джудит и вправду этим занималась; девчонка Уошу не соврала — они обе целую неделю с утра до вечера оставались одни в доме; и о чем они могли разговаривать, о чем могла говорить Джудит, когда девчонка стояла перед нею в том, что служило ей нижней рубашкой, и исподлобья следила за нею с этим своим угрюмым, замкнутым, дерзким и испуганным выраженьем; что она ей отвечала, что могла сказать такого, что Джудит постаралась пропустить или не пропустить мимо ушей, — этого не знал никто). Но вот подошло время обеда, а он все не возвращался, и только тогда она сама отправилась на конюшню или послала Клити и узнала, что кобыла ночью ожеребилась, но что его там нет. И только к вечеру она нашла какого-то мальчишку, дала ему десять центов и велела сходить в старый рыбацкий лагерь спросить Уоша, где Сатпен, и мальчишка, насвистывая, обогнул полусгнившую лачугу и, может, сперва увидел косу, а может тело, лежавшее в траве, которую Уош еще не успел скосить, закричал, оглянулся и увидел, что Уош смотрит на него из окна. Потом, примерно неделю спустя, поймали эту черномазую повитуху, и она рассказала, будто в то утро совсем не знала, что Уош был там, когда она услышала стук копыт и шаги Сатпена, и он вошел, остановился возле соломенного тюфяка, на котором лежала девчонка с ребенком, и сказал: «Пенелопа (так звали кобылу) сегодня утром ожеребилась. Отличный жеребенок. Будет как две капли воды похож на своего отца — помнишь, какой он был, когда я в шестьдесят первом году поехал на нем на Север?» — и старуха-черномазая, по ее словам, ответила: «Да, господин», — а он показал хлыстом на тюфяк и спросил: «Ну, старая ведьма, говори — жеребенок или кобыла?» — и она

ему ответила, и тогда он с минуту постоял, опустив руку с хлыстом к ногам; он не шевелился; полоски солнечных лучей, что пробивались сквозь щели в стене, падали на него, на его седые волосы, на совсем еще не тронутую сединою бороду; и она сказала, что увидела его глаза, а потом сверкавшие сквозь бороду зубы и хотела убежать, но не могла, потому что ноги у нее совсем отнялись и не давали ей встать и убежать; и потом он снова глянул на лежавшую на тюфяке девчонку и сказал: «Очень жаль, Милли. Будь ты кобылой, я бы отвел тебе хорошее стойло на конюшне», повернулся и вышел вон. Но она все еще не могла двинуться с места и даже не знала, что Уош на дворе; она только услышала, как Сатпен сказал: «Отойди, Уош. Не смей ко мне прикасаться», — а в ответ раздался тихий, едва слышный голос Уоша: «А вот и посмею, полковник», — и тогда Сатпен повторил: «Отойди, Уош!» — на этот раз уже сердито, и тут она услышала, как он ударил Уоша хлыстом по лицу, но не помнит, слышала ли звон косы или нет, потому что вдруг почувствовала, что силы опять к ней вернулись, и тогда она встала, выбежала из лачуги и через заросли кинулась прочь...

— Подожди, — вмешался Шрив. — Подожди. Ты хочешь сказать, что у него наконец появился сын, которого он так хотел, а он все равно...

— ...еще до полуночи прошел три мили туда и обратно за старухой-черномазой, а потом всю ночь сидел на покосившемся крыльце, пока наконец не забрезжил рассвет; тут внучка перестала кричать, и один раз даже послышался крик ребенка, а он все сидел и ждал Сатпена. Отец говорил, что и тогда еще душа его была спокойна, хотя он знал, что будут к вечеру говорить во всех хижинах по всей округе, точно так же как знал, что говорили последние четыре или пять месяцев, когда положение его внучки (которого он никогда не пытался скрывать) не могло уже вызвать никаких сомнений: *Уош Джонс в конце концов поймал старика Сатпена. У него на это целых двадцать лет ушло, но теперь старик Сатпен попался ему на крючок, и уж теперь ему ни за что не вырваться — разве только с мясом* Вот что, говорил отец, он думал, ожидая на крыльце, куда его отправила, прогнала старая повитуха, а может, он даже стоял, прислонясь к тому самому столбу, возле которого уже два года ржавела коса, а внучка теперь кричала через равные промежутки времени как заведенная, но душа его была спокойна, он ни о чем не беспокоился и не тревожился, и, наверно, говорил отец, он был словно в тумане, и в голове его блуждали разные мысли (ведь мораль у него была почти такая же, как у Сатпена, и она говорила ему, что он прав — назло всему порядку вещей, всем обычаям и всему остальному), мысли, которые всегда каким-то непонятным образом связывались со стуком копыт скачущего галопом коня даже в старое мирное время, о котором никто теперь не помнил, а уж за четыре года войны, на которой он не был, этот галоп стал еще более лихим, оглушительным и гордым, и, быть может, говорил отец, в нем он и нашел ответ на все свои вопросы, быть может, именно тогда, прорвавшись сквозь туман, на желтом предрассветном небе перед ним возник величавый гордый образ человека, что скакал во весь опор на величавом гордом призрачном коне; и тут его мысли прояснились, и перед ним, не нуждаясь ни в оправданиях, ни в объяснениях, говорил отец, предстало воплощение его одинокой мечты, понятное, ясное, не доступное никакой человеческой скверне: *Что перед ним все эти янки, которые убивали нас и наших, которые убили его жену, сделали вдовой его дочь, выгнали из дома его сына, украли у него черномазых и разорили его землю; что перед ним весь этот округ, за который он дрался, а тот в благодарность заставил его открыть сельскую лавчонку, чтоб он мог заработать себе на пропитание; что перед ним все униженья и лишения, какие тот ему поднес словно горькую чашу, про которую сказано в Библии. И разве может быть, чтоб я двадцать лет жил с ним рядом, а он меня не переделал? Пускай я не такой, как он, пускай я никогда не скакал галопом на коне. Но все равно он тащил меня за собой всюду, куда ни шел. И мы с ним можем еще много чего сделать и сделаем — пусть он мне только укажет, что я должен делать, и, быть может, он все еще стоял, держа за повод жеребца, когда Сатпен вошел в лачугу, все еще слышал топот копыт, видел, как гордый призрачный всадник скачет галопом, исчезает и возникает вновь, меняя свое обличье, по мере того как проходят годы; скачет галопом к своему блистательному торжеству и, остановив свой вечный неустанный бег, застывает, размахнувшись саблей, под изрешеченным пулями флагом, что рушится с горящих грозových небес; он стоял и слышал, как Сатпен, войдя в дом, обратился к его внучке с одной-единственной фразой приветия, вопроса и прощанья, и отец говорил, что в ту секунду, когда*

Уош увидел, как Сатпен с хлыстом в руке вышел из дома, ему, наверно, показалось, что земля уходит у него из-под ног, и он подумал — спокойно, словно бы во сне: *Не мог я слышать то, что слышал. Не мог, и все тут*, думал он. *Вот, значит, что заставило его подняться в такую рань*, думал он. *Тот жеребенок, а вовсе не я и не мое дитя. И даже не собственное дитя заставило его подняться с кровати* и, может, он все еще не чуял под ногами землю, не чуял под собой ног, а может, даже не слышал собственного голоса, когда Сатпен увидел его лицо (лицо человека, который за все двадцать лет не сделал ни шагу без его приказа — точь-в-точь как его жеребец) и остановился: «Вы сказали, что, будь она кобылой, вы отвели бы ей хорошее стойло на конюшне»; может, даже не услышал, как Сатпен вдруг в сердцах сказал: «Отойди. Не смей ко мне прикасаться», — да только он не мог этого не слышать, ибо тотчас же ответил: «А вот и посмею, полковник», — и Сатпен снова сказал: «Отойди, Уош», а потом старуха услышала свист хлыста. Но только он ударил его хлыстом дважды, потому что в ту ночь на лице Уоша обнаружили два рубца. Быть может, эти два удара даже сбили его с ног; быть может, именно вставая, он ухватился за косу...

— Подожди, — перебил Шрив, — ради бога, подожди. Ты хочешь сказать, что он...

— ...весь тот день просидел у окошка, откуда он мог следить за дорогой; возможно, он поставил косу на место и пошел прямо в дом, и, наверно, внучка жалобно спросила, что там за шум, и он ответил: «Какой шум, дедка?» — и, может, стал уговаривать ее поесть солонины, которую, наверно, в субботу вечером захватил из лавки, а может, пытался соблазнить ее грошовой, липкой, как клей, конфетой из полосатого кулька, и, наверно, сам поел и уселся у окошка, откуда было видно тело и коса в траве и можно было следить за дорогой. Так он и сидел, когда мальчишка, насвистывая, завернул за угол лачуги. И отец говорил, что тут Уош, наверно, понял, надо ждать уже недолго, все произойдет, как только стемнеет; что он, наверно, сидел там и чуял, чувствовала, как они собираются с лошадьми, собаками и ружьями — любопытные и жаждущие мести мужчины того же сорта, что и Сатпен, которые ели за его столом, когда ему (Уошу) еще не позволяли подходить к дому ближе виноградной беседки; мужчины, которые командовали другими, помельче, и вели их в бой; мужчины, у которых, наверно, тоже были бумаги от генералов, где говорилось, что и они храбрейшие из храбрых (мужчины, которые в доброе старое время тоже надменно и гордо скакали на великолепных конях по великолепным плантациям), что и они символ восхищения и надежды, орудие отчаянья и горя; те, от кого ему, очевидно, полагалось бежать, хотя ему, наверно, казалось, что все равно, бежать от них или, напротив, к ним; ведь обратиться он в бегство, он побежит всего лишь от одной толпы хвастливых и злобных призраков к другой, потому что они (эти люди) одни и те же по всей земле, которую он знал; меж тем как он уж стар, слишком стар, чтоб убежать далеко, и даже если б он и убежал, ему все равно никогда от них не уйти, хоть он бежал бы очень долго и убежал бы очень далеко; шестидесятилетнему ни за что не убежать так далеко, чтоб выбраться за пределы земли, где эти люди живут и устанавливают свои порядки и свои законы, и, говорил отец, быть может, впервые в жизни он начал понимать, почему армия янки или любая другая армия могла победить их — доблестных, гордых и смелых, избранных и достойных, образец храбрости, гордости и чести. Солнце уже, наверно, клонилось к закату, и он, наверно, чувствовал, что они уже совсем близко; ему, наверно, казалось, говорил отец, будто он их даже слышит — все голоса, весь шепот, все, что скажут завтра, завтра и завтра, после того как уляжется первый приступ ярости: *Старине Джонсу теперь какю. Он думал, что поймал Сатпена на удочку, но Сатпен оставил его в дураках. Он думал, что поймал его на удочку, да только сам остался в дураках*, а потом он, может, даже произнес все это вслух; отец говорил, что, может, он даже крикнул: «Но я этого никогда не ждал, полковник! Вы сами знаете, что никогда!» — потом внучка, наверно, зашевелилась и снова что-то жалобно пролепетала, и он подошел, успокоил ее, вернулся к окошку и снова стал говорить сам с собой, но теперь уже осторожно и тихо, потому что Сатпен был совсем близко и мог ясно слышать его без всякого крика: «Вы сами знаете, что я никогда. Никогда я не ждал, не просил и не хотел ничего такого не то что от вас, а вообще ни от одной живой души. И я никогда этого не просил. Я не думал, что это будет надо. Я просто сказал сам себе *Незачем. Незачем парню вроде Уоша Джонса задавать вопросы или не верить человеку, про кото-*



рого сам генерал Ли своей рукой написал бумагу, что он храбрый. Храбрый (может, опять громко, опять забывшись)! Храбрый! Лучше б ни один из них не вернулся назад в шестьдесят пятом!» — а потом подумал *Лучше б все такие, как он, и такие, как я, никогда не родились бы на свет. Лучше пусть всех нас, которые остались, сметет с лица земли, чтобы другой Уош Джонс никогда не видел, как вся его жизнь пошла прахом и сгорела, как сухая мякина на костре* Потом они приехали. Он, наверно, слышал, как они приближались по дороге — люди, лошади и собаки, — и видел фонари, потому что уже стемнело. Майор де Спейн, который тогда был шерифом, спешился и увидел тело, но потом говорил, что Уоша он не видел и не знал, что он там, пока Уош тихим голосом не спросил из окна прямо у него над головой: «Это вы, майор?» Де Спейн велел ему выходить и потом рассказывал, что когда Уош ответил, что сейчас придет, голос его звучал тихо-тихо, слишком тихо, слишком спокойно, чересчур тихо и спокойно, и де Спейн потом даже говорил, будто до него не сразу дошло, что это слишком уж тихо и спокойно: «Одну минутку. Я только помогу внучке». «Мы ей сами поможем, — ответил де Спейн. — Выходи». «Так точно, майор, — отозвался Уош. — Одну минутку». И вот они ждали, стоя перед темным домом, а на следующий день — так сказал отец — не меньше ста человек вспомнили, что у него был нож, каким мясники рубят мясо, острый, как бритва, и спрятанный в надежном месте, — единственная во всей его безалаберной жизни вещь, которая всегда была в порядке и которой он гордился; да только когда они все это вспомнили, было уже поздно, потому они и не знали, что он хочет сделать. Они услышали в темном доме его шаги, потом жалобный плаксивый голос внучки: «Кто там? Дедушка, зажги лампу», — потом снова его голос: «Для этого не надо света, детка. Одна минутка — и все»; потом де Спейн выхватил пистолет и крикнул: «Эй, Уош! Выходи оттуда!» Но Уош все еще не отвечал, а только тихонько спрашивал внучку: «Где ты?» — и плаксивый голос отвечал ему: «Да здесь же! Где мне еще быть? Что ты...» — потом де Спейн сказал: «Джонс!» — и стал осторожно подниматься по сломанным ступенькам, как вдруг раздался крик внучки; и все, кто там был, потом утверждали, будто слышали, как нож полоснул по шейным позвонкам, но де Спейн этого не слышал. Он только сказал, что услышал, как Джонс вышел на крыльцо, и отскочил назад, но понял, что Джонс бежит не к нему, а в другую сторону, туда, где лежал труп, но что о косе он не подумал, и, только отбежав на несколько футов от лачуги, увидел, как Уош нагнулся, снова выпрямился и бросился к нему. Вернее, сказал де Спейн, он бросился ко всем ним, на фонари, и тут все увидели, что он держит над головой косу, увидели его лицо, его глаза, потому что, высоко подняв над головой косу, он бежал прямо на фонари и на дула ружей, бежал молча, без звука, а де Спейн пятился от него и кричал: «Джонс! Стой! Стой, или я буду стрелять! Джонс! Джонс! Джонс!»

— Подожди, — сказал Шрив. — Ты хочешь сказать, что у него родился сын, которого он так хотел, и после всех этих хлопот и тревожений он повернул кругом и...

— Да. В тот вечер он сидел у дедушки в конторе и, слегка откинув голову, объяснял дедушке — так, как, наверно, объяснял правила арифметики своему сыну Генри, когда тот учился в четвертом классе: «Видите ли, я хотел только сына — и ничего больше. Мне кажется, что это — принимая во внимание современные мне события — едва ли можно почитать чрезмерным требованием к природе и обстоятельствам...»

— Подождешь ты или нет? — сказал Шрив. — ...что, обретя сына, который после всех этих забот и хлопот лежал наконец в лачуге, ему непременно понадобилось до такой степени раздражить деда, что тот убил сначала его, а потом и ребенка?

— Что? — сказал Квентин. — Это был вовсе не сын. Это была девочка.

— А-а... — отозвался Шрив. — Пошли. Уйдем из этого ледника и ляжем спать.

Перевела с английского М. БЕККЕР.

(Окончание следует)



---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИЯ ПЕТРОВЫХ



## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ



Сверчок поет, спрятавшись во тьму,  
И песенка его не пустословье,  
Не зря сверчит, дай бог ему здоровья,  
И я не зря завидую ему.  
Я говорю: «Невидимый, прости,  
Меня сковало смертной немотою,  
Одно твое звучание простое  
Могло б меня от гибели спасти —  
Лишь песенку твою, где нет потерь,  
Где непрерывностью речитатива  
И прошлое и будущее живо, —  
Лишь эту песню мне передоверь!»



Нет несчастней того,  
Кто себя самого испугался,  
Кто бежал от себя,  
Как бегут из горящего дома.  
Нет несчастней того,  
Кто при жизни с душою расстался,  
А кругом — все чужое,  
А кругом все ему незнакомо.  
Он идет как слепой,  
Прежней местности не узнавая.  
Он смешался с толпой,  
Но страшит суета неживая  
И не те голоса,  
Все чужое, чужое, чужое,  
Лишь зари полоса  
Показалась вечерней душою...

\* \*  
\*

А ритмы, а рифмы не вемо откуда  
Мне под руку лезут — и нету отбоя.  
Звенит в голове от шмелиного гуда.  
Как спьяну, могу говорить про любое.  
О чем же? О жизни, что длилась напрасно?  
Не надо. Об этом уже надоело.  
Уже надоело? Ну вот и прекрасно,  
Я тоже о ней говорить не хотела.  
И все же, и все-таки длится дорога,  
О нет, не дорога — глухая тревога,  
Смятенье, прислушиванье, озиранье,  
О чем-то пытаешься вспомнить заране,  
Терзается память и все же не может  
Прорваться куда-то, покуда не дожит  
Мой день...



# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



## МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ...

«Т ебя Пастернак к телефону!»  
Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку седьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услышав хлопок лифта. Дверь открылась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлинено-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечу. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленного кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жались моя ученическая тетрадка, вероятно приговоренная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — изумрудную тетрадь его новых стихов, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

Все елки на свете, все сны детворы.  
Весь трепет затененных свечек, все цепи...

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до яснovidенья. И страна детства приблизилась.

...Все яблоки, все золотые шары...

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, устал от невзгод, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам. Звонил иногда по несколько раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взалхлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а уныние и размазня не рождают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая, как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клонуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облакачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазки: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этаким рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце,

Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видимое только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отвеса белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,  
Дом на стороне Петербургской.  
Дочь степной небогатой помещицы,  
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в «Сказке» я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.  
Выси. Облака.  
Воды. Броды. Реки.  
Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный «Гамлет» был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмостки,  
Прислонясь к дверному косяку...

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похотывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавая пальто.

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума щурился крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак. Рядом сидела стройная грустная Нина Дорлиак, графичная как черные кружева.

Какой стол без самовара?

Самоваром на этих сборищах был Ливанов. Однажды он явился при всех своих медалях. Росту он был петровского. Его сажали в торец стола напротив хозяина. Он шумел, блистал. В него входило, наверное, несколько ведер.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал он и наливался. — Дай лапу, Джим... Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! А он сказал: «Дай лапу мне...» Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь я запомнил ее в полупрофиль.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами, Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто не понимает по-турецки, а что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Когда уходил,

чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными, — на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рококовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам артуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлекс у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессансная кисть, вернее кисть Боровиковского и Брюллова, обретала плоть в этих трапезах.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямства.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Ныряя как в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

На звон трамваев, одурев,  
Облокотилась облака.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее его монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдой, но не причиной.

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине есть четкость ранней осени, он будто всегда сорокалетний. Пастернак же вечный подросток, неслух — «я создан богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. На сцене в поединке с Тибальдом блистал Ромео — Юрий Любимов, тогда герой-любовник Театра Вахтангова, еще не помышлявший ни о будущем театре, ни о том, что он будет ставить «Гамлета» в пастернаковском переводе и его военные стихи.

Вдруг любимовская шпага ломается и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с ним общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Пастернак смеется. Но вот уже аллодисменты и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автор! Автор!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пирры были его отдохновением. Работал он галерно. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно было потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили.

Мастер языка, он не любил скабрзностей и бытового мата. Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане напали на его друга за то, что тот напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,  
Как роща сбрасывает листья,  
Когда ты падаешь в объятье  
В халате с шелковой кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,  
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

Поддержка его мне была в самой его жизни, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом, например помочь напечататься или что-то в том же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких но. Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких но. Мы даем ваши стихи, в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века — ну вот, например, вы пишете «кариатиды...». Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний женский силуэт, похожий на врубелевскую майоликовую музу. Смуглая голова поэта таяко вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он



зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидая ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбизали дубль. Маяковский — Владим Владимич, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых...» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статью «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев. В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Маяковского, Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Алексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетиной, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыпленка. Роста он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных предательств, мышинных шорохов, паутиных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недо-еденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания «Верст»? «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа словно в зеркало ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он крал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня ухитрился продать черновики, хоть я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «заумник».

В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «дыр бул щыл», он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься  
Лечу  
Америку

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою «Весну с угощеньцем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю» «была отмечена весною, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушинный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщательно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашенные пасхальные яйца. «Зухрр» — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупают от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизю-юнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгира и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдыхнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Он продал всех и вся, свою жизнь, друзей, стал воришкой, спекулянтom. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

Почему поэты умирают?

Почему началась первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы было сказано: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со временем и была тому необходима?..

В те дни, — а вы их видели,  
И помните, в какие, —  
Я был из ряда выделен  
Волной самой стихии.

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посадке, куда ни одна нога не ступала...» Потом строчка передвигается: «В посадке, куда ни одна...» — и так далее, создавая полное ощущение движения снежных змей, движение снега. За ней движется время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Формы — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, десяток менее удачных, но плохих — нет. Как не было плохих стихов у зрелого Пушкина. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристройными вещами

среди своего серого потока посредственных стихов. Он прав был: зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положеньем риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу были, как в компотник,  
Набуханы продукты разных сфер:  
Швея, студент, ответственный работник...

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокурренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в гляцевые оранжевые, изумрудные и крапачно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.  
Такая рань на свете,  
Что площадь вечностью легла  
От перекрестка до угла,  
И до рассвета и тепла  
Еще тысячелетье...

А в городе на небольшом  
Пространстве, как на сходке,  
Деревья смотрят нагишом  
В церковные решетки...

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри его.

И взгляд их ужасом объят.  
Понятна их тревога.  
Сады выходят из оград...

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причастен к вербной ворожке. Какое ощущение детства человека, на грани язычества и предвкушения уже иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне вместе с другими, сброшюрованными этой же багровой шелковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царствовала осень.

Как на выставке картин:  
Залы, залы, залы, залы  
Вязов, ясеней, осин  
В позолоте небывалой.

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, ходил в рисовальные классы, акварелил, был весь во власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрезденская галерея. Прежде чем возвратить в Дрезден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикстинская мадонна».

Помню, как столбенел я в зале среди толпы перед парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из многих слившихся ангелков, зритель не сразу замечает их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сикстинка» соперничала с масскультурой. Вместе с нею прелестная «Шоколадница» с подноском, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. «Пьяный силён!..» — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано: «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Краха, Вермейера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись перед сотнями тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

Все мысли веков, все мечты, все миры.  
Все будущее галерей и музеев...

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Старого и Нового завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальватора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгел, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружавшего его быта и обихода.

Какая русская, московская даже, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей.

Нас отбрасывала в детство  
Белокурая копна...

А какой вещей знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста.

Какой выстрадавший вздох метафоры! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмолвившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздаст себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма ~~идеальной~~ ему своя

жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.

Из всех черт, источников и загадок Пастернака детство — серьезнейшая.

О детство! Ковш душевной глубин!  
О всех лесов абorigine,  
Корнями вросший в самолюбье,  
Мой вдохновитель, мой регент!..

И «Сестра моя — жизнь» и «905 год» — это прежде всего безоглядная первичность чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески прбступают цитаты из его прежних стихов.

Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы.  
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  
Все великолепье цветной мишуры...  
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
...Все яблоки, все золотые шары.

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил  
Туши и сепии и белил...  
Финики, книги, игры, нуга,  
Иглы, ковриги, скачки, бега.  
В этой зловещей сладкой тайге  
Люди и вещи на равной ноге.

Это вечное и вешее кружение, скрябинский прелюдный фейерверк:

Лампы задули, сдвинули стулья...  
Масок и ряженных движется улей...  
Реянье блузок, пенье дверей,  
Рев карапузов, смех матерей...  
И возникающий в форточной раме  
Дух сквозняка, задувающий пламя...

Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже — 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась.

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
...Все яблоки, все золотые шары...

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наивно, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевельного куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».

Не раз в стихах той поры он обращается к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лили Харазовой, погибшей в 20-е годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г. Маргвелашвили. «Под

посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные... И еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна — природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый «интересный человек». С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности, понимая ее как какую-то лестную исключительность, между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность».

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна природа!» Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустоцветности, нетворческому купеческому выламыванию — скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории — желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может награждать, никто не может лишить этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом — как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

В миг, когда дыханьем сплава  
В слово сплочены слова?

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют ему маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,  
Но часть было видно отлично отсюда  
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.  
Как шли вдоль запруды...

Тпр-р! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все биография его чудотворства.

А о гнездах грачей у него можно диссертацию писать. Это мета мастера. «Где как огуленные груши на ветках тысячи грачей» — это «Начальная пора». А гениальная графика военных лет:

И летят грачей девятки,  
Черные девятки треф.

И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных раки, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны классического пейзажа. И свили свои переделкинские гнезда там.

Ставил ли он мне голос?

Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила». Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он — и все остальные.

Сам же он читл Заболоцкого, Твардовского считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма:

Трудно было не попасть в его силовое поле.

Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, стбирал лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просил. Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».

Для меня же «Гойя» звучало — «война».

В эвакуации мы жили за Уралом.

Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, властную сибирячку Анну Изановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не распившись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный болсе обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньцем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарил, а сало отдал нам.

Потом мы пошли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа, Гойя — так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы, Гойя — так выли елки за деревней, Гойя — так причитала соседка, получив похоронку, Гойя...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи. Сигнал первой моей книжки я привез ему в день похорон.

Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице и стихии войны.

И так как с малых детских лет  
Я ранен женской долей...

Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.

Вот он говорит 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней поездки, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого цикла.

— Вы долго ждете? — я ехал из другого района — такси не было — вот «пикапчик» подвез — расскажу о себе — вы знаете я в Переделкине рано — весна

ранняя бурная странная — деревья еще не имеют листьев а уже расцвели — соловьи начали — это кажется банально — но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать — и вот несколько набросков — правда это еще слишком сухо — как карандашом твердым — но потом надо переписать заново — и Гёте — было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных — идет идет кровь потом деревенеет — закупорка — кх-кх — и оборвется — таких мест восемь в «Фаусте» — и вдруг летом все открылось — единым потоком — как раньше когда «Сестра моя — жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» — ночью вставал — ощущение силы — даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать — пошли стихи — правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта — а другие говорят это как лекарство — ну вы не волнуйтесь — я вам почитаю — слушайте —

А вот телефонный разговор через неделю:

— Мне мысль пришла — может быть в переводе Пастернак лучше звучит — второстепенное уничтожается переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — вещи приобрели символичность — тогда не все понимали сущность этих стихов — теперь вещи называются своими именами — так вот о переводах — раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика — переводы не удавались — они были плохие — в переводах не нужна сила формы — легкость нужна — чтобы донести смысл — содержание — почему слабым считался перевод Холодковского — потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи — мой перевод естественный — как прекрасно издан «Фауст» — обычно книги кричат — я клей! — я бумага! — я нитка! — а здесь все идеально — прекрасные иллюстрации Гончарова — вам ее подарю — надпись уже готова — как ваш проект? — пришло письмо от Завадского — хочет «Фауста» ставить —

— Теперь честно скажите — «Разлука» хуже других? — нет? — я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо — ну да в «Спекторском» то же самое — ведь революция та же была — вот тут Стасик — он приехал с женой — у него бессонница и что-то с желудком — а «Сказка» вам не напоминает чуковского крокодила?

— Хочу написать стихи о русских провинциальных городах — типа навязчивого мотива «города» и «баллад» — свет из окна на снег — встают и так далее — рифмы такие — де ла рю — получится очень хорошо — сейчас много пишу — вчерне все — потом буду отделять — так как в самые времена подъема — поддразнивая себя прелестью отделанных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:

И как сплавляют по реке плоты...  
...как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты.

Он исправил: «...неустанно столетия поплывут из темноты»...

Я просил его оставить первоизданное. Видно, он и сам был склонен к этому — он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он внес черты городского пейзажа.

Гости, дружки, шафера  
С ночи на гулянку  
В дом невесты до утра  
Забрели с тальянкой...  
Сваха цавой проплыла,  
Поводя боками...

На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно



но перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалось — свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки», «шафера» аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите — старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: „Пересекши глубь двора...“».

Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг... только сон...» Теперь это кажется невероятным.

В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, сангиной, — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где

Мне четырнадцать лет.  
Вхутемас  
Еще — школа валянья.  
В том крыле, где рабфак,  
Наверху,  
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресению», именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает — жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.

Мне четырнадцать лет...

Где столетняя пыль на Диане  
И холсты...

В классах яблоку негде упасть...

Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и где «наверху мастерская отца»...

Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.

Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпадало с его ощущением от открытия щукинского собрания, когда он учился. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубыми и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду в его мастерской и что напорочат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..

«Как ваш проект?» — записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дня и ночи  
Открыт инструмент.  
Сочиняя хоть с утра...

Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки  
 Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.  
 Я вытянул руки, я встал на носки,  
 Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.  
 И было темно. И это был пруд  
 И волны.— И птиц из породы люблю вас,  
 Казалось, скорей умертвят, чем умрут  
 Крикливые, черные, крепкие клювы.

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодец, когда говорил о Северяnine. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».

Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.

Как хороши, как свежи будут розы,  
 Моей страной мне брошенные в гроб!

Расплывшаяся, дрогнувшая буква «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листьями лиловато-прозрачный крестик сирени, увя, опять не пятипалый...

Вышедший недавно томик Северянина не особенно удачен. В нем смикширована как вызывающая безвкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкально отозвавшийся даже в ранних Маяковском и Пастернаке, не говоря уж о Багрицком и Сельвинском.

Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руки  
 Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.  
 Казалось,— все знают, казалось,— все могут  
 Кричавших кругом лебедей вожак.  
 И было темно, и это был пруд  
 И волны; и птиц из семьи горделивой,  
 Казалось, скорей умертвят, чем умрут  
 Крикливо дробившиеся передья.

Какая музыка! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех:

Это — сладкий заглохший горох,  
 Это — слезы вселенной в лопатках...

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значение темно и ничтожно, но им без волнения внимать невозможно». Невозвратно жаль ушедших строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков, замоскворецких, чистопрудных проходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

В московские особняки  
Врывается весна нахрапом...

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампира уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее постоянством геометра, классицизмом — московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.

Всё дымкой сказочной подернется,  
Подобно завиткам по стенам  
В боярской золоченой горнице  
И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло...

Весна! Не отлучайтесь  
Сегодня в город. Стаями  
По городу, как чайки,  
Льды раскричались, таючи.

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий и мосты к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, — так вот он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была талая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,  
Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.

«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жесточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Приориты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого

фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Супермен, он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабнул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора, — Фикса, Волюдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский, мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя, но не знали, что сын замечательного поэта и сын будущего отца знаменитого режиссера. Семья их бедствовала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился первый стилига в нашем дворе. Он был единственным цветным пятном в серой гамме тех будней.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Приводы в милицию за езду на подножках были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсулю. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший друг Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака.

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях двора с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие общности, соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно, наехав, я не узнал Щипковского. Наши святыни — забор и помойка — исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не «Свечу» ли, что горела на столе?..

Так же благодаря изящной мелодии впорхнуло в быт страны цветаевское: «Мне нравится, что вы больны не мной».

Когда-то, говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его «Гамлета». Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но в результате опечатки «авва отче» предстало с латинским акцентом как «аве, отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста:

Если только можно, авва отче,  
Чашу эту мимо пронеси...

Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении:

Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом он молил Отца.

Недавно тбилисский Музей Дружбы народов приобрел архив Пастернака. С волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах «Гамлета» уже угадывается гул, предчувствие судьбы.

Вот я весь. Я вышел на подмостки,  
Прислонясь к дверному косяку.  
Я ловлю в далеком отголоске  
Все, что будет на моем веку.  
Это шум вдали идущих действий.  
Я играю в них во всех пяти.  
Я один. Все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками.

В часы стихов и раздумий, одетый, как местный мастерской или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег.

При его приближении вытягивались и замирали золотые клены возле афиногеновской дачи. Их в свое время привезла саженцами из-за океана и посадила вдоль аллеи Джинни Афиногенова; как говорили, урожденная сан-францисская циркачка. Позднее в них вздрагивали языки корабельного пожара, в котором погибла их хозяйка.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашенная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была летняя резиденция патриарха. Иногда почталыонша, перепутав на конверте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя.

...Все яблоки, все золотые шары...  
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...

Хсронили его в июне.

Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная писательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, герои его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Рыдал Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию.

На дачу я не пошел. Его там не было. Его больше нигде не было.

Был всеми ощутим физически  
Спокойный голос чей-то рядом.  
То прежний голос мой провидческий  
Звучал, не тронутый распадом...

В этом году ему исполнилось бы девяносто.

В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, — Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гёте изучал труды по кабалистике, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.

Им не услышать следующих песен,  
Кому я предыдущие читал...  
Непосвященных голос легковесен,  
И, признаюсь, мне страшно их похваля,  
А прежние дейтели и судьба  
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,  
 Меня тревожившие с давних пор,  
 Найдется ль наконец вам воплощенье,  
 Или остыл мой молодой задор?..  
 Ловлю дыханье ваше грудью всею  
 И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель — или как его там? — «царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины,  
 Былые дни, былые вечера.  
 Вдали всплывает сказкою старинной  
 Любви и дружбы первая пора.  
 Пронизанный до самой сердцевины  
 Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.

И я прикован силой небывалой  
 К тем образам, нахлынувшим извне,  
 Эоловою арфой прорыдало  
 Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил, и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он — Фауст, когда — фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный,  
 Когда все было впереди  
 И вереницей непрерывной  
 Теснились песни из груди,—

недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.

«Вот и все»,— очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.

В Веймаре, на родине Гёте, находящийся на возвышенности крупный объем гётевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который как садовая статуэтка стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной своей точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу — большого к малому.

Море мечтает о чем-нибудь махоньком,  
 Вроде как сделаться птичкой колибри...

Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.

Через несколько лет полный перевод «Фауста» вышел в Гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирал от ожидания. И какой щедрый новогодний

подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, — большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б. Пастернак».

Ровно десять лет назад, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы. Сколько раз слова эти подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.

Помню, я ждал его на другой стороне переделкинского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса косым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темно-синий прорезиненный плащ. Под плащом были палевые миткалевые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганный мостик. Ноги поэта, шаг его сливались с цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка недоумения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель. Поймем песни, которые он оставил нам.



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

К 600-летию Куликовской битвы

А. КЛИБАНОВ,

профессор, доктор исторических наук



## «О СВЕТЛО СВЕТЛАЯ И КРАСНО УКРАШЕННАЯ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ!»

**Т**ак начинается одно из выдающихся произведений древнерусской литературы — «Слово о погибели Русской земли», написанное между 1238—1246 годами. Позади лежали страшные годы ордынского нашествия: битва русских дружин с завоевателями на реке Калке в 1223 году, окончившаяся поражением защитников родной земли, а четырнадцать лет спустя поход внука Чингисхана Батя, опустошившего русские земли. Начиная с декабря 1237 года после ожесточенных сражений с русскими дружинами и гражданским населением были захвачены Рязань, Коломна, Москва, Суздаль, Владимир, Ростов, Ярославль, Юрьев, Дмитров, Тверь — всего 14 городов за февраль. После победоносного для завоевателей сражения с русскими воинами на реке Сити (март 1238 года) осажден и захвачен был Торжок. Ордынцам открывался путь к Новгороду, но в ста верстах от него они повернули к юго-востоку, в течение семи недель осаждали Козельск, взяли его в кровавом бою со всеми жителями города — Злым городом прозвали захватчики Козельск — и ушли в половецкие степи. В 1239 году ордынское войско вторично опустошило земли Северо-Восточной Руси, но главным направлением удара выбрало Южную Русь: пали Переяславль, Чернигов, а в 1240 году Киев, его «остолпила сила татарская» и после долгого штурма овладела им.

В первой половине 40-х годов XIII века завоеватели осуществили перепись русского населения, имевшую целью одну его часть увести в рабство в Орду, а другую обложить данью. Разрушительный удар с востока дополнен был ударами с северо-запада: Дания, Швеция и Ливонский орден начали войну, чтобы овладеть Смоленском, Псковом и Новгородом. Кажется чудом, что лежавшая в пепелищах, обескровленная восточными нашествиями и погромщиками Русь оказалась способной не только остановить, но и наголову разбить датских, немецких и шведских захватчиков. Эти победы, одержанные в 1240 и 1242 годах и связанные с именем Александра Невского, навсегда вошли в народную память. Не случайно в литературном цикле произведений, посвященных победе на поле Куликовом в 1380 году, князь Дмитрий Донской уподобляется своему доблестному предку Александру Невскому. Кровавая летопись событий Батыева нашествия имеет особенность: ее печатью отмечено каждое сражение с завоевателями в каждом из городов и местечек, где бы они ни происходили, — всеобщее и единодушное выступление гражданского населения, презревшего смерть, не оглядывавшегося на численное превосходство врагов, подымавшегося на неравную борьбу во имя свободы и чести, во имя правого дела: «О светло светлая и красно украшенная земля Русская!» Самые черные, самые бедственные годы, постигшие Русь, вызвали к жизни высокохудожественное, всем сердцем прочувствованное произведение неизвестного писателя, горестно, но справедливо названное им «Слово



о гибели Русской земли». Сквозь горькие слезы провидит он воскрешение земли русской. Когда и как оно произойдет, неизвестно. Но произойдет и не быть тому иначе, ибо велик народ, огромна страна, раскинувшаяся от чехов, венгров и поляков на западе до народов Поволжья на востоке, от «Дышащего моря» (Белого моря и Ледовитого океана) и до царьградских берегов. Русь великая и обильная: «...дивись озерами многими, реками и источниками месточтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями чудными, зверьми различными и птицами бесчисленными, городами великими, селами чудными, садами монастырскими, храмами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими! Всего ты исполнена, земля Русская!..»

Из какого неоскудевающего источника черпал силу и прозрение автор «Слова о гибели Русской земли»? Мы располагаем памятником художественного наследия Древней Руси — «Повестью о разорении Батыем Рязани», идейно созвучным «Слову...». Повесть поздняя, относящаяся к первой половине или середине XIV века. Поздняя, но в свой час пришедшая — началось собирание сил русской земли для грядущей победы над Ордой. Есть в «Повести...» самостоятельный эпизод, и он вершинный: рассказ о Евпатии Коловрате — фольклорный, былинный, хотя, быть может, и «окниженный» автором «Повести...». Во главе небольшой дружины Евпатий Коловрат ворвался в Батыево войско, разорившее Рязань, и произвел большое опустошение: «татарам почудилось, что мертвые восстали» и сам Батый устранился. Не было удержу евпатиевской дружине. Батый послал богатыря Хостоврула с сильными полками татарскими», чтобы взять Евпатия живым. «И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и рассек Хостоврула на полы до седла. И стал сечь силу татарскую...» И лишь когда из «бесчисленных камнеметов» ордынцы стали обстреливать Евпатия, только тогда «едва убили его». Батый услышал от собственных военачальников оценку русского воинства: «Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно на конях бьются — один с тысячею, а два с десятью тысячами. Ни один из них не съедет живым с побоища». Гипербола? Я бы сказал, поэтическое обобщение образа русского воинства, отстаивавшего родную землю, — так точнее. Автор «Слова...», как и автор «Повести...», включивший в ее состав былинное (ближе всего к нему) повествование о Евпатии Коловрате, черпал из одного родника — несгибаемого духа народного сопротивления захватчикам и насильникам, веры в конечную победу. В течение всего XIII века, когда ордынское иго особенно тяготело над Русью, в 1257, 1259, 1262, 1289 годах городская беднота и крестьяне — «черные люди» — подымали противордынские восстания. Их география охватывает Новгород, Ярославль, Ростов, Суздаль, Владимир, Устюг, Курск. Находившаяся под ордынским игом, эксплуатируемая и униженная земля не была спокойной. И ордынцы, намечавшие было военную экспансию далеко на запад, оказались вынужденными перекроить планы: в тылу оставалась Русь. С середины XIII века ею управляли баскаки — ханские уполномоченные, ведавшие сборами дани и для этого переписывавшие население, — их военные отряды были расквартированы в основных русских городах. Это все же была неполная оккупация, да и институт баскачества продержался не более полувека. Под натиском народных восстаний ордынцы в начале XIV века отменили баскачество, передоверив взимание дани русским князьям. Тревогой за спокойствие тыла объясняется и ханская политика по отношению к церкви: ее служители не переписывались в «число» и освобождались от дани, требуемой с населения Ордой. Более того, под страхом смертной казни запрещалось оскорблять православные святыни, как и вообще православную веру. Нет, веротерпимость это не было. Было ли это политикой подкупа духовенства, считавшейся с его влиянием на население? Вероятно, так, хотя за этим видится и политика более дальнего прицела. Противостояние народа поработителям в формах сознания того времени выражалось антитезой: христиане— неверные. Православие могло служить идеологическим знаменем народно-освободительного движения. Это было вполне в духе эпохи, то есть средних веков. Так, реконкиста народов Пиренейского полуострова, завоеванного маврами, длившаяся веками, протекала под знаменем католицизма. Ордынцы и без того, чтобы черпать уроки из исторического опыта других народов, делали все от них зависящее, чтобы смягчить, ослабить эту идеологическую антитезу, — борьба против ордынского ига действительно шла под призывом: «За землю русскую, за веру христианскую». Ордынцы оглядывались на тылы, черпая и из опыта своего нашествия на Русь, стоившего им многих жертв, и опыта народных восстаний против представителей ордынской власти. Об этом уместно сказать, ибо

трагедия ордынского нашествия на Русь и последовавшего за ним ига принадлежит к событиям всемирно-исторического масштаба.

В течение неполных двадцати лет войска Монгольского государства, образовавшегося в начале XIII века в Центральной Азии, огнем и мечом прошли Сибирь, Северо-Западный Китай (в 1215 году захвачен был Пекин), Среднюю Азию, Северный Иран, Азербайджан, Грузию, Крымский полуостров, всюду встречая сопротивление, но одерживая победы. Дальше, как мы знаем, битва на Калке и походы Батыя в 1237—1240 годах. В 1241 году Батый, перейдя Карпаты, разбил венгерские войска и предал страну грабежу и пожарам. Почти в то же время ордынское войско сломило сопротивление польских князей, сожгло Сандомир и Краков и ворвалось в Нижнюю Силезию. Разбив на Добром поле у Легницы войско вроцлавского князя, ордынцы открыли прямой путь во внутренние области Германии. Но в июле 1241 года они потерпели поражение от чешских войск, усиленных частями Фридриха Австрийского. Через Хорватию, Боснию, Далматинское побережье, сербские и болгарские земли ордынское войско уползло на восток.

Нашествие ордынцев навело ужас на всю Западную Европу. Германский император Фридрих II Гогенштауфен воззвал в 1241 году ко всем «христианским правителям», и «прежде всего — английскому королю» Генриху III: «И пусть Ваше величество позаботится, пока общие враги бесчинствуют в соседних краях, чтобы как можно скорее оказать им сопротивление Вашими силами; ибо из земель своих они движутся с тем намерением, чтобы, невзирая на грозящие жизни опасности, подчинить себе весь Запад» (разрядка моя. — А. К.). Император призывал объединить силы Германии, Франции, Испании, Англии, Швабии, Дании, Италии, Бургундии, Греции, Сицилии, Шотландии, Норвегии — словом, всего западноевропейского мира, чтобы совместное «отборное войско» способно было покончить с «восставшими демонами». Но Батыевы полчища, достигшие стран Центральной Европы, были уже на «последнем дыхании».

Всемирно-историческое значение происшедших событий по достоинству оценил Пушкин: «России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...»

Каждая эпоха в историческом развитии народов имеет свои характерные и неповторимые особенности. Компас историка более сложный инструмент, чем компас, указывающий стороны света. Но история есть и связь времен, о разрыве которой некогда сокрушался Гамлет, принц датский. Мы наследники всего нашего прошлого, всех наших исторических судеб, всех достижений и потерь, выпавших на долю народа. Этого не следует понимать прямолинейно. Речь идет о хранении, творческом освоении и умножении исторического наследия. В относительности и изменчивости исторического процесса вырабатывались и откладывались ценности непреходящие. «Так на станке проходящих веков тку я живую одежду богов» — вспомним Гёте.

Обращаясь к истории XIII—XIV веков, не будем удивляться тому, что князья земель и уделов этого времени враждовали и воевали друг с другом, что прибегали в борьбе к воинским силам других государств, заведомо враждебных Руси, не исключая ордынских, тому, что церковь играла в то время на княжеских междоусобицах, ввязываясь в международную политику, используя связи с Византией, Литвой, Ордой. Будем помнить, что междоусобные столкновения и политические интриги верхов обременяли и без того тяжкую долю народных масс. А время от времени ордынцы совершали на русской земле очередные «кровопускания»: «Туролокова рать», «Федорчукова рать», «Дюденева рать» — под такими названиями ордынские карательные экспедиции вошли в русские летописи.

Наконец, эпоха русского средневековья, как всякая средневековая эпоха, была религиозной: чувства и мысли людей были обращены к раю и аду, заступничеству небесных сил, страху перед происками дьявола, питались верой в чудеса, откровения, видения. Но «религия есть *опиум* народа»? Да, так, но формула Маркса глубока и многозначна, рассчитана на понимание детерминистическое и историческое. Потому и читаем у Энгельса: «Сильная вера средневековья придавала, несомненно, всей этой эпохе значительную энергию (разрядка

моя. — А. К.), но энергию, пришедшую не извне (не съпле ниспосланную. — А. К.), а коренившуюся уже в природе человека, хотя и в бессознательном, неразвитом состоянии». Все эти оговорки необходимы для понимания периода ордынского нашествия, ига и освобождения от него, его движущих сил, его особенностей.

Гордость и восхитение вызывает то, что из-под развалин городов и пепелищ деревень, под тягой эксплуатации феодалов и бременем дани, взимавшейся поработителями, под ударами междоусобных княжеских войн и войн порубежных государств, покушавшихся на отечественную землю, народ, «претерпев судьбы удары», восстанавливал Русь — великую страну земледельцев, ремесленников, градостроителей, купцов, художников слова, резца и кисти.

Русь всегда славилась как страна городов. Накануне ордынского нашествия на Руси насчитывалось около 300 городов. В конце XIV века появился замечательный памятник «А се имена всем градом русским далним и ближним». В нем названо 358 городов. Список точный. Из перечисленных в нем городов 304 находим на современной географической карте. Это счет не потерь, а созданий.

За время ордынского нашествия усилился приток русского населения в относительно безопасное междуречье Волги и Оки, называвшееся Залесской землей, в центре которой находилась Москва. Умножились города к северу от Оки и дальше на север, где и Вологда не была крайней, — таковы Городок на Белом озере, далее к северо-востоку Устюг, еще северней Городок на Ваге и, наконец, Орлец и Колмогоры близ Белого моря. Перемещение населения на северо-запад и северо-восток способствовало умножению и росту городов и укрепленных пунктов. Маркс, изучая историю освободительной борьбы испанского народа, отметил: «...населенные пункты и города внутри страны приобрели крупное значение, ибо жители вынуждены были селиться вместе в укрепленных местах и искать там защиту от непрерывных вторжений мавров». Рост населения городов был ростом прежде всего производительного населения, и даже если пришлые люди в массе являлись крестьянами, то надо иметь в виду, что крестьянин сочетал в себе и ремесленника, гораздо в домашнем ремесле — холстяном, суконном, гончарном, плотницком. Ведь в условиях начальных стадий разделения труда и фигура городского ремесленника неоднозначна — в самой городской черте находились нивы и огороды, а кое-где и выпасы. Передвижение населения на северо-запад и северо-восток приводило к росту населенных пунктов, застроению пустошей новыми селами и деревнями и сравнительно густому застроению земель — в XIV веке трехпольная система земледелия сменяла, если уже не сменила переложное и подсечное земледелие, характерное для Древней Руси. Распространение трехпольной системы земледелия сопровождалось усовершенствованием орудий земледельческого труда, например появлением сохи с железными сошниками. Их находят археологи в Московской округе, вскрывая пласты глубокого залегания. В русских былинах, переживавших второе рождение в эпоху Куликовской битвы, оратай обращается к Вольге Святославовичу, упоминая «омешки (сошные лемехи) булатные». Рост сельскохозяйственного производства (как правило, натурального) являлся движущей силой экономического восстановления и укрепления Руси в XIV веке.

А в городах шли рост и специализация ремесел и торговли. Развивалось ткацкое, кожевенное, кузнечное, литейное, оружейное, плотницкое, гончарное, ювелирное дело. Новый импульс получила добывающая промышленность — железодельная, солеварная, рыболовная, бортничная, наконец, охота. Москва и Новгород сложились в XIV веке как самые крупные и оживленные центры ремесла, внутренней и внешней торговли. За ними шли Тверь, Нижний Новгород, Псков, Смоленск, Рязань (Переяславль-Рязанский), Муром. Это были центры внутренней торговли, связанные рыночными коммуникациями с прилегавшей сельской округой и друг с другом. Новгород, Псков, Смоленск, Москва, Тверь, Рязань были и внешнеторговыми центрами. Их связывали сухопутно-речные и морские коммуникации. Наши предки завещали эпитет — «мать сыра земля». Земля была и оставалась кормилицей русского народа. Но есть еще и другой эпитет — «батюшко синее море». Он не сходит со страниц древних былин, записанных более чем в двух тысячах вариантов. Русь истари была землей пахарей и мореходов.

В социальном составе русского общества второй половины XIV века происходили важные перемены. Значительность их выявляется по отдаленным последствиям, определившимся уже в XV веке. Несомненно, возрос в качестве не только экономи-

ческой, но и социально-политической и идеологической силы слой горожан. Они заявляли себя сторонниками единения и мира русских людей в противоположность княжеским усобицам, когда политические границы великих и удельных княжеств нередко совпадали с таможенными границами, что препятствовало торговле внутренней и внешней. Летопись запечатлела характерную картину всеобщего ликования тверичей, когда в 1367 году закончилась феодальная война между их князьями: «И радовались бояре их (князей. — А. К.) и все вельможи их, также купцы, приезжие и местные, и все трудовые люди — роды и племена Адамовы. Ибо все они суть единый род и племя Адамово, цари, и князья, и бояре, и вельможи, и приезжие горговцы, и купцы, и ремесленники, и трудовые люди... а позабывшись, друг с другом враждуют и ненавидят и (друг друга) грызут и кусают, нарушая заповеди божи, состоящие в том, чтобы любить ближнего как самого себя». Социальное самосознание ремесленно-торговых слоев города шло и дальше: памятники церковной истории конца XIII — начала XIV века свидетельствуют о еретических брожениях, направленных против господствующей церкви в Новгороде и Твери. Во второй половине XIV века в Пскове и Новгороде эта социальная среда, к которой присоединилось и низшее духовенство, выдвинула ересь, потребовавшую дешевой церкви, отвергавшую таинства крещения, причащения, покаяния, сомневавшуюся в воскресении мертвых. В 1375 году руководителей ереси по благословению церкви и распоряжению городских властей утопили в Волхове. В 80-х годах XIV века в Ростове действовал еретик Маркиан, проповедовавший иконоборчество и отвергавший троицу. Горожане тяготели к великодержавной власти, как и великодержавная власть к горожанам.

Обратим внимание и на то, что где-то в 20—30-х годах XIV века берет начало новый социальный институт — условное наделение земель за службу великому князю. Это собственность не наследуемая, отчуждаемая — «держание земли» по воле ее верховного собственника великого князя как вознаграждение за службу ему (военную, как правило). Становление нового слоя господствующего класса — дворянства — сыграло крупную, быть может остающуюся недооцененной, роль в образовании русского централизованного государства.

Во второй половине XIV века заметно росла земельная собственность князей церкви, митрополичья в особенности. Вслед и параллельно крестьянской колонизации на севере и северо-востоке шла монастырская колонизация, не считавшаяся с чересполосицей феодальных владений, лежавших на ее пути, с посягательством местных феодалов на «свободные», «черные земли» и трудовые руки «свободных» крестьян — «черных людей». Земельные владения церкви и монастырей подрывали удельно-боярскую монополию на земли и труд производителей. Объективно это было в интересах политической централизации страны.

Характеризуя Германию периода Реформации, Энгельс заметил: «...в Германии, раздробленной на провинции и *избавленной на длительный срок от вторжений*, не ощущалось... такой сильной потребности в национальном единстве, как во Франции (Столетняя война), в Испании, которая только что была отвоевана у мавров, в России, недавно изгнавшей татар, в Англии (война Роз)»...

О, как давно и сильно жаждал народ свергнуть ордынское иго! В 1327 году из Орды в Тверь с большой воинской силой пришел Чолхан (Шевкал русских летописей). Он изгнал тверского князя, занял его дворец и бесчинствовал: в городе шли грабежи, убийства, насилия, надругания. 15 августа, в день успения богородицы, некий дьякон Дудко повел поить кобылицу. Дело было на торгу утром, «как торг собирается». Татары пустили в ход оружие. «И тотчас стеклись толпой люди, и ударили в колокола, и собрали вече, и всем городом, всем народом в тот час собрались, и пришли в волнение. И кликнули тверичи! И начали избивать татар кого на каком месте застали, пока и самого Шевкала убили и всех (татар) поголовно». Событие это, вошедшее в летописи, послужило темой старейшей исторической песни «Шелкан Дудентьевич», исполненной народного гнева и готовности к борьбе. В течение веков ордынского ига и борьбы против него сложились заново пережитые, пережитые, передуманные произведения фольклора, уходящие корнями в древнюю Русь. Они сродни и рассказу о Евпатии Коловрате, и песне о Шелкане Дудентьевиче, и другим аналогичным произведениям народной поэзии, пробужденным освободительной борьбой, нами не упомянутым. Былинное творчество находилось в струю идейного народно-освободительного протеста. Он коснулся в той или иной степени большинства былин. Но выделим былинны «Волх Всеславович», «Добрыня и Василий

Казимирович», «Батыга и Василий Игнатьевич», «Илья и Калин-царь», «Царь Саул Леванидович» (известна и под названиями «Половецкая земля», «Татарская орда»). Здесь заложен глубокий пласт народного сознания — эпического, слитного, сочеловечного и соприродного, сознания «один за всех, все за одного». Это сознание народных низов, и оно массовое. Но фактом подъема народного творчества в XIII—XV веках поставлен и вопрос: чем этот подъем вызван? «Энергиею народной жизни... — отвечал Чернышевский и продолжал: — Только там являлась богатая народная поэзия, где масса народа волновалась сильными и благородными событиями, где совершались силою народа великие события».

Духовная культура Руси, оплодотворенная народным творчеством, стимулируемая освободительной борьбой против завоевателей с Востока и Запада, вышла на широкие пути в XIV веке, едва только Русь оправилась от первых опустошений. Она имела богатые традиции в древнерусском государстве и была культурой открытой, вбравшей течения византийско-славянских литератур, изобразительного искусства, богословско-философской мысли и в самобытном обогащении их, как и в своих самоценных продуктах, вливалась в духовное достояние стран и народов, образовывавших общий византийско-славянский культурный круг. Рядом с выдающимися государственными и военными деятелями Руси стоят деятели ее духовной культуры, порой сочетавшие политическую деятельность с культурной. Политическим деятелем и человеком широкой образованности и культуры был регент Московского княжества в малолетство Дмитрия Ивановича Донского митрополит Алексей. И Сергей Радонежский, оставивший памятный след в русской духовной культуре, пусть и в религиозной форме, не пренебрегавший, когда требовали обстоятельства, улаживать межкняжеские разногласия. И великий грек Феофан, обретший в Руси вторую родину и дружно сотрудничавший с русскими мастерами изобразительного искусства. И едва ли не самый выдающийся писатель века Епифаний Премудрый. И бессмертный Андрей Рублев, раскрывший свой гений в первые десятилетия XV века, но воспитанный школой Феофана Грека и духовным наследием Сергия. И летописцы, оставившие имена и безвестные, и зодчие, и строители Московского Кремля, архитектурного шедевра — белокаменного Успенского собора и множества храмов и монастырей, представлявших собой и оборонительные сооружения.

Все направления богатой и разнообразной русской духовной культуры, в XIV веке обретшей новое дыхание, как к фокусирующей точке устремлялись к выработке патриотического самосознания, этническому, языковому, культурному, идеологическому сплочению русской народности. Подъем производительных сил страны, изменения в общественной структуре, центристремительные политические тенденции, обнаружившиеся в 30—40-е годы XIV века и тогда приведшие к возвышению Москвы среди других княжеств, — все служило развитию и формированию русской народности. Так складывалась и крепла сила, утвердившая себя в исторической — не ошибемся, сказав: международного значения — победе на Куликовом поле в 1380 году.

Первый камень в возвышении Москвы как центра Северо-Восточной Руси — сердцевины будущего централизованного русского государства, был заложен в период княжения Ивана Даниловича, прозванного Калитой, умного и дальновидного политика, стремившегося использовать и княжеские междоусобицы и отношения с Ордой и Литвой ради возвышения Москвы и собирания вокруг нее владений других русских феодалов. Он преуспел в своей политике — Московское княжество стало при нем более населенным, а его территория расширилась, укреплялись старые города, строились новые. Значительным успехом Москвы явилось перенесение в нее резиденции митрополитов всей Руси, что выделило ее среди других княжеств. Иван Данилович был типичным, неразборчивым в выборе средств деятелем средневековья, но объективно его политика сыграла важную роль для восстановления, собирания истерзанной Руси. Об этом прекрасно свидетельствуют слова Рогожской летописи: «В том же году (1328) сел Иван Данилович на великом княжении всей Руси, и наступила с тех пор тишина великая на 40 лет, и перестали поганые воевать Русскую землю и уничтожать христиан, и отдохнули и успокоились христиане от великой истомы и многой тягости и насилия татарского, и была оттоле тишина великая по всей земле». Сорокалетняя передышка, о которой писал летописец, кое-где прерывалась ордынскими ратями, военными столкновениями с Литвой, подавлением народных восстаний. Однако при Иване Даниловиче и его ближайших преемниках достигнута была столь необходимая русскому народу, какой бы она ни была, передышка от

ордынских нашествий; от них просто откупались, посылая в Орду крупные дани и ценные подарки. Но на западных рубежах Руси не было «тишины». Литовские, шведские, ливонские феодалы совершали нападения на Новгород и Псков, на Смоленск и Брянск. В связи с этим возводились оборонительные строения в Новгороде, Пскове, Орехове, Изборске, Яме, Порхове. Заметим, что XIV век вообще стал временем усиленного строительства крепостей и других оборонительных сооружений и рубежей на всем пространстве Северо-Западной и Северо-Восточной Руси — не только в новгородской и псковской землях, но и в Москве, Коломне, Серпухове, Переяславле, Твери, Нижнем Новгороде, Муроме. Русские города были подготовлены к отражению внутрифеодальных войн, но первостепенное значение в создании новых и обновлении старых оборонительных сооружений во всех хоть сколько-нибудь значительных русских городах состояло в том, что как никогда прежде Русь изготовилась к отражению внешней опасности, будь то с запада или с востока.

Ко времени княжения Дмитрия Ивановича Донского объединительная политика московских князей, обусловленная объективным развитием центростремительных тенденций, достигла значительных и необратимых успехов. Древний автор, восклицавший: «Всего ты исполнена, земля Русская...» — ни в думе, ни в мечте и представить себе не мог расцвета русской земли, умножения ее богатств материальных и духовных в XIV веке. Ведь его произведение, провидческое, как надеялся и не ошибся автор, называлось — и, увы, в согласии с его современностью — «Слово о погибели Русской земли». Но и при вокняжении в 1359 году Дмитрия Ивановича русская земля состояла из 11 крупных и почти 20 мелких (удельных) княжеств. Это сплетало сложнейшую сеть политических отношений между великими князьями прежде всего, а в следующую очередь между князьями удельными, непостоянными в своих политических связях. Перед Дмитрием Ивановичем находились внутривнутриполитические узлы, из которых иные предстояло распутать, иные разрубить. Узловыми являлись и отношения внешнеполитические — с Ордой и Литвой. Развертывая ленту исторических событий, так сказать, в обратном порядке, видишь, как в мелких стычках и войнах с удельными князьями, сопровождавшими неизменно весь политический путь Дмитрия Ивановича, как в его военных столкновениях с Литвой и Ордой, часто удачных, как, например, сражение с ордынцами на реке Воже в 1378 году, иногда вовсе неудачных, как за год до того сражение на реке Пьяной, год от года мужал политический, дипломатический и полководческий талант Дмитрия Ивановича. Мало кто из великих русских князей за столь короткую жизнь (1350—1389) приобрел такой насыщенный и разносторонний опыт государственной жизни, ставившей перед грозными испытаниями, не раз потребовавшей решений быстрых, но судьбоносных. А повседневные государственные заботы, повседневные, но не обыденные по одному тому, что страна входила в новое русло исторической жизни? Она стояла перед решающим шагом к политическому объединению ядра русских земель. Что такое объединение становилось всеобщей и насущной необходимостью жизни, отвечало не только политическим, но и экономическим, социальным и духовным интересам русской народности, ощущалось и становилось достоянием (в разной степени) сознания и большинства представителей знати, и социально активных слоев городов, и, судя по фольклору и литературе, крестьян. Противниками сплочения, стремившимися законсервировать и усугубить феодальную раздробленность, выступали Орда и Литва. И поэтому решающий шаг к объединению русских земель — оно еще долго выдерживало испытание на прочность в последующих событиях отечественной истории в XV веке — означал изменение в расстановке международных сил. Он означал выдвижение на международную арену нового крупного государства Восточной Европы, правда еще и неладно скроенного и некрепко сшитого.

Не будем останавливаться на перипетиях военно-политической борьбы между Москвой и оспаривавшими ее централизаторскую роль Нижним Новгородом и Тверью. После столкновений между Москвой и Нижним Новгородом в конце 50-х — начале 60-х годов перевес оказался на стороне Москвы. И в конце XIV века Нижегородское княжество было присоединено к Москве. Более упорной оказалась борьба Москвы с Тверью, затянувшаяся на десятилетие, с середины 60-х по середину 70-х годов. В 1375 году после месячной осады московскими войсками (в походе участвовали войска большинства русских княжеств, включая тверских удельных князей и некоторых русских князей, подвластных Литве) Тверь капитулировала, но ее **вхождение в состав Московского государства оставалось еще делом долгого времени.**

Между тем после смерти великого князя литовского Ольгерда в 1377 году началась борьба за княжение между его наследниками, перекинувшаяся на верхи феодальной знати. Положение обострялось сопротивлением господству литовских феодалов со стороны разных слоев русского, белорусского и украинского населения, чьи земли насильно были включены в состав Литвы.

Много хуже обстояли дела в Орде. В течение 1361 года на ордынском престоле сменилось пять ханов. Шестой хан, Абдуллах, ставленник знатного крупного ордынского феодала и военачальника Мамая, — игрушка в его руках, как и ханы Мухамед-Булак и Тулубек, сменившие друг друга на протяжении 60-х — конца 70-х годов. Орда раскололась на два государственных образования: левобережную часть Волги и примыкающие районы (со столицей Сарай-ал-Джедидом) и правобережье Волги, Предкавказье, Причерноморские степи и Крым, составившие владения ставленников Мамая. Военные столкновения между ордынцами почти не прекращались. Трижды на недолгое время Мамаю удавалось овладеть Сарай-ал-Джедидом (в 1363, 1368, 1372—1373 годах), но объединить расколовшуюся Орду оказалось ему не по силам.

Осложнение политической обстановки в Литве, раскол и распад, происходившие в Орде, с одной стороны, а с другой — восстанавливавшаяся, набиравшая силы Русь — все указывало на близящуюся развязку. Ее предвестием явилась победа войск Дмитрия Ивановича над ордынским полководцем Бегичем в 1378 году. Маркс писал: «Дмитрий Донской совершенно разбил монголов на реке Воже... Это первое правильное сражение с монголами, выигранное русскими». В 1366 году, а потом в 1375 году Дмитрию Ивановичу удалось созвать представительные съезды русских князей. Есть основания полагать, что совместная борьба с ордынцами и, во всяком случае, значительное сокращение выплачиваемых Орде даней было одним из вопросов, обсуждавшихся князьями. Но инициатива решительного сражения едва ли принадлежала русским князьям. Как всегда в истории, страны, испытывающие внутренние затруднения, стремятся выровнять ущербный баланс за счет внешней агрессии. Орда и Литва, рассчитывавшие и на союзное участие рязанского князя, вступили в трехсторонние переговоры, имевшие целью нанести непоправимый удар Руси.

Куликовская битва описана во многих русских летописях. Ей посвящена вдохновенная поэма «Задонщина», известная также под названием «Слово Софония рязанца». Замечательным по художественной силе и патристическому чувству явилось порожденное Куликовской битвой «Сказание о Мамаевом побоище», имеющее несколько редакций и дошедшее до нас в полутора ста списках, — оно стало излюбленным чтением русских людей в XV веке. Большой интерес, исторический и литературоведческий, вызывает посмертная биография Дмитрия Ивановича.

Обилие памятников куликовского цикла и облегчает дело историка и затрудняет его — не все данные памятников согласуются между собою, не все отличающие их идеологические тенденции совпадают, нелегко отделить ядро памятников от оболочек, со временем окутавших их. Мы вынесем наши историко-ведческие размышления за скобки. Скажем только, что религиозные мотивы, вплетающиеся в ткань произведений куликовского цикла, вполне вероятно, принадлежат последующему осмыслению книжников конца XIV—XV веков, но не могут быть отброшены как довески или шелуха без ущерба для изучения их как памятников средневековой мысли и литературы. Вряд ли оправдано опущение имен церковных и монастырских деятелей, внесших свою дань в подготовку и даже ход Куликовской битвы, а без этого не обходится в некоторых исследованиях, посвященных Куликовской битве.

Первые известия о готовящемся наступлении пришли в Москву от сторожевых застав, расположенных неподалеку от кочевий ордынцев на реке Воронеж. Это было в конце июля 1380 года. Дмитрий Иванович вызвал на совет двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского, своих князей и воевод. Разосланы были гонцы по всем городам с призывом собирать войска и с ними прибыть в Коломну. Некоторое время спустя воины сторожевых застав доставили языка. Выяснилось, что Мамай готовится выступить осенью и что уже состоялось соглашение между ним и рязанским князем Олегом. По-видимому, достоверно летописное известие о том, что в августе же Дмитрию Ивановичу поступило послание от Олега Рязанского о грозящем наступлении Мамая в союзе с Литвой. Олег предпринимал дипломатический маневр, страхующий от неожиданностей. Таким образом, становилось очевидно, что в ближайшем будущем предстоит столкновение с военной коалицией Орды,

Литвы и Рязани. Сбор союзных Дмитрию Ивановичу войск назначен был в Коломне между 1 и 14 августа — «на мясопуст госпожа богородица», иначе на успеньев пост. Во всех памятниках куликовского цикла встречаются указания на богородичные праздники как время и сбора и выступления русских войск из Коломны, и на молитвы Дмитрия Ивановича «пречистой богородице» в Москве, и на переход через Дон накануне «праздника пречистой матери, божией богородицы», и на день Куликовской битвы, совпадавший с днем праздника пречистой, и на обращения к пречистой воевод и воинов в самом ходе битвы, и на прославление богородицы после одержания победы. Напомним, что Москва по Успенскому собору считалась городом богородицы и что оборонительный рубеж Московского княжества речка Угра называлась поясом богородицы.

Собравшееся в Москве войско двинулось в Коломну по Брашевской, Болванской и Серпуховской дорогам. Это были войска московского, серпуховского и белозерского князей. Летописец определяет численность войск, двигавшихся в Коломну, в 105 тысяч человек. Сбор, смотр войск, назначение воевод в полки и распределение их порядка в предстоящей битве произошло в Коломне приблизительно 20 августа. За исключением военных сил новгородских, тверских, нижегородских в войске Дмитрия Ивановича объединились силы множества русских княжеств — Белозерского, Ярославского, Муромского, Мещерского, Елецкого, Кашинского — и полки, приведенные из оккупированных Литвой земель с русским, белорусским, украинским населением, — полоцкого князя Андрея, брянского князя Дмитрия. Выдающаяся роль в командовании и битве отводилась волынскому воеводе Дмитрию Боброку. И, конечно, московские полки — опорная сила войска, состоявшая из москвичей, костромичей, владимирцев, переяславцев, серпуховчан. Монолитное по национальному составу войско было разнообразным по социальному составу: бок с бок с феодальными дружинами стояли части, вобравшие горожан и крестьян — бойцов, представлявших социальные низы. Ополчение Дмитрия Ивановича было народным. 24 августа войско перешло Оку. Двинулось к Дону, куда прибыло 6 сентября. Еще 4 сентября разведка установила, что ордынцы стоят «в поле близ Дона». Мамай медлил. Он ожидал подхода союзников — литовских и рязанских. Дмитрий Иванович, стремясь предупредить соединение вражеских сил, собрал военный совет. Где быть бою — за Доном или перейдя его, на огромном поле Куликовом? Решено было оставить Дон за собой. Ночью с 7 на 8 сентября были сооружены переправы и разведаны броды. По некоторым известиям мосты после переправы через Дон были уничтожены. Утро 8 сентября 1380 года было туманным. Еще переправлявшиеся части не были видны противнику. Не видно было и расположение русских войск на поле. Впереди стоял Сторожевой полк. За ним Передовой и Большой полки. На флангах разместились полк левой руки и полк правой руки. В заставе «в дубравах» скрытый от противника, поставлен был состоящий из отборных войск Засадный полк. В шесть часов утра туман рассеялся — и ордынцам открылось войско, необозримое, огромное. Можно предполагать, хотя и без уверенности, что число воинов (с обеих сторон) на Куликовом поле доходило до 200—250 тысяч. Ордынское войско в отличие от русского было этнически пестрым — войском «двунадесяти языков». «И было же оных множество, — пишет летописец, — и сошлись обе силы великие, покрыли поле на 13 верст. И была сеча великая и сражение великое... И билися от шестого часа до девятого, и пролилась кровь, как дождевая туча, и пало множество трупов с обеих сторон». Дмитрий Иванович участвовал в битве не только как полководец, но и как доблестный воин. Ордынцам удалось нанести тяжелые потери русским войскам — велики были и их собственные потери — в нескольких участках и потеснить русских. Мамай уже предвкушал победу, когда в девятом часу утра из густых «дубрав» грянул Засадный полк. Конница ордынцев пустилась в бегство, топча собственную пехоту. Русские войска преследовали противника «биша и на 30 верст гонячися». Литовская сила, по-видимому, не торопилась помочь Мамаю. Она стояла на расстоянии дневного перехода от Дона. Медлил и осторожный Олег Рязанский. После куликовской победы он бежал из Рязани. Ордынцы, разгромленные наголову, устремились в отдаленные степи. Немного времени спустя Мамай во главе остатков своих сил встретился с войсками нового и быстро возвышавшегося хана Тохтамыша. И капитулировал, не приняв боя. Вскоре Мамай был убит в своих крымских владениях. Громадное, сколоченное Мамаем и его ставленниками государство также распалось, как карточный домик. Торжество русских было полным, торжеством России. Московское государство вступило — хотя она растянулась надолго — в фазу своего утверждения. Несколько



памятников куликовского цикла называют Дмитрием «царем русским». Весть о русской победе быстро дошла до Рима и Константинополя, до итальянских колоний в Крыму, до Болгарии и немецких княжеств.

Куликовская победа навсегда осталась в народной памяти, радостной, горестной, но всегда благодарной. Радостной в сознании освобождения от чужеземных поработителей. Горестной в сознании жертв, которыми победа оплачена. В середине XIX века в Московской губернии был записан уникальный народный стих о Дмитровской субботе — поминальном дне по русским воинам, погибшим на Куликовом поле. Насколько знаем, стих этот не вошел в оборот научных исследований. В народном стихе поется о том, как Дмитрий Иванович с женой Евдокией стоял на обедне в Успенском соборе вместе со своими князьями, боярами и «славными воеводами». И вдруг перестал молиться Дмитрий и прислонился к столбу:

Открылись душевные его очи,  
Видит он дивное виденье:  
Не горят свечи перед иконами,  
Не сияют камни на золотых окладах,  
Не слышит он пенья святого.

Заглохла и церковная служба. Померкло иконное украшение. Что открылось Дмитрию?

А видит он чистое поле,  
То ли чисто поле Куликово,  
Изуздано поле мертвыми телами,  
Христианами да Татарами:  
Христиане-то как свечки теплятся,  
А Татары-то как смола черна.  
По тому ль полю Куликову  
Ходит сама Мать Пресвятая Богородица,  
А за ней апостолы Господни,  
Архангелы-ангелы святые,  
Со светлыми со свещами,  
Отпевают они мощи православных,  
Кадит на них сама Мать Пресвятая Богородица,  
И венцы с небес на них сходят.

Богородица, невзирая на торжественность храмового богослужения и явное благочестие Дмитрия, объявляет решительный приговор:

Не в своем Дмитрий князь месте.

И Дмитрий согласно стиху установил поминальный день. После Куликовского сражения в течение многих дней воины предавали почетному погребению павших сынов отчины. Но в действительности никакой Дмитровской субботы не существовало. Как много позднее герой Бездененского восстания крестьянин Антон Петров, расстрелянный царскими палачами, был окружен народом ореолом мученика и ходили сказания, что «над могилой его светится огонь», так память народная зажгла неугаемую свечу по героям, павшим на Куликовом поле.

Тема Куликовской битвы прошла сквозь века истории русской литературы от «Задонщины» и до Александра Блока с его циклом «На поле Куликовом». Она продолжается в советской литературе. В годы Великой Отечественной войны танковые соединения, построенные на средства трудящихся, не раз назывались именем Дмитрия Донского. Советские люди бережно хранят память о Куликовской битве как историческом символе освобождения от иноземного гнета ради мира и грозном знаменении народного единения в час испытаний.



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. САБОВ



## ЖАННА Д'АРК И ЕВРОПА

*Опыт анализа исторических ассоциаций,  
или Футирология вчерашнего дня*

**В** букинистической лавке на берегу Сены я наткнулся однажды на книжку «Истории знаменитых людей, рассказанные их потомками». Она начиналась с Жанны д'Арк, а затем в алфавитном порядке следовали д'Артаньян, Бомарше, Доде, Гоген, Гюго, несколько Людовиков, Наполеон, Эйфель... и, словно нитка за иголкой, многовековые свиты их внуков, правнуков, праправнуков. От иных «семейных хроник» события и фигуры прошлого вдруг представляли перед тобой так, что старый школьный учебник истории выглядел милым лжецом. Ныне здравствующие граф и графиня де Сермуаз, например, с помощью специалистов по родословным доказали, что за пять веков орфография их имени претерпела следующие изменения: дез Армуаз, дез Эрмуаз и вот теперь — де Сермуаз. И, стало быть, известная в XV веке «дама из Армуаза» была прямым их предком. В семейном кругу ее поныне величают с родственной фамильярностью — «наша пратетушка». Граф с графиней докопались даже до того, что мамой этой самой «пратетушки» была супруга короля Карла VI (1368—1422) Изабо. Так что королева тоже зачислена в их семейный пантеон; она здесь фигурирует как «прапратетушка»...

Но кто же такая дама из Армуаза? К кому из великих французов имела она отношение? Ее нынешние потомки предъявляют миру следующий документ — это старинная купчая, которая начинается с представления участвующей в сделке стороны: «Мы, Робер дез Армуаз, рыцарь, сеньор Тишмона, и Жанна дю Лис, Дева Франции, сеньора указанного Тишмона, моя жена...»

Жанна дю Лис? Дева Франции?! Но ведь это же прозвище самой Жанны д'Арк! Выходит, ее не сожгли на костре в Руане в 1431 году? Спустя пять лет после своей мифической смерти она, как выясняется, благополучно вышла замуж и вместе с рыцарем дез Армуазом занялась скупкой недвижимости и разведением капусты в огороде замка Тишмон? Графские хроники утверждают, что род дез Армуаз, знатный уже и по тем временам, в следующих коленах произвел на свет герцогов и даже королей: короля румынского Михаила, короля бельгийского Бодуэна... Наконец, графы готовы показать даже могилу своей великой «пратетушки», героини Столетней войны, — они уверенно называют часовню в деревушке Пулиньи-сюр-Мадон...

Если все это правда, тогда кого же сожгли в Руане на площади Старого рынка 30 мая 1431 года? Чей даже не остывший пепел под лицемерные песнопения клерикалов бросили в Сену? Если то была не Жанна д'Арк, тогда кто же? На этот вопрос даже маститые историки допускают такой ответ: в средние века «под рукой» у инквизиторов всегда было немало «ведьм», вот и могли взять одну из них, подставить вместо Жанны д'Арк...

А она осталась жить-поживать, добра наживать, графов и королей на свет рожать...

Мистификация? Правда?

Жанна д'Арк сама нашла слова, которые поныне звучат точнейшим камертоном ее эпохи, помогая события истинные и вероятные отделить от версий надуманных и ложных. Один из ее инквизиторов на суде спросил, было ли ей когда-нибудь страшно. Сквозь толщу в пять с половиной веков судебный протокол донес до нас прекрасный ответ: «Я боюсь только измены».

Сказанные почти на эшафоте, слова эти равно обращены и к современникам и к потомкам. Жанна д'Арк за свою короткую жизнь повидала немало измен — разве не могла она провидеть их и в своей посмертной жизни? Самозванки долго отнимали у нее имя. Лжепотомки гроздыми виснут на ветвях генеалогического древа д'Арк. Историки бесконечно подвергают сомнениям и перепроверкам то подлинность ее происхождения, то загадочный феномен девушки-вождя. И, однако, того, что происходит сейчас, не было, пожалуй, за все века, пробежавшие с того дня и часа, как остыл руанский костер. Ревизии впервые подвергают даже не личность героини — ревизии подвергают ее подвиг; уже не только у родителей — ее отнимают даже у своего народа; иные историки и политики говорят уже не столько о заслугах Жанны д'Арк перед Францией, сколько о ее вине перед... Европой.

Один из видных жоанистов нашего времени (жоаниана — все, что относится к Жанне д'Арк) американский историк Д. С. Ранкин как-то заметил: «Жанна слишком опережала свое время, чтобы ее могли понять современники; в силах ли понять ее хотя бы мы, сегодня?» Здесь не один вопрос, а два: почему предательства неотступно преследовали ее при жизни и так же неотвязно следуют за ней вот уже много веков? с чем связана «новейшая измена» ее имени, ее делу? Вот вопросы, побудившие меня взяться за эти записки.

\* \* \*

Ежегодно 8 мая Орлеан празднует годовщину своего освобождения от английских захватчиков. Короли и императоры, премьер-министры и президенты Франции во все века почитали за долг уж хотя бы раз побывать в этот день в Орлеане, засвидетельствовать свое почтение великой землячке. Она восседает в центре города на коне; прекрасный этот памятник построен в прошлом веке на средства всенародного сбора. В 1979 году выпал круглый юбилей: 550 лет. На праздник приехал президент страны Валери Жискар д'Эстен. Маршрут президентских поездок весной 1979 года можно было обозначить следующими пунктами: Москва — Париж — Орлеан; это обстоятельство орлеанцы отмечали как особую примету юбилея. Век с веком, может, и не сходится, но историю все-таки следует видеть скорее как многоэтажное здание, в котором каждая следующая надстройка опирается на предыдущую. Пятнадцатый этаж этого здания применительно к Франции весь был охвачен войной; и в XX веке самые большие военные пожары ни разу не обошли ее стороной. На этих двух этажах французской истории, разделенных пятью веками, точка в точку совпадают несущие конструкции. Это о них сказал В. Ж. д'Эстен: «Сегодня, на 550-й годовщине освобождения Орлеана Жанной д'Арк, которая является одновременно и 34-й годовщиной 8 мая 1945 года, как бы погружаешься в историю самого сердца Франции... Нет ничего искусственного в том, что мы связываем эти даты».

Вот и живое подтверждение этих слов: в огромном кортеже, шествовавшем по улицам Орлеана, проехали закованные в латы конные средневековые рыцари с Жанной д'Арк во главе, а впереди и сзади них с орденами на груди шли ветераны последней войны. Седые старики — рядом со своими детьми, обрядившимися в музейные доспехи предков, как бы специально затем, чтобы отвести мысль о маскараде. Каждый народ по праву чтит своих героев, с мечом в руках добывавших ему свободу, мир, без колебания жертвовавших жизнью ради этих священных понятий, — так прочитывались громовые рукоплескания орлеанских улиц Жанне д'Арк и живым ветеранам второй мировой. Но лучшим увековечиванием их подвигов, их памяти нынче являются мирные договоры, дружеские узы народов — так прочитывались рукоплескания президенту Франции, который в продолжение инициатив своих предшественников Шарля де Голля и Жоржа Помпиду заявляет о своей верности курсу разрядки, дружеских контактов Франции и СССР.

Да, в истории все рядом и верхние ее этажи стоят на нижних...

Директор административного комитета при мэре города мсье Ж. Б. Кузен по традиции каждый год назначается главным организатором праздника. Можете представить, как он занят в эти дни: в Орлеан прибывают делегации от сотен французских

городов, от городов-побратимов из других стран, надо всех разместить в гостиницах, всем отвести место в юбилейном кортеже... Время для интервью мсье Кузен назначил мне на девять часов вечера... в церкви Сен-Марсо. Здесь шел концерт в честь Жанны д'Арк. Почему, однако, выбрана неприметная церквушка на окраине, а не величественный орлеанский собор?

— Да ведь сегодня шестое мая, — ответил мсье Кузен. — Именно в этот день в бою за мост через Луару Жанна д'Арк была ранена стрелой в плечо. Может быть, на этом самом месте, где мы стоим, ей перевязывали рану... Словом, концерт приближен к месту действия.

— Кто в этот раз выбран на роль Жанны д'Арк?

— Эту девушку зовут Вероника де Борд де Жанзак. Простая девушка, из простой семьи, хотя в имени ее и много «де». Кстати, родители ее здесь, на концерте. Это два слепых старика. На роль Жанны д'Арк каждый год выбирается новая девушка, и принцип здесь такой: один год из светской школы, следующий год из церковной. Сейчас очередь ученицы церковной школы. Ну а выбирает претендентку специальный комитет, объединяющий представителей церкви, университета и молодежных организаций города. Принципы? Ей должно быть семнадцать — девятнадцать лет, как самой Жанне. Ее репутация и репутация семьи должны быть безупречны. Ну и еще одно... она должна быть католичкой, это понятно, как сама Жанна д'Арк...

— Значит, Веронику можно считать 550-й исполнительницей роли Жанны?

— О нет. Кстати, в первый раз, а именно 8 мая 1429 года, свое освобождение Орлеан праздновал с участием самой Жанны д'Арк. В 1430 году городские власти решили отмечать юбилей ежегодно, но Жанна уже была в руках англичан. Потом бывало немало перерывов. Отменяли праздник гугеноты в период религиозных войн, отменяли захватчики, посягавшие на нашу землю. Но все же праздник возрождался снова. Ну а традиция выбирать Жанну относительно недавняя. Ей лет двадцать. То есть появилась она после войны. И это тоже примечательно, потому что 8 мая Жанны д'Арк органически вобрало в себя и день победы во второй мировой войне. Такие, казалось бы, далекие события... Кстати, знаете ли вы, что дом, в котором жила Жанна д'Арк, через пятьсот с лишним лет был разрушен бомбой? Орлеан по сохранившимся снимкам отстроил дом и в 1965 году открыл его снова. Теперь в нем музей Жанны...

...Та бомба была английского производства. Она предназначалась для моста через Луару, но летчик чуть промахнулся — и дом Жанны превратился в груды головешек и камней. Как взвыли тотчас французские коллаборационисты! «Прицельное попадание!», «Месть через пять веков!», «Преступник всегда возвращается на место преступления!» — так визжали коллабо в 1944 году, пытаясь досадную случайность войны преподнести как акт запоздалой исторической мести со стороны союзников. Увы, имя Жанны упоминалось все. Будь она жива в эту пору, наверняка ушла бы в Спротивление, в маки, наверняка не успокоилась бы до тех пор, пока родную землю не покинул бы последний захватчик, явившийся из-за Рейна. Как пять с лишним веков перед тем не могла примириться с захватчиками, явившимися из-за Ла-Манша. Но коллаборационистской пропаганде угодна была не Жанна — патриотка Франции, а Жанна — противница англичан. Вроде бы незаметное смещение понятий, однако далеко идущий смысл этого трюка сводился к оправданию альянса вишистской Франции с германским рейхом, альянса, в котором видели фундамент некой «новой Европы», захватившей на бредовых фюрерских дрожжах. Жанну д'Арк силились сделать защитницей этого альянса, его мироносной эмблемой. Ее снова жгли на костре — жгли новые чужеземные захватчики и новые домашние предатели. Это то, чего больше всего она боялась и при жизни: это была измена ее делу, ее идеалам.

Другая Франция — Франция, сражавшаяся с фашизмом, — хранила и другой образ своей великой национальной героини: образ страстной, неподкупной патриотки, пренсюлненной веры в свой народ, готовой взойти на костер ради его свободы. Коллаборационистская тень так и не пристала к ее имени, сколько ни приложили к тому усялий вишисты и фашисты. Они могли убедить и обмануть только себя. Альянс захватчиков и предателей окончательно разрушило 8 мая 1945 года.

Нет, Орлеан праздновал не просто две совпадающие даты. В этих датах совпадает нечто большее — далеко отстоя по времени, они близко совпадают по исторической сути. Чтобы охватить, осмыслить эту близость, вернемся на пять с полови-

ной столетий назад, в позднее средневековье, в изломанную и запутавшуюся Европу, в Столетнюю войну, в безумную пляску ее мечей.

Жанна д'Арк родилась в 1412 году. В семнадцать лет известие об осаде Орлеана толкнуло ее уйти из отчего дома. Е девятнадцать лет ее уже сожгли на костре. И так, не считая детства и отрочества в родном селе Дотреми, она всего только два года и прожила активной общественной жизнью (уж простите анкетный штамп новейших времен!). И эти два года делятся ровно пополам: один — походы, сражения, полководчество, другой — тюремное заключение, изнурительные допросы, изуверский инквизиционный процесс. «Разве, покидая отца с матерью, вы не думали, что совершаете грех?» — спросят ее на суде. «Имей я даже сто отцов и сто матерей, будь я даже дочерью короля, я бы все равно это сделала», — ответит она. Шла Столетняя война, которая продлится на самом деле 116 лет, — в шесть раз длиннее жизни Жанны д'Арк. Еще не знали и знать не могли этих мер, и Жанна не знала, что путь ее от Дотреми до Руана займет всего два года. Но зато она знала другое: что именно она призвана сделать в этой войне перелом. Она ушла из Дотреми, движимая четырьмя целями, и первая из них звучала так: освободить Орлеан.

Истории шел 1428 год. Жанне шел семнадцатый.

К тому времени весь север Франции до самой Луары попал во владение английской короны. Да еще с востока к ней добровольно примкнул свои земли герцог Бургундии Филипп. Строго говоря, Франция уже проиграла Столетнюю войну. Она даже перестала существовать как суверенное государство, став частью объединенного Англо-Французского королевства с английским монархом на троне. Эти торжонные условия и отразил договор в Труа от 1420 года, который с французской стороны поддержала королева Изабо. Почему королева, не король? Король помутился разумом. Да, в довершение всех несчастий в столь тяжелое для Франции время на ее троне почти тридцать лет восседал призрак — владыка с большой душой, марионетка в руках англичан. Они терпеливо ждут его смерти и аккуратно платят королеве две тысячи золотых экю в месяц. Торгуя трон, королева торгует родиной. Дошло до того, что своего старшего сына дофина Карла она объявила рожденным вне брака. Сына это лишило надежды на престол, Францию — единственного в ее глазах законного наследника власти. Не дожидаясь смерти своего соперника, английский король перебирается в Париж...

Если договор в Труа решил судьбу одной половины Франции, то судьба другой половины зависела от исхода битвы за Орлеан. Это был последний бастион французов на демаркационной линии, которая прошла по Луаре. Захватив город и мост через реку, англичане могли бы вложить мечи в ножны и до самых южных французских границ пустить коней шагом.

...И еще раз, века и века спустя, в 1940 году, по той же Луаре пройдет демаркационная линия, став границей между германским рейхом и петеновской Францией. Маршал Петен окажет своей стране такую же точно услугу, как некогда королева Изабо и бургундский герцог Филипп.

Коллаборационисты водились и в средние века.

Это с именами Изабо де Бавьер и Жанны д'Арк французский народ связал пословицу: женщина продала Францию, девушка ее спасет. Молва о девушке-спасительнице достигла и Дотреми. У нас есть много оснований считать, что именно этот слух и мог решить судьбу Жанны. Она, по-видимому, сказала себе: это я, меня зовут.

В Бургундии, сплошь отдавшейся врагу, был один отважный замок с отважным капитаном во главе — Робером де Бодрикуром. Сюда-то, в Вокулёр, самый близкий от родного Дотреми городок, оставшийся верным французской короне, и явилась крестьянская девушка Жанна д'Арк. Капитан очень быстро устал ее слушать и выпроводил домой. Она вернулась. Он снова ее слушал, сердился, вполне можно поручиться, что кричал что-нибудь в том духе, что, мол, война не для баб, но все же постепенно капитан смягчался и даже стал впадать в размышления. В конце концов он дал ей эскорт в шесть человек и послал в дальний замок Шинон, куда эта крохотная освободительная армия добиралась одиннадцать дней.

В Шиноне жил обиженный мамой, надломленный неудачами, понурый и слезливый дофин. Отец его уже умер; дофина уже льстиво величали Карлом VII, однако

какой же он король? Все французские короли короновались в Реймском соборе (только Наполеон, заметим в скобках, через четыре века нарушит традицию и императорский венец наденет в соборе Парижской богородицы). Реймс был в руках врагов, туда было ни дойти, ни доехать. Жила еще и королева-мама, отнявшая у французов Францию, у сына — престол. Шинон, где к концу того же XV века родится веселый остряк Рабле, был погружен в мрачную безысходность Столетней войны. Если падет Орлеан — отсюда надо сниматься тотчас... Вот в такое-то унылое время является одетая в белое, на белом коне, с белой лилией на стяге пастушка откуда-то из Лотарингии, про которую король не мог бы с уверенностью сказать, его ли еще это земля или уже не его.

В жизни Жанна не видела короля-дофина, но, допущенная во дворец, почему-то сразу угадала его в этом плохо одетом угрюмом молодом человеке — вассалы были богаче и одевались роскошней. Это моментальное угадывание престолонаследника, зафиксированное в свидетельствах многих очевидцев, историки склонны расценивать как сверхъестественный дар Жанны, как способность к провидению. Вторая загадка, мучающая жоанистов: известно, что Жанна подошла к дофину и что-то ему сказала, но сказала неслышно для других. Что же именно? Вот где простор для фантазий, вот откуда берет исток и легенда про даму из Армуаза! Но к этому мы еще вернемся ниже. А пока первая версия: Жанна могла сказать дофину, что, будучи послана богом, она коронует его в Реймском соборе. На короля.

По-видимому, именно это и сказала Жанна, потому что это и составляло ее вторую цель. Своим инквизиторам она скажет, что всего этих целей было четыре. Итак, перечислим их все: освободить Орлеан; короновать короля в Реймском соборе, что означало прежде всего освободить Реймс; изгнать английских захватчиков из Франции; освободить орлеанского герцога Карла, уже четверть века остававшегося пленником англичан. При жизни она выполнит лишь две задачи, но, пожалуй, не зря историки приписывают ее заслугам исполнение и двух остальных.

Если Жанна сообщила дофину про божественную свою миссию короновать его в Реймсе, можно понять, почему он выказал к ней интерес. Но дальше все пошло не так просто. Больше месяца — весь март и первую апрельскую неделю — она пробыла в Пуатье, где находился королевский парламент. Дофин и сам приехал в Пуатье и живо интересовался ходом «экзамена», который изо дня в день юной пастушке, подпыхавшей крестиками, учиняли парламентарии и профессора. Как жаль, что протокол этого экзамена не уцелел! Впрочем, мы достаточно полно представляем его содержание: на него сделано много ссылок в протоколах инквизиционного суда 1430—1431 годов и реабилитационного процесса 1455—1456 годов. Но огорчение историков можно понять: по их догадке, именно «экзамен в Пуатье» содержал наиболее полные сведения о личности Жанны д'Арк.

Ученые мужи дотошно настаивали явить им «знаки», подтверждающие, якобы действительно Жанна самим божественным провидением уполномочена исполнить свои невероятные намерения. Известен ее ответ, повторенный множеством раз: «Именем бога заклинаю вас: я пришла в Пуатье не затем, чтобы представлять вам какие-то знаки; отправьте меня скорее в Орлеан: там я представляю знаки, ради которых я явилась! Дайте мне столько людей, сколько вы посчитаете нужным, и я пойду в Орлеан!»

Шушукался двор, мучился мыслью дофин. Но вот «экзамен в Пуатье» закончен. Профессора теологии отметили в Жанне незаурядную, волевою натуру, смелый ум, находчивость на ответ, на слово, а главное, фанатичную набожность, соединяющуюся с непоколебимой верой в свое предназначение. Да еще белая хоругвь, белая лилия, белый наряд — неужто мало «знаков»? Мало. «Божественность» Жанны в духе нравов эпохи нуждалась еще в одном подтверждении. И вот учреждается что-то вроде женконсультации во главе с сицилийской королевой Поландой д'Арагон, тещей некоронованного дофина. Дамы-эксперты подтверждают: да, Жанна целомудренна. Теологи толкуют это как взаврадашний божественный знак...

Свое небольшое войско она повела в Орлеан под именем Девы, а всего через девять дней освобожденный город проводит ее уже с двойным именем — Орлеанской Девы.

Девяносто второй год шла Столетняя война. Больше полугодом длилась уже и осада Орлеана. И вдруг всего за каких-то девять дней столь крутой, ~~перелом~~ и в ходе осады и в ходе войны — право, да не мистика ли? Нет. Все события, ~~фрагменты~~, вылазки, затишья этих девяти дней — все известно нам достаточно полно и точно.

Тут уж Жанна д'Арк знаки свои явила неопровержимо и современникам и потомкам. Когда побережья Луары окрасились в красный цвет, когда мост был отбит и дозорные вглядывались в сторону неприятеля в ожидании новых штурмов, вдруг — это было 8 мая, в воскресный день — английская армия сняла осаду и начала отход.

В тот день и был первый праздник в честь Жанны д'Арк, на котором она присутствовала лично. В тот день и стала она Орлеанской Девой — народная молва это имя укрупнит и возвысит до Девы Франции. Коронованный вскоре в Реймсском соборе, расцедрится и король; выходцы из рода д'Арк отныне могли присоединять к своему имени почетную приставку дю Лис, соответственно им даровался герб белой лилии (*lys* по-французски — лилия).

...Но почему она? Почему она, а не блестящие рыцари графских, герцогских и даже королевских кровей, которых немало понаехало в Орлеан с толпами вооруженных слуг, — почему девушка, а не мужчины оказалась на авансцене истории, на самом гребне событий? С такими вопросами я пришел к мадемуазель Режине Перну. Это виднейший специалист по истории средних веков вообще, по жоаниане в частности. Она живет в Париже и работает в Национальном архиве. Пять лет назад она предложила создать в Орлеане Центр Жанны д'Арк. Муниципалитет поддержал не без колебаний: откуда взять документы, реликвии, какие библиотеки мира расстанутся с подлинниками, даже если речь идет о городе, который по праву считает Орлеанскую Деву своей дочерью? И все-таки Режина Перну в шестьдесят пять лет взяла на себя этот титанический труд. Центр родился. В микрофишках и микрофильмах здесь собраны практически все документы о Жанне д'Арк, рассеянные по миру, — число их перевалило за 6 тысяч. В октябре прошлого года на colloquium, посвященный Жанне д'Арк, орлеанский центр пригласил советского историка А. П. Левандовского. Я был рад присовокупить к орлеанскому архиву снимки из фильма «Начало», где роль Жанны играет Инна Чурикова: эти снимки понадобились Центру для оформления праздничных стендов. Из добрых 20 фильмов о Жанне д'Арк эту картину мадемуазель Перну находит лучшей.

— Почему не мужчины, не знать, а девушка из народа?.. — повторяет она вопрос. — А ведь, если хотите, именно здесь камень преткновения для всех историков, отсюда, из этого сомнения, рождаются легенды в противовес фактам... А ведь все проще. Не забывайте: то был XV век. Мы толкуем средневековье как мрачную и беззаконную эпоху, и это во многом так. Но были у нее и свои особенности. Отношение к женщине, к девушке было еще совсем иным, чем станет уже в XVI веке. Да, представьте, это уживалось вместе: сжигание ведьм, клерикальная инквизиция — и обожествление женщины, девушки, матери. Но феномен Жанны д'Арк объясняется еще одним обстоятельством: не находилось лидера-мужчины. Это, может быть, смутно понимала Жанна, зато ясно осознал безвольный, нерешительный Карл Валуа, которого она сделает полновластным французским государем. Эта девушка с белой лилией... она воспринималась как посланница свыше. Вот в это Жанна поверила сама и заставила поверить других.

— А если все же без всякой мистики?

— Если тут и есть мистика, то, поверьте, не в личности. Мистицизм, провидение, божественность — лишь сопутствующие факторы в судьбе Жанны д'Арк. Пропаганда XV века опиралась на эти понятия, да, но движущей пружиной событий являлось совсем другое. Жанна выдвинулась из народа, народ сделал ее своей избранницей, предводителем. Вот и весь секрет.

— Лично вы несколько не сомневаетесь в достоверности ее биографии? Неграмотная пастушка, отец, мать — бедные крестьяне...

— Нет-нет, средние по достатку, — возразила мадемуазель Перну. — Когда Жанна ушла из Домреми, война туда еще только подбиралась. Крестьянские хозяйства там были крепче, чем в центральной Франции, дотла разоренной войной. Вспомните Жакерию...

— Собственно, не в этом суть. Вот я хотел бы прочесть документ, который, не сомневаюсь, вам известен. Это старинная купчая, по которой можно судить, что в 1436 году Жанна д'Арк вышла замуж за...

— Дам! из Армуаза! — воскликнула Режина Перну. — Опять эта дама из Армуаза! Знаю, знаю. Многовековая афера, которая никак не закончится и в наши дни...

— Но ведь купчая... документ...

— Это документ достоверный, его принадлежность своему времени не оспаривает никто. Но в нем недостоверны как раз эти слова: «Дева Франции, Жанна дю Лис». Личность Жанны д'Арк была слишком привлекательной, чтобы на ее имя, титулы, славу, популярность не посягнули авантюристки. Скажу больше: в расходах орлеанских городских властей за 1436 год зафиксирована выплата двух золотых реалов лицу, доставившему в Орлеан письма Девы. Наконец, в 1439 году и сама она, восстав из пепла, пожаловала в город, который встретил ее колоколами. Город даже отменил поминовение в память ее мученической смерти, отмечавшееся с 1431 года.

— Как это... объяснить?

— Я думаю, очень просто: орлеанцы действительно чаяли видеть свою любимицу живой. Они жаждали чуда... а чудо было сомнительное. Праздник 1439 года с участием лже-Девы больше не повторился. И знаете почему? В 1440 году Орлеан пригласил мать Жанны д'Арк Изабеллу Роме из Домреми к себе на постоянное местожительство и положил ей пенсioen, в решении о котором, к слову, сказано: «Для матери покойной Девы». Так что с 1440 года авантюристки хотя и не перестали появляться, но все больше на окраинах, наведываться в Орлеан они больше не смели. Кстати, в том же году дама из Армуза была разоблачена парижским магистратом. Она рассказала суду о своих авантюрных похождениях, принесла покаяние.

— Тогда почему же никак не уgomонятся потомки?

Мадемуазель Перну пожала плечами, встала и принесла из соседней комнаты толстую папку — письма.

— Отовсюду пишут,— сказала она.— Тут много милых, наивных писем. Но есть и настойчивые, самоуверенные, злые: как это, мол, вы не признаете меня потомком, когда я точно знаю, что я потомок и есть? Приходится отвечать, приводить исторические факты, а иногда и проверять версии, но все они, конечно, лопаются, как мыльные пузыри.

Живы «дети лейтенанта Шмидта!» Где-то уже в 40-х годах нашего века очередной потомок дамы из Армуза отважился приехать в Орлеан с визитом. Колокола молчали. В муниципалитете графа накормили обедом.

Историки, придерживающиеся даже самых противоположных позиций, сходятся тем не менее в одном: в пробуждении французского национального самосознания Жанна д'Арк сыграла решающую роль. Это справедливо не только для XV века, но и для следующих эпох. Не Жанна ли д'Арк, в частности, предопределила женский национальный символ своей родины? Не ее ли черты запечатлены в профиле Марианны, как она предстает перед нами на картине Эжена Делакруа,— в красном фригийском колпаке, со знаменем в руках, увлекающая своих соотечественников на баррикады? Они сестры, Жанна и Марианна. Несмотря на конкретность «старшей» и символичность «младшей», образы их равно овеяны тем духом галльского свободолюбия и патриотизма, которые в часы величайших исторических испытаний умеет явить только народ. Выдвигая на авансцену истории своих лучших представителей, народ словно возлагал на них свое самое ответственное поручение — быть полководцами его духа, чаяний, надежд. Да, Жанна д'Арк разбудила национальное самосознание сограждан. Но можно с полным основанием сказать также, что этой же силой рождена и она сама.

Однако уже веками живут легенды, обрастающие сейчас всякого рода новыми толкованиями, смысл которых вкратце в том и состоит, чтобы разорвать эту связь: признавая ее в одном направлении — от Жанны к народу, отвергают ее в другом — от народа к Жанне. Ярче всего это выражается в версии об аристократическом происхождении Жанны: то, что в XV веке разгуливало как слух, теперь сделалось едва ли не научной гипотезой. Вот лишь один показательный пример того, как фабрикуются подобные аргументы. Помните ответ Жанны своим истязателям в руанских застенках? «Имей я даже сто отцов и сто матерей, будь я даже дочерью короля, я бы все равно это сделала», то есть ушла бы из дому сражаться за свободу родины. Категоричный и недвусмысленный ответ. Ан нет! Иные исследователи усматривают здесь ни много ни мало... косвенное признание Жанны в ее принадлежности к королевской семье. «Будь я даже дочерью короля» — эти слова, дескать, подтверждают, что она является дочерью королевы. Лишь королевы!

Вспомним и происшествие в замке Шинон ранней весной 1429 года: Впервые представленная двору, никогда до того не видевшая дофина, Жанна тем не менее инстинктивно направляется к нему что-то сказать. Как могла она узнать его безо всякой подсказки?



Ведь дофин, которому сапожник отказывался шить сапоги в долг, дофин, которого мама на весь мир ославил незаконнорожденным сыном, бастардом, этот понурый, плаксивый остроносый человек в толпе своих вассалов выглядел как слуга. Провидение ли, некое ли сверхъестественное чувство шепнуло Жанне, кто в этой толпе наследник французского престола? Или, возможно, связанные странной тайной, они подали друг другу какой-то знак, сигнал? Допустим. Гораздо важнее, о чем был их первый, не услышанный посторонними разговор — царедворцы отступили, почтительно образовав круг. Один вариант разговора мы знаем: Жанна д'Арк, представившись пастушкой из Домреми, сообщила дофину о своей божественной миссии короновать его в Реймском соборе. Другой вариант выглядит так (привожу разговор в том виде, как он предполагается сторонниками версии о королевском происхождении Жанны д'Арк):

— Я твоя сводная сестра. У нас одна мать. Но это я рождена бастардом, а ты действительно сын короля.

Разумеется, после такого пролога Жанне д'Арк был обеспечен и самый радушный прием и головокружительная карьера. Теперь и все повороты в ее судьбе, кажущиеся такими фантастическими, объясняются волшебным просто: ведь она пастушка-принцесса. Как же попала принцесса в Лотарингию, да еще в крестьянский дом? На престоле Франции за всю ее историю, пожалуй, не было женщины, столь прославившейся своим скандальным адюльтером, как королева Изабо де Баввер. Супруга душевнобольного короля Карла VI была матерью двенадцати детей. Пытаясь укрыть от глаз грешный плод своего романа с герцогом Людовиком Орлеанским, она будто бы спроводила на воспитание в Лотарингию свою последнюю дочь, родившуюся в 1407 году... Но вот наступила полночь Столетней войны. Орлеан остается последним оплотом Франции на пути английской экспансии на юг. В этот трудный час шинонский двор во главе с бессапожным дофином разрабатывает операцию «Божия пастушка» и усиленно распространяет в народе слух о скором пришествии девушки, которая спасет Францию, проданную королевой-матерью. Спешно снаряжают эскорт за выросшей в людях принцессой. Даже само ее имя — Орлеанская Дева — в таком изложении событий трактуют как доказательство аристократического происхождения, отвергая его, таким образом, как выражение народной признательности Жанне д'Арк. Так прокладывается прямая родственная связь между королевой Изабо, распродававшей Францию по курсу две тысячи золотых экю в месяц, отдавшей ее в полное владение английскому двору, по требованию оккупантов провозгласившей бастардом старшего сына, — и крестьянской девушкой из Домреми, за один год повернувшей вспять ход Столетней войны, возвратившей престол французскому королю, самой своей жизнью и смертью зачеркнувшей постыдный для родины договор в Труа! Что может быть более несовместимо, чем эти два образа? Но дело в конечном счете не в эмоциях, а в фактах. Реабилитационный процесс по делу Жанны д'Арк, состоявшийся в 1455—1456 годах, проходивший последовательно в Париже, Руане, Орлеане и Домреми, собравший свидетельства ее близких, односельчан, товарищей по оружию, служителей церкви и даже членов руанского трибунала, не оставил никаких сомнений в подлинности Жанны д'Арк — дочери крестьян из Домреми Жака д'Арка и Изабеллы Роме, дочери французского народа. А мифическая лотарингская принцесса? След ее в истории донельзя зыбок: даже само предположение о ее существовании выводится из старинных слухов, домыслов, шушуканья. Более того, в XVIII веке историк, знаток королевских династий Вилларе установил, что последнее, двенадцатое чадо королевы Изабо при рождении, получило имя... Филипп. Это был мальчик! Он очень скоро умер... чтобы воскреснуть через несколько веков, на сей раз девочкой. Уже после смерти Вилларе неизвестная рука вторглась в его труды; в посмертном издании, которое Вилларе не готовил к печати и не мог в нем ничего исправить, Филиппа неожиданно переименовали в Жанну и оставили жить. Нелегко ответить, кому и зачем понадобилась эта фальсификация тогда. Да и для нас важнее вопрос, кому и зачем она нужна сегодня.

Если исследователи, продолжающие упрямо верить в версию о принцессе-пастушке, в конце концов нашли себе прозвище бастардистов (Жан Жакоби, Эдуард Шнейдер, Жан Бослер, Жан Банкал), то в 1952 году с имени Жана Гримо («Жанна д'Арк, была ли она сожжена?») в жоаниане возникло еще одно направление — сюрвивисты. Это те, кто разделяет уверенность, что героиня осталась жива (*survivre* по-французски — выжить), что, следовательно, вместо нее на костер взойшла другая жертва. Не все сюрвивисты обязательно и бастардисты, зато почти все бастардисты с по-

явлением нового научного переулка могли поздравить себя теперь уже с двойной ученой репутацией. Сюрвивистам все равно, была Жанна пастушкой или принцессой, — как говорится, им интересно другое. А бастардисты и раньше, пусть не все, но большинство, отметили тезис о сожжении: ведь особа-то королевских кровей! Какой ужас ни внушала средневековая инквизиция, как ни всеильна была она, но даже ей не по плечу было бросить такой вызов монархам и монаршим отпрыскам. Так рассуждают бастардисты.

Хотя в одной Франции Жанне д'Арк воздвигнуто свыше 500 монументов, хотя в честь ее колоссальные празднества уже шестой век проводит Орлеан, а с прошлого года такую же традицию начал и Руан, где на месте инквизиционного костра вырос грандиозный мемориальный центр, хотя от школьных учебников до официальных документов — везде ее именуют пастушкой из Домреми, случайно ли при всем этом сквозь века дотащилось до наших дней шушуканье о принцессе-пастушке, нынче став предметом историографии? В поиске ответа ключ нам протягивает сама Жанна д'Арк: «Я боюсь только измены».

...Изменой заплатил ей тот, кому она вернула королевство. Ее заточение длилось один год и одну неделю. Ровно половину этого срока она могла жить надеждой: бургундский герцог готов был за выкуп отдать свою пленницу французскому королю. Но Карл Валуа не откликнулся. Он устал. Его королевское величество уязвлялось постоянным соседством и напарничеством этой лотарингской самозванки, девчонки. Окажись сейчас она рядом, он не смог бы взглянуть ей в глаза, но раз ее нет, так пусть больше и не будет. Королю надоело. Король стал тверд!

Жанну д'Арк за 10 тысяч золотых эку купили англичане. Близко к рождеству 1430 года за нею щелкнул замок в одной из башен руанского замка, резиденции английского короля. Мы не знаем, но вправе предположить, что, должно быть, здесь, в неволе, она много раз перебрала в памяти обстоятельства своего пленения. Отрезанный от главных сил небольшой отряд во весь опор мчался к королевскому городу Компьену. Вдруг у самых морд лошадей подъемный мост взлетел кверху. Измена. Чья рука нанесла этот низкий удар, по чьему приказу или наущению?

...Она до конца извела и всю глубину человеческой подлости.

60 судей в сутанах — трибунал, полностью подотчетный английским захватчикам, — полгода с иезуитским прилежанием готовили Жанне д'Арк смертный приговор. Они не дают ей покоя ни днем, ни ночью, переносят допросы прямо к ней в камеру, угрожают каленым железом, но сами отступают от замысла: для души такого закала «пытки ничего не дадут». Англичане поставили перед трибуналом задачу: обвинить Жанну д'Арк в ереси, возвести ее на костер и, таким образом, объявить коронацию Карла VII делом рук дьявола. Иначе сказать, снова лишить Францию короля, независимости, снова простереть над ней английский стяг.

Это был последний бой Жанны д'Арк за Францию. Потомки знают: она его выиграла.

У нее не удалось вырвать никаких «признаний». Она ни разу слова худого не сказала о своем короле — потому что понятия «французский король» и «французское королевство» были для нее равнозначны. Сколько богословских ловушек ни расставляли перед ней судьи, она выпутывалась из них с честью. Ее не смогли сломить; тогда ее решили обмануть. Жанна попала в плен в мужской, рыцарской одежде — ее ношение женщиной с точки зрения церковной морали было грехом. Ее принудили надеть женское платье, пообещав, что взамен передадут под суд церкви. Жанна надеялась, что таким образом она вырвется из рук англичан. Но это была всего лишь уловка. Ночью платье было выкрадено. Жанну тут же вызвали на допрос; ей ничего не оставалось, как снова надеть мужскую одежду. Так было добыто «доказательство», что она «ведьма... нечистая сила... схизматик... идолопоклонница... бесстыдно отказавшаяся от приличий, подобающих ее полу...» (из приговора). Через несколько дней ее возвели на костер.

...Церковь послала Жанну д'Арк на костер в 1431 году, церковь реабилитировала ее в 1456 году, церковь причислила ее к сонму святых в 1920 году. Достаточно взглянуть на эти даты, чтобы понять: нет, это не Жанне д'Арк, это святой католической церкви пять веков пришлось смывать со своего имени позор предательства, черную краску мракобесия.

Еще одна дата просится в этот ряд. Вспомним: папа Григорий IX учредил святую инквизицию для борьбы с ересью в 1231 году. Жанну д'Арк инквизиция сожгла, таким образом, на костре своего двухсотлетнего юбилея.

В прошлом году французский журнал «Пуэн» предложил дипломатам 9 стран Европейского Экономического Сообщества, работающим в Париже, назвать имена 50 великих людей, сыгравших наибольшую роль в судьбе европейской цивилизации и культуры. Это не какой-то широкий общественный опрос, и тем не менее он весьма любопытен. Грандами, поделившими первое—второе места, названы Шекспир и Леонардо да Винчи. Тринадцатое место разделили астроном Галилео Галилей и европейский первопечатник Карл Гутенберг. Вот уж поистине несчастливый номер! Мало того что выдающегося ученого в 1633 году святая инквизиция, выложив перед ним орудия пыток, заставила отречься от своих взглядов на Вселенную, на Землю в мире планет («А все-таки она вертится!»). Ему еще пришлось ждать своей реабилитации ровно 346 лет. Она ведь сделана только в 1979 году по предложению папы Иоанна-Павла II. Церковь наконец признала, что флорентийский ученый «много страдал — мы не можем теперь скрывать этого — от притеснений со стороны церкви», однако само его покаяние свидетельствует о «божественном озарении в уме ученого». Так даже позорящий ее факт церковь задним числом преподносит в качестве аргумента, якобы подтверждающего «гармонию веры и знания, религии и науки». Эти выдержки взяты из речи Иоанна-Павла II, которую он произнес в ноябре 1979 года перед членами папской Академии наук на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Альберта Эйнштейна. Хотя приговор Галилею был написан на двести лет позже, чем Жанне д'Арк, хотя перед церковью они «провинились» по-разному, тем не менее главным пунктом обвинения в обоих случаях была ересь. Жанне д'Арк этот грех церковь простила уже через двадцать пять лет после ее смерти, Галилею пришлось ждать, как видим, почти четыре века...

Тем не менее полного прощения Жанна д'Арк так никогда и не получила. В упомянутой выше анкете ее имя попросту отсутствует. Совсем не случайно, если принять во внимание, кому адресована анкета. В этом пропуске, вольном или невольном, — обвинение Жанне д'Арк в новой ереси, более серьезной, чем религиозная схизма. А по существу неграмотной пастушке надлежало бы возглавить эту анкету, встав впереди гениев — Шекспира и да Винчи. Если дипломаты ЕЭС отказали ей в чести занять даже пятидесятое место, так это потому, что в судьбе Европы Жанна д'Арк сыграла даже отрицательную. Выдающуюся, но отрицательную.

Какую же новую вину навлекла на себя героиня-еретичка?

Мы коснулись пока лишь тех поворотов и загадок в ее судьбе, которыми питаются старые кривотолки и которыми питаются новейшие фальсификации. Они, как правило, связываются. Жанну д'Арк не пытали железом в тюрьме, на костре сожгли не ее; все это значит, утверждают бастардисты, что она и в самом деле была особой королевских кровей. Карл VII знал, что вместо Жанны на костер возведет другую мученицу, стало быть, он мог не беспокоиться о судьбе своей спасительницы; все это значит, утверждают сюрвивисты, что король свою пастушку не предавал. Принцесса ли, пастушка ли — не важно, но если на костре сожгли не ее, не Жанну д'Арк, значит, перед историей чудесным образом оказываются обелены все. И короли. И инквизиторы. И захватчики. К какой благостной гармонии приходит этот кусочек европейской истории, несмотря на войну, ставшую уделом целых стран, народов, поколений!

Теперь на Западе все громче слышны голоса: дескать, не будь Жанны д'Арк, не вмешайся она в естественный ход исторических процессов, все европейское и даже мировое развитие пошло бы по-другому. Говорится это с большой досадой на Жанну. Ведь она так спутала карты средневековым политикам, что их современные коллеги до сих пор никак не разложат пасьянс. О да, признают эти новые политики, мы, конечно, все понимаем... да, конечно, Жанна д'Арк — национальная героиня, святыня, символ... но если трезво взглянуть на историю, если взять да допустить...

Вот они берут и допускают: а если бы не было Жанны д'Арк? Как сложилась бы история Франции? Не выдержав осады, Орлеан сдался бы врагу или пал после решающего сражения. Англичане перешли бы демаркационную линию по Луаре и легко присоединили к своим владениям весь французский юг. Шинонский дофин, и без того лишенный родительского благословения, никогда не сделался бы Карлом VII

Валуа. Плантагенеты и Ланкастеры стали бы королями Англии и Франции. То есть свершилось бы все то, что и предусматривал договор от 1420 года, заключенный в Труа: действительно образовалось бы Англо-Французское королевство с английским монархом на троне. Все это сулило бы потомкам неисчислимые выгоды. Столетняя война закончилась бы раньше срока и, видимо, надежным, если не вечным, миром (!). Ведь — и это главное — два ведущих государства Европы, почти шесть веков назад образовав конфедерацию, в рамках которой каждое из них сохранило бы свой парламент, администрацию, законы, привычки, тем самым заложили бы основы, прообраз той единой Европы, которую с таким скрипом приходится строить сейчас! «Отныне и навеки веков, — гласила статья 25 договора в Труа, — прекратятся всяческие Распри и Вражда, умолкнет Ненависть и Злопамятство, прекратятся Войны между вышеупомянутыми королевствами Французским и Английским, ибо народы обоих королевств добровольно составляют Конфедерацию...» Вот какой документ появился на свет с благословения королевы Изабо в 1420 году, когда Париж был столицей «породнившихся» государств, а восьмилетняя Жанна д'Арк еще пасла овец на склонах лотарингских холмов. Через десять лет именно она, возглавив народную борьбу за освобождение родины, полностью рестроит первый в истории план создания «единой Европы».

Какая досада! — вздыхают некоторые западные историки. Пять с лишним столетий прошло с тех пор — в войнах, соперничестве, ненадежных перемириях, недолгих передышках! Европа могла бы выиграть это время... не будь Жанны д'Арк.

Буржуазная историография уже не впервые пытается представить себе, каким было бы нынешнее европейское устройство, если бы те или иные процессы в прошлом разрешились иначе. Эта своеобразная футурология, из прошлого глядящая в нынешний день, не случайно чаще всего отталкивается от черты XIV—XV веков. Здесь та демаркационная линия в европейской истории, на которой окончательно складываются нации, государства, границы в их примерно нынешнем виде. Итак, что же мог сулить Европе англо-французский союз, стань он реальностью полтысячелетия назад? Продолжим футурологическую картину мира, как она видится ряду историков и политиков. Хотя захватчиком была бы Англия, на самом деле победительницей вышла бы Франция. Англия не могла в ту пору сравниться с Францией ни по территории, ни по численности населения, ни по уровню развития. Она не в силах была бы ни колонизировать Францию, ни управлять ею. Короче, это она стала бы жертвой ассимиляции. Ее двор, принцы, лорды говорили бы на французском языке, а язык Мильтона остался бы деревенским наречием, без грамматики и без литературы. Вот как могла сложиться судьба Старого Света... если бы не Жанна д'Арк.

Но, значит, и все великие географические открытия в мире прошли бы главным образом под эгидой Франции, под французским влиянием. В Америке не было бы англо-французской войны, не было бы, вероятно, и Гражданской войны между северными и южными штатами. Короче, у Нового Света тоже была бы совсем другая история... не будь Жанны д'Арк. «Похоже на то, — замечает бывший мэр Орлеана Роже Секретен, — что Жанну д'Арк собираются судить второй раз, причем на сей раз ее вызывают... в сам Трибунал Истории».

Истинная подоплека руанского процесса, главное обвинение, которое между строк схоластического приговора было предъявлено Жанне д'Арк, в том и состояло, что она расстроила проект англо-французского конкорда. А ведь то была первая в истории попытка реализовать «ординацию ад унум», доктрину единства европейских стран, которую уже тогда сформулировала христианская церковь.

А что же инкриминируют Жанне д'Арк новые ее судьи?

550-я годовщина освобождения Орлеана близко совпала в прошлом году с выборами в Европейский парламент: первое событие, мы знаем, пришлось на май, второе — на июнь. Две пропагандистские кампании невольно перехлестнулись, то и дело вызывая исторические параллели и ассоциации. «Ох, Жанна, покровительница Франции, — иронизировала по этому поводу газета «Монд», — если б не покинула ты свое Домреми, взяв курс на Вокулёр и Шинон, теперь, быть может, мы праздновали бы пятьсот пятидесятую годовщину «единой Европы!» Захоти бог создать Европу уже тогда, он бы оставил тебя пасты овечек на берегах речки Мёз...» Да, образ Жанны д'Арк — пламенной защитницы национальных интересов плохо вяжется с доктриной нового «ординация ад унум», европейской интеграции. Чем отчетливее экономический и политический союз западноевропейских стран принимает также характер военного

блока, чем больше странам-членам приходится поступаться своими национальными интересами к выгоде транснациональных компаний, тем дальше они друг от друга — французенка Жанна и «общая» Европа. Первая же сессия Европейского парламента, в сентябре 1979 года — а в новом своем виде парламент, как известно, приобрел ряд наднациональных функций — продемонстрировала это со всей полнотой. Вспомним: о чем шла речь? О пушках и масле. О согласовании военно-индустриальных программ стран — членов сообщества и о попытке Англии наложить вето на продажу французского масла в СССР. Если прибегнуть к аллегории, то над страсбургским зданием Европарламента в сентябре 1979 года низко, тревожно пролетели две ласточки, предвещавшие грозу. И она разразилась. Уже к концу года первый вопрос — о пушках — перерос в решение НАТО установить в ряде западноевропейских стран американские стратегические ракеты нового образца. Не заглох и второй вопрос, наоборот, он стал много серьезней: между ла-маншскими соседями разгорелась «баранья война».

Дважды — сначала в 1957 году, когда «Общий рынок» был образован, затем в 1972 году, когда членом его стала Англия, — Франции пришлось взять на себя основной индустриальный риск, широко открыв границы промышленным товарам из других стран. Взамен она потребовала у партнеров предпочтительных закупок своей сельскохозяйственной продукции и дифференцированных взносов в фонд «зеленой Европы», то есть в сельскохозяйственную кассу ЕЭС. Поскольку Англия выговорила себе право сохранить свои имперские связи с бывшими колониями, «Общий рынок» предписал ей вносить в общую кассу повышенный взнос. И то со следующей оговоркой: ввозимая из заморских стран продукция не должна попадать в общеторговые европейские ряды. Шесть лет этот порядок оставался неизменным.

Придя в 1979 году к власти, правительство тори во главе с Маргарет Тэтчер — «железной леди», как прозвала ее западная пресса, — объявило эти условия дискриминационными. Первое из них оно пригрозило решить в одностороннем порядке, резко уменьшив свои взносы в аграрный фонд «Общего рынка». Не менее горячую дискуссию вызвало решительное требование Англии устранить внутри сообщества все барьеры, мешающие свободной торговле сельскохозяйственной продукцией. Отсюда и берет истоки «баранья война».

Англия и Франция (соответственно 89 тысяч и 170 тысяч ферм) — наиболее крупные производители баранины в Западной Европе (их доля: 47 и 30 процентов). Уже из этих сравнений видно, что продуктивность английской фермы намного выше, чем французской. Тем не менее обе страны вынуждены также закупать мясо. Только в 1978 году Великобритания ввезла 220 тысяч тонн новозеландской баранины, которая, несмотря на транспортные издержки и таможенную пошлину, все же оказывается дешевле английской. Опираясь на свою заморскую базу, Англия стремится захватить ключевые позиции в снабжении этим видом мяса населения западноевропейских стран, с чем никак не может согласиться Франция, которой уж и так пришлось сильно сократить свое овечье хозяйство, в том числе в Лотарингии, где на берегах реки Мёз пасла овец Жанна д'Арк. Поэтому она закрыла свои границы для англо-новозеландских поставок, а на продукцию собственных хозяйств поддерживает протекционистские цены. Как видим, прошлое оживает в настоящем отнюдь не отвлеченными, а совершенно реальными ассоциациями...

«Баранья война» обнажила острейшие противоречия внутри «Общего рынка». Англия за принцип полной свободы торговли. Франция категорически против: по ее мнению, это подорвет сообщество как таковое. «Европейское сотрудничество вроде как обруч, — сетует газета «Фигаро», — как только его перестаешь катить, он падает». Как катить обруч при таких противоречиях? По обе стороны Ла-Манша демонстративно сжигают чужие знамена...

«Перестанет ли наконец Великобритания быть островом?» Вопрос этот во французской прессе прозвучал в марте этого года, в самый разгар «бараньей войны», что и придало ему такую затаенную язвительность. Идея прокладки железнодорожного туннеля под самым узким местом Ла-Манша существует уже около двухсот лет, с тех пор, как французский инженер Матье-Фавье предложил Наполеону прорыть «подземную дорогу для дилижансов, мощенную брусчаткой и освещаемую керосиновыми фонарями». Лишь лет десять назад проект наконец стал осуществляться; французы прорыли со своей стороны триста метров, англичане — четыреста. Первой отшвырнула лопату Англия, обидевшись на то, что для вхождения в «Общий рынок» ей пришлось принять «французские условия». «Досье туннеля» опять открыли

лишь в начале этого года по британской инициативе. Строиться он будет исключительно за счет привлечения частных капиталов.

А что же государство, не смогло или не захотело вступить хотя бы пайщиком в осуществление столь заманчивого проекта? Похоже на то, что все свои насущные пенсы Англия срочно обратила на другие нужды. Нет, не на войну «моста и туннеля», не на «баранью войну», не на войну с инфляцией, безработицей, а просто — на войну. С точки зрения военно-промышленных кругов, предприятия прибыльной и перспективной нет и быть не может. Это не какие-то там мосты и туннели, это не из-под овечьих копытцев пыль, а из-под шагающих сапог!..

Так Англия ответила на резкое похолодание политического климата в мире, которое принесли в Старый Свет ветры от американских берегов. Ответила первой в Европе, не заставляя себя ни упрощать, ни ждать. Самое наиточнейшее объяснение этому феномену подыскал генерал ВВС, один из немногих во Франции «ястребов» Пьер Галлуа. «Великобритания вчера мать Соединенных Штатов Америки, а сегодня — их дочь», — похвально отозвался он о британском курсе в статье, опубликованной в журнале «Политикэтранжер», красноречиво озаглавленной «ОСВ: бесполезные и опасные переговоры». Геологи, рассматривая очертания американских и европейских берегов и странно отвалившейся от них, неизвестно куда тяготеющей английской плиты, говорят с изумлением: тектонический сдвиг! Не то ли самое скажет и любой непредвзятый политик, проанализировав курс, которым плывет она сегодня в течениях международной жизни? Только ли пятьдесят пять километров отделяют ее от европейского материка, как то следует из проекта строительства железнодорожного туннеля?

Теперь, когда можно оглянуться на прожитый Европой год, явственно видишь, где та граница, за которой возникла опасность соскользнуть от разрядки к конфронтации, — конечно же, это сентябрь 1979 года. Выстроим события в их логической последовательности. Именно в сентябре президент США Джимми Картер принимает решение добиваться переизбрания на второй срок, и американская администрация тут же запускает подробнейшим образом разработанный новый политический курс... В сентябре в Брюсселе собирается конференция НАТО по поводу ее тридцатилетия, отсюда и тема: «НАТО в предстоящие 30 лет». Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступает с докладом, смысл которого весь в следующих строках: «Если нынешние тенденции сохранятся, 80-е годы станут для всех нас периодом серьезных кризисов...» Под нынешними тенденциями подразумеваются тенденции 70-х годов, которые на климате планеты отразились самым благотворным образом!.. И наконец, в том же сентябре на свое первое заседание собирается Европейский парламент, который с ходу принимается обсуждать совместные программы производства и поставок вооружений. И даже масло — уж до чего мирный продукт! — приравнивает к категории «продовольственного оружия».

В Европейском парламенте 410 депутатских мест: по 81 — от Франции, Англии, Италии и ФРГ, 86 — от остальных 5 участников ЕЭС. В борьбу вступило около трех тысяч кандидатов от 80 политических партий Европы, к урнам были приглашены 181 миллион избирателей. Один абсолютный рекорд, во всяком случае, эти выборы оставили в истории «девятки»: 40 процентов европейцев с правом голоса вовсе не приняли в них участия, в том числе в Англии к урнам пришли только три избирателя из десяти! Европейцы достаточно ясно продемонстрировали безразличие и недоверие к этому наднациональному органу, призванному экономическую интеграцию в странах «Общего рынка» дополнить их политическим сближением. На тенденцию к образованию политических союзов капиталистических государств в форме экономического сращивания финансовых капиталов еще в начале века указывал В. И. Ленин. И в Европарламенте, несмотря на крайне пеструю картину политического представительства, в целом чуть больше половины депутатских мандатов досталось представителям тех политических сил, которые видят в капиталистической интеграции средство защиты интересов монополистического капитала, укрепления позиций буржуазного общества. В то же время западная пропаганда не скрыла досады на «слишком значительное количество мест», доставшееся социалистам и коммунистам Европы: соответственно 111 и 44.

Во Франции основная борьба развернулась между силами, играющими ключевую роль в политической жизни страны: Союзом в защиту французской демократии (правящая партия), Объединением в пользу республики (деголлевская партия), со-

циалистической и коммунистической партиями страны. Первоначально в избирательном списке каждой из них и было 81 имя, в конечном же счете занятые ими места в Европарламенте распределились так: жискарровцы — 25, деголлевцы — 15, социалисты — 22, коммунисты — 19 депутатов. Можно, однако, сказать, что на предвыборной стадии все четыре списка открывались одним, пусть и не проставленным в них именем: именем Жанны д'Арк. Именно к ней взывали как к высшей национальной мерке, судии, именно ее именем клялись своим избирателям ни в коем случае не поступиться национальными интересами Франции. Но уже сентябрьское заседание Европарламента внесло ясность в то, как соотносятся реальность и символы. Коммунисты, социалисты и деголлевцы, выступавшие против придания парламенту наднациональных функций, выступили и против политики «пушек и масла». В правящем большинстве (к которому на уровне национального парламента принадлежат и деголлевцы) неожиданно вставшую перед ним «дилемму Жанны д'Арк» решили незамысловато просто: сохранив за ней паспорт французский, выписали ей также паспорт общеевропейский.

Вряд ли верно считать, что чем больше документов, тем больше и прав...

Аккредитованным во Франции иностранным журналистам канцелярия премьер-министра регулярно рассылает информационные бюллетени. Передо мной бюллетень № 328 от апреля 1979 года, излагающий процедуру голосования в страсбургский парламент. Живи Жанна д'Арк сегодня, будь она француженкой, немкой, итальянкой, англичанкой, голландкой и т. д., право голоса она получила бы во всех случаях: избирательный ценз для молодежи европейских стран зафиксирован с восемнадцати лет. (Вспомним, правда, что Жанна свою «активную общественную жизнь» начала с семнадцати лет.) Но вот в Европейский парламент ей бы ни за что не попасть! Трех условиям как минимум должен удовлетворять кандидат-француз: отдать родные свой воинский долг (Жанна на высоте!), пользоваться своими гражданскими и политическими правами (поставим ей второй плюс), достигнуть двадцатитрехлетнего возраста (стоп! возвращайся, Жанна, в Домреми...). Только в ФРГ возраст избрания в Европарламент провозглашается с восемнадцати лет, зато в Голландии и Италии даже с двадцати пяти.

Но пусть это лишь формальные нескладушки между национальным и общеевропейским паспортами Жанны. Если первый ассоциируется с ярлыком антиевропеистики — а ведь в этом, как мы уже знаем, и состоит смертельный Жаннин грех, — то второй не только прощает ей этот грех, но даже возводит в европеистки, причисляет к активным сторонникам нового европейского строительства. А ведь ни тем, ни другим она не была при жизни, ни тому, ни другому не соответствует она как символ. Из всех попыток исказить ее образ эта представляется самой спекулятивной и оскорбительной. Церкви и той понадобилось пять веков, чтобы из еретички сделать святую. Мастера европолитики, чтобы переписать портрет, не стали его даже вынимать из рамки.

Имя Жанны д'Арк вспоминается не только современным европолитиком. Оно приходило на ум многим государственным деятелям, вершившим судьбу Европы в XX веке.

Еще в 1914 году рождается план единой политической и экономической федерации европейских стран под германским верховодством. Авторы: канцлер Теобальд фон Бетманн-Хольвег, директор «Дойче банка» Артур фон Гвиннер и сплотившиеся вокруг Вальтера Ратенау финансово-промышленные тузы. Идея не прошла мирно — путь ей стали прокладывать войной. В 1923 году с подобным проектом выступила Англия, в 1930 году — Франция. В зависимости от того, откуда исходила идея, союз приобретал и соответствующее лидерство: германское, английское, французское...

В идеологии фашизма тезис «единой Европы, Европы равных» начисто отсутствовал: он шел бы вразрез с расовыми концепциями нацизма. Но и у Гитлера был свой план «ординацио ад унум!» «Единственная надежда, с которой связана успешная для Германии территориальная политика, сводится к захвату новых земель непосредственно в Европе», — писал он в «Майн кампф». Мир слишком хорошо знает, что слова эти не были брошены на ветер.

Дрожжи европейского единства, замешанные еще в XV веке, выбрадили лишь после окончания самой разрушительной в истории человечества войны. Инициативу взял на себя Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. В Цюрихе 19 сентября 1946 года

британский премьер предложил так «реформировать европейскую семью», найти для нее такую структуру единства, «под эгидой которой все мы жили бы в мире и безопасности. Мы должны построить что-то вроде Соединенных Штатов Европы». «Встань, Европа!» — провозгласил Черчилль. А за полгода до этого, 5 марта, он произнес еще одну памятную речь — в Фултоне, США. Тот день в новейшей истории мира запечатлен как начало «холодной войны» против СССР и лагеря социализма. Теперь прочитаем-ка эти лозунги в их хронологической последовательности: «холодная война!» встань, Европа! Так вот какая «семья», «структура», «Соединенные Штаты» померещились британскому льву — антисоветский и антикоммунистический блок капиталистических государств Европы!

В черчиллевском проекте есть и нечто новое, чего не было у предшествующих сторонников европейского объединения, — лидером будущего союза на сей раз предполагалась не отдельно Англия, а Англия и США вместе. Не на эту ли пору пришлось начало нового тектонического дрейфа британской плиты? Не этим ли первым послевоенным годом датируется перерождение Британии-мамы в Британию-дочь? Европейский блок, о котором мечтал Черчилль, уже в 1949 году ожил в военной организации НАТО (Варшавский Договор социалистических стран как ответная мера родился лишь шесть лет спустя), затем в Европейском Экономическом Сообществе, которое в 1957 году объединило 6, а начиная с 1972 года — 9 государств Западной Европы (и которое поныне противится предложениям Совета Экономической Взаимопомощи о широком хозяйственном, торговом, научно-техническом сотрудничестве).

Именно родина Жанны д'Арк заявила и стала придерживаться в политике европейского строительства иных принципов — принципов разрядки, равновесия, кооперации, взаимного уважения суверенитета государств. В противовес черчиллевской эту традицию по праву можно назвать деголлевской. «Я никогда не забывал, что Европа начинается на Гибралтаре и заканчивается на Урале», — сказал генерал де Голль на одной из пресс-конференций в 1953 году, а семь лет спустя, выступая перед конгрессом США уже как президент Франции, добавил: «Лишь принцип равновесия позволит двум частям нашего старого континента жить в согласии, в мире, дать новый толчок развитию цивилизации».

Если раньше атлантические правительства слушали французского президента воплуха, то тут уж им пришлось настрожиться. «Да у него ностальгия по франко-русскому союзу!» — в ужасе отметил в дневнике канцлер Конрад Аденауэр.

Новый заокеанский хозяин Европы бесцеремонно ущемлял национальный суверенитет своих союзников. Разрешение на полеты своих самолетов над территорией Франции, например, США испрашивали оптом один раз в году. США и Англия не считали нужным даже ставить своих партнеров в известность о предпринятых без их ведома шагах, которые тем не менее могли втянуть их в серьезные военные конфликты. «Вот почему Франция принимает решение вернуть себе на своей территории полностью национальный суверенитет, который в настоящее время попирается постоянным присутствием союзнических подразделений или таким их использованием, какое кому заблагорассудится, выйти из объединенного командования и больше не предоставлять своих сил в распоряжение НАТО». Сегодня это письмо считается одним из самых знаменитых документов французской дипломатии. Шарль де Голль написал его 7 марта 1966 года сам, от руки. Письмо ошпарило президента США Джонсона ясностью стиля и четкостью формулировок. Ответ через Атлантику последовал всего через четыре часа: США, мол, отказываются вести переговоры с Францией в двустороннем порядке, ибо НАТО — организация коллективная... Через два дня последовал окончательный французский меморандум, после которого штаб-квартире НАТО пришлось покинуть Париж.

Выйдя из агрессивного блока НАТО, заключив конструктивные договоры со странами социализма, Франция стала пионером разрядки на Западе и в огромной степени способствовала тому, чтобы растаяли льды «холодной войны». Общественные силы страны высоко оценили этот поворот в диалоге Запад — Восток.

В свое время тысячи изощток и шаржей на страницах французской прессы олицетворяли Шарля де Голля с героиней Столетней войны. В этих добродушных, а часто и злых (генерал в юбке!) сравнениях уже было безошибочно угадано то, что затем историки признали непреложным фактом: перед национальной историей Фран-



ции они оказались фигурами сравнимыми. Конечно, сравнение не абсолютно. Попы, клерикалы, короли негласно обвинили Жанну д'Арк в противодействии священному союзу ведущих европейских держав. Де Голля винят в затруднениях, с которыми столкнулась столь «успешно» начатая европейская интеграция, и кто? — ведь его обвинители отнюдь не в противоположном классовом, религиозном и даже политическом лагере. Он был противником «Европы блоков», которая размывала границы национального суверенитета, но при этом отнюдь не был противником Европы монополий и трестов.

Аристократ и девушка из простонародья, национально, исторически мыслящий буржуа и воплощающая в себе несравненно более широкое демократическое начало представительница народных масс... Полная параллель между Шарлем де Голлем и Жанной д'Арк, конечно, невозможна. «Крупная французская буржуазия... — пишет в своих мемуарах «Когда мы были министрами» коммунист Франсуа Бийу, занимавший в правительстве послевоенной Франции разные министерские посты, — встретила Гитлера как освободителя, вступила в широкое сотрудничество с врагом. Однако некоторые ее наиболее осмотрительные представители осознали, что это может обернуться для нее серьезным риском. Весьма трудно ответить даже и сегодня, был ли отъезд де Голля в Лондон продиктован этими соображениями или же решение его предопределили исключительно патриотические чувства. Как бы там ни было, то, что произошло впоследствии, свидетельствует, что именно благодаря ему буржуазия снова смогла вернуться к управлению страной». В этой книжке, взятой для прочтения в публичной парижской библиотеке, кто-то густо подчеркнул множество мест, а только что приведенную цитату сопроводил восторженной припиской: «Ах, какой он был умница!» Франсуа ли Бийу адресованы эти слова за его поразительно точный анализ? Или Шарлю де Голлю, оказавшемуся самым осмотрительным и дальновидным представителем французской буржуазии?

Но есть один аспект, где сопоставление Шарля де Голля и Жанны д'Арк совершенно правомерно. Эти две жизни несут потомкам, кроме всего прочего, урок огромной морально-политической ценности: лишь тот, кто защиту дела своей родины сочетает с принципом уважения национальных интересов других стран, может стать фигурой подлинно мирового масштаба. Так рождаются выдающиеся государственные и политические деятели, так рождаются и народные герои.

У человечества не так уж много общепризнанных героев, снискавших любовь разных народов; Жанна д'Арк, несомненно, одна из них. Такие имена-символы, будто исторический код, зашифровывают в себе историю, дух, характер нации, легко передаются от народа к народу, помогают им лучше узнавать и ценить друг друга. Вот почему так важно хранить эти бесценные реликвии в чистоте, хотя бы они принадлежали даже глубокой древности. Ведь любая, даже малейшая фальсификация минувшей истории непременно находит отзвук в настоящем. Более того: сюда-то она и метит. Давайте-ка самым беглым образом подытожим все искажения в жоаниане и поищем ответ: зачем они?

Попытка аристократизировать Жанну, версия о принцессе-пастушке... значит, обманулись предки, обманываются и потомки: она вышла не из народа, образ ее несет не демократический, а аристократический код.

Легенда о том, что Жанна осталась жива и потихоньку свила семейное гнездышко с неким рыцарем из Армуаза... значит, церковь осудила ее лишь на словах, король не только не предал свою спасительницу, но тайно за нее заступился, захватчики в ее смерти не виноваты.

Версия о Жанне-антиевропейстке, которая помешала первому в истории европейскому церковно-монархическому интернационалу... значит, нечего и разбираться, кто захватчик, а кто жертва агрессии, превыше всего сама идея: союз. Отсюда уже рукой подать до аналогии договора в Труа от 1420 года с вишнестско-фашистской сделкой 1940 года.

Версия о Жанне-европейстке... значит, забываются старые розни и обиды, отмечаются новые разногласия, вывод тот же: превыше всего союз, единство, федерация, соединенные штаты, сообщество, коалиция, структура, семья — называй как хочешь, лишь бы это был политико-военный блок, который новую демаркационную линию в мире видит по границе капитализма и социализма.

Стоит запустить руку в ворох евролитературы последних лет, стоит взять любую свежую книжку и прочесть несколько страниц, как безошибочно чувствуешь, по какую сторону евродемаркационной линии стоит автор или представляемая общественная сила. «Политическая наднациональная Европа, руководимая представителями крупного капитала, никогда не будет независимой! Она окажется, в силу классовых принципов, под опекой США, которые, впрочем, никогда и не скрывали, что благоволят к подобной перспективе» (Жорж Марше). «Да, Европу нужно строить. Но строить — это не означает одну половину континента восстановить против другой. Это снова завело бы нас в трясину, откуда нет выхода, в столь знакомую ситуацию коалиций. Европа должна быть европейской. Следовательно, нельзя допустить, чтобы наш суверенитет зависел от посторонней, находящейся вне континента силы. Это могло бы скомпрометировать успех разрядки и кооперации между 600 миллионами людей, которые живут на просторах от Атлантики до Урала» (Пьер Годфруа). «В настоящее время политические силы нашей страны разобщены. Две из них враждебны строительству Европы: компартия и Объединение в защиту республики... Кремль всегда желал раздробленности западных наций, ибо союз их мог бы застопорить марш Красной Армии на Париж и Рим...» (Ж.-Л. Тиксье-Виньянкур). Мнения, как видим, слева направо. Генеральный секретарь ФКП говорит от имени миллионов французских трудящихся. Депутат Национальной Ассамблеи Пьер Годфруа представляет точку зрения деголевской партии Объединение в защиту республики. Избранный недавно почетным председателем ультраправой «партии новых сил» Жан-Луи Тиксье-Виньянкур выражает мнение своих старых соратников по неонацистской партии «Новый порядок», распущенной в 1973 году. Для прогрессивной, демократической общественности Запада нет альтернативы политике разрядки, кооперации, добрососедства в Европе, они взвешенно и реалистично отстаивают курс, начертанный в Хельсинки. Тем более активизируются силы реакции на континенте, пуская в ход самые нелепые измышления, самые злобные и провокационные вымыслы.

Насколько серьезную опасность представляют эти силы? В 1965 году Тиксье-Виньянкур, кандидат неонацистов и осовцев, в списке претендентов на президентский пост оказался четвертым, собрав 1,26 миллиона (5,3 процента) голосов. Звездный час французских ультраправых больше не повторился. Три кандидата неонацистской заправки в президентскую кампанию 1974 года не набрали и 4 процентов голосов. Невелика вероятность, что и на выборах 1981 года их новые креатуры, молодой неонацист Паскаль Гошон (двадцать девять лет, «Партия новых сил») и матерый Жан-Мари Лё Пен (пятьдесят два года, «Национальный фронт») смогут составить сколько-либо заметную конкуренцию кандидатам основных политических сил. Но важно другое: они не исчезают с политической сцены. Сегодня они перегруппировывают силы не только в национальном, а прежде всего в европейском масштабе. «Черный интернационал» повсюду объявляет своим врагом номер один «финляндизацию Европы», разрядку. Не случайно на прилавках появился пятисотстраничный опус того же Тиксье-Виньянкура «Шарль де Голль», где великий политический деятель Франции объявляется... «виновником ее окончательного заката» (!). И это чтиво рекламирует сама же «свободная» французская пресса, уважаемые журналы вроде «Фигаро-магазэн».

Поиск разгадки в обстоятельном французском словаре-справочнике «Кто есть кто во Франции». «Тиксье-Виньянкур, адвокат... депутат... заместитель генерального секретаря по информации (1940)...» Какая информация, где, при ком? «Робер Эрсан, издатель (с 1945 года), владелец «Фигаро»...» и, добавим, еще около 30 центральных и провинциальных изданий. Опять фигура умолчания: словно бы карьера Эрсана началась только в 1945 году и сразу с издательской деятельности, хотя в то время ему уже было двадцать пять лет. Придется добавить несколько нелишних сведений к энциклопедии биографий: Тиксье-Виньянкур — один из руководителей информационной службы в правительстве маршала Филиппа Петена, депутат петеновского парламента; Эрсан — с 1940 года лидер пронацистского «Молодого фронта», затем руководитель петеновского молодежного центра...

Владельцы газет, типографий, легальных пронацистских партий, авторы книг, профессора в университетах... Их ни к чему переоценивать, но было бы очень опасно пренебречь, отмахнуться от них. Подувшие с сентября прошлого года холодные атлантические ветры они восприняли в Европе первыми. Робер Эрсан тут же кликнул «ястребов», которые охотно слетелись в Париж со спичками. Свадебным генералом

состоявшегося в ноябре международного симпозиума (!) «Европейская безопасность и советская стратегия» стал бывший главнокомандующий силами НАТО генерал Александр Хейг, по левую руку от него сел французский генерал Пьер Галлуа, по правую западногерманский генерал Гарольд Вуст, кругом расселись цивильные коршуны-анти-советчики... «Лишать себя новых средств оружия, которые способны заставить пойти русских на переговоры о сокращении вооружений, — значит, обрекать себя на самоубийство», — говорит свадебный генерал. «Военный конфликт в Европе не может произойти по инициативе западных демократий, эта инициатива в руках Востока...» — подхватывает генерал слева. «Разрядка обманула европейцев, побудив их уменьшить свои ассигнования на оборону...» — задыхается генерал справа. Поговорили! Робер Эрсан приказал журналистам разговор застенографировать и напечатать. В газете «Фигаро» появилась полоса, в журнале «Фигаро-магазэн» несколько разворотов...

Так готовили общественное мнение Запада к декабрьской сессии НАТО в Брюсселе. Здесь под грубейшим нажимом США страны — члены НАТО разрешили раскрыть над собой новый ядерный американский зонтик, который якобы должен покрыть континент от мифической «советской угрозы». На вооружение принимаются дополнительно 572 ракеты «Першинг-2» и наземные крылатые ракеты. Генерал Д. Першинг — вспомним историю — командовал американскими экспедиционными силами на европейском театре военных действий в годы первой мировой войны. «Мы прибыли сюда не ради европейцев, а ради американцев, ради нас, — внушал он своим солдатам. — Запомните хорошенько: фронтовая линия обороны Америки проходит по европейским землям! Забудьте все, кроме Америки!»

Через шестьдесят с лишним лет першинги снова в Европе.

Какой зловещий символ!

На облике Западной Европы явственнее прежнего отпечатались откровенно милитаристские черты.

Ради этих спекулятивных политических целей предпринимаются и исторические фальсификации вокруг имени Жанны д'Арк.

...Будто не удержавшись на взгорках, дома скатились в долину, к реке. Дом-реми. Дом-музей Жанны д'Арк находишь без труда: конечно, к нему все пути ведут. Входишь и почти сразу попадаешь в каменную комнату — пять шагов в длину, четыре вширь. Остатки встроенного в стену шкафа, истлевшие, забранные сеткой. Камин. Узкое, как бойница, прорезь-окно. Здесь она выросла. Рядом комната братьев, наверху жили родители. Жанна была четвертым ребенком в крестьянском семействе д'Арков. Кроме нее, еще младшая сестра и три брата. Странно кольнула сердце первая же строка на ветвистом древе рода д'Арк: отец пережил дочь всего на несколько месяцев. Род угас бы, если бы не Пьер д'Арк, благодаря старшей сестре добавивший к своему имени титул дю Лис. Это от его корня продолжился род.

Мсье Шаро, хранитель музея (сторож, гид, продавец сувениров в одном лице), положил передо мной три листочка. Последний обрывался на середине странной фразой: «Пока я дошел только до 1818 года».

— Это перечень потомков Пьера. Очень трудное дело — составлять родословные, мсье, много неизвестного, непроверенного. Я продолжаю работать...

Ему под пятьдесят. Живые глаза, черные усы, густой бас. Подумалось: чтобы закончить родословную, еще каких-нибудь один-два листочка, он потратит на это, может, остаток жизни. Вот что значит заболеть.

— Есть тут интересные биографии, мсье Шаро?

— Много... Вы русский? Прочитайте третью фамилию с конца.

«Шарль Друэль дю Лис, лейтенант карабинеров 29-го полка легкой инфантерии, погиб в России 27 сентября 1813 года».

— С Наполеоном отправился, — сказал мсье Шаро осуждающе.

— Отправился... — повторил я, не дождавшись продолжения. — Ну и что?

— А то, что когда французские солдаты проходили мимо этого домика в 1870 году, потом в 1914 году, потом в 1940 году... это я уж и сам помню... так они отдавали честь Жанне д'Арк. Они шли защищать Францию, мсье. И всегда в одну и ту же сторону: к немецкой границе.

— Вы не установили, Наполеон знал Шарля Друэля дю Лиса?

— Нет, этого я установить не смог. Возможно. А вот Жанну д'Арк он просто боготворил. Кстати, он же восстановил ее орлеанские праздники, превращившиеся почти на десять лет.

«Знаменитая Жанна д'Арк, — писал первый консул Франции 5 февраля 1803 года мэру Орлеана гражданину Криньону-Дезормо по поводу возобновления праздника Девы, — доказала, что нет таких чудес, которых не мог бы совершить французский гений, когда враги угрожают нашей национальной безопасности. Если французы едины, они не знают поражений... Бонапарт».

Через год Бетховен разорвал титульный лист своей Героической симфонии с посвящением первому консулу революционной Франции: гражданин Бонапарт стал императором, тираном.

Какой странный парадокс: мечом Наполеона перепажана была вся Европа, он свергал и устанавливал монархии, взламывал границы, душил народы, но там, где проходил этот тиранческий каток, вскидывались революции, рождались новые молодые сильные республики. Он забыл, что Жанна д'Арк, которую он так боготворил, потому и понадобилась народу, чтобы повести его против угрожающих родине врагов. Он не разобрал, не смог понять, отчего у него такая храбрая и непобедимая армия: да ведь она закалилась в боях за отчую землю, это враги, которые несметными полчищами шли на революционную Францию, возбудили в них, одетых в гвардейские мундиры сынах народа, патриотическую отвагу и дух побед. Вступив в чужие отечества, они сами в незнакомых и непонятных народах возбудили к себе ту ненависть, которая и есть сила. В России, Польше, Венгрии — везде поднялись свои Жаны и Жанны. В них пробуждалось то острое национальное чувство, которое, соединясь с социальным, революционным инстинктом, выливалось в могучую энергию демократических движений. Не отсюда ли русские декабристы, не отсюда ли революционные баррикады в Европе 30—40-х годов?

Путеводная звезда Жанны д'Арк светила Бонапарту Наполеону и Шарлю Друэлю дю Лису, пока дело их было правым, пока они встречали захватчиков у родного порога. Отправившись воевать близкие и дальние страны, Европу и Россию, далекий потомок Жанны бесславно сложил голову, а его безумный император бежал домой.

История учит, да не научает.

— А есть ли сейчас в Домреми потомки Жанны... точнее, Пьера д'Арка?

— Есть. Это семейство Хальда дю Лиса. Недавно умер почти столетний ее старейшина. Но вообще-то моя родословная еще не закончена, я дошел только до 1818 года, я продолжаю, мсье...

Километрах в трех от Домреми, на холме, царственно вознесшемся над окружающей местностью, встала громадная базилика в честь Жанны. «Постройте базилику, в которой молились бы за солдат, павших за Францию» — такое завещание оставила она своему королю. Карл VII позабыл сделать даже эту малость. Базилику выстроили лишь в конце прошлого века, специально выбрав то самое место, где Жанна будто бы услышала глас божий, повелевший ей оставить отчий дом и отправиться в поход...

Здесь хорошо постоять одному, поглядеть кругом, подумать. Слева и справа сидят на постаментах старик со старухой, так сидят только крестьяне, — это Жак д'Арк и Изабелла Роме. Невдалеке памятник их дочери, за спиной — базилика в ее честь. Лотарингия, Лоррен... Сколько хватает глаз поля, перелески, холмы, отары овец, будто белые облака. И — кладбища. Французские, английские, канадские, русские, американские, немецкие. Невозможно забыть однажды увиденную надпись: «Наши солдаты спят вечным сном лицом к Англии». Ухоженные могилы, цветы, цветы... Французы чтят павших соратников, которые встали с ними рядом, чтобы вместе остановить германский экспансионизм.

Много пронеслось войн над этой землей. Абсолютный рекорд по числу военных лихолетий в истории Франции оставил XVI век: восемьдесят пять лет сражений. Лишь на год отстал прошлый, XIX век. Наш век еще не подошел к концу, но уже взял рекорд по количеству братских кладбищ и могил.

Я не упомянул еще, что рядом с базиликой роскошная гостиница. Для туристов. Здесь много французов, но еще больше проезжего европейского люда.

В базилике лежит что-то вроде книги отзывов и пожеланий: «Святая Жанна, вылечи нас и всю нашу семью. Алиса Тьерри, Жан», «Помоги моей семье и всем, кого я люблю. Сюзанна Монрейк, Англия», «Жанна д'Арк, сохрани нас на дорогах

отпусков! Клодин и Жером». Ну и, конечно, обязательное лицо в каждом подобном месте: «Ставлю свою подпись, чтобы засвидетельствовать, что был здесь 21.7.79»...

К ним, к этим по преимуществу молодым людям, которые пускаются на автомобилях в отпуска по всей Европе и не ленятся заглянуть в иной знаменитый уголок, обращены десятки красочных плакатов, которыми уставлена базилика. Вот один из них: «Вы, проезжающие через Домреми, знаете ли вы, кто такая Жанна д'Арк? Молодая девушка исключительной судьбы... Верно! Но все-таки прежде всего она человек, откликнувшийся на призыв бога... А ты? Каков будет твой ответ?»

Что действительно легенда в жизни Жанны д'Арк, так это будто бы услышанный ею божий глас и представившиеся ей видения здесь, на этом самом холме, некие всевышние знаки, внушившие ей горячую веру в свое предназначение, призвавшие к исполнению высшего долга перед родиной. Но... такая ли уж это мистика?

Живи Жанна д'Арк в любой другой век, окажись она на любом другом переломе истории, ее место было бы там, где шло сражение за свободу, за правое и священное народное дело. Так было в ее Франции, где она под именем русской девушки Елизаветы Дмитриевой возглавила женский батальон на баррикадах Парижской коммуны. Так было и в России, где она под именем французки Жанны Лябурб отправилась в Одессу, чтобы объяснить соотечественникам, солдатам интервенционного корпуса, задачи и цели русской пролетарской революции. В разные века она прошла через костры, тюрьмы, расстрелы, но палачам ни разу не удалось заставить ее отречься от своей судьбы, своих идеалов. И в этом вся Жанна д'Арк, простая и величественная, ясная и непостижимая. Никогда она не была европейской или антиевропейской. Она была патриотом и потому была интернационалистом. Этим дорога она разным народам, в этом неотразимое обаяние ее образа. И тут не остается места ни мистике, ни разнотолкам.

В наш строгий статистический век мистики, однако, хватает, а кое в чем ее даже побольше, чем во времена клерикалов, ведьм, божьего гласа и чудесных видений с небес. Разве не мистика все те фальсификации, о которых шла речь вокруг личности и образа Жанны д'Арк? Приведем еще пример. Недавно одна любознательная французская инстанция, приверженная к анкетированию мнений, задала многочисленной группе молодых людей всего один вопрос: готовы ли они умереть за родину? Патриотов, отвергших такую жертву, набралось 54 процента. Винаваты ли эти молодые еретики в том, что не желают ни воевать, ни помирать? А вдруг для них само понятие родины слишком уж растворяется в европейских «соединенных штатах»? Или излишне уповают они на ядерный зонтик над головой? А может, все эти рассуждения досужи, как досужи и мистичны сами опросы с их скороспелыми и всегда однозначными выводами, подбрасываемыми в ненасытный, все еще, не накричавшийся рупор западной буржуазной пропаганды с ее замусоленными тезисами о «красной угрозе», о «русских танках»? И наконец, может быть, ответ этот зиждется на беспечной и чистой вере, что больше не будет войн никогда, никаких, ни столетних, ни молниеносных, ни с топорами, ни с ракетами, что больше никто на свободу родины не посягнет? Это был бы самый прекрасный вариант нашего общего будущего.

Только один аспект заданного выше вопроса, пожалуй, предполагает однозначный ответ. Вопрос, напомним, прозвучал так: готовы ли вы умереть за родину? Так вот, за родину умирают, подчеркнем это, только защищая ее.

Этот ответ я списываю прямо со стен базилики Жанны д'Арк, с этих длинных списков солдат, погибших за Францию в 1870-м, в 1914-м, в 1940-м...

Многие из этих солдат, направляясь к северным границам своего отечества, может быть, прошли мимо домика Жанны д'Арк и отдали ему воинский салют.



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН



## ЧАС «ОЧАКОВА»

**Н**е так давно я закончил работу над «Крымской повестью». Книга скоро выйдет в свет. В ее основе реальные факты. Долгие поиски, предшествовавшие «Крымской повести», привели к затерявшимся во времени документам и забытым фактам, которые по-новому освещают уже известные события 1905 года в Крыму и вносят какие-то неожиданные оттенки в наше представление об эпохе.

Лев Толстой, Алексей Толстой, лейтенант Петр Петрович Шмидт, его каратель Михаил Ставраки, Александр Грин, Максимилиан Волошин, Антон Павлович Чехов, грозный диктатор Ялты генерал Думбадзе, рефлексирующий графоман-охранитель жандармский ротмистр Николай Васильев — не все из этих людей были знакомы друг с другом. Они принадлежали к разным поколениям и разным сословиям. Более того, в 1905 году Антона Павловича Чехова уже не было в живых, но именно тогда возникли связывающие воедино всех этих людей бумаги и тайные донесения, которым суждено было вспыхнуть через много лет. И увиделось еще раз: по одну сторону баррикад пятого года оказались, часто неожиданно для себя, те, кто думал о чести и будущем России; по другую — те, кто защищал не только несправедливый социальный строй, но и самих себя, ибо именно этот строй, прогнивший и уже рушившийся, давал им кусок хлеба. Не было ли здесь и такого еще оттенка — извечного спора между теми, кому даровано счастье быть Моцартами, и обреченными на забвение сальери?.. Возможно, некоторыми руководили и такие чувства. Во всяком случае, Михаил Ставраки и ротмистр Николай Васильев, безусловно, были из породы мелких завистников, готовых стрелять в каждого, кто был выше, чище, лучше их.

Но об этом ниже. А сейчас о двух картинах, одной — исчезнувшей, а второй — реально существующей и по сей день, которые и дали начало этим поискам и размышлениям. Тот — исчезнувший — портрет мне посчастливилось увидеть. Может быть, одному из последних.

Долгие годы работал над ним художник. Но никогда и нигде не выставлял. Кто знает — почему? Наверное, не считал портрет законченным. Возможно и другое: уж слишком личным, интимным было отношение самого автора к работе. Он не хотел, чтобы на нее глядели чужие глаза, пусть даже не злые.

Что случилось в конце концов с портретом? Сохранился ли? Уничтожен? Подарен кому-либо? Обо всем этом мог бы рассказать разве сам художник. Но не успел. А еще вероятнее — не захотел. Случалось, писатели жгли рукописи, композиторы рвали клавиры, а живописцы уничтожали собственные полотна. Можно лишь гадать, чего лишалось в каждом случае человечество. И наивно спорить, верно или неверно поступали авторы. Их решения суверенны и чужому суду неподвластны.

Портрет, о котором идет речь, исчез. По воле самого художника. Будто на минуту направили на полотно луч света, а затем свет кто-то погасил. Уж не сама ли девушка, вырванная на мгновение из вечной темноты? В ее облике было нечто банальное, много раз виденное: высокая шея, гордо вскинутая голова, уложенные в тугую узел косы, губы, дрогнувшие в тающей улыбке, ямочки на щеках. И вдруг — неожиданное — рука, протянутая к выключателю. А еще глаза, зеленоватые, цвета

морской волны. В них было прощание. Будто девушка через секунду выключит свет и полотно померкнет, а вместе с ним проем выкрашенной в белый цвет двери, лестница с резными перилами, потолочная лампа под розовым абажуром и сама рука, протянутая к выключателю.

Художник поспешно снял картину с мольберта и отнес в дальний угол мастерской.

— Эюд, — сказал он. — Можно было бы назвать «Образы юности». Или никак не назвать. Когда-то, очень давно, мне довелось повстречать девушку, очень похожую на эту, которую пытаюсь сейчас написать... И знакомы-то мы были месяца три, не больше. Случилась трагедия — девушка погибла... Знаете, в жизни тех, кто привык подниматься рано, на заре, бывают странные и неожиданные видения — как подарки... Любой художник, если он художник настоящий, влюблен в рассвет. Иные краски, иные оттенки и тона. Ничего резкого, будоражащего, все гармоничнее, чем днем. Впрочем, подобное ощущение иной раз возникает и на закате. Но закат — прощание, итог прожитого дня, а рассвет — он как предчувствие, как первые строки сказки... Однажды я увидел в лучах восходящего солнца летящего над озером дикого лебедя. И понял, что для лебедя этот миг — лучшая минута в жизни. А для того, кто увидел парение в поднебесье гордой птицы, — это подарок судьбы...

Так говорил старейший крымский художник Владимир Константинович Яновский. Однако разговор о портрете возник случайно. Целью встречи была судьба другой его картины — «Очаков» в огне.

Об удивительной истории этого полотна я узнал из статей двадцатилетней давности симферопольского журналиста Валентина Швеца, опубликованных в местной прессе и уже забытых. Мы знаем, что одним из кульминационных моментов революции 1905—1907 годов было ноябрьское восстание на крейсере «Очаков», когда отставной лейтенант Петр Петрович Шмидт, человек, не принадлежавший ни к одной из партий, но все же считавший, что будущее за социализмом, принял на себя командование восставшими кораблями и послал телеграмму-ультиматум царю. Уже в самом начале того кровавого года многим было ясно, что страна идет к подлинной общенародной революции... В России, на Украине, в Прибалтике крестьяне изгоняли помещиков. Бастовали рабочие промышленных центров. На многих железных дорогах не ходили поезда. То тут, то там восставали армейские гарнизоны. Армия впервые после событий декабря 1825 года выходила из повиновения. Тезкам-императорам Николаям в российский историю суждено было войти с неслетными кличками. Первого прозвали Палкиным, второго, и последнего, — Кровавым. Но если в начале XIX века восстания в столице и на Украине удалось сравнительно быстро подавить, то в 1905 году картина была совсем иной. Бушевала вся огромная страна; события развивались столь стремительно, что сведения, полученные по телеграфу утром, к вечеру были уже безнадежно устаревшими.

Неповиновение охватило империю. И уже во многом чувствовалась организующая сила социал-демократов. Наконец, появились и первые непобежденные бунтари. Ведь не сдался, не спустил флаг мятежный броненосец «Потемкин». Когда румынское правительство возвратило корабль, его спешно переименовали в «Святого Пантелеймона» и даже запретили упоминать в печати прежнее название броненосца, в испуге позабыв, что это имя одного из создателей той самой империи, которая теперь трещала по всем швам.

Как часто случается в таких ситуациях, доходило и до анекдотов. Драматический тенор Григорий Морской в концерте в Павлове спел арию Левко: «Мочи нет боле, душа пропадай!» — реакция зала была неожиданной. Все стали кричать: «Хватит! Довольно! Нет больше мочи терпеть! Долой преступную бюрократию!» Власти наложили запрет на... арию Левко, поскольку она наводила на опасные мысли. А в Крыму в ту пору зло шутили, будто бы генерал Думбадзе однажды предьявил собственной тени ордер на арест — тень, дескать, забегала вперед, а кроме того, тайно присутствовала при конфиденциальных разговорах.

— Сложное было время, — рассказывал художник. — Тяжелое и прекрасное. Мы были юны — первая любовь и первые слезы. Но вы спрашивали о картине... С нею очень просто. Фотографии морского боя между «Очаковым» и карателями не существует. На набережной в ту пору попросту не оказалось ни одного фотографа. Да если бы он и попал туда, как бы в толчее, среди выстрелов сумел бы расставить штатив, навести объектив на нужную резкость? Кстати, на рейд быстро опускалась

тьма. Значит, и освещения было бы недостаточно. Проекторы вспыхнули позднее. Но не уверен, что и в их свете можно было сделать четкую фотографию — ведь крейсер окутали клубы дыма. Прочитайте у Куприна. В одной из его газетных статей, давно не перепечатававшихся, все это описано довольно точно. А я был на набережной, видел все своими глазами. Потому и считал своим долгом написать картину гибели «Очакова». Работал недолго, на одном вздохе — день или два. А затем за полотном начали охоту ялтинские жандармы. Ведь именно в Ялте в витрине фотографии Семенова, где я в ту пору работал ретушером, картина была выставлена. Возник митинг. Генерал Думбадзе велел меня арестовать, а картину уничтожить. Но помогли верные люди. В руки генерала попала спешно изготовленная за одну ночь копия. Сам оригинал удалось спасти. Сейчас я передал картину в дар государству.

Владимиру Константиновичу было тогда, двадцать лет назад, под девяносто. Прославленный, удостоенный многих почетных званий, подлинный патриарх, он не замкнулся в стенах мастерской, охотно принимал посетителей. Но чувствовалось — долгие беседы даются ему с трудом. Помню его последние слова при расставании:

— Рассказ о подходах к картине — долгий разговор. Надо представить себе атмосферу Крыма той поры. В Тавриде не было больших заводов и фабрик. Значит, и рабочих не так уж много — разве что в Керчи, на железных дорогах, в типографиях да в кустарных мастерских. Зато в Севастополе была база флота. Там-то и вспыхнуло восстание. А Ялта в ту пору казалась островком среди разбушевавшейся стихии. Туда съезжались напуганные грядущей революцией состоятельные граждане из столицы. Еще бы — в Ливадии царский дворец, там специальная охрана, да и к тому же спешно созданное самостоятельное жандармское управление. В Ялте должно быть спокойнее. Но это так лишь казалось... А история с картиной началась и закончилась в Ялте. Когда-нибудь расскажу обо всем подробнее.

Но не довелось. Вскоре Владимира Константиновича не стало.

А тогда я не решился сразу спросить, существует ли связь между портретом неизвестной и картиной «Очаков» в огне». Но догадывался: существует. Вот как шла мысль. В портрете, кроме всего прочего, удивляла непривычная цветовая гамма — яркая и контрастная, как на полотнах Верещагина. Но для чего подобное в камерной, почти интимной работе? Тут возможно объяснение: художник воссоздавал воспоминание давних времен, когда электрическое освещение для всех было вновь, к нему еще не привыкли настолько, чтобы вовсе не замечать разницу между солнечным светом и, может быть, не менее ярким, но искусственным. Таким же контрастным был цвет в работах многих художников начала века, рисковавших писать, как тогда принято было говорить, при свете лампы Эдисона. Значит, Владимир Константинович именно в те далекие годы, примерно в то же время, когда им был написан «Очаков», где-то увидел эту девушку в проеме двери, внезапно включившую свет, и теперь пытался воскресить давно ушедший образ, пережить еще раз некогда пережитое.

Познавший всю мудрость мира, Фауст так и не нашел секрета вечной молодости. Но уж неподвластно ли искусству то, что пока недоступно науке? Воля художника может остановить мгновение. И более того — вырвать у прошлого, возвратить давно ушедший миг, сделать его зримым, осязаемым, неожиданно сегодняшним.

Но все-таки связь между исчезнувшим портретом девушки с протянутой к выключателю рукой и необычной судьбой картины «Очаков» в огне», трагедией, разыгравшейся в Севастополе в ноябре 1905 года, была пока не слишком ясна. Пришлось вести расследование — от документа к документу, от одного архивного дела к другому. Жизнь свела еще с одним участником событий 1905 года, добрым знакомым В. К. Яновского, известным в Крыму общественным деятелем, ученым, искусствоведом Александром Ивановичем Полкановым.

Он подарил мне ставшие уже раритетами справочники о Крыме, изданные в начале века в Одессе известным краеведом Григорием Москвичом, — это для того, чтобы я мог точнее представить себе Ялту и Севастополь той поры, — рассказал многое о событиях, связавших воедино всех участников этой драмы.

Жизнь Александра Ивановича сама по себе эпопея. С начала 1905 года социал-демократ. Далее участник боев в Севастополе, Симферополе. Позднее окопная жизнь в 1914—1917 годах. В 1920 году подполье во врангелевском Крыму. После освобождения Крыма он занимался охраной памятников культуры и организацией музеев, возглавлял так называемый КРЫМОХРИС (Крымский отдел охраны искусств). Это



Александр Иванович организовал передачу реквизированных в особняках царствующей фамилии и знати художественных ценностей во вновь созданные музеи. Именно в ту пору один известный поэт принялся на одном из совещаний доказывать, будто культуру незачем организованно охранять и защищать. Она, мол, сама за себя способна постоять. Возможно, это были случайные, непродуманные фразы, но Александр Иванович ответил резко: «Защищать культуру? Всегда! Везде! Если надо — пуш-ками!»

В трудное время он добивался специальных продовольственных пайков для Константина Тренева, Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, многих художников, археологов, ученых.

Максимилиан Александрович Волошин именно тогда сделал рисунки многих архитектурных памятников и исторических достопримечательностей полуострова, часто приезжал к Александру Ивановичу Полканову в Симферополь, а однажды проделал этот путь пешком — в пору, когда на полуострове было еще неспокойно, а в горах скрывались остатки разгромленных врангелевских войск. Спешил принести рисунки и составленный им самим список ценностей Феодосийского уезда, подлежащих государственной охране.

Дружба эта с годами крепла. Волошин и Полканов обменивались письмами, навещали друг друга. Александр Иванович поддержал Волошина в намерении создать поэтическую коммуну в Коктебеле. Так было положено начало столь известному ныне Дому творчества писателей.

Полканов в ту пору познакомился и с Александром Грином, поселившимся сначала в Феодосии, а затем в Старом Крыму. Это случилось через двадцать лет после того, как ротмистр Васильев создал свою эпопею доносов о севастопольских событиях 1905 года.

Теперь самое время рассказать подробнее о самом ротмистре. В архиве Александра Ивановича хранилась выцветшая фотография. Васильев снят в штатском: темный сюртук, холеные усики и нагло глядящие в объектив глаза. Внешне вполне уверенный в себе господин. Но если заглянуть внимательнее в глаза Васильева, становится совершенно очевидно, что в глубине их прячется страх. На обороте штемпель: «Фотография Синани. Год 1905».

Если бы кому-то пришло на ум собрать и издать все сохранившиеся донесения, доклады, секретные сообщения, подписанные ротмистром Васильевым (а надо учесть, что многие из них за давностью лет исчезли), потребовалось бы как минимум шесть толстых томов. В общем, в трудолюбии и в служебной ревности Васильеву не откажешь. В начале 1904 года он был назначен на ответственную должность помощника начальника Таврического губернского жандармского управления в Севастопольском градоначальстве и Евпаторийском уезде. В подчинении у Васильева было достаточно людей для того, чтобы следить за настроениями населения названных городов и на флоте. Но ротмистр никому не доверял, даже сослуживцам. Он все пытался делать сам — организовывать слежку за социалистами, вести досье на подозреваемых лиц.

Писатель Александр Грин так до конца дней и не понял, почему уже после того, как была объявлена амнистия, его одного держали в севастопольской тюрьме (затем перевезли в Феодосию и снова вернули в Севастополь). Выходило так, что он чуть ли не главный смутьян на всем полуострове. Это вызывало удивление самого Грина, в чем он честно признался в «Автобиографической повести». А ларчик открывался просто, о чем мы теперь узнали из секретных архивов: Васильев считал будущего писателя фигурой особо опасной. Еще бы: этот беглый солдат говорит свободно, использует лексику, недоступную простому служаке, отказывается назвать подлинную фамилию, пытается бежать из тюрьмы. И вообще странен, своеобразен, непонятен... Как же такого человека не заподозрить во всех грехах сразу?

Васильев без разбора доносил в Симферополь и Петербург обо всем, что видел, слышал, о чем ему удавалось узнать через своих агентов. Причем делал это вдохновенно, истово, бумага и чернил не жалел.

Ротмистр часто превышал власть и совершал поступки, необязательные в его положении: он слал телеграммы царю через голову прямого начальства; переодевался в простое платье и ходил по улицам в надежде выследить кого-нибудь из смутьянов; в центре Севастополя держал тайную квартиру для свиданий с особо засекреченными агентами. Это ему придет на ум, что в Ялте, где всегда слишком много писателей,

художников и артистов всякого рода, не грех бы содержать вдвое больше платных тайных агентов, чем в других городах. Позднее тревожила душу ротмистра и возникшая в маленькой деревушке Коктебель в доме поэта Максимилиана Волошина писательская колония. С какой бы целью собирались писатели отдельно от прочих? Уж не без умысла ли?

Ну а донесения Васильева 1905 года — весьма характерные документы. Растерявшийся страж порядка, охранитель, потерявший голову, совершающий промах за промахом, но при этом невероятно злобный, бессмысленно жестокий, способный отправить на плаху любого — только бы выслужиться, только бы доказать преданность престолу.

В поисках шифрованных донесений ротмистра Н. Васильева и других в свое время сверхсекретных документов мне помогал известный военный историк профессор Ярослав Гаврилович Зимин. Вместе с ним мы шаг за шагом прослеживали, как нарастала волна сопротивления властям, в частности в той самой Ялте, которая многим казалась тихим островом, землей обетованной. Вот любопытные отрывки из «Доклада Особого отдела Департамента полиции товарищу Министра внутренних дел о необходимости выделения Севастополя, Евпатории и Ялты в особое самостоятельное жандармское управление», точно не датированного, но, судя по всему, написанного за несколько дней до царского манифеста от 17 октября, формально разрешавшего легальную деятельность политических партий и якобы гарантировавшего свободу слова «как печатную, так и устную». Доклад этот был найден в 50-х годах и опубликован в вышедшем небольшим тиражом специальном сборнике, посвященном севастопольскому вооруженному восстанию 1905 года, ныне уже покойным профессором В. В. Максаковым. Текст доклада:

«Вследствие революции, положенной на представляемой при сем справке об учреждении в Севастопольском градоначальстве и Евпаторийском уезде временной должности начальника жандармского управления и о положении дела политического розыска в названном районе, особый отдел докладывает вашему превосходительству следующее:

исполняющий обязанности начальника вышеупомянутого управления подполковник Бельский 18 минувшего сентября за № 1493, сообщая о своем затруднительном положении по осуществлению наблюдения и розыска во вверенном ему районе, выражает мнение, что вследствие замеченной им революционной связи между Евпаторией, Феодосией и в особенности Севастополем — Ялтою, если не весь южный берег Крыма, то, во всяком случае, Севастополь, Евпатория и Ялта с уездами должны составлять самостоятельное управление, в каждом из упомянутых уездов городов должен быть особый помощник для ведения наблюдения и розыска и для производства дознания по делам о государственных преступлениях. Независимо от сего при управлении в Севастополе должен быть также один помощник, в руках которого сосредоточивались бы все сведения агентурного характера и данные наружного наблюдения, иными словами — на этого помощника должны быть возложены все функции начальника охранного отделения под безусловным контролем начальника управления.

Кроме того, для розыска и наблюдения в распоряжении начальника управления должно быть по Севастополю не менее 14 унтер-офицеров при одном вахмистре, а в Евпатории 5 унтер-офицеров и 1 вахмистр.

За сим в порту, по мнению подполковника Бельского, необходимо иметь по крайней мере трех портовых надзирателей и шесть нижних чинов в непосредственном ведении жандармского управления.

Что касается секретных сотрудников, то во флоте нужно иметь 4 человек, в пехоте, по числу полков, — двух, в крепостных полках и полевой артиллерии — трех, а всего 14 сотрудников.

По наружному наблюдению встречается существенная надобность в филерах, так как, кроме 6—10 наблюдений, по Севастополю приходится производить и случайные летучие наблюдения.

В гор. Евпатории следует также иметь не менее двух постоянных агентов-сотрудников и трех филеров...

По имеющимся в Департаменте сведениям, в гор. Ялте существуют и проявляют довольно энергичную деятельность две преступные организации: «Ялтинский комитет

Таврического союза социал-революционеров» и «Ялтинская организация Крымского союза Российской социал-демократической рабочей партии»...

Ввиду трудности и продолжительности по времени проведения законодательным порядком вопроса об образовании в Севастополе особого постоянного управления казалось бы более целесообразным, при нахождении в Симферополе главных организаций Крымского социал-демократического и Таврического социал-революционного союзов, сосредоточить розыск и наблюдение во всей Таврической губернии в одних руках энергичного и способного к сему делу офицера при Таврическом губернском жандармском управлении, при непременно условии внимательного отношения к делу политического розыска и со стороны самого начальника управления».

Но вернемся к началу этой истории. Как вспоминает Александр Иванович Полканов (машинописные экземпляры его воспоминаний хранятся в Крымском краеведческом музее и в моем архиве, частично публиковались в ленинградском журнале «Звезда» в № 5 за 1977 год), осенью 1905 года юный ретушер ялтинской фотографии господина Семенова Владимир Яновский познакомился с Людмилой, девушкой из состоятельной семьи, возможно дочерью самого владельца фотографии и писчебумажного магазина. Людмила примыкала к социал-демократам.

Попытайтесь представить себе Ялту той поры. Крошечный городок, томный и претенциозный, чем-то напоминающий Коралью, описанный О'Генри в «Королях и капусте». В тихие осенние вечера в Ялте было две луны. Одна висела над заливом, вторая плавала в воде рядом с пришвартованными к молу пузатыми прогулочными пароходиками, принадлежавшими господину по фамилии Гавалло. На корме каждого из них белой краской было написано «Гавалло № 1» или же «Гавалло № 6». Тут же, невдалеке от мола, желающим предлагали за пятак полюбоваться в телескоп на луну, висящую в небе. Если же было жаль пятака, то можно было рассматривать вблизи ту, что плавала, как спасательный круг, на воде. Телескоп городские власти специально заказали за границей, в Германии. И он был такой же достопримечательностью Ялты, как ресторан в городском парке, вид на Ай-Петри или торговая мостовая, устроенная экзотики ради у самой большой в городе гостиницы «Россия». Здесь часть улицы была освещена электричеством. Остальному городу служили керосиновые фонари. Впрочем, когда-то Ялта имела и газовые. Император Александр III в припадке великодушия даровал курорту деньги на газовый завод. Но «царский» завод по неизвестной причине сгорел. Пришлось вновь вспомнить о керосине. Зато потерпевшей Ялте сделали другой подарок — выстроили новый мол. И теперь тут швартовались даже океанские пароходы. А на эстраде Летнего сада и в курзале частенько давали в ту пору концерты. Самым популярным номером была элегическая песня на слова ныне уже забытого поэта Е. Львова «Ночь в Ялте»:

Под покровом южной ночи  
Чутко дремлет пышный сад...  
Звезд мерцающие очи  
В море Черное глядят...  
Лавр, магнолии, гранаты,  
Кипарисы, ряд мимоз —  
Темной негой объаты...  
Сладок запах тубероз...  
.....  
Гармонических созвучий  
Вся душа моя полна...

Гармонические созвучия души — состояние, конечно, приятное для каждого. Но вряд ли в ту осень оно было возможно — между рядами кипарисов и мимоз бродили филеры, а сладкий запах тубероз вдыхали не только безмятежно плывущие по набережной толпы отдыхающих, но и вышедшие на охоту жандармы в форме и в штатском. К тому же в маленькой Ялте, как правило, все всех знали в лицо. Людмила была фигурой яркой, записной «социалисткой», не скрывавшей своих убеждений. К тому же девушкой очень красивой, с великолепным голосом — меццо-сопрано или контральто. Она частенько пела на открытой террасе особняка Семенова. Вполне естественно, что Владимир обратил внимание на девушку. Не исключено, как считает А. И. Полканов, что пробовал писать ее портрет — ведь он был начинающим художником. И вспомнилось: девушка с протянутой к выключателю рукой.

Вполне вероятно, что через Людмилу Владимир мог познакомиться с бывшим сормовским рабочим, беглым матросом по кличке Спартак, который в ту пору скры-

вался в Ялте. Спартак вспоминал А. И. Полканов. О нем писал в «Автобиографической повести» А. С. Грин: «Это был худощавый человек лет тридцати, со следами оспы на желтом лице, гибкий и своеобразно красивый... Его привлекала земельная часть программы эсеров, отталкивал террор. А так как в Севастополе был комитет социал-демократической партии, поставленный и обслуживаемый гораздо лучше, чем наш, то и влияние на Спартак с той стороны было сильнее нашего... Иногда казалось, он соглашался, а затем, встретясь другой раз, довольно стройно и доказательно спорил. Впоследствии он окончательно примкнул к социал-демократической партии».

Напомним, что сам А. Грин в ту пору считал себя эсером, вот откуда слово «наш» — противоставление комитету социал-демократической партии.

Вскоре и Спартак и Людмила исчезли из Ялты. Видимо, отправились в Севастополь. В ту пору к восставшему городу стягивали казаков и верные правительству воинские части через Бахчисарай и Байдарские ворота. Но спешили на помощь севастопольцам и социал-демократы, революционно настроенные студенты и даже гимназисты старших классов из многих городов Крыма. Оказался в Севастополе и Александр Полканов. Прожил несколько дней в гостинице «Кист», в которой незадолго до того жил Л. Н. Толстой. В «Кисте» Полканов повстречал Яновского. Не поехал ли он туда вслед за Людмилой?

Что же касается самой Людмилы, то она вполне могла быть среди тех агитаторш, которые под псевдонимами выступали перед восставшими солдатами и матросами. Об этом подробно напишет в своих рапортах ротмистр Н. Васильев.

Гостиница «Кист» была одной из самых комфортабельных в Севастополе. Здесь постояльцам предлагали за три рубля в сутки вид на море, а за дополнительную плату ресторанные обеды, теплые морские ванны и телефон. К «Кисту» от вокзала вела трамвайная линия — первая в Крыму. Содержала гостиницу обрусевшая французка мадемуазель Шлее. В те дни, уже не полагаясь на слуг, решила стеречь гостиницу сама. Встречала постояльцев в лиловом платье с белым кружевным воротником, на который опускались три подбородка, с переносным канделябром в руках, а в нем незажженные свечи. Видимо, мадемуазель Шлее (лет ей было совсем немало и слово «мадемуазель» было применимо к ней лишь с большим допуском) боялась, что электричество могут в любую минуту отключить. Торопливо сообщала, что в гостинице уважение к постояльцам выше, чем закон. Скорее религия. Показывала номер, где недавно жил Толстой. Добавляла, что это было как раз после того, как Толстого отлучили от церкви. Возможно, мадемуазель Шлее казалось, что упоминание о великом бунтаре Лье Толстом — лучший способ расположить к себе революционеров, к которым фактически перешла власть в городе, а в последние дни в гостинице останавливались не только те, кто был в состоянии заплатить три рубля за номер, но и явно безденежные гимназисты с красными бантами на лацканах пиджаков.

О том, какой напряженной была атмосфера в городе в октябре 1905 года, свидетельствуют документы. Часть из них сразу же стала достоянием прессы, другие долгие годы хранились в секретных архивах. Вот они в хронологическом порядке.

Приказ главного командира Черноморского флота и портов Черного моря вице-адмирала Чухнина от 23 октября 1905 года:

«В случае возникновения в городе беспорядков, когда гражданская власть не в состоянии прекратить беспорядки средствами полиции и требует присылки войск, предписываю принять для исполнения инструкцию для охраны в г. Севастополе порядка и спокойствия непосредственно войсками.

Вице-адмирал Чухнин».

Обязательное постановление вице-адмирала Г. П. Чухнина (конец октября — начало ноября 1905 года):

«Принимая во внимание крайнюю необходимость оградить военных людей от беспричинных оскорблений, чего, к сожалению, были случаи, объявляю, что за нанесение военным лицам беспричинных оскорблений виновные подвергаются заключению в тюрьму от 3 месяцев и денежному штрафу до 3000 руб.».

Первый приведенный здесь приказ Чухнина был впервые опубликован лишь в 1925 году в историко-революционном журнале «Каторга и ссылка», № 5, что же касается второго, то уже 9 ноября 1905 года его поместила на своих страницах газета «Новая жизнь» в № 9. А 8 ноября того же 1905 года еженедельная юридическая газета «Право» в № 43 опубликовала «Обращение арестованного Петра Петро-

вича Шмидта к гражданам Севастополя с призывом добиваться гласного суда над ним»:

«Мне удалось, несмотря на мое одиночное заключение, прочесть манифест о «помиловании» политических.

Этим манифестом умирающая бюрократия бросает новый вызов к борьбе с отживающим последние дни режимом. Русскому народу предстоят последние усилия для действительного осуществления правого порядка и действительной свободы. Средство к окончанию этой борьбы и взятию последних позиций одно, и других нет, — это фактическое осуществление всеми русскими людьми всех неотъемлемых человеческих прав...

Граждане, помните, что я арестован за свободное слово после манифеста 17 октября, помните это, и пусть это нарушение свободы произволом напоминает вам, что дело далеко не окончено, что нужны теперь последние усилия, чтобы овладеть ~~раз~~ и навсегда человеческими правами. Усилия эти должны выразиться действительным пользованием действительной свободы.

Гражданин лейтенант П. П. Шмидт (социалист вне партий)».

Телеграмма военного министра А. Ф. Редигера командующему Одесским военным округом генералу А. В. Каульбарсу от 11 ноября 1905 года:

«Адмирал Чухнин опасается нового общего бунта флота. Увольте гарнизон сколько можете. Телеграфируйте о распоряжениях. Увольте возможно больше запасных, особенно в Севастополе.

Генерал-лейтенант Редигер».

Что уж тут комментировать — военный министр боялся собственной армии. «Увольте гарнизон сколько можете», «увольте возможно больше запасных» — надежда оставалась лишь на казачьи части, жандармов и немногие полки. Но телеграмма Редигера Каульбарсу запоздала. Утром того же дня все тот же Чухнин шифрованной телеграммой на имя самого императора сообщил о волнениях во флотской дивизии и об «отказе боевых стрелять в участников волнений».

«Адмирал Писаревский ранен в спину во время сходки перед казармами матросов, и тяжело ранен один сухопутный офицер, — писал в телеграмме главный командир Черноморского флота и портов Черного моря. — В дивизии начался беспорядок и без крови продолжается. Боевые роты отказались стрелять. Сухопутные начальники не решаются действовать оружием; есть сведения, что и сухопутные войска тоже стрелять не будут. Положение безвыходное: матросы, вероятно, поставят какие-нибудь условия, которым придется подчиниться или распустить флот. О вышеизложенном всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству».

Обе телеграммы сохранились (одна в копии, другая в подлиннике) в Центральном государственном военно-историческом архиве, и только потому их текст стал известен в наше время. В телеграмме Чухнина есть удивительные строки — «матросы, вероятно, поставят какие-нибудь условия, которым придется подчиниться или распустить флот». Ведь это был не прямой совет императору капитулировать. Применение оружия уже не казалось выходом из положения. На огонь могли ответить огнем. Даже Чухнин это ясно осознавал.

Метался и уже упоминавшийся здесь ротмистр Васильев. Педантичная привычка бюрократов тщательно подшивать всяческие бумаги — подарок для историков. Как бы мы узнали о тайных рапортах Васильева, если бы их не сохранили в архиве департамента полиции, откуда они уже и попали в Центральный государственный исторический архив СССР? Психологию чинов департамента полиции понять нетрудно: рапорты Васильева берегли по двум причинам. Первая — доказать вышестоящему начальству, что департамент не сидел сложа руки и его сотрудники старались в Севастополе; вторая — обосновать циркуляры и распоряжения, которые исходили из самого департамента.

И вот в телеграмме, посланной поздним вечером 12 ноября 1905 года в свой департамент, ротмистр Васильев несколько иначе описал те события, о которых сообщил Чухнин Николаю II. По тексту:

«11 ноября в 5 вечера явившегося на собравшуюся сходку матросов, сухопутных солдат, портовых мастеровых — всего до пяти тысяч — начальника учебного отряда Черноморского флота адмирала Писаревского и прибывшего в его распоряжение штабс-капитана Белостокского полка Штейна с ротой матрос Петров тремя выстре-

лами из винтовки ранил: легко — адмирала и тяжело — штабс-капитана Штейна, уже умершего; со сходки разошлись спокойно.

12 сего ноября забастовавшие портовые мастерские, соединившись с матросами, находившимися на берегу, и 49-м запасным пехотным батальоном, с двумя красными флагами, с музыкой, без оружия ворвались в 10 часов утра в казармы Брестского полка, арестовали коменданта и начальника 13-й дивизии и, переманив на свою сторону Брестский полк, обезоружили офицеров полка и отпустили на слово домой; затем манифестацией прошли в город, где на Новосильцевой площади стоявшие три батальона Белостокского полка по команде встретили манифестантов гимном и криками «ура».

Но, сколько можно судить по той же телеграмме ротмистра, и пение «Боже, царя храни», и крики «ура» на манифестантов впечатления не произвели. Командир поспешил увести полк в казармы. «Там же нахожусь и я», — сообщает Васильев. Неясно только, почему он там находился — боится патрулей народной милиции или же надеется помочь командиру Белостокского полка удержать в повиновении солдат?

А последний абзац телеграммы ротмистра вообще не поддается никакому логическому анализу. Посудите сами:

«В городе пока спокойно, но жители выезжают массами. На эскадре тоже пока возмущения нет. По слухам, в эту ночь будут арестовывать офицеров по городским квартирам. Войска никакого оружия не употребляли, манифестанты вовсе не трогали должностных и караульных чинов».

Если в городе спокойно, то почему массами выезжают жители? Да и какие именно жители? Солдаты, матросы, студенты, гимназисты? Напротив, они в ту пору стекались в Севастополь, чтобы поддержать восставших. Состоятельные граждане, владевшие собственными фаэтонами? Возможно. Но таких граждан были десятки, а вовсе не «массы». Наконец, если манифестанты не трогали должностных и караульных чинов, то о каких арестах офицеров (по слухам!) по городским квартирам идет речь? Полный горячечный бред. На медицинском языке — делириум.

Днем позднее Васильев отправил еще две телеграммы. В одной сообщал, что матросами было арестовано, а затем освобождено командование севастопольской крепости. И далее: «Обходя ночью город, никого не встречал. Адмирал охранен». Кроме того, «станция Севастополь забастовала, поезда не ходят, телеграф оборван, войска сосредоточены в казармах».

Это уже серьезнее: значит, даже за самого адмирала Чухнина побаивались. И уже 15 ноября Васильев телеграфирует, что «Очаков» поднял красный флаг, к нему примкнули два миноносца, эскадра колеблется, ранее арестованные члены команды восставшего броненосца «Потемкин» освобождены восставшими. Но телеграмма начинается словами: «Ночь прошла без столкновений».

Именно этой ночью «без столкновений» «Матросская комиссия», в которую вошли и представители социал-демократов, предложила П. П. Шмидту возглавить восстание на флоте («...исходя из того, что Шмидт несомненно искренний революционер, хотя и стоявший вне партий, знает военное дело, пользуется громадным авторитетом и популярностью среди матросов»). Да и вообще восстание началось уже 11 ноября, 12-го и 13-го «Матросская комиссия» провела ряд мероприятий, которые передали власть в городе Совету матросских, солдатских и рабочих депутатов, именно тому Совету, который незадолго до того и создал «Матросскую комиссию» в качестве своего исполнительного органа.

И уже 14 ноября П. П. Шмидт сообщил председателю Совета матросских, солдатских и рабочих депутатов И. П. Воронищину: «Завтра утром с подъемом флага произведу салют и подниму флаг свободы. Прошу вас ночью завладеть ударниками и доставить их все на «Очаков» ко мне. Товарищ Шмидт». Записка эта хранится в отделе рукописей Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР. Ударники нужны были Шмидту потому, что их успели снять с орудий и свезти на берег по распоряжению прежнего командира «Очакова» Глизяна. И самый лучший, самый мощный русский крейсер практически остался безоружным. Замки к орудиям и боеприпасы Шмидт пытался получить до последней минуты восстания. И кто знает, как обернулось бы дело, если бы ему это удалось. Но в том, что П. П. Шмидт решил в случае необходимости принять бой, сомнений нет. Ведь уже через сутки он послал Николаю II телеграмму-ультиматум

«Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, неперменного созыва Учредительного собрания и перестает повиноваться вашим министрам.

Командующий флотом гражданин Шмидт».

Показательно, что слова «вам» и «вашим» написаны не с прописной литеры. Отсутствует и обязательное «всеподданнейше». Гражданин командующий первым русским революционным флотом на равных разговаривал с другим русским гражданином, хоть и восседавшим в ту минуту на троне, но уже на общих основаниях призванным к публичному ответу перед Россией за все им содеянное.

События в Севастополе развивались стремительно. В считанные часы, если не минуты, каждый должен был решить, примет он сторону восставших, окажется ли в лагере карателей или попытает отыскать себе место над схваткой, что, впрочем, редко кому удается. Любопытны дневниковые (скорее блокнотные) записи об этом А. И. Полканова, сделанные уже в 1906—1907 годах. В ту пору он, приняв участие в боях в Севастополе и Симферополе, был на полулегальном положении. Выпускал в Симферополе журнал «Первый луч». Не знаю, сохранился ли комплект этого издания в государственных собраниях, но в моем архиве он есть. С «Первым лучом» связана одна любопытнейшая история, которая, возможно, заинтересует литературоведов. И я позволю в связи с нею небольшое отступление. Журнал был крайне левого, антиправительственного направления. Официальным издателем его числился некто Жадовский, но главным сотрудником был, несомненно, А. И. Полканов, писавший статьи под псевдонимом, инициалами или вовсе без подписи. В передовой второго номера (автор — А. И. Полканов) написано, что журнал уже успел «вкусить плодов царской свободы». Эта фраза становится понятной, если на последней странице внимательно вчитаться в выходные данные. Там среди прочих обязательных строк есть такая: «Первый номер журнала конфискован». Между тем в подшивке этот номер есть, правда испещренный правкой. Вероятно, редакционный экземпляр, который А. И. Полканову удалось сохранить. И в нем помещена поэма «Новь», подписанная — Ал. Толстой. Совершенно очевидно, что принадлежит она Алексею Николаевичу Толстому, в то время молодому поэту, печатавшемуся и в провинциальных изданиях. Как известно, многие архивы А. Н. Толстого, относящиеся к началу века, не сохранились. В библиографических указателях ссылки на «Новь» нет. Между тем стихотворение (или маленькая поэма) необычно. К седовласому генералу-карателю приходит тень Малюты Скуратова. Возник спор: кто был кровавее и изощренней в пытках? В конце концов Малюта сдается: «Победили вы, — Малюты был на это сказ. — Мы спроста бывали люты, вы — ехидней нас!» Новые опричники пытали не только тело — душу.

К вопросу о «Нови» и ее авторстве, надо думать, литературоведы еще обратятся. Как эта поэма попала в «Первый луч»? Публиковалась ли где-нибудь?..

Но вернемся к блокнотным записям А. И. Полканова начала века. Они ярко характеризуют Севастополь октября 1905 года:

«Этот белокаменный город, казалось, специально был создан для актов торжественных и величественных. В нем нет деловитости, царящей на причалах Феодосии, светливости удачливо негоцианствующей Одессы. Севастополь — державен, немного даже надменен, как его северный собрат Петербург, воздвигнутый в другие времена и у другого моря. Так же, как в Петербурге, в Севастополе возникает странная иллюзия: проспекты, здания затмевают людей. В глаза бросаются не толпы на набережных, не лица и костюмы горожан, а многочисленные колоннады и зеркальные витрины магазинов. Мазаные домики Корабельной и Татарской слободок оттеснены на окраины, заслонены от взгляда не только фасадами respectable кварталов, но и огромными рекламами цирка шапито, стендами экскурсионных бюро, обещающих приятные и полезные для здоровья прогулки в окрестности, где начаты раскопки древнего Херсонеса, и на остров, где, по легенде, похоронен один из римских пап...

Но в те дни Севастополь был шумен, говорлив, напряжен и ожидание чего-то необычного чувствовалось во всем — в поступках людей, в их манере говорить, в толкотливости. Все куда-то бежали, все спешили, все жили в ощущении чего-то, что вот-вот должно свершиться. Так, наверное, бывает перед бурей или землетрясением. Ураганного ветра еще нет, и почва под ногами кажется твердой. Но предчувствия заставляют многих нервничать, совершать поступки неожиданные.

Помню, владельцы ювелирных магазинов (почти все они закрылись), держатели

гостиниц и пансионатов платили втридорога за экипаж, чтобы убраться подальше из города, где на каждой площади возникали митинги, не видеть рейда, на котором стояли корабли под красными флагами. На набережной напротив рейда собирались народные и рабочие милиционеры (именовали их по-разному) с красными повязками на руках, у других были красные банты. Кто с оружием, кто без... Очень волновались, успеют ли доставить на «Очаков» орудийные замки. Их должны были доставить на катере. Говорят, на том катере находились агитаторши Наташа и Надя. Подлинных имен никто не знал. Но я предполагаю, что одна из них была моей доброй знакомой, жительницей Ялты. (То есть знакомой Яновскому Людмилой, может быть героиней пропавшего портрета — Н. С.)

Казалось, катер вот-вот доберется до «Очакова». Море было серым и не очень спокойным. Катер покачивало, он «клевал» в волнах. К тому же он был явно перегружен. Первой стрелять по «Очакову» начала канонерка «Терец». Даже не по «Очакову», а по катеру. Катер разнесло в щепы. Думаю, никто не спасся... Мюнхосец «Свирепый» под красным флагом рванулся на «Терец». Береговые батареи и некоторые суда эскадры ответили ураганным огнем. На «Свирепом» были снесены все палубные надстройки, но он двинулся вперед, надеясь, может быть, на таран. Ответил несколькими выстрелами и «Очаков».

На пристани началась схватка между солдатами и матросами с «Ростислава», «Трех святителей» и «XII апостолов», которые пришли сюда под командой офицеров, и народными милиционерами теми, кто их поддерживал. Затем я был ранен, оглушен. На время мне помогли укрыться в гостинице «Кист». Оттуда видел пожар «Очакова». На море быстро стало умеренно. Прямо на стыке Малого и Большого рейдов пылал огромный костер — «Очаков». Поначалу огонь захватил лишь нос корабля. Затем распространился на весь крейсер. Но тут вспыхнули и уперлись в «Очаков» прожекторы с нескольких кораблей. Свет прожекторов был голубоватым, неживым. Они не могли пробиться сквозь клубы дыма и пара, которые окутали «Очаков». С крейсера кричали, просили о помощи. Но никто не послал туда катера снять людей. Напротив, солдаты отгоняли от ступеней пристани тех, кто пытался на яликах направиться к крейсеру... Все это очень похоже описал Куприн в своей статье, опубликованной в декабре в газете «Наша жизнь».

Действительно, 1 декабря в «Нашей жизни» была помещена статья А. И. Куприна «События в Севастополе». Вот несколько цитат из нее:

«Мне приходилось видеть в моей жизни ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно до самой смерти, не забуду я этой черной воды и этого гигантского пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека...

...Мы услышали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

— Бра-а-тцы!

И еще, и еще. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие, черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов...

...А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали «Очакову» шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от «Очакова», стреляли картечью. Что бросившихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость.

Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра...»

Совпадает многое: и крик «братцы!» (об этом когда-то шли споры — достаточно ли близко от берега стоял «Очаков», чтобы можно было от пристани слышать крики?), и лучи прожекторов, как щупальца спрута опутавшие «Очаков», и сама картина короткого морского боя и пожара. В статье А. И. Куприна, в воспоминаниях А. И. Полканова и в картине Владимира Яновского совпадают даже детали: клубы дыма, языки пламени, охватившие сначала нос корабля, а затем начавшие



подбираться к капитанскому мостику, лучи прожекторов, направленные на корабль с трех сторон.

Каждый увидел это по-своему, но достаточно точно. Тем интереснее сопоставить впечатления писателя, журналиста и художника об одних и тех же событиях. Они дополняют друг друга, позволяют представить себе все это точнее. Ротмистр Н. Васильев те же события увидел, естественно, иначе. Взгляд жандармского ока любопытен уже тем, что он не мог быть доброжелательным.

Секретный доклад ротмистра Васильева командиру отдельного корпуса жандармов от 22 ноября 1905 года:

«Получались самые противоречивые сведения о настроении эскадры, но почти с уверенностью можно было сказать, что более половины эскадры ненадежно. 14 ноября на недавно оборудованном крейсере «Очаков» взвился красный революционный флаг; примеру «Очакова» последовало несколько мелких судов — миноносков. В морских казармах на сигнальной мачте развевался красный флаг, а на крыше учебного отряда — флаг главного командира. Из морских казарм выпроводили последнего дежурного прапорщика. 14 числа ноября на площадке перед морскими казармами утром Комитет устроил парад по случаю табельного дня, и матросы проходили церемониальным маршем мимо членов Комитета, причем, как говорят, играли гимн. Словом, под видом заявления экономических требований, на почве полного признания существующего строя государственной жизни готовился мятеж. Одновременно по городу были распространены печатные требования матросов, экземпляр коих при сем представляется.

Появлявшиеся ранее на всех митингах ораторши, известные под кличками Наташа и Надя, скрылись из города; они безвыходно находились в морских казармах, передевались иногда в матросское платье. Возбуждение в городе дошло до апогея, в жандармском мундире рискованно было выходить, но унтер-офицеры патрулировали по городу и старались примечать агитаторов, открыто, не стесняясь, собиравших небольшие группы на улицах для обсуждения положения дела. Я ниоткуда не мог получить точных сведений о намерениях матросов, ибо ни мятежники, ни морское начальство никого не пускали, первые из казарм, а вторые с эскадры. Порт забастовал, и мои агенты (сотрудники) отказались от совместной со мной работы: один уехал, одного я принужден был спрятать на хуторе у близкой семьи за городом, третий вовсе не явился. С объявлением крепости на военном положении, а потом на осадном вся власть перешла в руки коменданта и командира 7-го армейского корпуса, к коим я должен был ежедневно являться с докладом, не упуская быть с докладом у главного командира Черноморского флота. Время уходило на явки и доклады по начальству, имевшему основания, первые по крайней мере дни, относиться ко мне с доверием. День 14-го прошел в напряженном состоянии, не без столкновений. 15 числа определилось, что крепостная артиллерия, за исключением десятков людей, верна долгу присяги: второй ее батальон присягнул, что будет стрелять; стали приспособлять к бою береговые батареи. На броненосце «Ростислав» 6 раз поднимался красный флаг — знак принадлежности к революционному движению, и 6 раз команда его спускала и рвала в клочки на глазах команд «Очакова» и «Пантелеймона» (бывший броненосец «Потемкин»), 1 контрминоносца и трех номерных миноносков, на мачтах коих с утра развевался красный флаг. С утра около морских казарм стали группироваться запершиеся в казармах матросы. На сигнальной мачте висел красный флаг. Прибывший в бухту пассажирский пароход был остановлен «Очаковым» и осмотрен, ибо ожидали, что на нем едут войска.

В это же время заговорили о только что уволенном от службы за произнесение речей на похоронах лиц, убитых 18 октября у здания севастопольской тюрьмы, лейтенанте (в отставке капитан 2-го ранга) Шмидте, который стал во главе возмущившихся кораблей, объявив себя командующим Черноморским флотом, выпустил представляемое при сем объявление за свою подписью и начал обезжизнить эскадру, твердо уверенный в успехе дела; он знал, что еще накануне приказано было вице-адмиралом Чухнинным обезоружить все броненосцы, вынуть на судах из орудий камерные кольца и свезти в порт на хранение и что флот против вооруженного «Очакова» бессилен. Но ему не донесли, что в ночь на 15-е оружие и кольца были возвращены на суда.

Еще до полудня мятежники взшли на учебное судно «Прут», где содержались состоящие под следствием матросы из состава команды бывшего броненосца «Князь Потемкин», освободили арестованных и с музыкой, как первых борцов за свободу,

повели сначала в морские казармы, а потом на «Очаков». Среди сочувствующей революционным замыслам публики, видевшей эту сцену с бульвара, слышались возгласы: «Ну, первый шаг сделан, авось удастся и последний».

На миноносце под звуки музыки Шмидт объезжал эскадру, но не все суда встречали его приветствиями. Матросы пустили по городу слух, что в 2 часа Шмидт начнет бомбардировку города. К этому времени и на стоявших разоруженными в Южной бухте судах, уже окончивших кампанию, взвились красные флаги.

В 3 часа дня начался на дистанции от 50 до 200 саженей бой между судами, и с дистанции 2300 шагов полевые орудия и пулеметы стали обстреливать морские казармы. К 4 1/2 часам все было кончено на море. «Очаков» и присоединившиеся к нему миноносцы были приведены в негодность...

С первыми выстрелами, дабы уследить за настроением публики, я вышел на набережную поближе к перестреливавшейся эскадре и наблюдал картину боя. На набережной сначала было много народу, но когда пули и снаряды, правда единичные, стали залетать на набережную (шагах в 10 от меня близ памятника адмиралу Нахимову в мостовую ударило несколько пуль шрапнели, там и разорвавшейся), народ кинулся бежать куда попало. Картина боя довольно правдиво описана в представляемой вырезке из № 269 «Крымского вестника».

И до сего дня точное число погибших на «Очакове» не установлено. Команды на нем было 380 человек, сверх того на него вошли: 1) арестованные офицеры, не примкнувшие к движению, 2) матросы, освобожденные с «Прута», бывшие чины команды броненосца «Потемкин» и 3) частные лица — агитаторы. И убитые и раненые остались на «Очакове» после того, как он загорелся, и все сгорело, в 9 часов вечера я сам видел раскаленные борты «Очакова»...

Теперь в городе тихо, войска понемногу расходятся по квартирам, народ присмилел, жители исподволь возвращаются; но мелкие агитаторы, не уличенные и не пойманные на месте преступления, скрываются из города. В народе было сильное озлобление против сухопутных войск и особенно офицеров; и теперь еще циркулируют слухи о том, что все офицеры будут перерезаны, а их квартиры разгромлены...

Суммируя пережитое и доложенное выше, докладывая, что революционная вспышка подготовлялась заблаговременно, уже в первых числах ноября ходили слухи, что в половине ноября будет матросский бунт. В Севастополе брожение среди матросов первоначально созидалось только на почве экономических требований, по крайней мере так думали матросы, принявшие 12 ноября очень сухо депутацию портовых рабочих, объявившие этой депутации, что мастеровые могут спокойно заниматься своим делом, так как дело матросов и нижних чинов сухопутных частей не касается мастеровых. Эта рознь между военнослужащими и портовыми мастеровыми сказалась и во время подготовки к демонстрации 12 числа у Брестских казарм: ни мастеровые, ни их красное знамя не были допущены во двор Брестского полка, в демонстрации матросы шли отдельно от мастеровых, которых они окружили своею цепью. И лишь 14, когда матросам стало ясно, что они должны будут поддерживать свои требования вооруженной рукой, они воспользовались услугами мастеровых и при их содействии перенесли из портовых складов в казармы оружие.

Вся демонстрация, все требования были выработаны под руководством социал-демократической партии...

Ротмистр Васильев».

Доклад ротмистра нуждается в комментариях. Так, вовсе не команда «Пантелеймона» несколько раз поднимала и спускала красный флаг. И никто этот флаг не рвал в клочья. Все выглядело несколько иначе. На корабле шла борьба между революционно настроенными матросами и офицерами. Матросы поднимали флаг — офицеры его спускали.

Шмидт вовсе не грозил бомбардировкой города. Он обещал ответить на огонь береговых батарей, если те попытаются цотопить «Очаков». Когда начался обстрел крейсера, Шмидт действительно приказал вступить в бой, хотя на «Очакове» было лишь несколько орудий с замками, остальные, как известно, без замков.

Да и в целом доклад Васильева тенденциозен, написан с позиций человека, старавшегося представить севастопольское восстание локальным бунтом «безответственных элементов», что, впрочем, ему никак не удалось. Даже сквозь строки жандармского рапорта проглядывает правда: мы чувствуем и размах движения, и благородство тех, кто решился пожертвовать жизнью во имя будущего.

И теперь еще об одном действующем лице нашей истории — о генерале Думбадзе. Кстати, он со своим полком (еще в звании полковника) тоже участвовал в подавлении севастопольского восстания. И тут же получил приказ вернуться в Ялту. Туда же возвратился в свою фотографию и Владимир Яновский. Александр Полканов был ранен и отбыл в Симферополь. Но о генерале подробнее.

Николай Антонович Думбадзе слыл человеком спокойным, твердо знающим, чего он хочет. Недаром же дослужился до чинов высоких и должностей ответственных: начальник охраны Ливадийского дворца, командующий дивизией специального назначения, градоначальник Ялты. Три ипостаси при одной фамилии.

Генерал был крайне уверенным в себе человеком. Точнее, самоуверенным. Иначе он не произнес бы диких слов, которые передавали в Ялте из уст в уста: «Что вы все рыдаете: умер Чехов да умер Чехов! Этот умер, другой отыщется! Не на Чеховых, а на полицейских держится природа». Правда, Думбадзе не пояснил, что он подразумевал под словом «природа». Существующий в Ялте порядок вещей? Страну в целом? Или же планету с ее пятью населенными континентами и одним, покрытым вечными льдами?

Антон Павлович Чехов о существовании Думбадзе, может быть, даже и не знал. Генерал возвысился уже после смерти писателя. Но у самого Думбадзе с Чеховым безусловно были счеты. С ним случился тяжелый припадок, когда он прочитал рассказ «Унтер Пришибеев»: решил, что рассказ написан лично о нем.. Генерал Думбадзе не переносил не только Чехова, но и вообще интеллигентов. Само слово «интеллигент» он писал в разрядку — как понятие, требующее особого надзора.

В один из дней на исходе зимы 1906 года градоначальник опять вышел из себя. Рука его, державшая очередное донесение о положении дел в Ялте, дрожала. Из донесения следовало, что ранним утром в витрине писчебумажного магазина господина Семенова возник предмет, который «при ближайшем рассмотрении оказался картиной неизвестного происхождения, на коей был изображен горящий крейсер». Автор донесения нашел нужным подробно описать картину. Огонь отражался в воде и осветил тучи, нависшие над морем. Надписи не было. Но публика, собравшаяся у магазина, поняла, что на картине изображен «Очаков». Среди разговоров были такие: «Отлично сделано!.. Кто художник?.. «Очаков» похож на живое гибнущее существо... Тот, кто открыл по нему огонь, преступник... Мне за огнем и клубами дыма видится лицо Шмидта... Думается, он решил пожертвовать собой, чтобы пробудить армию и флот...» Были высказывания и более опасного характера. Далее из донесения следовало, что некто, судя по облику — рабочий, призывал всех к действиям против властей, подобным тем, которые были совершены в Севастополе. На вопрос доносившего, где владелец магазина господин Семенов и кто нарисовал картину, ответа получено не было. Приказчик утверждал, что господин Семенов в магазин еще не приходил, что же касается картины, то она будто бы возникла сама собой. А публика с пенем песен направилась по Пушкинскому бульвару в направлении бульвара Ломоносовского...

Генерал положил мелко исписанные листки на стол и прихлопнул их пухлой волосатой рукой. Он был в бешенстве. В Ялте, его Ялте, где он, как казалось, искоренил всяческую крамолу, случилось нечто ужасное. Ведь не так давно из Петербурга во все города России полетела телеграмма за подписью министра внутренних дел П. Н. Дурново. Вот ее текст: «Губернаторам и градоначальникам. Никакие демонстративные панихиды или демонстрации по поводу казни лейтенанта Шмидта ни под каким видом не должны быть допускаемы». И вот теперь, когда стало известно, что П. П. Шмидт и его соратники С. П. Частник, А. И. Гладков и Н. Г. Антоненко казнены, вдруг эта история с картиной в магазине Семенова!.. Приказ градоначальника был лаконичен: художника (вскоре выяснилось, что им был ретушер фотографии Семенова Владимир Яновский) и исчезнувшую картину немедленно отыскать и доставить к нему в кабинет!

Но Яновского искали полтора дня. Где он был? Куда исчез? Сам объяснил, будто ушел на прогулку в горы, чтобы развеять дурное настроение. Но явился с обернутым в газеты пакетом. Это была картина «Очаков» в огне». Те, кто видел полотно в витрине фотографии, удостоверили ее идентичность.

Генерал был неожиданно улыбчив и даже ироничен: «Сострадание к людям? Жаль стало сгоревших на крейсере? Понятно. Христианское сострадание похвально. Но во всех ли случаях оно уместно?» А затем короткий приказ: картину сжечь, а художника отныне держать под гласным надзором.

Одного не знал Думбадзе. Уничтожили не оригинал, а копию, которую Владимир написал всего лишь за 36 часов! На ней даже краски не просохли. Но генерал не был докой в живописи.

Думбадзе умер за год до революционного 1917 года. По-своему ушел от народного возмездия и ротмистр Васильев — он повесился в годы гражданской войны. Ставраки, пытавшийся уйти от расплаты за расстрел «Очакова» на рейде и Шмидта с его соратниками на острове Березань, был найден органами революционного правосудия и приговорен к смерти в 1923 году. Если имена этих «героев» и вспоминаются сегодня, то только в связи с тем, кому и как они навредили.

Те же, кто в крымских событиях пятого года был по другую сторону баррикад, памяты для нашей истории всей своей жизнью. Среди них и столь ненавистные Думбадзе интеллигенты: революционеры Шмидт, Полканов, Грин, писатели Куприн и А. Толстой. И начинающий в те годы художник Владимир Яновский...

Картину «Очаков» в огне» можно увидеть в экспозиции Крымского краеведческого музея. Вот уже три четверти века эта картина-свидетель, картина-очевидец рассказывает о бессмертном подвиге, совершенном в ноябрьские дни 1905 года.

Суд истории беспристрастен и справедлив. И каждому воздаст по истинным заслугам.



А. ЗВЕРЕВ



## ПРЕДЧУВСТВИЕ ЭПИКИ

*Латиноамериканская проза и пути современного романа*

Теперь ни одна серьезная дискуссия о путях новейшего романа, больше того — всей современной литературы, не обходит опыта латиноамериканских прозаиков. Не может обойти этот опыт: как бы его ни оценивать, он, несомненно, имеет самое прямое отношение ко многим узловым художественным проблемам, которые обозначились за последние годы. Разве сегодня назовешь лишь локальными искажения и открытия Гарсиа Маркеса, Кортасара, Фуэнтеса, Варгаса Льосы? Проза латиноамериканцев сумела затронуть проблематику, существенную для всего человечества, наметила дороги, важные для всего мирового искусства.

Впрочем, еще не так давно подобной ясности не было у нас, да и на Западе, какими бы триумфами ни увенчивались отдельные латиноамериканские книги. Что-то все же останавливало даже самых пылких энтузиастов: бесспорно, «Сто лет одиночества» — произведение выдающееся, но не на пустом ли месте оно появилось? Не экзотичностью ли привлекло? Да и странно как-то. Вроде бы у нас на глазах рождается большое художественное явление. Но где это происходит — на далекой периферии, в литературной глухомани?..

«Женам артистов», раннему своему юмористическому рассказу, Чехов дал шуточный подзаголовок «Перевод... с португальского», и уже многоточие настраивало воспринимать происходящее как невероятное. В сознании читателей латиноамериканских романов поначалу тоже существовало многоточие: Гарсиа Маркес, крупный писатель... из Аракатаки.- Оттого, наверное, до-

вольно осторожными были и первые оценки, исходившие не от специалистов, а от заинтересованных — и квалифицированных — читателей. Восемь лет назад Чингиз Айтматов писал в «Вопросах литературы»: «Латиноамериканская проза являет собой пример любопытного сочетания самых разнообразных элементов, художественных традиций и методов. Тут миф и реальность, достоверность фактографии и фантазия, социальный аспект и философский, политическое начало и лирическое, тут «частное», тут и «общее». И все это сливается в одно органическое целое».

Представление о латиноамериканском романе как о «едином потоке» для первого знакомства было естественным, затем оно поколебалось: слишком разные писатели, слишком широкий круг проблем и поисков. Но лишь усилилось впечатление целостности созданного латиноамериканцами «мира под переплетом». Пожалуй, это качество и поражает и привлекает в книгах латиноамериканцев всего больше: в нашу эпоху оно ценится особенно высоко, потому что приобретает так трудно. И нет ничего удивительного в том, что этот опыт вспоминается тотчас же, как речь заходит о синтетическом романе, о возвращении к эпичности, о масштабной социально-философской картине времени, сознаваемой как самая насущная потребность романного жанра в современную эпоху.

Предугадывать будущее жанра — занятие не только рискованное, но, пожалуй, и бессмысленное, коль вспомнить, сколько раз нелепостью оказывались как будто вполне логичные прогнозы такого толка. И все-таки направление, в котором сегодня дви-

жется роман, можно определить — во всяком случае, попытаться это сделать. В песноте новейших тенденций некая общая идея жанра, думается, пробивает себе путь довольно настойчиво, и особенно в последнее десятилетие.

Суть этой идеи, широко говоря, состоит в расширении пространства романа, которое должно вместить целый космос национального бытия, достигнутого в прочнейших связях с бытием всего человечества и с развивающейся историей. Речь идет, понятно, не о форме и даже не столько о проблематике, сколько о принципах романного мышления. Они, эти принципы, по-разному проявляют себя в литературах социалистических и западных, да и просто в творчестве каждого крупного писателя, но при всем том сохраняется исходная родственность творческих устремлений — она предопределена характером социальных и нравственных коллизий нашего времени, всей атмосферой эпохи, всей ее духовной ситуацией, которая находит для себя в современном романе свидетельство и осмысление.

Все чаще теперь, говоря о романе, мы вплотную подходим к понятию эпичности, имея в виду не эстетику классического эпоса, в котором мир представлен гармоничным и завершенным, а романную эпичность, возникающую на почве сегодняшней — животрепещущей, противоречивой, взрывчатой — действительности. Приметы такой эпичности, становящейся свойством романа как жанра, в наши дни слишком многочисленны, чтобы не увидеть за ними нового художественного качества. Еще раз: дело не в форме, не в тематике. Формы крайне многообразны, тематика охватывает настолько широкий спектр явлений и показывает эти явления настолько прочно переплетенными, что трещат традиционные классификации.

Свободному течению романа тесны тематические желобки, и сегодня мы обычно находим в нем не тему, подразумевая узкое значение слова, а размышление о коренных вопросах времени, каков бы ни был конкретный материал. Само это стремление избавиться от тематических перегородок по своему знаменательно — оно свидетельствует о той потребности синтеза, о той романной эпичности, которая ныне стала задачей и отчасти уже качеством жанра.

Поэтому и представляется: говорить уместнее не о темах, а об определенных комплексах проблематики, которые до известной степени организуют мощный романский поток. По своему характеру они под-

час могут показаться как раз довольно далекими от эпичности. Но это обманчивое впечатление. Скажем, уже не раз замечено, что одним из важнейших проблемных узлов социалистического романа в последнее время стала личность. Она не то чтобы обособилась от социального процесса, но перестала ему принадлежать всецело и без остатка, с той жестковатой детерминированностью, которая отличала концепцию человека в книгах двадцатилетней давности.

Роман «индивидуализируется» в том отношении, что на авансцену выступает личность, рассматриваемая крупным планом. Писателя по преимуществу интересует сфера частного бытия его героев, меняется конфликт, и остающееся в конечном счете решающим социальное его содержание отнюдь не самоочевидно. Привыкнув к наглядности идейных коллизий, отличающей произведения, которые непосредственно затрагивают общественные процессы современности, мы сперва с некоторой настороженностью воспринимали эти попытки сузить ракурс изображения, компенсировав утраченную панорамность глубиной анализа пусть и не слишком масштабных, зато вполне злободневных проблем. Памятна полемика вокруг московских повестей Юрия Трифонова, кипевшая несколько лет назад. В социалистических странах такие же споры завязались еще раньше, по мере появления книг Кристи Вольф, «Часа пик» Эжи Стефана Ставинского, «Дороги в никуда» Богомила Райнова...

Наметилась тенденция. Ныне вряд ли кем-то ставится под сомнение ее правомерность. Другое дело — как она истолковывается, в частности, применительно к движению прозаических жанров. Говорят о романизации повести: она становится как бы лаконичным романом и в силу емкости содержания, и, главное, в том смысле, что автором затронуты еще не устоявшиеся стороны жизни, разведана «неготовая» действительность, — иными словами, демонстрируется коренной принцип романного мышления. Об эпичности в таких случаях речи нет, да, кажется, и с чего бы? Ведь перед нами часто всего только «странички из биографии», два-три характерных эпизода, высвечивающих духовную суть персонажа и дающих почувствовать общественное явление, которое отразилось в его судьбе.

Все так, но разве обязательны для сегодняшней эпики внешняя объемность материала, его чисто информативная насыщенность или, скажем, хронологическая протяженность? Решают не эти формальные

признаки, решает характер художественного мышления. И в тех произведениях, где внимание приковано к личности, а фон ограничен, мы подчас наталкиваемся на проблематику большой сложности — еще недавно она казалась исключительным достоянием многопланового эпического романа.

Нам показывают решающие, переломные моменты движущейся истории, как она отразилась в сознании человека, «случайно попавшегося на ее дороге» (Герцен), и за кажущейся камерностью вдруг обнаруживается очень значительное общественное явление, а в тревогах, заблуждениях, исканиях, как будто замкнутых «горизонтом одного», ясно различаются отблески гроз, раскатывающихся по «горизонту всех». Появляются и подлинный историзм, и неподдельная социальная насыщенность, и накал драматических противоречий, отражающих драматизм огромных процессов меняющейся действительности. Разумеется, здесь речь идет не собственно об эпосе, это скорее обещание эпоса, добавочное свидетельство, что к эпике ныне устремлены основные тенденции романного жанра — и большой и малой его форм.

Отметим еще одну черту современного романа, по-разному, но настойчиво проявляющуюся на протяжении последних лет, — восприятие современности как эпохи, потеснившее более нам привычное ощущение времени как текущего. Все чаще в сознании героев точно бы смыкаются звенья протяженной цепи исторического опыта и день сегодняшний предстает определенным завершением долгого и трудного пути, вехой, которую невозможно понять и осознать, не обратившись памятью к великим событиям нашего века, сформировавшим весь его облик. Прошлое продолжает жить в романе как самая горячая современность — вспомним нашу военную прозу или вот недавно появившиеся «Записки молодого варшавянина» того же Ставинского, где все повествовательные нити стянуты к Варшавскому восстанию 1944 года и оно сохраняет свою значимость не только как исходный узел духовной биографии героя, но и как ее сегодняшнее содержание. Вспомним еще один польский роман, «Долго и счастливо» Ежи Брошкевича, в котором достигнута настоящая органика минувшего и текущего и в каждом переживании героя слышен отзвук истории столетия, его общественных потрясений, революций, войн.

В литературе остро чувствуется близость завершения века. Начинается пора предварительных итогов. Вовсе не обяза-

тельно, чтобы подведение этих итогов было осознанной целью произведения, — важен опять-таки сам принцип романного мышления. Осознавать мир вне контекста совершившейся истории становится все труднее — тем самым подрывается и такое устойчивое на Западе, так широко отразившееся в западном романе убеждение, что индивидуальный опыт отчужден от движущих сил общества, фрагментарен, лишен преемственности и причастности и в конечном счете абсурден. Пространство романа заполняется историей, и, нередко вступая в конфликт с мизантропическими авторскими настроениями, она заставляет писателя от разного рода мифов о действительности перейти к исследованию самой действительности. Углубляется реализм. Показательно в этом плане творчество Курта Воннегута, пожалуй, достигшего истинной зрелости в «Бойне номер пять», где трагические парадоксы НТР в условиях буржуазного общества осознаются в теснейшей связи с историческим процессом дегуманизации, сопутствовавшей в наш век всей американской жизни.

Роман все больше насыщается чувством истории. Это ощутимо сказывается на его внутреннем строе и на всем его самосознании. На Западе такие перемены, быть может, особенно заметны: не оттого, что новые веяния проявились здесь всего сильнее, а оттого, что совсем еще недавно существовали если не основания, то поводы серьезно тревожиться за судьбу жанра. Тризна по агонизирующему роману в 60-е годы стали привычны для тамошней литературной атмосферы. Да тогда и в самом деле трудно было всерьез говорить о жанровом обновлении; казалось, на традиционном пути дотошного исследования отчужденной личности в ее непрекращающейся и безысходной вражде с обществом достигнут предел. А иных горизонтов не открывалось. Точнее, они намечались, однако какие именно — либо документальное повествование, призванное заменить роман вымысла, будто бы скомпрометировавший себя осознанными или неосознанными компромиссами с буржуазной общественной мифологией, либо головоломная конструкция, построенная в духе рекомендаций структуралистской критики и схематизирующая действительность настолько, что между творчеством и жизнью возникла непробиваемая стена...

Сомнения в том, что у романа есть будущее, теперь развеялись. Конечно, и десятилетие назад жанр активно сопротивлялся своим торопливым могильщикам, и все же

нужен был качественный сдвиг последних лет, чтобы несостоятельность мрачных предсказаний сделалась очевидной. А признаки нового художественного качества многочисленны. Историзм романного мышления порождает и изменившуюся диалектику частного и общего, когда социальная жизнь перестает быть для произведения только декорацией или фоном, становясь органичным компонентом самой повествовательной ткани. Он порождает и усложненное, свободное от одноплановости представление о действительности, воссоздаваемой теперь через столкновение разных типов сознания, принципиально различных жизненных позиций. Так, к примеру, Роберт Мерль, описывая в своем романе «За стеклом» знаменитые студенческие беспорядки 1968 года, показывает их не только глазами бунтующих юных интеллектуалов, но еще и отраженными в восприятии полуграмотного рабочего-алжирца, у которого, конечно, совсем другой счет вещам. Вероятно, самое существенное в том, что этот прямой контакт романа с историей — и ушедшей и разворачивающейся сегодня — привел к укрупнению коллизий, невымышленной сложности характеров, многомерности всего художественного полотна, иначе говоря, помог возрождению в сегодняшнем романе важнейших отличительных черт эпики.

Латиноамериканский опыт оказался для этого процесса едва ли не самым важным. Дело тут не в непосредственных влияниях. Хотя и они в последнее время видны каждому, кто следит за движением романа на Западе.

Вот лишь один из многих примеров — роман молодой негритянской писательницы из США Тони Моррисон «Песнь Соломонова» (1977). Заметно выдлившись на общем фоне американского романа 70-х годов, эта книга вызвала немало споров нешаблонностью подхода к вечным для негритянского художника проблемам расового неравенства и создаваемого им социального и духовного бремени, ложащегося на плечи каждого нового поколения. На первый взгляд типичная бытовая хроника или в своем роде «роман воспитания», выбирающий героем юношу из ничем не примечательной семьи, которому, подобно всем обитателям гетто, суждено на самом себе узнать, как травмирует личность окружающая ее атмосфера расистского насилия. А по сути — история черной Америки между двумя кульминациями борьбы негритянского народа за свои права: от Гражданской войны до баррикадных боев в цветном предместье Лос-Анджелеса и Нового Орлеана.

Но эта история показана необычно. События, памятные каждому черному американцу, кровавая летопись угнетения и накатывающие волны протеста, когда так стремительно накалялся воздух над Гарлемом, — все это есть, но на периферии повествования, а в фокусе — размышления над коренными свойствами негритянской истории, миропонимания, этики, над процессами очень длительными, протекающими на большой глубине и не поддающимися никаким скоропалительным оценкам.

История, современность, весь социальный космос бытия черной Америки равноправно участвуют в рассказе об одной негритянской судьбе, направляемой знакомым выбором: либо относительно безопасное, но сдавленное конформизмом и неизменно приправленное отчаянием существование в гетто, либо относительно свободная, но полная опасностей и унижений жизнь за его пределами. Конфликт традиционен, но нетрадиционно его решение. Обыденный ход событий (а еще вернее, почти полная бессобытийность повествования) раз за разом резко нарушается вторжениями невероятного, фантастического, сказочного. Поэзия фольклора, рудименты мифологии, веками хранящейся в негритянском сознании, озаряют будничность негритянского квартала, показанную точными, жесткими штрихами, будничность, где всевластна нищета и никогда не кончается битва за выживание. И этот сплав фактографии и «магии» придает прозе Моррисон редкостное качество эпической объемности: постоянно раздвигаются временные рамки, действие — если иметь в виду не сюжет, а разворачивание философской коллизии — уходит к корням и предысторкам национальной самобытности, запечатленной во всей трагичной и гордой исторической судьбе негритянского народа, и в жизненных испытаниях героя просматриваются все три столетия общественного и духовного опыта этой особенной страны — черной Америки, которая никогда не примирялась и никогда не примирится с угловатым ей расистами уделом.<sup>15</sup>

Когда Тони Моррисон спрашивали, что побудило ее после двух достаточно традиционных романов отважиться на эксперимент «Песни Соломоновой», она говорила: необходимость искать форму, отвечающую сложности и масштабности процессов, которые сейчас происходят в сознании черных американцев, все увереннее ощущающих себя не пылью на ветру, а нацией с собственной историей и собственной духовностью. Отвечая на вопрос о ее литературных интересах, писательница называла име-



на Астуриаса и Гарсиа Маркеса. Здесь необходимая дань признательности: без сделанного латиноамериканцами «Песнь Соломонова» наверняка была бы совсем другой книгой.

Но в конце концов, повторим, дело не в таких вот очевидных влияниях. Точнее будет сказать, что латиноамериканский роман, не столько отождествляясь, сколько полемизируя с европейскими художественными устремлениями, самостоятельно нашел путь и направление развития, и это направление оказалось — без преувеличения — магистральным для современной прозы.

Отчего стал возможен подобный рывок, переместивший художественную культуру Латинской Америки, и в частности ее роман, к самому центру сегодняшних эстетических свершений и заставивший многих литературных знатоков преодолеть инерцию скептицизма?

Оглядываясь на недавнее еще время, легко уличить самих себя в каком-то инстинктивном европоцентризме, когда речь идет о мировой литературе. Мы и вправду многое просмотрели — к примеру, гватемальца Астуриаса, который переводился у нас давно, но только теперь, в период повышенного интереса к латиноамериканской прозе, созданного главным образом другими писателями, осознается как один из выдающихся писателей XX века. Мы и по сей день плохо знаем историю латиноамериканских литератур и лишь начинаем с удивлением открывать для себя сокровища, которые в ней таятся.

И тем не менее нужен был именно рывок, какой-то очень серьезный и глубокий сдвиг в самой литературе, чтобы ее значение сделалось бесспорным, чтобы умолкли разговоры о недолговечной сенсации. Этот сдвиг отмечен в латиноамериканской прозе примерно к середине 60-х годов. Кому-то он, возможно, и показался неожиданным. На деле для него были все объективные предпосылки. Подтвердилась закономерность, выявившаяся уже давно: «минуты роковые», переживаемые большим человеческим сообществом, — это и великие мгновения в жанровой биографии романа. Здесь существует прямая, хотя и не механическая взаимосвязь. Не упрощая диалектики столь сложных явлений, все-таки можно с уверенностью сказать, что большая литература почти всегда вызывается к жизни эпохами тех потрясений и переломов, которые затрагивают всю сферу национального бытия. Видимо, дело в природе романа, наиболее чутко улавливающего динамику становле-

ния — и новых качеств действительности, и новых отношений между людьми, и нового миропонимания личности. Когда такие процессы обостряются, приобретая революционный характер, роман вступает в свои лучшие времена.

Латиноамериканцы слышат подобные переключки необыкновенно отчетливо. Перуанец Марио Варгаса Льюса, не только один из «грандов» нового романа Латинской Америки, но и один из его лучших теоретиков, выстраивает целую концепцию, исходя из мысли, что на протяжении всей истории жанра периоды его расцвета близко соприкасались с периодами фундаментальных общественных перемен. И по-своему доказывает ее: было великое столетие рыцарского романа — за ним начался Ренессанс, был век русского классического романа — за ним последовал Октябрь, было два межвоенных десятилетия, ознаменованных подъемом романа на Западе, — за ними 1939 год, война и совершенно новая послевоенная ситуация на планете. Для Варгаса Льюса латиноамериканский роман современности — это как бы четвертый виток той же спирали. И предвестие социальной революции на континенте. Ей — кто знает? — суждено, может быть, оказаться прологом революционного преобразования всего мира...

Конечно, с писателями можно поспорить. Но показательно само сближение пиков романа и кульминаций истории. Латиноамериканскому романисту нет нужды выискивать аргументы в подтверждение этой идеи. Аргументов достаточно, стоит только обратиться к собственному опыту. Ведь роман Латинской Америки и в самом деле детище совершающейся сегодня истории, взятой в таких ее значительных факторах, как крушение колониальной системы, банкротство буржуазного сознания и начавшееся переустройство жизни на социалистической основе. Кубинская революция не случайно признается едва ли не всеми писателями-латиноамериканцами отправной точкой существенных перемен, происходивших за последние двадцать лет и в социальной действительности континента и в самосознании его людей, истоком, из которого берет начало и полноводная река новой латиноамериканской прозы.

В конце 50-х годов кубинец Алехо Карпентьер написал статью, в которой говорилось, что для романа Латинской Америки настало время эпосы. Он должен прийти на смену роману частной жизни, он оперирует не материалом отдельных человеческих биографий, а совершенно другим: в центре его

«бурлящая человеческая плазма». Начинается время грандиозной переделки латиноамериканского социального уклада и духовных традиций, писал Карпентьер, и романист значим для такой эпохи лишь в той мере, в какой он сумел постичь и выразить глубокие конфликты, развертывающиеся не в индивидуальном сознании, а в народном, всечеловеческом бытии. «Роман жив и весьма хорошо себя чувствует там, где он превращается в эпический...»

Предчувствием эпика полны и другие определения сущности, устремлений, высших задач формирующейся латиноамериканской школы романа. Эпика в итоге и сделалась для нее магистральной дорогой. Но далеко не традиционная эпика. В ее фундаменте — особый тип художественно-идеологического сознания. Парагвайский романист Роа Бастос (недавно наши читатели познакомились с его романом «Я, Верховный», представляющим собой всестороннее исследование феномена тирании, столь мучительно актуальное для континента пиночетов и стресснеров) определяет это сознание необычным термином — «космозрение». Термин, может быть, стилистически и не самый удачный. Но в нем схвачена важная черта особого видения и особого мышления, раскрывшегося в латиноамериканском романе.

За объяснениями надо обратиться к действительности Латинской Америки. Сегодня она охвачена революционным брожением, биение пульса истории слышно здесь с особой отчетливостью. По словам Октавио Паса, поэта и культуролога из Мексики, латиноамериканцы стали «современниками всего человечества». Емкое определение: смысл его не сводится к тому, что по темпам социального развития Латинская Америка догнала остальной мир, еще важнее, что она является современницей едва ли не всех эпох, какие знало человечество. Ведь и в самом деле на континенте соседствуют глубокая отсталость и технизированная урбанистическая реальность, пережитки колониальных времен и зачатки социалистических отношений, последние остатки феодализма и предвестия такого социального космоса, который пока еще лишь смутно угадывается как перспектива сравнительно близкого будущего.

Иногда говорят, что самобытность латиноамериканской прозы создана переплетением европейских традиций с индейским фольклором и африканской мифологией: на этом географическом перекрестке произошла встреча рас и смешение культур, давшее прообраз всечеловеческой культуры, о

которой когда-то мечтал Гёте. Несомненно, очень многим обязаны полученному ими наследию тот же Астуриас или Гарсиа Маркес. Но важнее все-таки другая «встреча» — эпох, форм бытия, систем человеческих отношений. Действительность оказалась необычайно протяженной во времени, позволив человеку в границах одного жизненного опыта как бы непосредственно пережить весь ход мировой истории, ясно осознав логику и направленность ее развития. «Час Латинской Америки», час ее духовного пробуждения, когда открывается в своих важнейших понятиях исключительная историческая судьба континента и его до крайности противоречивый, динамичный, заряженный революцией сегодняшний день, пробудил художников, способных воплотить именно целостность и логику всего исторического процесса, рассматривая его, конечно, главным образом в латиноамериканских преломлениях, но при этом неизбежно касаясь закономерностей, значимых для всего человечества.

Наверное, этим прежде всего и объясняется поразительный взлет латиноамериканской прозы и то качество, которое бросается в глаза сразу, с кого бы из ее представителей ни начиналось знакомство: локальное здесь всегда становится универсальным, хотя ничуть не утрачивает своей яркости и своего художественного обаяния.

Вспоминается любимая мысль Фолкнера: клочок земли величиной с почтовую марку способен сделаться для писателя вселенной, которой не исчерпать никогда. Латиноамериканцы, и особенно Гарсиа Маркес, дали весомое подтверждение той художественной идеи, которой мировая литература обязана «Шумом и яростью», «Светом в августе» и всем миром фолкнеровской Йокнапатофы. Общность творческих установок в данном случае очевидна. Однако разными оказались следствия и результаты.

Отчего латиноамериканский роман испытал потребность — кстати, вполне осознанную, — свернуть с проторенных троп, пусть даже их прокладывали художники такого значения, как Фолкнер? Указаний на специфику литературных традиций, складывавшихся в активном взаимодействии культур разных рас и народов, тут никак не достаточно. Да, пожалуй, и указаний на своеобразие действительности тоже. Действительность сыграла решающую роль лишь в том смысле, что определила задачу постижения всего хода истории как главную задачу нового латиноамериканского романа. Путей ее творческого решения она не

подсказывала — их находили сами писатели, отыскивая необычные принципы романного мышления, хотя это никогда не была чисто лабораторная работа, и каждая находка в конечном счете оказывалась адекватна отличительным чертам латиноамериканского бытия. Но важно отметить саму активность отношения искусства к действительности: вбирая ее в себя, роман ее преобразовывал, моделировал, если воспользоваться понятием из современного научного словаря, и отличался как раз повышенным вниманием к форме. Для латиноамериканской прозы не характерно жизнеподобие. Куда характернее другой принцип — конструирование, часто экспериментальное. Изыскания в области повествовательного языка признаются необходимым компонентом писательской работы — традиционный арсенал явно недостаточен, когда художник имеет дело с реальностью Латинской Америки. В итоге стал вырисовываться новый тип повествования. Когда сопоставляют латиноамериканский и мировой роман, это не всегда в полной мере учитывается. И напрасно. Сами сопоставления в этом случае оказываются довольно уязвимыми.

Долгое время латиноамериканцев «подтягивали» к европейцам, упирая на черты общности и сглаживания расхождения. Это делалось разными способами. Например, в латиноамериканском романе находили отголоски многих художественных движений, прошумевших на Западе, от сюрреализма до экзистенциализма. Легко подыскивались соответствующие примеры. В книгах мексиканца Фуэнтеса, Варгаса Льосы, Кортасара раз за разом возникают мотивы одиночества, всеобщей разделенности, человеческого непонимания — те самые мотивы, которыми заполнена литература Запада. Сходство казалось самоочевидным.

Только все дело в том, что эти мотивы латиноамериканцами не заимствовались. Они возникали закономерно, потому что за ними стояли реальные явления, и едва обозначался социальный контекст — время и страна, наполнение знакомых коллизий оказывалось совершенно иным. А новизна повествовательной организации лишь еще больше подчеркивала это несовпадение. Ведь обычно в таких случаях говорить приходится даже не об иной интерпретации привычного сюжета, а прямо о полемике. Взять хотя бы «Выигрыши» аргентинца Кортасара. По внешности типично экзистенциалистский роман, где создана условная ситуация и поиски выхода из лабиринта как будто самой своей бесплодностью должны внушить мысль, что одиночест-

во — закон существования и что перегородки между людьми непробиваемы, хотя и незримы. Ну а по сути? По сути — принципиальный спор с экзистенциалистским мироощущением, которым в разной мере наделены некоторые из путешественников, собравшихся на палубе корабля, отправившегося в неудачное кругосветное плавание. По сути — отрицание мнимой универсальности одиночества, отказ от заданности и умозрительности экзистенциалистских концепций и многогранное исследование вполне конкретного социального феномена: механизации сознания, его обезличивания, сделавшегося характерной приметой потребительского общества.

Или же, наоборот, значение латиноамериканской прозы видели в том, что она продолжила и обогатила традиции социальной литературы, чуждой философствования и устремленной непосредственно к самым большим точкам действительности. Главным в ней тогда оказывалось то, что она создала правдивые, неподдельно разоблачительные картины жизни, поражающей своими контрастами, глубоко пропитавшейся насильем, стиснутой удавками местных и международных олигархий. Если удовлетворяться только очевидным, не идя дальше тематики, такое толкование можно было бы принять как бесспорное.

Когда в 1962 году Фуэнтес опубликовал «Смерть Артемио Круса», книга была воспринята прежде всего как беспощадный анализ буржуазного стяжательства и аморализма, и даже ее лежащие на поверхности отличия, скажем, от «Саги о Форсайтах» не показались опознавательными знаками иной системы художественного мышления: ни построение романа в виде внутреннего монолога героя, а точнее спора нескольких голосов, развертывающегося в его сознании, ни наплывы картин мексиканской революции, которые подключают такую большую для Латинской Америки тему насилия, выходящего из-под контроля разума.

Когда через несколько лет мы впервые читали Варгаса Льосу («Зеленый дом»), конечно же, нас больше всего привлекала та смелость, с какой прозаик говорил о бесчеловечности как норме существования и показывал оцепенелый, попахивающий трупным запахом мир насквозь прогнившего общества. И в ту пору мы едва ли могли придать серьезное значение необычности повествовательных средств этого романа, охватывающего четыре десятилетия перуанской жизни, хотя как раз Варгас Льоса сформулировал одно из программных положений эстетики латиноамериканской прозы:

«Чем более строга конструкция романа, тем глубже постижение того мира, который он воспроизводит». Свою «конструкцию» сам он выстраивал, смещая хронологическую последовательность, вводя осколочные фрагменты потока сознания множества персонажей, осознанно раздробляя действие, — и все же «Зеленый дом» показался образцом эпического романа старого типа, где первостепенно важен четко выделенный и последовательно разрешаемый социальный конфликт.

Такого рода аберрации по-своему понятны, их источник — объективно присущая каждому выдающемуся произведению латиноамериканцев социальность. Один только 1975 год принес Латинской Америке сразу три блестящих по мастерству романа о диктаторах: «Осень Патриарха» Гарсиа Маркеса, «Превратности метода» Карпентьера и уже упоминавшуюся книгу Роа Бастоса «Я, Верховный». Это очень разные произведения, однако они воспринимаются чуть ли не как трехчастный цикл. Потому что во всех трех бескомпромиссному анализу подвергнуты те стороны действительности, которые предопределяют особую устойчивость тиранических и полуфашистских режимов на «континенте, где встречаются все эпохи».

Нам кажется, что всякий раз перед нами книги, до края загруженные злободневной общественной проблематикой, и это подлинное завоевание социального искусства современности. И тем не менее собственно социальным романом, подразумевая особую ветвь жанра, так обильно плодоносившую в европейских условиях, ни одна из названных книг не является: ни социально-политическим романом вроде «Войны с саламандрами» Чапека, ни романом социально-аналитическим, какой была «Вся королевская рать» Уоррена или гораздо более поздние «Коридоры власти» Сноу — намеренно берем произведения, касающиеся примерно тех же сфер жизни, что и латиноамериканская «трилогия». Причем отход от жанровой традиции на этот раз никак не назвать непреднамеренным. Еще в 1968 году Гарсиа Маркес говорил в одном интервью следующее: «Моя сдержанность по отношению к тому, что известно под именем социального романа и что представляют как самое высшее выражение завербованной литературы, основывается на его фрагментарности, однобокости, сектантстве, на всем, что обрекает читателя узко воспринимать мир и жизнь... Возник некий парадокс: писатели, которые честно захотели раскрыть ужасающий драматизм политиче-

ской и социальной жизни большинства нашего народа, но ограничились только этим, превратились в писателей для немногих — их не читают».

Упреки в узости и однобокости адресовались, судя по всему, не классикам социального романа (ушедшим и живым), а их незадачливым колумбийским подражателям, но суть не в этом. Интервьюер спросил тогда Гарсиа Маркеса, каким, на его взгляд, должен быть роман идеальный, и тут ответ писателя заслуживает самого пристального внимания: «Романом совершенно свободным, который волнует не только своим политическим и социальным содержанием, но и мощью своего проникновения в действительность; а еще лучше, если он способен вывернуть действительность наизнанку, чтобы показать, какова она с обратной стороны».

Читателей «Ста лет одиночества» и «Осени Патриарха» навряд ли удивит это тяготение к изнанке реальной жизни, органичное для воспринятой Гарсиа Маркесом карнаваловой художественной традиции. Удивит, пожалуй, другое — решительность, с какой Гарсиа Маркес отказывается признать себя социальным романистом. Однако это вовсе не отказ от тех обязательств, которые накладывает на художника естественная для него роль летописца эпохи, ее общественных конфликтов и движущих сил. Напротив, сам полемический запал Гарсиа Маркеса объясним скорее всего тем, что традиционный социальный роман не до конца отвечает такому призванию, и уж тем более, когда речь идет о действительности Латинской Америки. Она требует от писателя не фрагментарности, то есть внимания к частностям, пусть даже и очень показательным для всего социального климата континента, а «мощи проникновения» в общественную жизнь и в историю, которые должны изображаться целостно, обобщенно, крупно и вместе с тем достоверно в любой конкретной подробности. Она рождает идею «космовоззрения» как необходимого творческого масштаба и как единственного органичного выражения для тех грандиозных процессов приобщения к исторической жизни всего человечества, которыми сегодня определяется латиноамериканское самосознание. Она побуждает романиста искать особую систему художественных координат, и эта упорная работа в конечном счете расчищает дорогу поэтике современного эпоса, двадцатилетие назад провозглашенного Карпентьером объективной потребностью латиноамериканской прозы, а сегодня представляющего уже как литературный факт.

«Для европейцев Южная Америка — это мужчина с усами, гитарой и револьвером, — говорит один из персонажей повести Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет». — Они нас не понимают».

Это 1961 год. Еще не так скоро наступит звездный час латиноамериканской прозы и, привлеченные ее художественным богатством, читатели повсюду в мире начнут для себя открывать вместе с писателями континента и сам континент во всей причудливости и неповторимости его жизни.

А понимала ли Южная Америка саму себя? Знала ли саму себя, свою духовную сущность? Освободилась ли от бремени культурного колониализма, насаждавшего не только шаблоны эрзац-культуры от бульварных романов до слезливых кинодрам из жизни «хорошего общества», но, что было по-своему куда дальновиднее, и целую систему сугубо европейских философских представлений и эстетических идей, чужеродных латиноамериканскому мышлению?

Раньше других об этом задумался Карпентьер. Работая над «Потерянными следами» (книга вышла в 1953 году), он впервые попытался художественно воплотить то специфическое «континентальное сознание», которое исподволь складывалось во время его поездок по Гаити, Венесуэле, когда ему открылось близкое соседство первобытного и сверхсовременного как определяющая черта латиноамериканской цивилизации. Странствие «вверх по течению времени», каким были эти путешествия, привело его в «реальный мир чудесного».

Такую реальность невозможно было просто описывать, пользуясь давно выработанными литературными приемами. На этом пути слишком явственной оказывалась угроза этнографизма, погубившего в былые времена не одно латиноамериканское произведение из тех, в которых авторы добросовестно фиксировали контрасты окружающей жизни, но не старались отыскать художественное видение, отвечающее этому поразительному совмещению полярностей. Карпентьер предложил другой подход — его впоследствии назовут «художественной инвентаризацией». Одним из важнейших понятий для этой эстетической программы оказывалось понятие «чудесного» или же «магического» — литература должна создавать «чудесную реальность», представляющую собой синтез жизненной правды и народной мифологии, воображения, фантазии, во многом определяющих характер латиноамериканского восприятия мира.

Другим ключевым словом было «барокко». Карпентьер обосновал идею барочности

как необходимой отличительной черты латиноамериканской прозы, касающейся «вещей, которые впервые обретают название» в этой литературе, — у них «нет предшественников ни в пластическом, ни в словесном искусстве... Из-за того, что писателю необходимо с максимальной точностью рассказать о предмете, который должен закрепиться в сознании читателя, и возникла потребность в обязательном использовании прилагательных, особых словесных конструкций и других изобразительных средств, которые всегда приводят к избыточности, перенасыщенности. А барокко — это в конечном счете и есть избыток».

Примечательно, что свою концепцию Карпентьер полемически противопоставил некоторым европейским художественным идеям, на первый взгляд, почти совпадающим с его собственными. Сюрреалисты более полувека назад провозгласили инъекцию магического действенной терапией для современного искусства, оказавшегося в плену бюргерских понятий и претензий рационально объяснить безумный мир XX столетия. Рассуждая о барокко, сам Карпентьер вспомнил имя французского поэта Поля Клоделя, пропагандиста витиеватых и усложненных образных ходов и той многослойной метафоричности, которая отличала творчество художников, явившихся вслед за Ренессансом. Перед нами как будто и впрямь попытка пересадить на почву Латинской Америки побег, взлелеянные в парижских поэтических лабораториях. Но решающее различие заключалось в том, что Карпентьер опирался не на лабораторный анализ эстетических тенденций, производимый путем чистого логизирования, словно бы оно способно создать подлинную живую литературный стиль, а на глубоко им постигнутые черты своеобразия самой латиноамериканской жизни, требующей и эстетического эквивалента, отмеченного такой же самобытностью. Сюрреализм, как и стилизация в духе барокко, сохранили свое место в истории литературных экспериментов нашего века, но не создали, не могли создать таких больших художественных движений, как латиноамериканский «магический реализм», каким он предстал в произведениях и Карпентьера, и Гарсиа Маркеса, и Астуриаса, и Варгаса Льосы.

Не вполне обычное это словосочетание — «магический реализм» — сегодня уже настолько примелькалось, что незаметно стало стираться исходное значение эпитета, как раз и сообщающего самому понятию необщий смысл. Что такое «магия», постоянно вторгающаяся в повествование латиноа-

риканцев? Только ли разгулявшаяся художественная фантазия, дар вымысла, щедрость воображения? Что собой представляет по своей художественной природе, скажем, знаменитый эпизод из «Ста лет одиночества» — Ремедиос Прекрасная, возносящаяся в небо на подхваченных ветром перкалевых простынях? Гротеск, легенда, притча? Но, между прочим, сам Гарсиа Маркес, комментируя это место из своего романа, заметил, что здесь самое главное — элементы реальной жизненной ситуации: и неожиданно налетевший смерч, какие случаются только в Латинской Америке, и даже белые простыни. А в 1979 году высказался еще решительнее: «Ни в одной из моих книг нет фантазии». В них лишь поэзия воспоминаний, лишь действительность, творчески переработанная в горниле «магического реализма».

Теснейшее переплетение чудесного и фактографии — одно из коренных свойств нового латиноамериканского романа — и самую «магию» как бы перемещает из царства фантазии в область действительного бытия, помогая создавать стереоскопический образ мира. Многомерность, едва ли не исчерпывающая полнота этого образа — одно из самых больших завоеваний латиноамериканцев. Их усилиями искусство романа вернуло себе способность творить подлинно целостную художественную реальность, которой так ощутимо недостает во множестве книг, и даже талантливых книг, появляющихся в наши дни на Западе.

Значение этого урока теперь хорошо осознано и многими западными критиками. Три года назад Джон Леонард, ведущий литературный обозреватель «Нью-Йорк таймс», с едкой иронией комментировал: «Мы заняты тем, что поддѣльваемся под Кафку, предоставив латиноамериканцам писать романы, в которых действительно важна настоящая жизнь». Статья Леонарда называлась «Катаясь под откос» — для характеристики американской прозы он не нашел более мягкой метафоры. Думается, тревога его была чрезмерной, но уж никак не беспочвенной. Уже хотя бы потому, что Леонарда тревожила невымышленная опасность. Она состоит в том, что роман лишается внутренней организации, становясь спонтанным коллажем вещей, явлений, событий, отголосков, потоком реальности, а не ее художественной организацией. Оппонент Леонарда Хью Кеннер, один из стойких приверженцев авангардизма, оправдывал эту подмену образного постижения действительности почти механической записью ее шума: наивно полагать будто искусство

сегодня по силам укротить хаос бытия, — оно всего лишь «гримаса неудовлетворенности», оно способно разрушить иллюзию разумности существующего порядка вещей, но не создавать собственную упорядоченность. Это очень распространенный на Западе взгляд. И еще в не столь давние времена для него находилось так много подтверждений в текущей литературе.

Художественный опыт последнего десятилетия — латиноамериканский, в частности, — побудил к критическим переоценкам даже вчерашних ревнителей подобной «спонтанности», к которым, кстати, принадлежал и Леонард. Стало слишком уж ясно, что внешняя реалистичность таких книг (вот вам «сырая» жизнь как она есть) на самом деле оборачивается бескрайним обеднением реальности, ее выпрямлением в согласии с давно приевшимися тезисами модернистского свойства, которые Леонард формулирует кратко и точно: «Какова цель современного романа? Продемонстрировать, что язык неспособен ничего обозначить. Каково наше восприятие жизни? Разумеется, трагическое. Что мы выносим из своего социального опыта? Только чувство омерзения». И в завершение Леонард пишет прямо и резко: «Я больше не доверяю большинству наших серьезных писателей». Что ж, не без причин...

Если держать в поле зрения вершины, а не поток, картина, естественно, будет несколько иной. И все же... Как часты в последнее время сетования на то, что из французского романа исчезает Франция, что целые пласты английской действительности точно бы не замечаются литературой Великобритании, что писателей привлекает аллегория, философская эссенстика, только кажущаяся художественной прозой, времена давно прошедшие или еще не наступившие, — и все меньше притягивает живая жизнь, в которую погружаются и они сами, закончив бдения за рабочим столом. А ведь это, в конце концов, та же самая проблема, которая так остро поставлена в статье Джона Леонарда, — лишь контекст иной и иной художественный уровень.

«Инвентаризация», которую осуществляют латиноамериканцы, вызвана потребностями как будто сугубо специфическими, локальными, но эта работа значительна, думается, и для судеб прозы как искусства. Собственно, решается один из труднейших внутренних конфликтов, переживаемых в наши дни романом: с одной стороны, усложнение действительности поневоле заставляет роман «специализироваться», становясь все более фрагментарным и охватывая все более уз-

кий спектр явлений, а с другой — необыкновенно возрастает жажда целостности, синтеза, когда жизнь, схваченная во всем ее многообразии, предстает как единое огромное событие со своей логикой и смыслом. Превосходно чувствовал этот конфликт и неустанно искал его разрешения Фолкнер, по духу, пожалуй, самый близкий латиноамериканцам западный классик XX века. А в современном романе Латинской Америки наметились новые пути преодоления того же противоречия между объективной центробежностью и искомой центростремительностью создаваемой в произведении картины.

Особенно примечательно в этом отношении сделанное Марио Варгасом Льюсой. Это писатель, много и охотно экспериментирующий, начиная с самых ранних своих книг. Он до бесконечности раздроблял событийный поток, полностью отказываясь от хронологической последовательности, заставляя действие и художественное время петлять по крайне замысловатому маршруту — были здесь явные излишества, но была и та эстетическая избыточность, которая действительно заставляет вспомнить о барокко. А главное, содержательность любого, даже и не вполне удавшегося эксперимента Варгаса Льюсы оставалась бесспорной и все его усилия направлялись как раз тем поиском синтеза центробежности и центростремительности, к которому сегодня настойчиво стремится роман, связывая с решением этой проблемы свое будущее.

Обратим внимание, как своеобразно построен хотя бы последний по времени роман Варгаса Льюсы «Тетушка Хулия и писака» — он у нас недавно переведен. Нам рассказывают вполне заурядную историю начинающего литератора, его мытарств, безденежья, семейных конфликтов и первой любви, пылкой и романтической, но, вопреки пословице заржавевшей довольно быстро. Кроме того, нам рассказывают историю преуспевающего сочинителя граничащих с абсурдом радиороманов, которыми заслушивается вся страна, поставщика этих сюжетов «из крови, песен, мистики и огня», представляющих собой не совсем ординарную, «тропическую» разновидность массовой культуры.

Две линии повествования, по логике традиционного романа подобной проблематики, должны быть контрастно противопоставлены. Но в том-то все и дело, что структура романа определяется не противоположением, а очень тесной сближенностью, совмещением, порой почти полным отождествлением этих двух начал действия.

Герои — чуть ли не единомышленники, когда речь идет о том, какой должна быть настоящая проза. Надо ли оговаривать, что для Варгаса Льюсы его прославившийся герой-сочинитель неприемлем в нравственном смысле и что автору ясна общественная вредность такого рода спекуляции на примитивных литературных вкусах широкой публики? Этой теме принадлежит в романе далеко не основная роль. А вот тот факт, что в эстетике, которую изобретает Педро Камачо, есть явная родственность той эстетике, которая знакома читателям «Зеленого дома» и других книг Варгаса Льюсы, действительно важен. Педро Камачо «синтезирует персонажей из разных постановок, меняет им имена, запутывает сюжет и закручивает все эпизоды в единую историю». А разве не тем же самым в принципе занят Варгас Льюса и в «Зеленом доме», и в «Капитане Панталеоне», и в «Тетушке Хулии...»?

Еще любопытнее, что эти закрученные фрагменты выдуманной радиороманистом истории непосредственно вводятся в текст повествования. Сначала порознь, совершенно неправдоподобными, хотя при этом поразительно точными в деталях рассказами о великом истреблении крыс, о детоненавистнике, об отцеубийце и т. д. А затем и совокупно, так что футбольный матч на стадионе Лимы, сперва выглядящий как обычное спортивное мероприятие, в итоге предстает настоящей фантазмагорией, своего рода Вальпургиевой ночью выдуманных Педро Камачо персонажей.

Для чего это делается? Да именно для того, наверное, чтобы, описывая слой за слоем многокрасочную и контрастную перуанскую действительность, ни в чем не поступаясь правдой скрупулезно точного изображения отдельных ее сторон и вместе с тем добиться целостности ее образа, той обобщенности картины, которая здесь достигнута фантазмагорическим и точным «портретом» латиноамериканского сознания. Действительность непосредственно входит в роман Варгаса Льюсы не только вместе с юным журналистом, мечтающим о писательстве, но и буднями воспитавшего его среднего семейства, и разноликостью человеческих отношений, с которыми сталкивается Варгитас, и грубой повседневностью трущобного квартала, где хижины сооружены из консервных банок и сухого навоза, а о водопроводе имеют самое отдаленное представление. Входит — и тут же разбивается на множество почти не соприкасающихся осколков, бессвязных фрагментов бытия.

В писаниях Педро Камачо при всей их дешевой сенсационности и банальных приемах действительность начинает проступать как определенное целое. Он уловил в ней, может быть, самое существенное — ее ирреальность, прочно сцепленную с прозаизмом быта, и пышно разросшуюся на такой почве доверчивости к самым, кажется, нелепым сказкам, к любым гиперболам, к любым невозможностям. Отраженная в массовом сознании латиноамериканцев, секрет которого безошибочно постиг Педро Камачо, подлинная жизнь наполняется фантазмагорией, стираются «границы между фантастическим и фактическим» — по признанию автора, работа над «Тетушкой Хулией...» лишний раз убедила его в том, что это закономерность латиноамериканского миропорядка. В романе Варгаса Льюсы постоянно ощутимо такое стирание границ, оно осуществляется буквально в каждом эпизоде и создает ту центростремительную доминанту романного действия, которой в итоге подчиняется вся пестрота заключенных в нем конкретных свидетельств о перуанской действительности — они, строго говоря, лишь прелюдия к размышлению о латиноамериканском сознании, о котором и написана эта книга.

Одному из своих произведений Варгас Льюса предпослал эпиграф из Бальзака: «Истинный романист должен обследовать всю жизнь общества, потому что роман — это частная история народов». Всю жизнь. В наше время это необыкновенно трудно. Утвердившаяся в прозе латиноамериканцев барочность, быть может, со временем станет надежной дорогой к такой цели и для мирового романа. Понятно, что речь идет не только о стиле — о пластике описаний, о подробнейшей детализации, о вещной символике. Книжки того же Варгаса Льюсы не в последнюю очередь привлекают этим стилистическим богатством. Оно не самоценно. Оно работает на серьезную творческую задачу. Потому что речь все-таки идет прежде всего об определенной философии романа и о мере его возможностей перед лицом действительности, которую на Западе теперь характеризуют при помощи эпитетов одного и того же смысла: «атомарная», «фрагментарная», «дискретная». Сумеет ли роман противодействовать этой фрагментарности, обретет ли новую целостность, когда ему приходится оперировать материалом столь малопригодным для подобных задач? Предложенная латиноамериканцами барочность, может быть, еще и не ответ, и уж конечно не единственно возможный. И тем не менее это реальная пер-

спектива для современной прозы, не утратившей веры в свою способность создавать многомерный и целостный художественный мир.

Касаясь своего творчества, Гарсиа Маркес предпочитает говорить не о барочности, а о поэтическом осмыслении мира. «Уж если что барочно, так это сама латиноамериканская действительность, а литература — лишь ее отражение». Это из интервью 1968 года. А вот одиннадцать лет спустя — разъяснение эпизода с желтыми бабочками, неизменно сопровождавшими одного из героев «Ста лет одиночества» и обрушившись на Макондо настоящей лавиной после его гибели: из детства запомнилось, как однажды вызвали монтера и вместе с ним в дверь влетела большая бабочка, напугавшая домочадцев, — точечка дала память, остальное было делом воображения. «Шаг, что был сделан от реальной истории... к ее литературному воссозданию в книге, невозможно осуществить никаким другим способом, кроме поэтического».

Поэтика «Ста лет одиночества» — это, несомненно, последовательное воплощение принципов, родственных барокко, и если автор избегает этого термина, заменяя его другими — «поэтическое», «магический реализм», — то скорее всего только с целью сразу же устранить всякие подозрения в литературности, искусственной стилизованности латиноамериканского повествования. В самом деле, оно явилось не как сознательная реминисценция и лишь объективно совпало некоторыми своими особенностями с изобразительной системой старого барокко, но потребность в нем современная и в основе своей чисто латиноамериканская, а его суть — не столько возрождение традиции, сколько становление совершенно нового типа романной структуры.

Та барочность, которая нам открывается в книгах Варгаса Льюсы, и Карпентьера, и Гарсиа Маркеса, неизменно несет в себе черты мифологического, чудесного, накладывающие отчетливый и нестираемый отпечаток на весь художественный мир латиноамериканского романа, определяя и резкое своеобразие приемов письма — оно чувствуется и в организации романа как целого и даже в мелочах. Без «магии» и возникающего на ее почве мифологизма невозможно себе представить прозу латиноамериканцев, какой мы ее сегодня знаем. На практике это «магическое» начало может выражаться в самых разнообразных формах, выступать как доминанта или только как равноправный компонент созда-



ваемого художником космоса, однако оно непременно напомнит о себе читателю «Тетушки Хули...» и «Превратностей метода», «Ста лет одиночества» и «Смерти Артемио Круса»... Урок, который современный роман мог бы почерпнуть из латиноамериканского опыта, многим видится прежде всего в новаторском использовании народной мифологии для масштабных эстетических обобщений.

Вряд ли есть надобность доказывать, что этот мифологизм не был порожден холодным умствованием теоретиков, желающих выдать плоды своих кабинетных штудий за полнокровные художественные произведения. Дело и здесь упиралось в необходимость «инвентаризации» действительности. Но вот что важно — цель не ограничивалась достоверностью описания. Цель состояла в анализе важнейших категорий, без которых непостижимой останется причудливая историческая судьба континента, как и его до крайности противоречивый, динамичный, заряженный революцией сегодняшней день.

Утверждая, что «так называемая магическая литература Латинской Америки... является, быть может, самой реалистической литературой мира», Гарсиа Маркес далек от саморекламы — она ему просто не нужна. «Магия» в этом контексте — только вера в реальность, которая сама воспринимается как чудо, представляя собой фантастическое (для стороннего наблюдателя) переплетение несовместимостей и в общественной жизни и в духовном мире личности. Вторгаясь в повествование, «магия» добавляет ту глубину постижения законов действительности, которая оставалась недоступной предшественникам, вдохновлявшимся классическими европейскими образцами. Обнажаются трагедии и надежды, по сути не меняющиеся столетиями, явственно проступает специфический строй мироощущения, присущий латиноамериканским нациям, чье сознание и сегодня остается во власти «магического». Выходят на передний план ключевые понятия всего социального опыта континента.

Среди таких понятий два обладают поистине главенствующим значением — насилие и одиночество. Это чрезвычайно емкие, многогранные понятия. Одиночество предстает как некое вневременное и непреходящее свойство латиноамериканского бытия, изолированного от магистральных путей мировой истории, провинциально замкнутого, непонятного и неинтересного миру. И как социальная разобщенность, которая усиливается с ходом буржуазного прогрес-

са, становясь противоестественной нормой жизни. И как изолированность личности, ее отчужденность, переживаемая, может быть, особенно обостренно и оттого, что за нею стоит одиночество всего континента.

Такой же неподвижной реальностью латиноамериканской жизни оказывается насилие — еще одна неизбывная черта. Насилие империализма, выступавшее здесь в своих крайних формах. Насилие всевозможных местных «патриархов» и передающееся дальше, как заряд по цепи, полицейское насилие, насилие в бытовых отношениях, в частном существовании индивида.

Эти понятия связаны самым непосредственным образом. Советские критики В. Кутейщикова и Л. Осповат, написавшие превосходную книгу «Новый латиноамериканский роман», говорят в ней о «самовоспроизводящейся системе»: насилие и одиночество выступают как важнейшие звенья социального опыта, а литература свидетельствует о его повторяемости, его неизменности, точно бы все вносимое временем затрагивало лишь верхний слой, а не ядро реальности.

Для латиноамериканского художника эта связь и «самовоспроизводимость» — отправной пункт размышлений о действительности. Так распорядилась история. И в книгах латиноамериканцев «система», для которой одиночество и насилие вроде сообщающихся сосудов, исследована не только всесторонне, она понята и объяснена исторически и показана не в одних лишь самоочевидных своих проявлениях, а еще и в глубоких, трудно опознаваемых последствиях для духовной жизни, этики, мироощущения всех и каждого, кто в нее вовлечен. «Магическое» для такой цели поистине незаменимо, и внимательный взгляд всегда обнаружит даже в самых невероятных ситуациях латиноамериканских романов отражение конкретных социальных обстоятельств и противоречий истории — таких серьезных и значительных, что на романном пространстве свободно умещается содержание, достойное крупного эпического полотна.

Перечитаем «Сто лет одиночества» — книгу, ставшую современной классикой. Можно, конечно, воспринять это произведение как традиционную, в общем-то, хронике шести поколений вырождающегося семейства, сделав необходимые оговорки насчет необычности изобразительных приемов и богатства авторского воображения, щедро черпающего из россыпей фольклорной образности. Можно указать на несколько напрашивающихся параллелей из великой литературы нашего века, на несколько

беспорных художественных доказательств необывающей способности искусства превращать локальное в универсальное, наполняя летопись какого-нибудь затерянного на карте хутора Татарского или округа Йокнапатофы гулом серьезнейших коллизий эпохи, который ясно слышится и в летописи Макондо, колумбийского городка одиноких, своим всеобщим одиночеством отгороженного от всего мира. Можно, упрощая реальный смысл этого важнейшего образа-понятия — «одиночество», увидеть в книге притчу об истории, движущейся по замкнутому кругу и лишенной смысла, логики, перспективы, истолковать роман Гарсиа Маркеса как мрачную аллегория или, напротив, как грандиозное раблезианское осмеяние абсурдного порядка вещей, которому уготована судьба Макондо — исчезнуть, не оставив следа даже в людской памяти.

И каждое такое прочтение будет по-своему верным, но ни одно из них не будет достаточным, соразмерным истинным пропорциям и истинной художественной сущности книги Гарсиа Маркеса. Потому что в действительности это книга о судьбах большой философской идеи, которая легла в фундамент целой цивилизации, описываемой Гарсиа Маркесом уже на стадии ее распада, — буржуазной цивилизации, питавшейся ренессансным апофеозом свободной личности, которая утверждает свое естественное право на счастье.

Все мучительные, трагические превращения этой идеи и той формы организации человеческого сообщества, которая из нее выросла, оживают в истории Макондо, даже в еще более частной истории рода Буэндиа. И зачарованность бескрайним простором для создания, открывшимся, когда были расчищены обломки феодализма. И ранняя заря буржуазного прогресса, вдохновлявшая великие надежды. И крепившееся еще не ослабшим энтузиазмом упорство, с каким преодолевалось сопротивление природы, противодействие не желавших цивилизоваться аборигенов, да и зародившееся сомнение в истинности самих целей, раз они потребовали столь жестоких средств. И эпидемии войн, социальных кризисов, межнациональных и внутринациональных конфликтов, и резкие классовые антагонизмы, и блистающие роскошью кварталы нуворнших, ключей проволокой отгороженные от развалих гролетарской окраины, и расстрелы рабочих демонстраций. И накаляющаяся нетерпимость даже в бытовых отношениях, и растущая отчужденность даже в семейном кругу, и загуб-

ленные в этой атмосфере делячества незаурядные духовные силы, и жажда немедленного наслаждения, пришедшая на смену былой жажде деяний, преображающих мир. И уже неостановимый распад последних связей между людьми, крушение всего жизнеустройства, мыслившегося вечным, и ураган, который сметает с земли Макондо, не позволив последнему из Буэндиа дослушать слабые голоса, доносящиеся из комнат, где когда-то шумела жизнь, а теперь потрескивают высохшие стебли дикой травы.

Много раз писалось о карнавальной природе художественного мышления Гарсиа Маркеса, и он сам утверждал, что его книга начисто лишена серьезности. Есть все основания рассматривать «Сто лет одиночества» в контексте огромной традиции смеховой культуры, переживающей свои звездные часы как раз тогда, когда происходит крутой исторический перелом, которым сегодня затронуты основы бытия Латинской Америки. Есть, впрочем, столь же серьезные доводы и у тех критиков, которые называли эту книгу трагическим произведением, что бы ни говорил автор и какой бы оглушительный хохот ни заполнял здесь целые главы, — ведь банкротство ренессансной идеи, оказавшейся для человечества неверной точкой отсчета, и в самом деле должно быть осознано как историческая драма. Мимоходом оброненное в интервью определение «Ста лет одиночества» как «синтетического романа», пожалуй, всего ближе к истине. Действительно синтез — трагического и смешного, частного и общего, латиноамериканского и всечеловеческого.

Что сделало этот синтез художественно достижимым? Разумеется, писатель Латинской Америки в каком-то смысле наиболее подготовлен к тому, чтобы вершить суд над фундаментальными принципами буржуазной цивилизации: со времен Колумба апология свободной воли самоутверждающейся личности оборачивалась для этого континента грабежом, насилием и деспотизмом, слишком ясно выступила здесь обратная сторона такого прогресса, слишком мучительно ощущалось сопутствующее ему одиночество. Но для проблематики, выдвинутой Гарсиа Маркесом, чересчур тесны рамки латиноамериканского социального детерминизма. Она требует «космовоззрения», иначе говоря, чувства прямой причастности к эпохам, прожитым всем человечеством, и понимания их исторической логики, как и незримого их присутствия в сегодняшней атмосфере на планете. И она

требует особой художественной системы, синтезирующей накопленный человеческий опыт, чтобы выделить в нем то, что продолжает жить в народном сознании, находя **выход** — прямой или очень опосредствованный — в событиях самой горячей современности.

Ни беспримесно карнавалы, ни дистиллированно «серьезный» образный строй не могли быть вполне пригодны для решения подобных задач. Опорой художественной системы, раскрывающейся в книге Гарсиа Маркеса, стал «магический реализм», множеством нитей связанный с народной мифологией. «Магическое» появляется с первых же страниц, чтобы сохранить значение основного содержательного пласта произведения. Понятно, что рассказ о Макондо — это не жизнеподобная история, а миф, в котором запечатлены судьбы западной цивилизации на протяжении нескольких веков. Поэтому так свободны, подвижны эти «сто лет», и события протекают не в обычное время, а в той специфической хронологии, в какой они сохранились, откладываясь в народном сознании и немедленно обрастая фантастическими подробностями, невероятными деталями, метафорами, для которых тщетно было бы подыскивать мотивировки в области плоско понятого соответствия реальности.

Мифологизм далеко не изобретение латиноамериканцев, он существует в мировом искусстве на правах одной из значительнейших эстетических тенденций по меньшей мере полстолетия. Суть дела не в том, что писатель использует миф, а в том, как он его использует. Здесь четко выявляется различие европейского и латиноамериканского художественного мышления. Европа открыла литературные возможности, скрывающиеся в пересмыслении мифа, после публикации джойсовского «Улисса» (1922). Тогда же Элиот предложил объяснение функций мифа в современном произведении, в общем и целом остающееся для западной литературы справедливым по сей день: это позаимствованная из мифологии художественная модель, которую применяют с целью организовать слишком хаотичный материал текущей действительности, придав ему четкость, или, говоря по-современному, структурность, и выявив некие устойчивые ситуации человеческого опыта. Мы знаем примеры, когда такое обращение с мифом приносило весомый эстетический результат, — так произошло в «Кентавре» Апдайка, в романе Фриша «Homo Faber». Но все это было именно обращением к мифу как вспомогательному художествен-

ному средству. Латиноамериканский роман мыслит в категориях мифа. И создает разновидность мифологизирующей поэтики, для нашего времени уникальной.

На жанровой сущности романа это сказывается напрямую. У латиноамериканцев — Гарсиа Маркес лишь самый яркий образец — роман вступает в активный контакт с эпосом. Мерию вещей предстает здесь не личность, но «человечество», судьбы людей непосредственно определяются судьбами народа, и приходится сделать перестановку в привычной нам и, с точки зрения иного исторического опыта, справедливой формуле «судьба человеческая — судьба народная». Мифологизм латиноамериканской прозы помогает вернуть современной литературе подлинную эпичность.

Завоевание? Бесспорно, и значительное. «Сто лет одиночества» как будто должны были развеять всякие сомнения по этому поводу. Однако сомнения остались. Выяснилось, что мифологизм как стержневой принцип латиноамериканского романа находится в близком соседстве со стремлениями совсем иного характера — с попытками демифологизации действительности, освобождения ее от тех рудиментов архаичного мифологического мышления, которые создают блистательную «чуждую реальность» у Гарсиа Маркеса, у Астуриаса, а вот, например, у Фуэнтеса становятся объектом резкого обличения. И пришло время задуматься, какая из двух позиций по отношению к мифологии является наиболее плодотворной, причем не в одном лишь эстетическом смысле.

Это главная проблема следующего романа Гарсиа Маркеса — «Осень Патриарха». Здесь миф возникает на глазах читателя, получающего возможность проследить весь ход его сотворения. Кто это «мы», от чьего имени ведется рассказ об одряхлевшем диктаторе, который, несмотря на старческий маразм и полный развал созданной им системы управления, продолжает удерживать под единоличной властью нищую, задыхающуюся от гнета карибскую республику, словно стервятник, намертво вцепившийся когтями в свою жертву? Кто все эти бесчисленные анонимные повествователи, по одиночке и хором поведавшие нам, что такое декларированный Патриархом «прогресс в рамках порядка», чьими неперемненными спутниками стали страх и шантаж, продажность и пытки, добровольные сыщики и палачи?

«Мы» — это та самая латиноамериканская народная масса, которая и остается хранительницей «магического», мифологизирую-

щего мышления. И только в такой системе мышления возможны фантастические перевоплощения до головы запятнанного кровью невинных, от ветхости едва двигающегося старика в «осиянного ореолом старца в белых полотняных одеждах», и «мессию, погруженного в заботы о нашем благе, нашем счастье», и «человека, исполненного достоинства и жажды деятельности и пышущего здоровьем» в святого, чье имя произносятся с магической верой, «дабы помогло оно роженицам счастливо разрешиться от бремени и отвратило смерть от ложа умирающих».

Так мстит за себя поработченность мифом, родившимся от союза одиночества и насилия и воплотившим в себе, наверное, самую жестокую из многочисленных трагедий Латинской Америки — отчуждение народа от истории, на протяжении «бессчетного времени вечности» совершавшейся как бы помимо него. По аналогии с книгой о Макондо роман о Патриархе можно было бы назвать «Двести лет насилия». В книге Гарсиа Маркеса кровавая хроника этих столетий воссоздана с поразительной творческой смелостью, побуждающей не столько описывать следствия, сколько искать причины. И в центре повествования выдвигаются проблемы огромной философской сложности: власть и народ, муки истории и трагизм недовершенных революций, создающих тиранию вместо свободы, бесчеловечные средства, делающие неузнаваемой провозглашенную гуманную цель, подлинные границы необходимости и нравственный контроль над нею.

Они не новы, эти проблемы, и вместе с тем их актуальность не притупляется с ходом лет. В «Осени Патриарха» они поставлены на материале, обладающем повышенной злободневностью для латиноамериканцев, и это, конечно, придает своеобразие всему строю идей и образов романа, — оно чувствуется особенно сильно, если сравнить книгу Гарсиа Маркеса, например, со «Всей королевской ратью» Уоррена, где проблематика, в сущности, та же самая.

Главное отличие в том, что трагедия, описываемая Гарсиа Маркесом, разворачивается прежде всего в народном сознании, скованном мифами об истории и оттого укрепляющем деспотизм, подменивший собой истинную историю, чьим объективным содержанием — при всех противоречиях — является изменение мира на путях демократии и гуманности. «Мы не знали никакой другой истории своей родины, кроме той, которая была историей его самого, мы не знали иного отечества, кроме того, кото-

рое он сотворил по образу своему и подобию, меняя его пространственные измерения и заставляя само время течь сообразно его абсолютной воле». Такой жестокой критики мифологического мирозерцания как коренного свойства латиноамериканцев еще не знала литература континента. Но означает ли эта критика отказ от «магического реализма», уход с вершины, покоренной автором «Ста лет одиночества»? Менее всего. И дело не в том лишь, что для поэтики «Осени Патриарха» «магическое» столь же важно, как и для структуры книги о Макондо, не в одном только богатстве фольклорных мотивов — жизнь, разыгрываемая за партией в домино, покойник, присутствующий на собственных похоронах, отравленные стрелы и так далее вплоть до лидера оппозиции, в зажаренном виде поданного на стол гостям Патриарха, задумавшим его свергнуть.

Дело главным образом в другом. Время в «Осени Патриарха» движется, эпохе насилия и одиночества приходит конец. В «магическом» сознании народа пусть медленно, трудно, но вызревает гроздь ненависти к великим и ничтожным патриархам, которых в конечном счете погребет под собой высоко поднимавшая волна гнева и осознанного исторического действия, которое не может не сделаться истинно революционным. Может быть, еще не так скоро придет для всех этот день поющих от счастья улиц, забрезживший на последней странице книги Гарсиа Маркеса, где звучат барабаны свободы и пылают фейерверк праздника. Но это логика истории, которую не опровергнуть никаким диктаторам. И «магическое», освободившись от мифологии насилия и духовного рабства, в этот день обретет для себя новую жизнь. Оно вынашивалось веками, создав духовную и художественную реальность, в которой целостно запечатлен огромный мир народного бытия. Для культуры будущего нового общества это ценность по-своему незаменимая. Как сказано самим Гарсиа Маркесом, «в социалистическом обществе все эти достоинства вместо того, чтобы исчезнуть, должны будут очиститься и окрепнуть, ибо я верю, что социализм сохранит культурные традиции народов и разовьет их до самых блестящих результатов».

Мы часто повторяем, что скрывающиеся в романе возможности неисчерпаемы и еще не до конца разведаны. Это стало трюизмом, и необходимы подтверждения делом, чтобы исчез налет абстрактности, подчас присущий таким декларациям, и они при-

обрели конкретный смысл. В наши дни одно из самых веских подтверждений дает новый латиноамериканский роман.

Рановато пока делать итоговые обобщения — проза латиноамериканцев уже не раз опровергала невыношенные концепции ее самобытной сущности. Но некоторые ее уроки, думается, очевидны и существенны для всего современного искусства. Это урок новаторского использования народной мифологии для проникновения в сущность коллективного бытия народов континента, охваченного революционными движениями, где сталкиваются «все эпохи», где челове-

чество как бы заново переживает всю свою историю и необычайно рельефно проступают перспективы важнейших общественных процессов нынешнего времени. Это урок эстетической целостности и многомерности. Урок современной эпичности и современного реализма, опытом латиноамериканской прозы еще и еще раз подтвердившего свою творческую неисчерпаемость и несводимость к той или иной застывшей системе изобразительных средств.

В этом — хотя бы в этом — отношении значение латиноамериканского романа уже сегодня можно назвать непреходящим.



---

---

## О ШУКШИНЕ СЕГОДНЯ

В. СЕРДЮЧЕНКО,

*доцент Львовского университета*



### *Надежность традиции*

**К**огда боль от преждевременной утраты Шукшина пройдет и горестное это событие окончательно отодвинется за обозримый исторический горизонт, мы получим моральное право в очередной раз признать, что даже в смерти талантливых людей есть нечто трагически талантливое. Волна приятного внимания, сопровождавшая каждое выступление Шукшина в литературе или кинематографе, при его жизни все-таки ненамного поднималась выше журнальной полемики. Его литературные манеры слишком расходились с устоявшимся этикетом писательского поведения, чтобы обеспечить их автору прижизненное зачисление в творцы, законодатели, наставники и пр. Его герои также не обладали надлежащей для этого интеллектуальной выправкой. Они не утомляли свой ум раздумьями об НТР и экологических проблемах, не озадачивали готовностью разделить с сильными мира сего бремя их государственных забот и отнюдь не поражали тонкостью культурного обхождения. Мудрая горечь поговорки о пророках в своем отечестве вступила в свои права, как тому и положено, лишь со смертью Шукшина. Шквал общенародной любви и признания, обрушившийся на безвременно ушедшего художника, лишил даже самых высокомерных ценителей искусства возможности видеть в Шукшине лишь новоявленного Зоценко.

Наша критика разделила вместе с многомиллионной читательской аудиторией этот посмертный порыв и, как представляется, впала на этом пути даже в некоторую крайность. Излишняя сдержанность сменилась пылкостью, из личности Шукшина на-

чали творить легенду. Внезапно обнаружился целый сонм духовных единомышленников и едва ли не душеприказчиков Шукшина, все написанное и сказанное им было многократно опубликовано, инсценировано и экранизировано, его именем стали только что не клясться в литературных кругах — и в результате Шукшин вторично пострадал, на этот раз от слишком энергичного вознесения на те самые канонические высоты, в которых ему так упорно отказывали вначале. Призывы «выполнить долг», «осознать место» чем дальше, тем сильнее начинают парадоксальным образом затруднять выяснение этого самого места Шукшина в истории нашей отечественной культуры. Наследие Шукшина по сей день продолжает удерживаться в поле эссеистских оценок, не всегда обеспечиваемых алгеброй строгого литературоведческого рассуждения. Сказав так, мы отнюдь не хотим умалять значения всего, что к настоящему времени написано о Шукшине. В своем отношении к нему отчитались самые талантливые и интересные наши критики. В статьях Л. Аннинского, Г. Белой, Г. Горышина, И. Дедкова, Б. Панкина содержатся чрезвычайно тонкие наблюдения над творческой индивидуальностью писателя, и не их вина, что формально они оказались в русле несколько конъюнктурного ажиотажа вокруг имени художника. Но и в этих выступлениях подчеркивалась неподготовленность авторов к завершающим оценкам шукшинского наследия.

Попытки вывести Шукшина из веяний и закономерностей только литературного процесса 60—70-х годов не привели к особым успехам. Спор «физиков» и «лириков»,

деревенская проза, тема делового человека, проблема нравственных последствий НТР — все эти литературно-критические знаменатели, последовательно сменявшие друг друга, явно не исчерпывали особенностей шукшинской прозы. И даже наиболее настойчивая и внешне обоснованная попытка увидеть в Шукшине одного из зачинателей деревенской темы в конце концов предстала малосостоятельной. Слишком неожиданными, литературно нетипичными явились его сельские характеры, слишком многое в них противилось расхожим представлениям о герое деревенской прозы.

Но раз так, если творчество Шукшина столь очевидно не поддается простейшему подключению к современным общественно-литературным умонастроениям, тем более следует выяснить причины, по которым он стал одним из самых популярных современных художников. Заостряя, можно поставить вопрос так: кто, собственно, виноват в неподчиненности творчества Шукшина литературному контексту 60—70-х годов — Шукшин или контекст?

Ответ на этот вопрос можно было бы ожидать в первой книге о Шукшине В. Коробова «Василий Шукшин. Творчество. Личность». Однако при своих несомненных фактографических и иных других достоинствах она, в общем, не претендует быть новым, монографическим словом в освоении Шукшина, продолжает скорее журнально-критический, чем открывает литературоведческий виток шукшинианы.

Между тем именно у В. Коробова содержится чрезвычайно интересная предпосылка, выводящая творчество Шукшина далеко за пределы сегодняшней литературной проблематики. В числе возможных координат для его дальнейшего изучения автор назвал ни много ни мало как духовно-эстетический опыт Достоевского. Для читателя, не искушенного в специальной литературе по Шукшину, такое сопоставление может показаться и неожиданным и экстравагантным. Однако среди профессиональных ценителей писателя оно достаточно распространено. В. Коробов, собственно, не только предложил, сколько констатировал это проявившееся стремление соотносить творчество Шукшина с наследием русской классики. В выступлениях Б. Бурсова, И. Дедкова, Л. Ершова, С. Залыгина мы встречаем, кроме имени Достоевского, Гоголя, Чехова, Лескова, Щедрина. Сравнения эти предлагаются не иначе как в осторожном, предварительно вопрошающем тоне и обрываются почти обязательной оговоркой, что это тема для особого разговора.

Такого рода оговорка сама могла бы стать темой для особого разговора, потому что, во-первых, никогда еще имена великих небожителей не предлагались в прямые предшественники кому-либо из современных писателей, а во-вторых, сколь симптоматична сама эта неуверенность в том, что наш современник способен всерьез посягнуть на лавры восприемника Достоевского или Чехова. Дело здесь не в робости критической мысли, точнее не только в ней. Увы, если не считать Шолохова, она не слишком часто имеет практический повод обращаться к классическому прошлому для разъяснения настоящего, и постепенно взгляд на новости и новинки нашего литературного процесса с точки зрения вечности сводится к общим декларациям о традициях и преемственности. Тем меньшими шансами, казалось бы, обладают в этом смысле «раскасы» Шукшина. Но идейно-художественный избыток, остающийся в них за вычетом злости дня, так велик и продолжает уязвлять таким высоким гуманистическим переживанием, что поиск каких-то чрезвычайных аналогий оказывается по-своему неизбежным.

К настоящему времени Шукшин уже несколько потеснен с журнально-критической арены новыми событиями и названиями, на ниве литературного сезона уже он стал немного отцветать, и образовалась необходимая временная дистанция для обобщающих выводов о его месте в отечественной литературе. Дальнейшие накопления в сфере литературоведческого импрессионизма, сколь бы тонкими они ни были, уже не производят впечатления принципиальной новизны. Как хорошо сказала по этому поводу М. Чудакова, «в творчестве Шукшина очевидна литературная традиция, и важной задачей для критики является увидеть ее и осмыслить — вместо того чтобы вновь и вновь рассказывать о замысловатых героях рассказов Шукшина, поскольку о них-то читатель имеет некоторое представление из самой его прозы».

Коль скоро сами шукшинисты призывают сменить шукшинизм на шукшиноведение, остановимся подробнее на параллели «Шукшин и русская классика» с мыслью, что наследие Шукшина эту грандиозную параллель способно выдержать.

Главное художественное открытие Шукшина состоит в его опоре на социальный прототип, не облуживавшийся литературой со времен Гоголя и Чехова. Вне зависимости от того, имеют ли его герои городскую или деревенскую прописку, они глубоко укоренены в самых недрах нашего обще-

ства, в его, так сказать, разночинно-демократической плазме, которая во многом через Шукшина вновь обрела свои эстетические полномочия в сфере профессиональной культуры. Вхождение его героев в литературу напоминает ситуацию, в которой оказались персонажи «Повестей Белкина», петербургских повестей Гоголя и раннего Достоевского по отношению к предшествующей плеяде литературных патрицьев. Разумеется, между «классическим» разночинцем, маленьким человеком натуральной школы и шукшинскими героями дистанции огромного размера, но здесь имеется в виду их общность по литературному ряду, и в этом смысле Шукшин безусловно поддерживал и продолжил одну из самых демократических челоковедческих традиций в истории русской литературы. Сочетание должного и сущего в литературном герое есть первостепенный эстетический закон советской литературы, литературы социалистического реализма. Но традиционно преуспевая в показе должного, наша литература нередко ослабляла вторую часть этого диалектического двуединства, в результате чего возникал определенный просвет между действительностью и ее литературной интерпретацией. Типичный герой нашей действительности порой чрезмерно подчинялся требованиям литературной типичности, моделированию в свете нравственно-эстетических пристрастий профессиональной творческой интеллигенции. В той мере, в какой читатель разделял те или иные из этих пристрастий, он их взаимобразно катализировал, но параллельно в нем накапливалось здоровое читательское протипление этим отчасти но его же вкусу сервированным вариантам жизненной правды. «Феномен Шукшина» в том и выразился, что он ответил на глубинную читательскую потребность во внелитературной достоверности реалий жизни.

Шукшин, как известно, вошел в литературу не сверху, а снизу, так же как в свое время в нее вошли Гоголь, Достоевский и Некрасов. Ему было тем легче нарушить каноны и правила литературной игры, что над ним не тяготели литературные условности и правила хорошего тона. Мощный демократизм его личности позволил ему избежать комплекса интеллигента в первом поколении, а врожденное самоуважение не позволило повторить есенинский вариант появления во столицах. Эти слагаемые шукшинской индивидуальности плюс, разумеется, талант и творческая активность породили полноценную альтернативу предшествующим литературным умонастроениям,

аналогичную, как мы уже сказали, литературной ситуации 40-х годов прошлого столетия. Шукшин резко демократизировал язык, героя и жанр. Он как бы снял с литературы надстройку изящной словесности.

Пушкин в свое время испытал немалые сомнения в том, сумеет ли эстетическое сознание его современников разом преодолеть гигантский разрыв, образованный переходом с позиций высокого романтизма на язык низкой прозы «Повестей Белкина». Но прошли считанные исторические мгновения, и Гоголь, поддержанный критическим гением Белинского и «Бедными людьми» Достоевского, окончательно сменил фокус литературного видения, перенес его уже исключительно на прототипов «Миргорода» и петербургских повестей. Избранные аристократы духа вдруг оказались потесненными из ухоженных садов российской словесности стационарными зрителями, ремесленниками, чиновниками, гробовщиками, в которых обнаружилась не меньшая мера человеческой сложности.

То же и в отношении Шукшина. Появление его героев на литературном горизонте вызвало период кратковременного замешательства, которое, однако, было быстро преодолено фактом их полнокровной жизненности. И более того: если опыт натуральной школы был встречен в литературных салонах с гримасой антипатии, то творчество Шукшина состоялось в совершенно новую эпоху, социально рассчитанную именно на такой тип творчества. Оно было, так сказать, заранее обречено на успех в обществе, где духовным потребителем искусства является не «читающая публика», а многомиллионная читательская масса.

Но было бы неверным видеть в Шукшине лишь талантливого бытописателя провинциальных нравов. Подобно тому как «Бедные люди» Достоевского оказывались чрезвычайно богатыми духовно, так и социальная «малость» героев Шукшина контрастно подчеркивала их причастность к миру высоких, подчас трагически высоких душевных состояний. На каком-то витке углубления в Шукшина за его героями закрепились репутация «чудаков». Кое-кто из критиков отнесся к этому определению неодобрительно. И совершенно напрасно, потому что «чудаки» — это излюбленный персонаж многих поколений русской и мировой литературы, чья биография началась Дон Кихотом, а до того и параллельно тому питала целые пласты национального фольклора. В «чудаке» художественно-гуманистическая мысль традиционно воплощала тему беспримесного и бесхитростного добра, про-



тиво поставленного жестокой прагматике жизни. Шукшин и здесь стихийно вышел на высшие ориентиры нашей отечественной прозы, перенимая эстафету ни мало ни много из рук Лескова и Достоевского — на этот раз позднего Достоевского. Параллель эта на первый взгляд представляется неожиданной, почти невозможной — хотя бы по чуждости Шукшина изощренно-философскому мышлению автора «Братьев Карамазовых». Но внутренняя связь здесь все-таки есть, и она все в той же осторожной, гипотетической интонации формулируется сегодня Г. Белой, Б. Бурсовым, Г. Горышиным, С. Залыгиным и другими.

«Человек — это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе рядом со мной живет геморрой... Природа никогда не поймет себя. Она взбесилась и мстит за себя в лице человека... Любовь? Да. Но она только усложняет. Она делает попытку мучительной — и только...» Типичный, казалось бы, абзац из Достоевского, но принадлежит он перу Шукшина, и произносит его обитатель глухого сибирского села Санька Залетный. А присутствующий при этих монологах кузнец Филя смятенно и мучительно рыдает.

И вообще герои Шукшина плачут и рыдают чаще, чем смеются, внезапные слезы обиды или высокого поэтического восторга то и дело «мешают» читателю упиваться анекдотически сочной, убийственно смешной атмосферой шукшинского «раскаса». Кстати, плачет и герой этого самого «раскаса», сорокалетний лысый здоровяк «шоферюга», которому трудно взять в толк, как можно покинуть тех, кто любит. Плачет колхозный бригадир Ермолай от горестного открытия в ребенке способности ко взрослой лжи, а герой «Микроскопа», наоборот, почти плачет от предположения, что ненавистные микробы могут оказаться даже в крови невинного младенца. Ядреная, мужицкая, кондовая оболочка рассказов Шукшина оказывается пронизанной нервной сетью такой чувствительности и густоты, что, кажется, тронь инюга из его героев — и на этой оболочке выступит капля крови. Грубо говоря, они неврастеничны, но эта неврастеничность от переизбытка духовности и именно в таком качестве, а точнее сам этот переизбыток, безусловно сближает Шукшина с Достоевским. Персонажи Шукшина также способны на шекспировские взрывы страстей («Сураз», «Осенью»), они неистовые изобретатели («Упорный»), пламенные патриоты («Мастер», «Штрихи к

портрету»), вдохновенные пантеистические философы («Залетный»), они могут даже убить себя во имя неутоленной справедливости («Как жена мужа в Париж провожала», «Алеша Бесконвойный», «Нечаянный выстрел»).

Вернемся, однако, к «чудакам» и «чужаеству» и подчеркнем еще раз, что само по себе появление подобного персонажа на литературных страницах есть признак определенной — и очень высокой — нравственной развитости данной литературы или данного творчества. Трудно во всей истории мировой литературы отыскать роман с таким невозможным, эпатажирующим названием — «Идиот». Опыт показывает, однако, что гениальные художники и в своих названиях гениальны. Если попытаться найти для шедевра Достоевского столь же емкое, но более нейтральное заглавие («Князь Мышкин», «Князь Мышкин и другие»), как сразу же обнаружится исчезновение некоторого полемического обертона, который в романе развивается до грандиозной этико-философской предпосылки. Князь Мышкин у Достоевского «идиот», Соня Мармеладова и Лизавета — «юрюдивые», Макар Долгорукий, Алеша, Зосима, брат Зосимы Маркел — «блаженные», но именно в них реализован положительный нравственный идеал писателя. «Идиоты» и «идеалы» оказываются у Достоевского отнюдь не противопоставленными друг другу. «Идиотская» правда Мышкина представляется таковой лишь прагматическому сознанию духовных мещан и тупых филистеров. «Чудаки», «блаженные», «юрюдивые», «нищие», «отверженные», «очарованные странники» есть, таким образом, не исключение, но определенный и непрерывно воспроизводимый литературою архетип человеческого поведения как поведения внутренне чуждого и по своей этической сущности далеко опережающего общераспространенный кодекс нравственных норм — и мы не можем не признать, что Шукшин и здесь стихийно использовал и один из парадоксальных приемов художественно-гуманистического мышления, который в русской литературе получил апробацию именно в лице такого ее гиганта, как Достоевский, и в нескольких меньших масштабах — у Лескова. Если поискать в нерасчлененном, калейдоскопическом потоке характеров, который изливается на нас со страниц Шукшина, такого героя, который являл бы собой нравственное совершенство, был бы, говоря словами Достоевского, «положительно прекрасным человеком», то им окажется — немая. Немая и, следовательно, физически «отверженная» Верка из расска-

за «Степка». Но этот персонаж, на короткие мгновения появляющийся на периферии короткого сюжета, наделен добротой такой излучающей силы, что даже авторская ирония — а у Шукшина-новеллиста это почти невозможно — переходит в благоговение. Веркино мычание — это, выражаясь высоким стилем, отсутствие голоса при наличии гласа. Старик Воеводин, сияющий как-то объяснить главную странность своей «немтой» дочери, находит, в сущности, безошибочное, как бы почерпнутое из Достоевского определение: «Любит всех, как дура».

«Что с нами творится?», «зачем они стали злые?» — это тоже язык Достоевского, стиль вопрошаний его «святых» персонажей. Всплеск экстатической, абсолютно спонтанной любви к людям поражает Моню Квасова именно оттого, что он представляет себе веселье просыпающейся деревни, когда она узнает о злополучной судьбе его изобретения: «Хэх! Люди, милые, здравствуйте!» А Князев-старший из знаменитого рассказа «Чудик» поражает свою жену и нас силой внезапно пережитого воспоминания, как он в детстве зацеловывал до посинения своего грудного брата. Изъятые из художественной ткани Шукшина, эти примеры бесконечно проигрывают в убедительности, но так всегда у талантливого художника: чем беззурчнее его художественная логика, тем труднее ее адекватно выразить.

При всем уважении к критику И. Дедкову — в сегодняшней шукшиниане его наблюдения представляются нам весьма глубокими — мы не можем все-таки согласиться с такой лишь оценкой шукшинских «чудиков»: «Большие чудачки эти «чудики», но какого элементарного чуда они хотят, за какое будничное чудо они борются? За вежливость продавцов, мелких начальников и вахтеров, за то, чтобы медицинская сестра умела делать уколы, а телевизионные мастера могли на досуге философствовать». Положим, это не совсем так и даже совсем не так, потому что здесь говорится о каких-то активистах в сфере бытового обслуживания, а у Шукшина быт всегда пронизан патетикой человеческого существования. Как, впрочем, и у «необразованного поручика», уездного «невежды» Дмитрия Карамазова, который, сидя на задах своей скотопригоньевской усадьбы, вдруг начинает наизусть цитировать Шиллера или набрасывается на автора «Философской антропологии» Клода Бернара.

Странности героев Шукшина далеко не исчерпываются положительными, но парадоксально заявляемыми качествами. Иные из них поражают прямо противополож-

ным — силой безрассудного анархического хотения. Они могут внезапно загореться бешенством, в своей мести обидчику или предполагаемому обидчику они способны преступить все заповеди вплоть до «не убий» — им знакомы и карамазовское раскаяние и карамазовская преступность. Например, Спирька Расторгуев из рассказа «Сураз», которого автор наделил неслыханной красотой, не случайно ассоциированной с красотой Байрона. В этом сравнении есть и еще одна, скрытая литературная реминисценция: так же дионисийски красивы были все «нищанцы» Достоевского (Раскольников, Свидригайлов, Версилов, Ставрогин), и так же, как у них, у Спирьки под этим внешним совершенством скрывается абсолютная атрофия нравственного чувства, тот же стихийно исповедуемый принцип «все позволено». Он находит, не без налета извращенности, удовольствие в любовных утехах с самыми некрасивыми девками поселка, может облагодетельствовать одиноких и чужих ему стариков безвозмездной машиной дров на всю зиму, но может ограбить, а потом избить инвалида-возчика из-за ящика водки. Спирька внезапно влюбился в приезжую учительницу, вызвал у нее минутное и ужаснувшее ее встречное влечение, попытался соблазнить ее в ее же доме, был за это жестоко избит ее мужем, на глазах жены едва не застрелил ненавистного соперника и через час застрелился сам на ночном кладбище в припадке какого-то полубезумного вдохновения. Согласимся, что этот сюжет балансирует на грани inferнальных сюжетов Достоевского, а образ Спирьки тоже вызывает ассоциации соответствующего толка. И это Спирькино начало бродит во многих героях Шукшина, равно проявляясь в правом и неправом. Главное, чтобы «душа возликовала».

В рамках здравого смысла бегство Степки (в одноименном рассказе) из тюрьмы — чистой нелепостью. Человек, срок заключения которого истекает через месяц, бежит через всю страну в родную деревню, прекрасно зная о последствиях. Его не ждет покинутая возлюбленная, он не получал письма об умирающей матери — видимая, рациональная причина начисто отсутствует. Оказавшись дома, беглец проводит день в будничном общении с близкими, к вечеру у Воеводиных в честь вернувшегося сына начинается шумное застолье, и прямо оттуда его забирает милиция. В представлении милиционера и любого здравомыслящего человека поведение Степки ненормально, но внутри той системы отчета, где обретается сознание шукшинских героев, Степка так

должен был поступить, потому что добился «праздника души». Слово «душа» — самое высокочастотное в художественной лексике Шукшина, но амплитуда смысловых наполнений этого слова, так же как у Достоевского, запредельно широка и, так же как у его героев, логически малопредсказуема. Стремление во что бы то ни стало выразить себя как личность, самоутвердиться «хотя бы и во вред себе» (Достоевский), во вред своей репутации и житейскому благополучию постоянно ставит героев Шукшина в трагикомические положения. Максим Яриков из рассказа «Верую!» появляется в пьяном виде в милиции с признанием, что он продал сверхсекретные чертежи американским шпионам, что он, следовательно, «научный Власов» и его надо босиком отправить в Магадан. Шестидесятирехлетний пенсионер Баев, проживший тихую и незаметную жизнь, изумляет свою собеседницу предположением, не сын ли он одного из тех американцев, которые каким-то чудом побывали перед самой революцией на Алтае. В «Миль пардон, мадам» Бронька Пупков с рыданиями, зубовным скрежетом и гипнотизирующей достоверностью повествует историю своего неудавшегося покушения на Гитлера. В «Генерале Малафейкине» маляр рядится на досуге в одежды какого-то кинематографического генерала. Сашка Журавлев из «Версии» морочит односельчан поразительной убедительностью рассказа о трехдневном пребывании в объятиях директорши городского ресторана. Все эти «версии», во-первых, убийственно смешны, но не только. Перед нами все та же жажда духовной самобытности, личностного самоуважения, вылившаяся в уродливую форму геростратовых самооговоров. Но если «ветеран труда» Дерябин добивается самоуважения, подговаривая пионеров написать в исполком письмо с требованием переименовать Николашкин переулок в Дерябинский, то телемастер Князев внутренне самоутверждается через создание труда «О государстве». Ветеринар Козулин ночным салютом из ружья празднует с человечеством победу кейптаунского хирурга Барнарда, а паромщик Филипп не спит ночей из-за зверств американцев во Вьетнаме (вспомним, что у Достоевского два уездных обывателя обсуждают за столом грязного трактира нравственные про и contra мироздания и двенадцатилетние дети спорят о Руссо и Белинском).

Как известно, Шукшин интересовался работой Б. Бурсова «Личность Достоевского». А сам профессор Б. Бурсов, размышляя над возможностью воплощения образа Достоев-

ского на экране, видел в Шукшине единственно возможного постановщика и исполнителя главной роли. В таком сближении есть определенная чрезмерность. Шукшин и его герои слишком прочно стоят на земле, слишком укоренены в почве народного мироощущения, чтобы хоть на минуту оказаться в духовном лоне Достоевского. Плотская, житейская оболочка героев Достоевского, как правило, оставляет впечатление чего-то гомункулообразного и случайного, не играющего значительной роли в их судьбе. Сосуществуя в сфере мирских отношений, они образуют особый, призрачный мир, имеющий лишь своеобразную аналогию с реальной действительностью. Соответственно и реализм позднего Достоевского находится в весьма противоречивых отношениях с традиционно классическим реализмом русской литературы. Его человековедение, строго говоря, таковым не является, ибо оно исследует некие персонифицированные комплексы нравственно-философских состояний, а не самого человека. И Шукшин, бесконечно проигрывая Достоевскому в философской и напряженности своих характеров, выигрывает у него в их житейской достоверности. Житейское правдоподобие для Достоевского не главное. У Шукшина же, наоборот, даже самые исключительные характеры и обстоятельства списаны с жизни, сфотографированы, другое дело, что натуре для съемок он отбирал только острохарактерную и исключительную. Его «чужаки» чужды нравственно-философской «юродивости» Достоевского — Шукшин не переступает той черты, за которой только и начинается inferнальная антропология автора «Записок из подполья». Человек с гармонично развитым, здоровым эстетическим чувством вряд ли испытает эмоционально-эстетическое наслаждение от чтения иных вещей Достоевского. Шукшин же излучает особое гуманистическое обаяние, и это отмечают все пишущие о нем. Оно настолько сильно и так действует на читательское восприятие, что критерий положительности и отрицательности в отношении персонажей Шукшина как бы теряет для читающего свою оценочную остроту. Солидаризироваться с нравственной позицией автора так же трудно, как возражать ей, ибо эта авторская позиция предельно объективирована художественной достоверностью повествования. Например, Л. Аннинский, а вслед за ним И. Дедков упрекнули писателя в чрезмерных симпатиях к почвенным натурам типа Спирьки Расторгуева. «Спирю жалко, — пишет Л. Аннинский. — А учитель? Нет, учителя Шукшину не жалко».

Но где доказательства этой жалости? В рассказе они отсутствуют и у Л. Аннинского, кстати, тоже. С равным успехом, как мне представляется, можно доказать, что Шукшин на стороне учителя. В самом деле, перед нами сильный, спокойный человек, справедливо наказавший «пакостливого кота» — иным в данной ситуации Спирьку и не назавешь. Проницательно угадав, что языческая красота не оставила жену равнодушной, учитель отнесся к этому с мудрой снисходительностью. А оказавшись под дулом взбесившегося маньяка, он опять-таки проявил максимальную в таких условиях выдержку. Он вообще не нуждается в жалости, потому что и как мужчина и как человек ведет себя мужественно и достойно. Спирька же, можно считать, нравственно преступен и даже подл — хотя бы в истории с избиванием калеки-возчика.

Своеобразие Шукшина-рассказчика в том и состоит, что его человеческие пристрастия как бы отключены от творческого акта. Он и сам иногда даже удивлялся ножницам между своим авторским видением и читательским или зрительским восприятием. Например, он не думал, что фильм «Живет такой парень» будет воспринят как комедия, подобно тому как автор «Вишневого сада» был уверен, что написал комедию, а не драму. Широко известно недоумение Шукшина по поводу оценки массовым зрителем образа Егора Прокудина из «Калины красной». Подобного рода ножницы могут возникать только в двух случаях: либо когда автор элементарно беспомощен как художник, либо когда он как художник настолько совершенен, что как бы растворяется, «умирает» в художественной объективности изображаемого.

Здесь уже более уместна аналогия с Чеховым. Чехов в свое время пострадал от критики из-за отсутствия в его рассказах «тенденции» и кажущегося равнодушия к злободневным умонастроениям общественности. Но прошло время — и то, что воспринималось как недостаток, оказалось новым качеством, открытием реалистической прозы. И мы должны признать, что Шукшин и здесь выходит на уровень открытый — в данном случае стиливых — нашей классики. Над всем многообразием его правых и неправых персонажей господствует некоторое надповествовательное, гуманно-снисходительное авторское отношение, которое лишает читателя-моралиста возможности с первого взгляда определить положительных и отрицательных героев. Трудно судить, одновременно ~~восстрада~~ ~~и мо~~ такую возможность оставляя своим чита-

телям Чехов, а в наше время, очевидно, Шукшин. Еще труднее теоретически сформулировать эту особенность художественного гуманизма. Чеховское начало в искусстве по сей день остается нерасчлененным эстетическим феноменом, в принципе не поддающимся отвлеченно-понятийной реконструкции. Поэтому, отмечая сопричастность стиливой манеры Шукшина к Чехову, приходится апеллировать более к литературоведческому чутью, нежели к логике.

Коль скоро мы коснулись Чехова, назовем еще одну, более осязаемую аналогию. Неподчиненность Шукшина расхожим моделям литературного мышления выразилась и в жанровой специфике его творчества. На фоне эпизации современной прозы, на фоне ее стремления обеспечить художественное качество соответствующим количеством наследия Шукшина продемонстрировало закономерность противоположного рода. Перед нами единственный (исключая Зощенко) советский писатель, чья литературная биография и репутация полностью сложились из рассказов. Не умаляя ценности его романых опытов, которые как раз и были приняты с подсознательной целью «попасть в тон» преобладающей литературной тенденции, признаем все-таки, что высшие достоинства его таланта воплотились в его новеллистических циклах. Это, кстати, тоже не способствовало прижизненному зачислению Шукшина в «большой круг» советской прозы. Но Шукшин сумел сконденсировать в рассказе романную сложность жизни, насытив его сложностью идейно-художественной. Ведь и Чехову, великому русскому новеллисту, пришлось некоторое время пребывать в тени таких эпических гигантов, каковы Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, пока литературная общественность не увидела в Чехонте Чехова, а в чеховском рассказе полное литературное явление. Можно, следовательно, утверждать, что Шукшин в определенной мере повторил новаторскую миссию Чехова. Демократизм содержания оказался и у одного и у другого дополнительно подчеркнутым демократичностью жанра, а жанр качественно превысил при этом средний уровень современного Чехову и современного Шукшину романа.

Достоевский и Чехов — лишь две из возможных параллелей к наследию Шукшина. Взятые отдельно, они неизбежно выносятся за скобки те идейно-эстетические эссенции этого наследия, которые к Достоевскому и Чехову, ~~прямого отношения не имеют~~ и могут даже противоречить им — особенно До-

стоевскому. Реконструировать объемный облик шукшинского наследия в плане его историко-литературных генетических связей значит последовательно подключить к Шукшину и иные явления русской прозы. В числе названных нашей критикой классических знаменателей Шукшина мы находим, помимо Достоевского и Чехова, имена Гоголя, Лескова, Салтыкова-Щедрина. Именно из этих имен, очевидно, и будет составлен общий литературоведческий контекст проблемы «Шукшин и русская классика».

Шукшин, разумеется, не просто русский, но в первую голову советский писатель. Но его место в советской литературе, очевидно, должно определяться более масштабными и долговременными историко-литературными категориями, нежели ближайшие литературные аналогии. В любом случае это первостепенная по важности задача, и, нужно надеяться, историки советской литературы скажут академическое слово о Шукшине раньше, чем это сделают историки русской литературы.

## ГЕНРИХ МИТИН



### *Монологи о правде*

**Д**ве книги вышли одновременно: сборник статей и воспоминаний «О Шукшине»<sup>1</sup> и сборник его статей, из которых многие публикуются впервые<sup>2</sup>. Здесь собраны все или почти все статьи и высказывания Василия Макаровича о кино, литературе, о себе, о своих идеалах и свершениях.

Все, что ни делал Шукшин, было воплощенной «жизнью души человеческой»; говоря словами С. Герасимова, талант Шукшина определялся прежде всего «степенью отзывчивости на жизнь, на мир людей, людских страстей, самой природы». Но его собственная душа в его произведениях жила опосредованно — в героях, даже когда играет их он сам (я говорю «играет», так как в фильмах В. Шукшин навсегда останется в настоящем времени и для нас и после нас). А здесь, в этой книге, перед нами живет его душа, ничем и никем не затененная, не экранированная (разве что нехронологическая группировка материалов по разделам несколько затрудняет простое, целостное восприятие личности автора, сюжет его духовного пути).

Это монолог Шукшина. Язык не поворачивается назвать собранные в книге материалы публицистикой или тем более кри-

тикой, хотя в книге есть и то и другое, а точнее — сплав того и другого, для чего у нас, критиков, нет готового определения. По этой книге отчетливо видно, что В. Шукшин ни на минуту не прекращал осмысления самого себя, самопроверки, самокритики. «Критическое отношение к себе — вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве и в литературе: сознаешь свою долю честно — будет толк». Интенсивность и честность его самопознания исключительны. Причем для Шукшина это напряженное самопознание было совершенно необходимо в его многогранной работе. Он мог (как показывает его архив, частично вошедший в книгу) не печатать написанную статью, но он не мог не написать ее. Статья для него столь же естественная форма высказывания, как и рассказ и фильм.

В статьях, как и всюду, стиль Шукшина — деловитость, собранность, устремленность «во след жизни или с жизнью вместе». В его мнениях, как и в рассказах, нет ничего сконструированного, позерского, «оригинального», а только то, что действительно его тревожило, мучило, требовало осмысления: «А придумывать... трудно. И, главное, не надо».

Простота изложения, столь характерная для него как прозаика и режиссера, сохраняется и в раздумьях о кино и литературе. Однако, как всегда у него, это обманчивая простота. «Его, казалось бы, вполне простые и доходчивые образы внутренне сложны и многогранны», — пишет кинокритик Е. Громов. Не случайно эта особенность

<sup>1</sup> О Шукшине. Экран и жизнь. Составители Л. Федосеева-Шукшина и Р. Черненко. Предисловие С. Герасимова. М. «Искусство». 1979. 335 стр.

<sup>2</sup> Василий Шукшин. Нравственность есть Правда. Составитель Л. Н. Федосеева-Шукшина. Вступительная статья Л. А. Аннинского. М. «Советская Россия». 1979. 351 стр.

творчества Шукшина стала теперь и предметом подражания, прежде всего в кино и на театре, и темой критических анализов. Но поначалу было иначе — критики нередко «обманывались» в Шукшине. И он рано почувствовал необходимость ответить, объясниться с критикой.

Уже первая статья Шукшина «Как я понимаю рассказ», появившаяся вскоре после выхода в свет его сборника «Сельские жители», по сути, была откликом писателя на спор критиков о его новеллах (в еженедельнике «Литературная Россия»). В. Шукшин, не полемизируя с кем-либо из них, просто занимался тем, чем он в своих публицистических выступлениях занимается и в последующие годы, — самопознанием.

И сразу же на первый план у него выступило утверждение правды в искусстве. Его раздумья о правде всегда заострены против лжи, придуманности, фальши, в том числе и против обывательского требования к искусству украшать жизнь: «Просто поразительно! Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда — шумно), бывает, ссорится с женой... В него он не верит, отрицает, а поверит, если я наву с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора...»

Ни творческими муками, ни спецификой жанра, ни самовыражением нельзя оправдать, по Шукшину, склонность иных художников к игре в усложненность, к ребусам, желание удивить, загадать загадку. «Можно сделать так, а можно совсем иначе... — иронизировал он над художническим произволом и недоумевал: — Но как же так? Ведь если старуха упала на мостовой, это не значит, что она может в рассказе немножко взлететь вверх». Так писать, ссылаясь на свое «видение», не надо: «Ибо нет высшего наслаждения в искусстве, чем наслаждение правдой жизни».

Вместе с тем В. Шукшин утверждал, что логика искусства и логика жизни — две разные логики. Отозвавшись об одном из своих сценариев («Земляки») как о неудаче, он четко объяснил ее причину: «Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве».

Правда искусства, по Шукшину, есть творческая правда художника, а не копииста. Ратуя за «житейски правдивое», он возражал категорически против фотографичности, натурализма, бытописательства и упрощенчества, специально подчеркивая свое уважение даже к тем художникам,

чья манера оставалась ему чуждой. «В «Ивановом детстве» Тарковского, — пишет Шукшин, — есть незабываемый для меня кадр — лошадь жует яблоки. Да, это символический кадр. Но он родился не от желания удивить, загадать загадку. А от огромного чувства сострадания».

На мой взгляд, самое трудное испытание — «на правду» — проза Шукшина проходила в его фильмах. Если этот принципиальный момент не учесть, то нельзя понять, откуда у него как у кинорежиссера необычная тяга к актерам богатого жизненного опыта, к использованию их не тронутой другими режиссерами памяти — ведь у Шукшина актер нередко становился соавтором или даже автором эпизода, который сам же играл. Шукшин был убежден: «Никогда актер не сыграет так неожиданно и верно то, что ему рассказано, подсказано или что он прочитал, как играет то, что помнит, знает, сам прожил». Шукшин-кинорежиссер искал в игре актера последней, высшей достоверности. «Жизнь выдвигает как норму определенную манеру поведения, выражения чувств, общения, а актеры берут несколько выше, — деликатно писал Шукшин в первоначальном варианте одной статьи, а затем с досадой уточнял: — Мы на экране явно перебираем против жизни, ведем себя наглее, что ли».

И все же Шукшину нужно было что-то еще сверх «чистой» достоверности. Вот ведь недаром, размышляя о зрительском успехе фильмов Сергея Герасимова, Шукшин пришел к выводу, что «причина его прежде всего в налаженной жизни фильма, в пластике реальной действительности на экране, в правде движения живых людей. Это завораживает».

Шукшин выделяет у других то, к чему стремится сам: в рассказах он создает завораживающий правдой мир. Но там он сам хозяин своему слову, а здесь, в фильме, выступает актер. И надо, чтобы уже актер сумел заворожить зрителей «правдой движения». Зачем, почему именно такой острый глагол — «завораживать» — употребил Шукшин-режиссер? Казалось бы, наивный вопрос. К правде стремятся все режиссеры реалистического толка. Верно, но Шукшин в своем требовании правдивой игры от актеров доходил до удивительных крайностей. Ему эта актерская правда была настолько необходима, что он готов был жертвовать своим, авторским текстом: пусть артист говорит свой текст — лишь бы был абсолютно правдив. В игре актеров ему было особенно необходимо «живое тепло первозданности».

чтобы получалось не просто похожее, а доподлинное. Вот почему он так ценил актерскую импровизацию и актеров, способных к импровизации, но опять же на основе правды, невыдуманного опыта и памяти, а не произвола фантазии. Он говорил (и этим его словам отвечали его дела): «...импровизация не только возможна, но, по моему, необходима. А что в искусстве не импровизация? Сидишь за столом и пишешь сценарий — это одна импровизация, снимаешь фильм — другая импровизация». Эта цитата из беседы 1973 года, но та же мысль в не опубликованной при жизни Шукшина статье 1967 года «Средства литературы и средства кино» выражена максималистски: «Я могу допустить возможность такого сценария, который позволит разрушить себя во имя...»

Нет, не позволяя Шукшин-режиссер даже своим самым любимым актерам разрушать сценарий. Насколько он доверялся актерам в частном, настолько он был жестким в целом. И с годами все более жестким. Потому что именно завораживающая правда актерской игры, то есть правда живого, зримого человека, должна была совершенно убедить зрителя и в общей правде ситуации, сюжета сценария.

А вот эта общая правда у Шукшина была совсем не так проста и самоочевидна, как та старушка, что падает не вверх, а вниз. Ситуация и сюжет у Шукшина скорее, можно сказать, падают вверх! В этом он и сам признавался.

Определить угол зрения Шукшина, объяснить самый его взгляд, мировидение, основной принцип его художественного мира, суть его своеобразия — задача непростая. Надо сказать, что уже к 1967 году в критике сложилась и господствовала точка зрения на Шукшина как на писателя «всамделишной», или «неотредактированной», жизни. Кинокритик Г. Капралов вспоминает сейчас: «Да, Шукшина научились читать не сразу, считая его то просто немудреным бытописателем, то юмористом — рассказчиком историй из народного быта в стиле некогда популярного импровизатора Ивана Горбунова. За ним признавали умение дать живую картинку с натуры, метко передать особенности говора (упрекая, правда, за грубость, употребление «коробящих» слух выражений), а что касается обобщающей мысли, философии — то в этом ему порой отказывала даже профессиональная критика». Тогда, в 1967 году, в статье «С чем пришел Шукшин?» мне пришлось писать о Шукшине, полемизируя не с одним, а с целым рядом критиков:

«Шукшин, используя материал, хорошо ему знакомый, свободно и как бы играючи создает свою особенную, шукшинскую жизнь, живущую по своим законам, истово исповедуемым прежде всего самим автором этой жизни, а потом уже и его героями».

Стоило хотя бы бегло сравнить эту жизнь с реальной, как сразу же обнаруживались «расхождения». О чем и объявлялось иногда в критике с наивной радостью. А между тем куда важнее не бесспорное наличие этих «расхождений», а столь же бесспорная правда особого шукшинского мира.

Возникший однажды спор об условности и безусловности художественного мира Шукшина был продолжен в критике (отмечу здесь только последний при жизни Шукшина спор Л. Аннинского с В. Гусевым, в котором Л. Аннинский защищал «шукшинскую жизнь», а В. Гусев утверждал, напротив, что Шукшин «мало занимался тем, что называется конструированием собственного художественного мира из материала «мира реального», — «Литературное обозрение», 1974, январь). Любопытно, что последовательное утверждение этой мысли привело В. Гусева к следующему конкретному антитезису: «Шукшин любит быт, любит рассказ о быте... бытовой рассказ — формула... Когда у него вдохновение, удача, то ничего он не конструирует даже в самых рискованных сюжетах и фабульных ходах. Так, в рассказе «Верую!» поп, Максим и Илья после разговора о душе в пьяном виде пляшут впридачку настолько замечательно и убедительно, что воистину хочется встать и самому заплясать. Какое уж тут конструирование...»

Чтение рецензируемого сборника Шукшина позволяет убедиться в том, чью сторону принял сам писатель.

В беседе с корреспондентом итальянской газеты 17 мая 1974 года (то есть после выхода в свет номера «Литературного обозрения» со статьями Л. Аннинского и В. Гусева) Шукшин отвечал на такой вопрос: «В сборнике «Характеры» есть рассказ «Верую!». Описанная в нем ситуация подсмотренная или выдуманная? Каким же был его ответ? «В строгом смысле слова это все же выдуманная вещь. Выдуманная постольку, поскольку... опять же ситуация несколько крайняя, что ли. Но мне нравятся крайние ситуации». Эта беседа воспроизведена в рецензируемой книге по магнитофонной записи, а до книги была опубликована впервые только в про-

шлом году журналом «Наш современник». Но и тогда, в 1974 году, В. Шукшин печатно ответил на формулу «бытовой сказки», это ясно из его выступления на страницах журнала «Вопросы литературы»: «Иногда применительно к моим работам читаю: «бытописатель». Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом». Да, Шукшин говорил непримиримо: «Бить надо нас по рукам, когда мы вместо правды придумываем... разные характеры, ситуации, психологию. Да еще делаем вид, что это-то и есть правда. Никого мы не обманем и не научим таким образом быть лучше. Только испортим дело». Однако не будем наивными: Шукшин здесь восставал не против придумывания, а против лжи. А что до придумывания, то этим делом он очень и очень охотно занимался, поскольку сама жизнь далеко не всегда подбрасывала ему те самые крайние ситуации, которые ему «нравились». В статье «О творчестве Василия Белова» он отделил правдивость от живой правды и подчеркнул, что они прямо враждебны друг другу. Ясно, что он был на стороне живой правды, верным союзником которой у него всегда выступала придуманная, крайняя, условная или даже прямо неправдоподобная ситуация (сюжет). Об этом он сам сказал, кажется, последний раз при жизни на страницах «Правды» (22 мая 1974 года) в связи с «Калиной красной»: «Начну с того, о чем — против ожидания — спрашивают редко. Правдоподобно ли, чтобы молодая деревенская женщина — натура чистая, и цельная — полюбила (к тому же еще поначалу заочно) рецидивиста-вора и чтобы ее родители и близкие безоговорочно просто распахнули ему навстречу и двери, и души? Это меня подспудно беспокоило. Ведь сама ситуация-то в картине взята крайне условная, как любят говорить рецензенты — надуманная... И смотрите: люди естественно приняли невероятно условную ситуацию. Ни у кого не возникло даже тени сомнения...»

Нет, сомнения, конечно, были, и особенно у критики, которая при жизни писателя подчас относилась к его работе недостаточно уважительно, ставя ему каждое лыко в строку, не прощая обнаруживаемых при анализе условностей, допущений, резко противопоставляя творчеству Шукшина

«безусловно правдивые» книги других современных писателей (особенно «деревенщиков»). Однако, защищая Шукшина от совершенно необоснованных обвинений в неправде, нельзя бросаться в другую крайность, доказывая, будто он был самым стопроцентным бытописателем. (Конечно, бытописание — это не ругательство, как говаривал Шукшин, но и не характеристика его манеры!)

Когда-то Маркс определял свободное время как время «для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил»<sup>3</sup>. Вот эту «свободную игру сил» Василий Шукшин и любил и умел писать! Его второй фильм, «Ваш сын и брат», начинался чудесным пейзажем с Катунью-рекой, открывался, как гора в сказке, не случайной и немаловажной надписью во весь экран: «Итак, было воскресенье». Этими значимыми словами «отпирается» и все творчество Шукшина — новеллиста и кинорежиссера. Ему нужна была атмосфера свободы, чтобы его герои поступали, как им хочется, чтобы он сам мог лепить жизнь, как ему она видится. В рецензируемой книге мне встретилось следующее признание Шукшина: «Рассказывая о... человеке, я выговариваю такие обстоятельства, где мой герой мог бы вольнее всего поступать согласно порывам своей души».

Порывы души — это и есть, конечно же, главный предмет всего творчества Шукшина — и его прозы и его кинематографа. В этом плане (то есть в содержательном, не формальном!) я понимаю и принимаю утверждение кинокритика К. Рудницкого: «Фильмы Василия Шукшина рождались из его рассказов. Его кинорежиссура — прямое и естественное, как дыхание, продолжение его прозы. В этом вот смысле режиссерский опыт Шукшина, пожалуй что, уникален. Другого такого — не было».

Заканчивая разговор о книге статей Шукшина «Нравственность есть Правда» и книге «О Шукшине», хочу повторить заповедное заветное шукшинское слово: «Мне бы только правду рассказать о жизни. Больше я не могу. Я считаю это святым долгом художника».

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание 2-е, т. 23, стр. 274.



# ЖИЖНОЕ ОБЪОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Борщаговский. Пробуждение личности.— Никола Рябчук. Новизна и постоянство.— Ирина Велембовская. Симпатии и антипатии Юрия Трифонова.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Гантман. Приключения одной доктрины.— В. Лобачев. И все-таки она вертится.

## Литература и искусство

### ПРОБУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Г. Канович. Свечи на ветру. Роман. Вильнюс. «Вага». 1979. 559 стр.

Не только для читателя, пожалуй, и для критики эта книга окажется неожиданным открытием. В ней открылся нам готовый художник, вполне владеющий и словом и тем жизненным материалом, который наполняет все три части романа «Свечи на ветру». Он сложился в добрых традициях нашей литературы. Написанный поэтом и многолетним переводчиком литовской поэзии на русский язык, поэтический по самому видению мира, роман привлекает глубоко достоверным, реалистическим изображением жизни, изначальный взгляд автора на человека добр и справедлив, а судьбы людей, их земное существование складываются в обширную панораму действительности исторической, неотделимой от великих и трагических событий века.

Эти книги, которые «не даются» независимо от объема усилиям года или нескольких, немногих лет. В них как бы укладывается целая жизнь: наблюдения детства, размышления зрелых лет, неизбежные в каждую новую пору возвраты к пережитому и долгие годы писательства, то странное и словно бы противоестественное соединение страсти и терпения, которое становится доступным художнику, когда в нем возникает предчувствие, что рождается его главная книга, книга ответственности перед жизнью и обществом.

Внимательный читатель догадается, что роман «Свечи на ветру» написан не в один присест, отдельные его части посвящены разным людям, — так не бывает с книгами, созданными на одном дыхании. Читатель опытный и тонкий поймет, что книга писа-

лась долго, по самому ее внутреннему движению, по известной отваге повторов, по характеру отделки фраз, линий, когда штихель художника еще и еще возвращается к сделанному, поправляет что-то, кажется, уже без особой нужды.

В Дубултах в далеком 1954 году Григорий Канович по памяти, как и положено поэту, читал изо дня в день главы своей первой повести «Я смотрю на звезды». Уже в ней было и местечковое кладбище, и могильщик, и бабушка — величайшее для сироты существо, и ремесленная беднота, и прекрасные завязи дружбы двух мальчиков, литовца и еврея. Мы ждали часа, когда снова зазвучит глуховатый голос автора и оживут превосходные, переполняющие маленькую книгу диалоги и образные, быть может, даже избыточно образные авторские описания. Среди тех, кто вполне отдался этой молодой, полной юмора и грусти прозе, был и Константин Паустовский. Изданная в Вильнюсе в 1959 году, повесть «Я смотрю на звезды» долго лежала на рабочем столе К. Паустовского в Ялте, он писал к ней предисловие по потребности сердца, еще не зная, какому центральному издательству предложить и книгу и свои мысли о ней.

Для Г. Кановича первая повесть оказалась словно брошенным в пахоту зерном. Ни одной глазой не вошла она в роман «Свечи на ветру», но вошла вся, оставив в земле только шелуху помешавшихся имен и незначительных частей. Пошла она и душой и кожей жизни, стала как бы ударом камертона, его протяженным, направляющим музыку звуком. По-

весть «Я смотрю на звезды» распалась на отдельные новеллы — или складывалась из них, — автор, уже обладавший поэтическим и драматургическим опытом, как бы не вполне еще верил в свою «мускулатуру» прозаика, повествователя и спасался подчеркнутой фрагментарностью, сюжетной законченностью каждой из 20 крохотных новелл, составивших повесть.

Из них родилась затем цельная книга — «Птицы над кладбищем», книга, названная романом, но ставшая впоследствии только первой частью романа «Свечи на ветру». С долгими промежутками писались и две другие его части: «Благослови и листья и огонь» и «Колыбельная снежной бабе». Без малого три десятилетия ушло на создание этой книги, а для пятидесятилетнего Г. Кановича такой срок почти равен всей прожитой писательской жизни. В первой части романа еще сохраняются следы жанровой робости, автор как будто не знает, что повествование будет продолжено, и стремится весь выразиться здесь, ничто не сохранить в тайне для будущего.

Когда такого рода книга пишется от первого лица, невольно возникает соблазн прочесть ее как повествование сугубо автобиографическое, но это было бы неверно. Форма повествования от первого лица, характерная, органическая для поэта, на первых порах, кажется, единственно для него возможная, в данном случае служит цели куда более широкой, чем живая, образная автобиография. Эта цель — народная жизнь, широкая ее картина, движущаяся, развивающаяся жизнь народа, да еще такой поры, когда испытывается вся его судьба и речь идет о самом его существовании.

Рассказ ведет подросток и юноша Даниил, сын Саула — революционера, тюремного сидельца, человека, бежавшего из полицейского узилища и убитого в Испании в сражении за благородные идеалы революционной республики. «Одно время она мне снилась, Испания моего отца Саула», — говорит Даниил, но мы ошибемся, решив, что сын своего отца прямо приходит к тем же убеждениям, к тем же идеалам, которыми живет коммунист Саул, что они достаются ему по праву наследования. Пути Даниила долги, тернисты, полны ошибок, недоумения, слепоты, уклонения от истины, полны страстного желания чуда, мечты стать птицей, взлететь, подняться с грешной, окровавленной земли в поднебесье — он слишком доверчив, простодушен, открыт навстречу всем людям.

В финале первой части, когда Даниил, сирота при живом отце, говорит ему, что «если бы можно было что-то изменить, я бы стал птицей», отец добродушно смеется: «Птицей?» — и объясняет сыну, что «самая прекрасная птица на земле все-таки человек». «Вскоре он уехал, — размышляет Даниил, — а я остался с Иосифом, со своими снами и печалью. Мне снилось, будто я стал птицей, добрался с дроздами и журавлями до Испании, отыскал на войне моего отца Саула, будто сел на винтовку и прикрыл грудкой щель, из которой должна была вылететь пуля и поразить его голову, полную каверзных мыслей об Испании, о мировом порядке, о справедливости и, может быть, обо мне».

Может быть, об мне!.. Даниил не решится утверждать это с уверенностью. Отец всегда далеко: таков его подвиг, его крест — забыть себя, бросить дом, родившую его землю, оставить сына на руках стариков, отдать самое имя свое на хулу, на поругание обывателя, и все это во имя Справедливости, Литвы, Испании и мирового порядка. Мечты и сны тревожат Даниила, печалят, радуют, влекут невнятно, но воспитывают его жизнь, ее жестокие и неотвратимые уроки. Воспитывают его опекун, калека, добрый человек — могильщик Иосиф, у которого Даниил в подручных, и мудрая, прекрасная бабушка, убежденная в том, что «человек приходит в мир для страданий. Кто не страдает, тот не человек», бабушка, которая разговаривает «с господом, как со старым знакомым на рынке, то сбываясь на шепот, то переходя на крик», убежденная в том, что «господь бог гневается, когда мужчина плачет», бабушка, похороненная, «как она просила, — на пригорке», откуда, увы, не видно базара, бабушка, и после смерти неизменно приходящая к Даниилу в самые трудные минуты жизни, чтобы поддержать его в мудрым советом и мужеством своей тяжелой и чистой жизни.

Фигура Саула дана в романе конспиративно, неполно: он и на страницах книги существует словно бы по тем же законам, по тому же обыкновению, что и в самой жизни, — из-за слезки, преследований, постоянного чувства опасности. Он и смутная гордость сына, и его недоумение и обида, и смятение, неотвеченные вопросы, неосуществляемая нежность. «Если не считать предсмертного поцелуя моего опекуна Иосифа, — размышляет Даниил, потрясенный первым поцелуем Юдифи, красивой дочери доктора Гутмана, — никто в жизни меня ни разу не целовал.

Бабушке было некогда, отец сидел в тюрьме, а дед если к чему и прикладывался, то только к пивной кружке в трактире Драгацкого или к священной табличке, приколоченной к двери избы».

Но, как ни удивительно, в этой жизни без поцелуев и нежничания, в жизни простой и жесткой, столь подчиненной необходимости, быту, ударам судьбы, глубины человеческих отношений полнятся нежностью и любовью, не речистой, не болтливой, не расходующей себя в громких словах, любовью и заботой друг о друге. Это и следствие поэтического дара автора, хорошо владеющего подтекстом и делающего сущим для нас второй, скрытый от глаз план жизни, и вместе с тем следствие народного по своей природе взгляда на внутреннюю жизнь человека, взгляда, не терпящего сентиментальности, украшения, черпающего свою живую воду в глубинах колодца: вода эта спасительная, необходимая, но и студеная, заставляющая ныть зубы.

Перед глазами мыслящего, впечатлительного юноши Даниила проходит вся жизнь местечка, населенного литовцами и евреями. Это и его дружок Пранас Семашка, тот, кто преподаст Даниилу первые наивные уроки политграмоты и скажет столь поразившие на первых порах Даниила слова: «А если хочешь знать, никаких евреев нет... И литовцев нет. Есть бедные и богатые, угнетенные и угнетатели...»; кто поможет Даниилу в гетто, созданном гитлеровцами, обрести себя и стать солдатом сопротивления, одним из спасителей десятков еврейских детей, заживо погребенных в сыром подвале винной лавки в приюте Абеля Авербуха и перевезенных в смрадных бочках золотарей в литовский детдом, к благородному доктору Бубнялису, с риском для жизни укрывшему этих детей. Это и столяр Стасис, и свадебный музыкант Лейзер, и парикмахер Дамский, исповедующий философию страха. покорности, незаметности («Зачем нам слыть бунтовщиками, шпионами, подрывателями основ, — говорит он, сокрушаясь о судьбе Саула, — когда мы можем спокойно прожить свою жизнь парикмахерами, портными, шорниками, лавочниками... Зачем?»), и служка Хаим, сухонький маленький человек, от которого пахнут «свечами и священными книгами», и такие незаметные, словно растворившиеся в массе народа борцы за справедливость, как Пинхос или Борух Дудак, и порывающая со всем укладом родительского дома Юдифь, дочь доктора Гутмана, единствен-

ная — и так возвышающая его! — любовь Даниила.

С кем только не сталкивает Даниила жизнь! Тут и знакомые ремесленники, и полицейские чины, офицеры Советской Армии и эмигранты, люди, бежавшие из гитлеровской Германии и нашедшие недолгий приют в Литве. Тут и следовательно, одни из чиновных ревнителей буржуазной Литвы, который допрашивает Даниила, схваченного со шрифтами для подпольной типографии, и всячески старается отлучить юношу от его родной Литвы, отрезать по признаку крови от единственной его родины, убеждая его уехать: «Если вам что-то не нравится, уезжайте. Никого силой не держим. Литва уж как-нибудь обойдется без вас. Не вы пашете, не вы сеете». Вкрадчиво объясняет он юноше 1939 года, что, когда его отец Саул впервые сел в тюрьму, на свете еще были Польша, Австрия, Чехословакия, а теперь их нет, и не надеется ли Даниил на то, «что и Литвы не будет?». И Даниил отвечает убежденно, что «Литва будет... Литва всегда будет». Его опыта и знаний недостаточно, чтобы сказать то же самое о Польше, об Австрии и Чехословакии, отвергнуть убежденность полицейской чиновника в неизбежности гитлеровской Европы, ее новой географии, но Литва — родина, его земля, его жизнь, и ему достаточно чувствовать, что она будет всегда: родное ведь не только познается, но и чувствуется.

Автор нисколько не защищает своего героя от зрелища тяжких язв, от уродливых созданий, от крайних испытаний. Даниил успевает непредвзято взглядеться, не сразу научась отличать истину от лжи, и в паразита Лео Паровозника, вся философия которого выражена в одной фразе: «Жизнь, брат, устроена просто: или ты стрижешь, или тебя стригут» — и в богатея, владельца мельницы Ойзермана, который даже в гетто надеется столкнуться с немцами и их подручными, свято веруя в то, что «умные люди во все времена могут договориться», и в Ассира Гилельса — давнего своего врага, сына хозяина мясной лавки, а ныне фашистского охранника в гетто, вся житейская «мудрость» которого и вовсе умещается в двух предательских словах: «...главное — выжить» — и в тех, кто, подвизаясь в юденрате (совете старейшин гетто), готов был оплатить свое спасение жизнью безвестных бедняков.

Поучительно и захватывающе интересно наблюдать созревание Даниила, пробуждение в нем целостной личности, не при-

украшенной, не идеализированной, мучительным путем идущей к цели, казалось бы прямо завещанной Даниилу отцом, солдатом республиканской Испании. От столера Стасиса он впервые услышал, что такое забастовка, и еще долго ломал голову над тем, почему ни разу не бастовал его дед-часовщик, могильщик Иосиф или, наконец, парикмахер Дамский. «Неужели они всем довольны в жизни?» — недоумевает он. Даниил — мечтатель и не только завидует свободному полету птиц, но и размышляет о том, что придет день — «и на свете восторжествуют любовь и справедливость. Каждый будет рассчитываться с каждым не литами, не долларами, а любовью. Каждый будет платить каждому не золотом, не серебром, а справедливостью». Но реальная жизнь беспощадна, она не дарит самому Даниилу справедливости. «Всю жизнь мне желали добра, — думает он, перебирая круг знакомых и близких людей. — Все. До единого... Но, черт бы побрал всех, в лицо я добро так и не видел». В этом смысле не лучше других и отец Саул: «Отец? У него всегда на уме была судьба всего человечества, до меня ему никакого дела не было...» Забытый, одинокий и растерянный, Даниил не сразу начинает понимать, что Саул жил и умер ради него, ради того, чтобы его сын вместе с миллионами других жил достойно и в справедливости. Даниил в самой гуще жизни, натура его крепка, тяжкий млат жизни не крошит, не ломает, а куёт его булат, формирует его. В памяти Даниила всегда звучит и голос бабушки, он не даёт успокоиться, в критические минуты он шепчет на ухо: не слушай соблазнов предателей, не верь малодушному, отринь ложное успокоение, «когда один человек в неволе — турок ли, еврей ли, — никто не может считать себя свободным».

Личность и характер Даниила складываются подкупающе естественно, а не по авторскому произволу. Даже в гетто, узнав, что Пранас Семашка разыскивает его, Даниил все еще поражен и недоумевает: зачем так рискует его друг-литовец? «Что он делает в гетто? Братство народов — братством, а своя рубашка, как говорится, ближе к телу...» И только сделав оконча-

тельный выбор, поднявшись до борьбы, до подвига, он получает нравственное право на те высокие слова, которые убедительно звучат на последней странице романа: «Обнимитесь, живые и мертвые! Все люди — братья, твердил я. Все — дети человечества. И нет среди них ни одного пасынка».

Эпиграфом к третьей, самой напряженной и драматической части романа, относящейся уже к той поре, когда с жизни сорваны все успокоительные и лицемерные покровы, одежды спокойствия, благополучия и заурядности, когда идет планомерное фашистское уничтожение жителей гетто и литовских крестьян, убийство детей, женщин и стариков, — эпиграфом к этой части точно и к месту поставлены слова протопопа Аввакума: «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдую». Страницы романа подводят нас к мысли о недопустимости, преступности равнодушия, эгоистического спокойствия посреди беды, чумы, народных страданий. Даже спасительное бегство в воспоминания оказывается привилегией слабых, отживших свой век; все, что живо и хочет жить, обязано к войне против несправедливости, человеконенавистничества, преступной игры на низменных шовинистических и расистских страстях.

В этом благородное воспитательное значение романа, самобытное по письму, по смелой метафоричности, живой иронии и афористическому богатству. Я читал роман частями по мере их появления, прочел по выходе всю книгу целиком и вполне ощутил, что, написанная не на одном дыхании, она обладает единым дыханием, много думал о ней — такова уж книга — и неожиданно вспомнил о ней и, может быть, понял глубже, чем прежде, прочитав выдающееся, на мой взгляд, произведение Д. С. Лихачева «Заметки о русском». Мне и хочется закончить рецензию словами из работы Д. С. Лихачева: «Мы все граждане своего народа, граждане великого Союза и граждане всего земного шара. Пусть это не звучит напыщенно. Это сказано мною от всего сердца, а то, что сказано от сердца, не может быть пустой фразой».

**Александр БОРЩАГОВСКИЙ.**



## НОВИЗНА И ПОСТОЯНСТВО

Виталий Коротич. Прозрачный ливень. Стихи. Перевод с украинского. М. «Художественная литература». 1979. 203 стр.

Віталій Коротич. Досвід. Вірші. «Жовтень», 1980, № 6.

Виталий Коротич принадлежит к яркому и шумному поколению поэтов, вошедших в украинскую литературу в начале 60-х годов и надолго определивших ее облик, интонации и, главное, напряженный характер художественных поисков. Выражая мысли и чувства поколения, на долю которого выпало участие в больших событиях нашей современности, молодые поэты сумели соединить в своих стихах своеобразную «глобальность» мышления с нестилизованым национальным колоритом, внимание к общественной проблематике — с углубленным изучением человека как личности деятельной, преодолевающей не только внешние, но и внутренние трудности.

Вышедший недавно на русском языке сборник стихов В. Коротича «Прозрачный ливень» в какой-то степени подытоживает двадцатилетний творческий путь украинского поэта. И хотя, разумеется, переводной сборник не может донести все особенности творческого становления поэта — отразить преодоление им, скажем, отвлеченной умозрительности, дидактичности, — тем не менее движение стихов в циклах в хронологическом порядке дает определенное представление о творческом развитии писателя.

Как поэт В. Коротич весьма риторичен, он часто и охотно обращается к людям, деревьям, траве, зернам, к поэзии и поэтам, к судьбе, памяти, друзьям и врагам, к своим лирическим героям, будь то художник Гоген или выдающаяся украинская оперная певица Крушельницкая; его легко и удобно цитировать, и почти в каждом стихотворении мы можем отыскать в той или иной форме высказываемое кредо:

Да здравствует конкретность всех подряд  
Понятий: снега и стихотворенья!  
Конкретность слов, за коими стоят  
Святости,  
Идеалы,  
Убежденья.

(Перевела Ю. Морщ)

Так в чем же бесспорная привлекательность этих стихов, почему слово «риторика» применимо к ним в своем исконном и прямом, «добром» смысле — как ораторское искусство, а не в более употребительном современном значении? Да потому, видимо, что красноречие это внутренне содержательное, оно неразрывно связано

с нравственным максимализмом поэта, утверждаемым постоянно и последовательно:

Судьба,  
подари мне надежду на завтрашний взлет.  
Надежда,  
влей силы в меня,  
чтоб мечта не угасла.  
Усталостей тонны — долой,  
словно тонны балласта,  
Сползают пускай,  
исчезают, как свергнутый гнет!

(Перевела Ю. Морщ)

Высокая требовательность к себе, осознание своей поэтической миссии («...поэт — это в первую очередь честность») и миссии человеческой («...ведь мучительней всех неудобств — неудобство душевного мира») связаны в неразрывное целое благодаря единому нравственному критерию.

Риторический вопрос, заданный поэтом в конце одного из стихотворений («Скажите мне, а вы хоть раз самим себе в глаза смотрели?!»), незримо присутствует в каждом его произведении, потому что в поэзии В. Коротича постоянно слышен настойчивый призыв познать себя как личность, личность, связанную с определенным миром, обществом, нацией, историей и культурой. Эти начала живо ощущаются в его стихах, взаимодействуя между собой, создавая тот активный фон, на котором поэт и доказывает важные нравственные постулаты и опровергает чуждые нашему миру концепции.

Поэзия В. Коротича чрезвычайно энергична и в «горизонтальном», географическом срезе (поездки по Советскому Союзу, зарубежным странам, встречи с разными людьми, знание языков — все это содействует художественной достоверности «стихов издалека») и в срезе «вертикальном», историческом — от реминисценций из греческих мифов до исследования современных животрепещущих событий.

Обращаясь к образам Байрона и Бетховена, Шевченко и Леси Украинки, Джордано Бруно и Кибальчича, спортсмена Ивана Поддубного и председателя колхоза «Марупе» в Латвии К. Л. Хвостового, поэт прежде всего интересуется проблемой человеческого поступка в конкретных социально-исторических обстоятельствах, проблемой важного, а подчас и последнего в жизни нравственного выбора. Смерть, бывает, определяет и абсолютную искрен-

ность героя, и невозможность уклониться от выбора в каких-то важных последних решениях и отложить их «на потом», как и невозможность что-либо попозже изменить, переделать, оправдать. Вот почему именно в такой пограничной ситуации изображает многих своих героев В. Коротич — утверждаемые ими истины одинаково актуальны и для истории и для современности:

Пусть пепел костра моего не ляжет тяжкой виной  
На тех, кто ныне обманут,  
кто смотрит сейчас на меня.  
Я с пламенем сливаюсь, но истина все же со мною.  
Подойдите ближе — погрейтесь у моего огня.

(«Огонь», перевел Евг. Витковский)

К сожалению, переводчик не заметил, что слияние с пламенем служит подтверждением истинности слов Джордано Бруно, символом их бессмертия, оно означает как бы переход человека в новое качество — в вечно пылающий огонь; а поэтому противопоставления «но истина все же со мною» не должно быть, ведь смысл оригинала: я сливаюсь с пламенем — значит, все-таки был я прав. Во всей поэтике Коротича огонь — это символ все той же истинности и бессмертия: «воскресает огонь из пепла, из огня воскресают люди», «и слово и пламя не умрут, пока жив человек».

«Огонь» — так назывался поэтический сборник В. Коротича, в котором была впервые опубликована поэма «Ленин, том 54», одно из ярких произведений советской Ленинианы. Созданная на основе последних писем, телеграмм и записок Владимира Ильича, эта поэма исполнена высочайшего гуманистического пафоса; образ Ленина рассматривается в нравственном аспекте, и вся наша современная нравственность соизмеряется с практической ленинской этикой.

Стремление максимально приблизить исторические образы к современности, актуализировать их, приводит поэта подчас к спорным трактовкам, скажем, в «Смерти Гогена»: «...Гоген, теперь ты склонен все отдать за бурю, от которой выбрал бегство. Изранены шнты из полотна, и кисть не стала лезвием булатным...» Однако не может не вызвать сочувственного отклика стремление поэта побудить читателя к размышлению, анализу, активному действию во имя добра и справедливости.

Доверчивая открытость поэзии В. Коротича требует от переводчиков бережного соблюдения авторской интонации, иначе даже у весьма опытных переводчиков можно встретить некую лихость тона:

Весь вечер вспышки в поле зренья  
ожогом угрожали мне.  
И мир, зачинщик откровенья,  
со мною плакал наравне.

(«Гром», перевела Ю. Морщ)

Выделенные мною слова чужды авторской лексике. Смотрите, насколько все проще, элегичнее и понятней в оригинале:

Цей вечір пік зінці світлом  
і слав гromи мені до вух.  
Я сповідався перед світлом,  
і ми з ним плакали удвох.  
(Этот вечер обжигал зрачки светом  
и слал громы к ушам моим.  
Я исповедовался перед миром,  
и мы с ним плакали вдвоем.)

Нет здесь ни канцелярского «поля зренья» (вместо обычных зрачков), ни приценивающегося «наравне» (вместо искреннего и интимного «вдвоем»), ни каких-либо «угроз», поскольку в данном стихотворении хотя вечер и «обжигает зрачки светом», все же боль эта очищающая, «катарсисная», связанная с «исповедью перед миром», она сродни тем чувствам, которые лирический герой сознательно принимает вместе со светом, озарением, истиной.

Идея трудности, выстраданности настоящего человеческого счастья, неприятие его облегченно-плакатного варианта восходит еще к самым первым книгам поэта. Весьма характерна она и для общей концепции человека у В. Коротича:

Мы забываем часто и легко  
О том,  
как труд усталостью нам платит,  
Как человек, устав,  
едва не плачет,  
Закрыв руками тяжкими лицо.

(Перевел А. Поперечный)

В оригинале поэт более решителен и резок — его упреки касаются и собратьев по перу, о чем переводчик деликатно умалчивает: «Почему мы забываем об этом? Поем о труде так, как будто никто от усталости никогда и не заплачет, положишь крепкие руки на лицо...»

Переводить В. Коротича, пожалуй, легче, чем М. Винграновского или раннего И. Драча, — его поэзия по преимуществу рациональна, интеллектуальное начало почти всегда довлеет над эмоциональным, и даже сугубо интимную лирику поэт строит на парадоксах, остроумных, но все же вполне рационально организованных образах (например, цикл «Десять монологов о любви»). Риторичность, о которой упоминалось в начале статьи, сочетается у В. Коротича с глубиной и ясностью мысли, смелые и в то же время конкрет-

но-зримые образы («...кого-то молния искала, ломая спички в мокрой мгле») — с четкими умозаключениями, обладающими часто лаконичностью афоризма: «В державе голубых мундиров не место грезам голубым», «Не превращая острые углы поступков наших в плавную кривую...».

При этом стоит переводчику хотя бы немного сбиться с тона, как авторская доверчивость превращается в нарочитость, афоризм становится плоским трюизмом, а суровая лаконичность оборачивается назойливым многословием. И в книге, к сожалению, подобных примеров немало. Нисколько не умаляя огромной и плодотворной работы, проделанной переводчиками, хочется, однако, отметить и некоторые несоответствия лексического строя переводов характеру лексики оригинала, несоответствия, кстати, типичные и для других переводных книг украинских поэтов. Зачем, скажем, Юнне Мориц «спиритуализировать» ливневые капли, снабжая их «духом» («...их дух продрогший, дух живой»), зачем проделывать нечто подобное с «тревогой» («...пусть тревога, твой бог, не исчезнет»)? В стихотворении «Крушельницкая поет в Италии» переводчик Е. Храмов пишет: «...некий (?) дух (!) пролетал над пространством (?) безжизненных (!) вод», но ведь не только В. Коротич, а и любой другой украинский поэт не смог бы употребить этот набор языковых штампов из арсенала русского декаданса начала века (что, разумеется, не может быть гарантией от использования каких-то своих, национальных поэтических трафаретов). Перевод стихотворения «Крушельницкая...», пожалуй, наиболее неудачный в сборнике:

На слагайте свое — пойте снова, еще, без конца!  
За добро воздавая добром. презирая злодея (!)...

Тщетно мы будем пытаться понять по оригиналу, откуда этот «злодей» и христианское «воздаяние» и к чему призыв «не слагать свое» (подобными призывами «от себя» грешат и другие переводчики; один из них, например, приглашает посетить вершины Кавказа: «Но посещайте область эту (!), чтоб солнцу заглянуть в лицо», тогда как В. Коротич предлагает лишь «закалять» глаза, вырабатывая упорство характера: «Смотрите на снега для того, чтобы солнцу заглянуть в лицо...»).

И все-таки большинство переводов Ю. Мориц, Е. Витковского, И. Бурсова,

П. Вегина, М. Борисовой и других успешно воссоздают на русском языке особенности поэзии В. Коротича.

Появившиеся не так давно в журнале «Жовтень» его новые стихи в значительной степени продолжают тематику предыдущих сборников, но вместе с тем и обладают некоторой новизной. Цикл состоит из 9 главок-стихов и называется «Опыт». Умышленная незавершенность конечных суждений и нравственных выводов, оставляющая лирическому герою возможность для дальнейшего самопознания и самосовершенствования, некоторая двойственность чувств и своеобразный знак вопроса, угадываемый в конце, заметны во многих стихотворениях цикла (за исключением, пожалуй, первого и последнего, где «поэтическая проблема» человеческого опыта, долга и надежды разрабатывается несколько отвлеченно).

В этой незавершенности просматривается новая углубленность чувств (нравственный максимализм В. Коротича, приносивший несомненный успех, когда речь шла о человеке идеальном, теперь оказывается трудноприменимым, поскольку перед нами конкретный человек, в обыденной жизни), в сущности, это частный случай проблемы соотношения высокого и низкого в литературе. Сказанное вовсе не означает ослабления нравственных принципов, а свидетельствует лишь о неоднозначности окончательных приговоров, включающих диалог и своеобразную открытость лирического сюжета. Что же касается исходных принципов, они у В. Коротича неизменны.

У поэта постоянно чувство боли из-за неосуществленных возможностей («...долов до зрелых лет, давние даты перебираю»), постоянна неудовлетворенность, связанная с высокой требовательностью к себе («...я всех спас, кого смог спасти, я уничтожил не всех, кого бы должен был уничтожить»).

В последних стихах В. Коротича чувствуется стремление наполнить «поэтическую проблему» личным лирическим переживанием и в то же время типизировать конкретное событие не умозрительным выводом, а внутренним развитием поэтической идеи. В этом, думается, и состоит прежде всего новизна поэзии Виталия Коротича.

Микола РЯБЧУК.

Львов.



## СИМПАТИИ И АНТИПАТИИ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

Юрий Трифонов. Старик. Роман. М. «Советский писатель». 1979. 240 стр.

Юрий Трифонов. Другая жизнь. Повести, рассказы. (Библиотека «Дружбы народов»). М. «Известия». 1979. 685 стр.

Есть в распоряжении художника свойство загадочное, редкое, как будто даже потустороннее: угадывание мыслей на расстоянии, видение как будто сквозь стенку. Ты-то думаешь, что это твое, сугубо личное, твоя ошибка и твоя печаль. Ты это прячешь от других, от постороннего глаза, а нет, не удалось. Оказывается, что и у многих других то же, и вот выявлено, обобществлено, сопряжено, перестало быть твоим. В этом есть некоторое облегчение, но именно что только некоторое...

Передо мной две книги Юрия Трифонова; все было ранее читано, но теперь перечитывается с возросшим интересом и беспокойством. Отдельно взятые вещи сливаются в одну «человеческую комедию»: судьбы как бы переплелись, ситуации дополнили друг друга, характеры наложились один на другой — и ты стремишься понять, кто же в целом эти люди. Ошибки их во многом общие, мытарства тоже, семейные неурядицы переходят из семьи в семью. И всех героев гложет примерно одно и то же: в любой неурядице остаться по возможности человеком.

Но при всем при том герои Ю. Трифонова представляются мне очень индивидуальными, нервы у каждого натянуты на свой лад. Мне лично видится несколько «комплектов» характеров: Дмитриев и Геннадий Сергеевич, Сергей Троицкий и Гриша Ребров, Руслан Летунов (из «Старика»). Среда московской научной и творческой интеллигенции, в которой узнаешь своих друзей и приятелей. Испытываешь даже чувство какой-то неловкости, потому что вдруг узнал о них всю подноготную, то, о чем, общаясь с ними, и не знал и не догадывался. И поскольку герои воспринимаются воистину как живые люди, чувство порой бывает особенно тревожным...

Ко всему, что я тут пишу, к каждой фразе нужно добавлять: «Я так думаю», «Мне кажется, что...». Так вот мне представляется, что у Ю. Трифонова не было бы такого количества читателей и почитателей, если бы он человеческие слабости и несовершенства своих героев преподносил как пороки. Он едва ли не на каждом шагу подчеркивает, что главное в человеке — его душа, она противостоит разрушению, способна вынести подземные толчки. Автору только горько, да и нам вместе с ним, что порой на вещи мелкие, на «напря-

жения быта» люди вообще сильные и честные реагируют порой так болезненно, так мучительно. Что-то младенчески безответное, немужское есть в поведении его героев. Они пугливы и совестливы там, где вовсе это и не надо, раздражительны и мелки там, где вполне могли бы поступиться. Откуда это раздражение?

Заметим, что эти люди, одни меньше, другие больше, все в достаточной мере образованны, во всех зачатки способностей и талантов. Они не обломовы, они добросовестно тянут ляжку. Она потому особенно больно режет плечи, что можно было добиться большего, а вот по той или иной причине не добились. Оставив в стороне замотанного обменом Дмитриева (в Театре на Таганке он целыми днями плаща и шляпы не снимает), скажем, что все остальные действительно имеют поводы для обиды на судьбу. Когда лезут напролом кандауровы, климуки, рафики, смурные, смоляновы, поводов для раздражения, даже озлобления, достаточно.

В живом и во многом точном послесловии Л. Теракопьяна к сборнику «Другая жизнь» прочитывается желание объявить Ю. Трифонова как бы в оппозиции к своим героям, их суровым судьей. А я это чувствую как-то по-другому. Не снимая с них обвинений в человеческих слабостях и несовершенствах, автор им сострадает, и в чем-то очень глубоко. Он их нигде не низводит на грань человеческой подлости, грубой бесчувственности. Их непорядочность, когда она все-таки имеет место, какая-то вынужденная, изболевшаяся. Если бы Геннадий Сергеевич был хозяином в собственном доме, ну хоть наполовину хозяином, не получилось бы этой мучительной истории с изгнанием домработницы Нюры. Никому не пожелаешь оказаться в его положении, хотя он, конечно, не самый лучший человек на свете. Раз есть Мансур Гельдыевич, значит, кто-то должен его переводить, и переводить хорошо, чтобы можно было печатать и читать. Если это закономерно, то в чем вина Геннадия Сергеевича? Разве это сахар? Легкий кус? Что же до Реброва, Троицкого или Руслана, они просто из числа добротных неудачников, похожих на иных своих литературных предшественников. Ребров на Мелузова, например...

Оправданием героям Ю. Трифонова вполне может быть то, что они сами этого



оправдания не ищут, сами понимают, в чем виноваты. Не будем лицемерить и признаем, что в их ошибках часто видим и свои собственные. В одном из нас частица вспыльчивости, разбросанности, эгоизма Сергея Троицкого; а то истеричность, подавленность, тряпичность Геннадия Сергеевича; замордованность, рабство Дмитрия; и уж не знаю, как назвать состояние Реброва — гипноз любви, страх ее потери, законная зависть к преуспевающему, свойственная многим излишняя совестливость, которая не дает набрать побольше воздуха в легкие и гаркнуть: «А ну пропустите и меня! Что это за безобразие!..» И что же, разве из этого следует, что людям, имеющим подобные изъяны в характерах, не следует подавать руки? Круг наших знакомых значительно сузился бы, если пойти по этому пути.

Однако же все-таки берет и зло: уж очень нелепо и несправедливо, что так сходятся жизненные итоги у героев повестей Ю. Трифонова, и предварительные и окончательные. Почему нет «другой жизни»? Кто же все-таки виноват, кроме них самих, чья злая воля?

Эта злая воля просачивается и изливается как бы по двум желобам. С одной стороны, климуки, смоляновы, рафики, кандауровы. С другой — жены, тещи, подруги дома. И обе стороны, не сговариваясь даже, оказываются во взаимодействии. Хотя цели, казалось бы, разные: одни заинтересованы спихнуть, другие — чтобы продвинуть. Но и те и другие гробят героев.

У персонажей Ю. Трифонова — два отличительных, породных признака: наличие мертвой хватки или ее отсутствие. Люди и бульдоги. Бульдоги-женщины, бульдоги-мужчины, с намордником и без намордника. Если оттолкнуться от сюжета, исходная большей части трифоновских драм — неудачный брак, полное или частичное недозаимопонимание. Что одному белое, то другому черное. Все супружеские пары мы застаем далеко не в пору медового месяца: совместно прожито по четырнадцать, шестнадцать и более лет, но вспомнить особенно нечего. Обидно мало было радостей. Живые, пусть и небольшие радости очень помогли бы выдерживать внешние толчки и ко многому отнестись юмористически. В атмосфере же семейной неискренности и холодности каждый толчок извне порой порождает чуть ли не ненависть. Интеллигенту вроде бы не пристало зубатиться с женой, дубасить сына, конфликтовать с тещей. А если к горлу подступает и души?

Нет ли тут некоего произвола со стороны автора, соединяющего в браке такие разные половины? Не облегчает ли он этим свою задачу? Однако же это очень похоже на жизнь: чаще воссоединяются двое хватких, шустрых, а вот двое слабых, неприспособленных — почти никогда. Человек доверчив и к браку порой относится легче, чем к выбору района для проживания.

Как это ни горько отметить, бульдогами в наиболее достоверных сюжетных ситуациях у Ю. Трифонова оказываются женщины. Но напраслины он на нашу сестру не возводит. В конце концов, за многое в нашей жизни, за весь этот тяжелый воз большей частью отвечает мы, это рождает и определенные отрицательные качества, способствует появлению современных кабанов и васс железных. Может быть, тут все-таки в повестях некоторая натяжка: за спиной у всех женщин стоит клан, родовое сообщество наглых и хватких, с большими возможностями людей, и есть на кого опереться. Если это не ближайшие родственники, то хотя бы подруги всезнающие и всемогущие, вооружающие своим бойким примером. А у мужчин — героев Ю. Трифонова ни того, ни другого. Друзей у них нет, а родители если выжили, то они, как героям кажется, старомодны, живут идеалами прошлого, из которых шубы не сошьешь. Это же, в общем, страшно несправедливо, что от людей духом сильных, истинно порядочных рождается на свет человек слабый, угнетаемый мелочами, а от заурядности — напористый, все одолевающий любой ценой...

В этом плане особо хочется сказать о «Старике». Тема «оттесняемых» стариков, тех, которых по справедливости можно считать лучшими людьми нашего общества, проходит почти через все крупные вещи Ю. Трифонова. Дети в суе жизни как-то призабыли, кто же все-таки их родители. Они сердятся, когда те обременяют их своей шепетильностью, повышенной порядочностью, нежеланием идти в ногу с «растущими потребностями». «Старик» — острый тому пример. Дети Павла Евграфовича вроде бы интеллигенты, отца своего любят как могут. Но их, наверное, гораздо больше устроило, если бы Павел Евграфович взял лопату, колупался бы на дачном участке, занялся бы морковкой и редиской. А со своими тревожными думами, воспоминаниями, перепиской, со всей духовной «страдой» он досада, укор, повод для лишнего раздражения: как им представляется, все силы надо мобилизовать на сегодняшнее, земное, на насущные проблемы, а не тени воскрешать, не мучиться над тем, был

ты прав или нет пятьдесят лет назад. Смешно! И вот какой-нибудь супермен вроде Кандаурова отпихивает в сторону бывшего бойца революции, ставит свои «права» превыше всех других. Залог успехов такого Кандаурова в слабости других...

Дети Павла Евграфовича при всей их занудливости, нервозности, бездеятельности с опозданием, но все же поймут, чья в них кровь и чем их отец был для всех, для жизни прошлой и будущей. Они не унижутся до грызни с Кандауровым, отступят, как перед чем-то дрянным. Если бы они, Руслан, Вера, внучата позднее, этого не поняли, вот это уж было бы страшно. А что Кандауров (если не помрет от рака) или Приходько (если собственные дети не пристукнут) этого не постигнут — тут есть закономерность: закуска не та, души приказничьи, лавочные. Однако же все-таки дико, что и старик и пьяница Митька в чем-то уравниваются, стоят рядом по крайней мере как «претенденты». Старик мучается, терзается, должен ли он предъявлять свои права, а Митька запросто продает свое «право» за полбутылки. Того и надо Кандауровым: этот перед ними отступит, а тому трояк в зубы — и порядок. Ну если бы только речь шла о даче, которая в конце концов не вилла во Флориде, а всего лишь бывшая сторожка, черт с нею, пусть бы ее получал Кандауров. Он ее хоть в порядок привел, соорудил из нее вполне современный коттедж. А дети Павла Евграфовича сидели бы в своей сторожке, пока полы не провалились. Но вот беда, Кандауров и на этом не остановится, будет опять дальше шагать через кого-нибудь, жать «до упора». Эту бы напористость да на высокую цель...

Но вернемся к семейным историям. Несовместимость... Страшное слово, придуманное не так давно. Оказывается, что не все мы совмещаемся, не все можем жить друг с другом, пить из одного водопровода, освещаться от одной электросети. Несовместимость — беда почти всех соприкасающихся в браке, семье, описанных у Ю. Трифонова. Надо интересоваться не только резусом при оформлении брака, но многими другими качествами: человеческими, гражданскими, корневыми. Словом, думать, куда лезешь. Но тут же надо отметить, что все мужчины у Трифонова народ по-мужски приличный: терпят и жен не бросают, любят даже, хотя любить вроде бы и не за что. Разве что дети общие. Да и куда деваться сорокалетним и пятидесятилетним сердечникам и гипертоникам? Их сила подорвана, растрочена на напряжен-

ный быт, на компромиссы, на ссоры и примирения. Да и любви им больше не нужно. Чтобы не помереть, им нужна лишь «атмосфера простой человечности», «близость близких». Ну уж на это они имеют право, как их ни суди...

Быт... Почему большинство из нас испытывает чувство неуверенности, даже душевного смятения, когда нужно обратиться в ту или иную инстанцию, «заведующую бытом»? Поход за какой-нибудь справкой, форменным бланком откладывают до предельной точки, как посещение зубного врача. В этих инстанциях словно чувствуют, кто вошел: Лукьяновы или Дмитриевы. Вторые еще ходят. А каково было Грише Реброву? К сегодняшнему дню Дмитриевы благодаря пробойности Лены (Лукьяновой), конечно, уже построили себе хорошую кооперативную квартиру и отчасти успокоились. Но в то описанное Ю. Трифонова время? Почему нужно было маять человека, когда можно без этого? Разве способна любая унижительная бумажная процедура кого-нибудь воспитать в нужном обществе духе? Все равно Лена Лукьянова, выбив себе кооператив, в дальнейшем постарается государству ничего «за так» не оставить. Теперь такая оборотистость не очень и осуждается.

Все эти нервные подробности, которые можно бы назвать «оскорблениями со стороны быта», совершенно не играют никакой роли в жизни другой группы людей. Для них быт — это не вопрос, он у них почти не напрягается, на их здоровье не влияет, тем более не выбивает почву из-под ног. А это ведь очень способствует всяческому преуспеванию, служебному продвижению, накоплению возможностей. Климук, Кандауров, Рафик, Смурной, Смолянов, да и Мансура Гельдыевнча туда же, в каждой повести есть такие. С одной стороны, они застыт свет Дмитриевым и Ребровым, с другой — оказывают им мелкие услуги, тем самым поработав. Конечно, они не всесильны, если речь пойдет о настоящей схватке. Но герои Ю. Трифонова все же иные — грызня им противна, в силы свои они не очень верят, голоса не всегда хватают, чтобы сказать хаму, что он хам, бездари — что он бездарь. Сергей Троицкий на это отважился, но чем кончилось? Самое ведь трудное заявить громко и убежденно: «Я имею право, я способнее вас в двадцать раз». Такое труднопроизносимо, а это Климуку и надо.

Желающих заниматься наукой, искусствами так много, словно это дело такое легкое, веселое, артельное, а иногда еще и надомное: за сутки чего-то создал, открыл,

потом шесть суток гуляй. Есть творческие или библиотечные дни, которых ни слесарь, ни токарь не видят. Ну а если храм творчества не требует такого количества жрецов? Во всяком случае, жрецов высокооплачиваемых. Да просто воздуху в этом храме не хватает, чтобы всей ораве нормально дышалось. Кто-то получает инфаркт вместо ожидаемой степени, кто-то пребывает в «томлении духа», а кому-то и в голову не приходит прекратить сжирать чужой воздух, он даже видит в этом «историческую целесообразность».

Как в лесу возле белого гриба лезет из земли бледная поганка, так и карьерист лезет, циник и делец. Писатель и сам не рад, поживается, когда с листа бумаги вдруг ощутительно холодно и ядовито взглянет на него глаз лжекандидата наук или хищной бабы, у которой муж в чинах и которая считает, что ей все дозволено. Казалось бы, куда выгоднее о таких грибах не поминать. Да разве выйдет? Честно говоря, гонорар-то гораздо приятнее получить за правду.

Дело всех дел у писателя — по возможности раскрыть человеку глаза на самого себя. Хотя и не всякого читателя из состояния неузнавания самого себя выведешь. Беда в том, что на антирелигиозные лекции ходят только неверующие. Нравственные ошибки, метания литературных героев чаще всего волнуют тех, кто никаких ошибок не совершал, кто вообще-то чист перед своей совестью и никого не обидел. А есть такие, что им вообще безразлично, кто там про них и что написал. Поскольку книг в последнее время купить почти нельзя, на журналы подписаться трудно, то иному «интеллигенту» есть возможность отговориться, сказать, что нет, к сожалению, не смог достать, не читал...

И все же вода точит камень. Глядишь, и... Конечно, чью-то душу перелицевать — удел великих. А заставить хоть дрогнуть, оглянуться по сторонам, испытать сомнение — это ты, писатель, можешь. И напомнить, что от расплаты все равно не уйти. Мрачная тень болезней и смертей, настойчиво используемая Ю. Трифоновым из повести в повесть, не есть ли своего рода предупреждение: никого не минует? Страшно немного, конечно... Не потому ли не всем нравятся герои Ю. Трифонова? Да, конечно, это вещи — не «Свадьба с приданым».

Еще хочу я добавить: попробуй изложить одну за другой рассказанные им истории со всеми слоками, обидами, взаимными оскорблениями, прикрытой и неприкрытой враждой, непониманием и недо-

оценкой — это просто невозможно будет слушать. Тем более важно тут покорить читателя образом, словом, характером, портретом. Тем и ценен талант, способный художественно многое объяснить, найти в человеке меру и плохого и хорошего. К нравственному мужеству, гражданскому и человеческому долгу, чувству товарищества, ослабшему между иными из нас (скажем так), — к этому зовет автор «Другой жизни» и «Старика». Он зовет человека активного дела и активной доброты, и это поднимает истории, рассказанные Ю. Трифоновым, над бытом, драматические обстоятельства которого он так точно увидел и выписал. Не в квартирных драмах дело, не в будничной суете сует. Хотя даже большой писатель не может их сегодня обойти стороной: слишком для большого числа людей это есть «сфера применения сил». Едкие пары бездуховности, утеря нравственных критериев — вот что беспокоит Ю. Трифонова в его героях. Это тема огромная, важнейшая, в чем-то для автора неблагодарная. Но чуткий читатель будет на его стороне. И хотя в финале его герои, как правило, стоят перед многими неразрешенными вопросами, одно ясно: с нравственными потерями мириться нельзя, они, эти потери, вовсе не неизбежны, их надо свести до ничтожного минимума, как сведены тиф, чахотка и прочая зараза!

Хочу добавить: читайте Ю. Трифонова не с маху, а постранично, по фразам, ибо в каждой есть что-то, нужное всем — и пишущим и читающим.

Два слова о рассказах 50—60-х годов, нашедших место в сборнике «Другая жизнь». Этюды пыльной, жаркой туркменской пустыни, точные, как талантливая фотография. Когда одну вещь в сборнике читаешь за другой и охота на джейранов соседствует с жизнью Подмосковья или московских окраин, с жизнью Веры и Зойки или персонажей рассказа «В грибную осень», посещает чувство: а ведь земля наша так велика! Уголки жилья, будь то старая дача, квартирка на окраине в доме с мансардой или палатка пустынного геолога, — эти уголки наполнены думами и чувствами общечеловеческими, обществоственными. Персонажи во многом схожи, но не по-писательски схожи, а по-людски, природно. Тут же отмечу, что если и искать полные симпатии Ю. Трифонова, так это среди людей простых, которые потихоньку и честно делают свое дело. Таким присущи и доброта и доверчивость, возвышающие человека.

Ирина ВЕЛЕМБОВСКАЯ.



Политика и наука

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ДОКТРИНЫ

В. Ф. Петровский. Доктрина «национальной безопасности» в глобальной стратегии США. М. «Международные отношения». 1980. 335 стр.

Сейчас, по-видимому, нет оснований говорить о доктрине Картера как о вехе в истории внешней политики или глобальной стратегии США, хотя что-то в нынешней внешней политике и стратегии США она, быть может, и проясняет. Далеко не все даже в окружении нынешнего президента готовы согласиться с тем, что он возвестил миру какую-либо внешнеполитическую доктрину вообще, считая его послание «О положении страны» от 23 января этого года рутинным документом с некоторым акцентом на предвыборных задачах.

В послании президента говорится о «лидирующей роли», которую США вознамерились играть в мире 80-х годов. Правящие круги этой страны, видимо, полагают, что они обладают правом по собственному усмотрению объявлять те или иные районы земного шара сферами своих «жизненно важных интересов». Обеспечение этих интересов требует от Вашингтона использования силы, разумеется и военной. Чтобы располагать необходимой силой, США должны оставаться «самой могучей страной в мире», причем «любой ценой». Таков ход мыслей, изложенных в послании.

Политическая философия, заложенная в этой доктрине, пожалуй, не нова. Набор силлогизмов, которыми понгрывает нынешняя администрация США, задан, очевидно, другим временем. Кажется, доктрина эта скорее обращена в прошлое, чем в будущее. Тем не менее она выведена на очную ставку с будущим. Это и выдает ее ретроградность, тканевую несовместимость с современными мировым развитием.

Доктрина Картера скорее всего представляет собой лишь новую ипостась традиционной внешнеполитической идеологии и стратегии американского империализма, которая в XX столетии не раз подвергалась обновлению и приспособлению к историческим условиям, но никогда не меняла своей сущности. Во всех сменявших друг друга довольно быстротечных по времени действия доктринах такого рода можно обнаружить некоторые постоянно присутствующие и переходящие блоки. Несколько приспособившись к той или иной исторической обстановке, эти слагаемые составляют стандартный, весьма устойчивый набор представлений, идей, выводов, которые входят в развивающуюся, но всегда при этом стабильную, империалистическую

доктрину. Основу всех слагаемых, их общий знаменатель составляет комплекс идей мирового господства США. Более или менее откровенный гегемонизм определяет сущность всех доктрин, которые порождаются на этой основе.

Прежде чем столкнуться с реальностями мировой политики 80-х годов, эта навязчивая сквозная идея американского империализма прошла весьма долгий и извилистый путь, пережила немало сомнительных приключений в бурном мире 40—70-х годов.

Книга, написанная известным советским историком-международником В. Петровским, появилась в момент обнародования администрацией демократов доктрины Картера. Но она раскрывает с предельной ясностью истоки и развитие, как раз ту базовую доктрину, которая, принимая различные обличья, определяла на протяжении послевоенного времени внешнеполитическую философию, идеологию и стратегию США. Речь идет о так называемой доктрине национальной безопасности.

Как отмечает В. Петровский, «идеи «национальной безопасности», официально изложенные в законе о национальной безопасности 1947 года, получали дополнительное доктринальное оформление в заявлениях практически всех американских администраций, начиная с провозгласившей их демократической администрации Г. Трумэна. Представители администрации Дж. Картера хотя и высказывают сомнения по поводу целесообразности доктринального подхода во внешней политике, на самом деле при обосновании глобалистских притязаний США столь часто апеллируют на различных уровнях к соображениям «национальной безопасности», что эти соображения звучат не иначе как рабочая доктрина нынешней администрации». Но в январе этого года администрация Дж. Картера предпочла сделать рабочую доктрину официальной.

Концепция «национальной безопасности» была построена на двух ключевых понятиях так называемых политических реалистов, ведущего направления американской политической науки 40-х годов, — национальном интересе и мощи. «Силовая» теория «политических реалистов» не только «научно» объяснила, но и освятила, сделала легендарной практическую опору амери-

канского империализма на военную мощь в период после второй мировой войны. В книге «Американская оборона и разрядка. Сборник по вопросам политики национальной безопасности», вышедшей под редакцией Ю. Розы в Нью-Йорке несколько лет назад, отмечается, что «защита основных ценностей государства от внешних угроз требует мобилизации национальной мощи и ее проекции в международную систему». Такая более чем откровенная постановка вопроса объясняет цели разработки в США концепции «национальной безопасности» в гегемонистско-силовом духе. Концепция «национальной безопасности» стала базой целого ряда доктрин военно-политического характера, сменявших друг друга в течение десятилетий осуществления и обоснования внешнеполитической деятельности американского империализма.

Сейчас любопытно вспомнить мысли по поводу этой концепции, высказанные известным американским специалистом А. Уолферсом еще в 1952 году. В своей работе А. Уолферс раскрыл сокровенный механизм, с помощью которого внешняя политика США мотивируется официально «национальными интересами», преломленными в «интересы национальной безопасности». В условиях «холодной войны», отмечал он, «формула национального интереса стала практически синонимом формуле национальной безопасности». Между тем крайне расплывчатым и двусмысленным оказывается сам термин «безопасность», покрывающий «настолько широкое ранжирование целей, что совершенно различные политики могли интерпретироваться как политики безопасности». Характерно название работы А. Уолферса — «Национальная безопасность как двусмысленный символ». Американский исследователь схватил самую суть выдвигания и эксплуатации этой доктрины — ее двусмысленность, всеядность, растяжимость, возможность жонглировать ею в любых международных ситуациях, выдавая с ее помощью одно за другое — агрессию за оборону, вмешательство во внутренние дела чужих стран за императивы безопасности самих США.

В последующее десятилетие — от начала 50-х до начала 60-х годов — концепция «национальной безопасности», пережив немало приключений в столкновениях с быстро меняющейся международной действительностью, не стала, однако, менее двусмысленной. Она продолжала оставаться вместилищем любых, даже самых крайних представлений о гегемонистско-силовом обеспечении внешней политики Вашингтон-

ских администраций. «Национальная безопасность все еще остается «двусмысленным символом», как писал один исследователь (имеется в виду А. Уолферс. — В. Г.) почти десять лет назад, — отмечал некоторое время спустя другой американский ученый, Г. Снайдер. — Конечно, он стал еще более двусмысленным в результате поразительных достижений с тех пор в ядерной технологии и технологии оружия и достижения ядерного паритета между Соединенными Штатами и Советским Союзом... Сейчас у нас по крайней мере в эмбриональной форме имеются теории ограниченной войны, устрашения, либо тактического, либо стратегического использования ядерного оружия, либо «возмездия», либо «контрсиловой» стратегии в тотальной войне, «ограниченного возмездия», механизма угрозы и навязывания обязательства, «внутренней войны», «затяжного конфликта» и тому подобные... Центральная теоретическая проблема в области политики национальной безопасности состоит в том, чтобы разъяснить и разграничить две центральные концепции — устр а ш е н и я и о б о р о н ы».

Скажем заранее: никто и никогда в правящих кругах США и не ставил целью разъяснить и разграничивать концепции «устр а ш е н и я» и «о б о р о н ы», как это наивно предполагал американский политолог. Дело в том, что как раз в интересах политической философии и практики американского империализма было не объяснять и не разделять эти понятия, а делать их по возможности более темными, расплывчатыми. Ведь только при этом условии доктрина «национальной безопасности» могла применяться для объяснения гегемонистско-силовой позиции США нуждами «безопасности» и «обороны».

В конце 70-х годов, на более позднем этапе развития концепции «национальной безопасности», З. Бжезинский прямо связывал эту концепцию с необходимостью взломать сложившееся соотношение сил двух систем в сегодняшнем мире, создать США новую «позицию силы». Он скорбел о том, что ныне Запад уже не располагает необходимым сочетанием беспорной политической, финансовой и экономической мощи, как в 1939 году. Эволюция, которую за последние десятилетия претерпела концепция «национальной безопасности», делает ее сегодня инструментом прямого политико-идеологического обеспечения новой гегемонистско-силовой линии США в международных отношениях, столь четко обнаружившейся в конце 70-х — начале 80-х го-

дов. Но и при этом концепция остается «двусмысленным символом», правда уже изрядно устаревшим и поблекшим.

Именно в лоне концепции «национальной безопасности», как показано в книге В. Петровского, родились представления о зонах «жизненно важных интересов» для США, о необходимости военной силы для контроля над ними, которые ныне оказались наиболее существенными компонентами доктрины Картера. Доктрина «национальной безопасности» в этом ее аспекте оказалась вдохновленной идеями геополитики, которые были свойственны политическому мышлению американского империализма на разных этапах его развития. Именно во второй половине 70-х годов, когда внешнеполитическая практика администрации Дж. Картера вновь выявила интерес к глобалистским и гегемонистским целям, З. Бжезинский, К. Грей, Р. Клайн и другие стали активно вводить в научный и политический оборот несколько подновленные геополитические идеи Х. Маккиндера и Н. Спайкмена, прямо связывая их с доктриной «национальной безопасности». В результате многократной гибридизации идей «национальной безопасности» и неогеополитических схем в этой доктрине появился весьма специфический смысл. Она, как признал американский исследователь Д. Ерджи, слова которого приводятся в книге, «постулирует взаимосвязь столь многих различных политических, экономических и военных факторов, что развитие событий на всем земном шаре выглядит как автоматически имеющее непосредственное отношение к коренным интересам США. Доктрина характеризуется экспансионизмом, вынесением субъективно определяемых границ безопасности во все более и более отдаленные районы, тенденцией разрастаться в географическом и проблемном отношениях».

В этой связи нельзя не вспомнить о выступлении З. Бжезинского в американской Ассоциации внешней политики еще в декабре 1978 года. «США, — с крайней заносчивостью заявил он, — намерены определять, где и что составляет их «жизненный интерес», какие события и когда будут рассматриваться в качестве угрозы». Поистине «национальная безопасность» США оказалась без берегов. Однако чаще речь идет о районах, вытянутых по периферии границ социалистических стран, прежде всего СССР. Антисоциалистический, антисоветский характер современных схем геополитики и «национальной безопасности», которые воспроизводятся во внешне-

политическом мышлении и действиях администрации Дж. Картера, достаточно прозрачен. Его, по сути, и не скрывают.

Развитие международных отношений не раз выявляло недопустимый характер той легкости, с которой Соединенные Штаты объявляют сферой американских жизненных интересов тот или иной район мира, находящийся далеко от США, на другом конце земли. События этого года показали, что администрация Дж. Картера стремится освятить такую практику довольно архаичными доктринальными формулировками.

Весьма содержателен проведенный в книге В. Петровского анализ внешнеполитических установок США. В каждой из этих установок можно проследить выраженную в тех или иных формах главную цель внешней политики США — глобальное противоборство с социализмом. Глобальное противоборство американскими политиками и политологами чаще всего трактуется как глобальный конфликт. Концепция глобального конфликта, возникшая, как и сама доктрина «национальной безопасности», в годы «холодной войны», не отошла вместе с «холодной войной» в прошлое, а лишь была приспособлена к новым условиям, приобрела современные акценты. Если для периода «холодной войны» возможность использования военной силы представлялась в Вашингтоне вполне реальной (вспомним хотя бы политику «сдерживания» и «освобождения»), а балансирование на грани войны было обычным элементом внешнеполитической деятельности США, то становление разрядки напряженности, перестройка советско-американских отношений на этой основе потребовали от правящих кругов Вашингтона чего-то вроде осторожной девальвации военной силы в отношениях Запада и Востока, обращения к невоенным средствам борьбы с социализмом. Опасность термоядерной катастрофы была ослаблена в ходе разрядки напряженности между СССР и США. Сама внешнеполитическая практика на грани войны, казалось бы, стала неприемлемой и для американского руководства. Но это вовсе не означало решительного отказа правящих кругов США от целей глобального противоборства. Менялась лишь тактика, выискивались новые методы и формы борьбы. Борьба против социализма и тогда отнюдь не снижалась с повестки дня американского империализма. Вторая половина 70-х годов и начало 80-х годов подтвердили не только это, но и возможность опасных рецидивов военно-силовой политики США в отноше-

нин социалистических стран, в первую очередь СССР.

Нельзя не согласиться с мыслью В. Петровского о том, что при неизменности долгосрочных интересов американской политики в глобальном противоборстве с социализмом в нынешних конкретных исторических условиях изменились лишь краткосрочные, тактические задачи. Это и приводит к демонстративной передвижке внешнеполитических приоритетов США, о чем громкогласно уведомили весь мир высшие лица картеровской администрации, едва они стали хозяевами Белого дома. На первое место по шкале внешнеполитических приоритетов США администрация выдвинула (выступление З. Бжезинского на заседании так называемой трехсторонней комиссии в Бонне в октябре 1977 года) отношения по оси Запад — Запад (мировая капиталистическая система), на втором месте оказались отношения Север — Юг (капитализм и развивающиеся страны) и лишь на третьем — Запад — Восток (отношения капиталистических и социалистических стран). В этой схеме, кроме пропагандистского острия антиразрядного толка, есть и иной смысл. При изменившемся в пользу социализма соотношении сил двух систем для США приобретают особое значение укрепление и консолидация мировой капиталистической системы, попытка направить развивающиеся страны в русло капиталистического развития. Но это вовсе не значит, что глобальное противоборство двух систем во второй половине 70-х годов сдвинулось вниз по шкале внешнеполитических приоритетов США. Выдвижение доктрины Картера показало всю эфемерность и двусмысленность игры в приоритеты, которую с показательной шумихой поначалу вели деятели из картеровского окружения.

Крайне важна для понимания и оценки общей направленности доктрины «национальной безопасности» содержащаяся в ней и во всем, что с ней связано, идея «воздействия» на СССР и другие социалистические страны с целью изменения их внутренней и внешней политики. Так, «национальная безопасность» США оказывается «распространенной» и на территории социалистических стран. Нет предела империалистическому экспансионизму, драпирующемуся в одежды «национальной безопасности».

В. Петровский скрупулезно разбирает все оттенки американской внешнеполитической мысли, связанные с концентрацией и использованием военной силы. Он подчеркивает, что, «устанавливая приклад военной

силы, доктрина «национальной безопасности» в то же время придает большое значение использованию в глобальной стратегии США и тех других элементов государственного могущества, которые составляют ресурсы «национальной безопасности» (экономика, наука и техника, моральный фактор, дипломатия)».

Анализ механизма внешнеполитической деятельности американского государства приводит к выводу, что в формировании и осуществлении политики «национальной безопасности» президенту США не только формально, но и фактически отведена решающая роль. Это показано в книге на широком историческом материале последних десятилетий. Доктрина «национальной безопасности» весьма существенно укрепила президентскую власть, причем не только в области внешней политики, но и политики внутренней. В его деятельности могут быть теперь всегда использованы, причем нередко в полном «тайн» контексте, безапелляционно, аргументы «высшего порядка».

И все же главное, что внесла доктрина «национальной безопасности» в механизм разработки и реализации внешней политики США, это деятельность Совета национальной безопасности, формальная задача которого — консультировать президента в связи с принятием внешнеполитических решений. На деле же функции Совета гораздо шире. Практика деятельности Совета национальной безопасности распространяется и на определение и оценку целей, обязательств и риска в области внешней политики, рассмотрение межведомственных проблем.

Доктрина «национальной безопасности» способствовала практическому возвышению роли помощника президента по делам национальной безопасности. Как бы ни пытались добиться «разделения труда» в вопросах внешней политики между помощником президента и государственным секретарем США, деятельность на посту помощника президента и Г. Киссинджера и З. Бжезинского привела к тому, что именно они стали главными внешнеполитическими советниками президента. З. Бжезинский, влияние которого на ведение внешней политики США во второй половине 70-х годов оказалось особенно деструктивным, в свое время пытался амбициозно доказывать, будто на его ответственности лежит «обеспечение национальной безопасности», а задача его состоит в том, чтобы «различать угрозы и зондажи, направленные Соединенным Штатам, и определять, каким

образом реагировать на них, отклонять или давать отпор». Почерк помощника президента, бесспорно, ощущается во многих внешнеполитических акциях и военных приготовлениях США. Сделанное им, казалось бы, во имя «национальной безопасности» не раз приводило на деле к весьма рискованным для безопасности США действиям, оборачивалось прямыми провалами.

Книга о доктрине «национальной безопасности» — первая в советской научной литературе — была бы все же неполной, если бы ее автор не рассмотрел острую политическую борьбу, которая в США развернулась между трезво мыслящими политическими деятелями и сторонниками военно-силового подхода, воплотившегося в этой доктрине. Автор приводит веские аргументы тех американцев, которые выступают за реалистический подход к современным международным проблемам, доказывают, что обеспечению правильно понимаемой национальной безопасности лучше всего служит не нагнетание напряженности и апелляция к военной силе, а разрядка напряженности, разоружение.

В. Петровский, многие годы посвятивший исследованию внешней политики США,

поднял новые пласты исторического и современного материала, с большой эрудицией и проникновением в суть проблемы раскрыл значение империалистической доктрины «национальной безопасности» в нынешних условиях. Его книга вносит немало нового и самобытного в разработку вопросов теории международных отношений. Она помогает понять и многие актуальные вопросы международной политики начала 80-х годов, прежде всего характер поворота во внешней политике США, нацеленного против разрядки напряженности, перестройки системы международных отношений на демократических началах. Но главное — она побуждает к размышлениям о растущем значении тех политических сил в мире, которые эффективно противостоят опасным анахронизмам военно-силовых подходов, концентрированно выраженных в доктрине «национальной безопасности» американского империализма. Это мысли о ленинской внешней политике, которая несет народам мир и подлинную всеобщую безопасность.

**В. ГАНТМАН,**

*доктор исторических наук.*



## И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ

**Диалоги. Dialogues.** Полемические статьи о возможных последствиях развития современной науки. Под общей редакцией академика Б. М. Кедрова. М. Политиздат. 1979. 397 стр.

Понятно, что публиковавшиеся в периодике статьи, будучи собранными под крышей одной книги, приобретают для читателя некое новое качество. И чем разнообразнее слагаемые, тем неожиданнее сумма. За научными диалогами между зарубежными и советскими учеными на страницах «Литературной газеты» следили многие. И тем не менее сборник этих диалогов, выпущенный Издательством политической литературы, требует чтения заново.

Это стоит представить себе — процесс над Галилео Галилеем в наши дни, как предложил австрийский кардинал Франц Кениг. Вместо подсудимого бюст его или известная картина «Галилео Галилей перед судом инквизиции». Орудия пытки Галилею уже не показывают. Зато микрофоны, юпитеры, телетайпы. Впрочем, может быть, и «испанский сапожок» вытащат на свет божий, дабы сказать, что теперь он уже не применяется: Ватикан, мол, не тот, что был, и отношения между религией и наукой тоже иные... Да так ли уж интересен

новый суд? Исход-то предрешен. «Быть может, — повторит на суде кардинал Кениг сказанное им в журнале «Космос» (ФРГ) и перепечатанное в «Диалогах», — одним из величайших препятствий, столетиями преграждавших все пути к примирению религии и естественных наук, был процесс над Галилеем. Его осуждение воспринимается сейчас особенно болезненно, ибо все мыслящие люди — как верующие, так и неверующие — считают, что Галилей был прав и именно его научные открытия стали прочным фундаментом современной механики и физики. Открытый и честный пересмотр дела Галилея кажется сейчас особенно необходимым для того, чтобы люди поверили в искреннее стремление церкви поддерживать истину, справедливость и свободу. Католическая церковь, несомненно, готова сейчас к такому пересмотру. Его полную беспристрастность гарантирует ныне выяснение ряда вопросов религиозной доктрины, абсолютно неясных во времена Галилея».



«Что ж, — пишет М. Мчедлов в комментарии к статье кардинала, — в истории католицизма бывали случаи, когда церковь спустя годы и века не только снимала обвинения со своих жертв, но и причисляла их к лику святых (Жанна д'Арк), учитывая их популярность и изменившуюся ситуацию. Видимо, нечто подобное произошло и с Галилеем».

Святой Галилео, церковь Сан-Галилео... Доживем и до такого. Но подумайте — ведь оправдание Галилея церковью лишит его возможности сказать под занавес: «И все-таки она вертится!» Вертится — и бог с ней... Да и памятный отказ Галилея от своих космогонических воззрений на суде — тот выбор между жизнью и принципами или то предательство ради возможности работать дальше, этот исторический факт, часто опорный для размышлений западных интеллигентов о своей жизни, этот один из вечных сюжетов западного искусства — будет унижен оправдательным приговором до простого страха в «не тех» обстоятельствах. «Миф о Галилее», полагают клерикалы, будет дискредитирован. Все равно что счесть законной сделку Фауста с дьяволом — легенды не останется!..

«Галилеевский комплекс» (конфликт учебного с действительностью, положение его между властью и публикой как между молотом и наковальней, между субсидиями, признанием и ответственностью перед обществом) — эта тема звучит почти во всех диалогах книги, и в подтексте и прямо в тексте, в комментариях советских ученых к выступлениям ученых Запада.

Суд совести идет каждодневно. С той лишь разницей, что «ересь» от науки по нынешним временам может быть и преступной и прибыльной.

Вот еще несколько сюжетов из книги.

...Началось с того, что одного червяка скормили другому. Конечно, мы знаем: так попросту черви, даже эти самые планарии, как их ни назови, сами друг друга не едят. Пришлось первого истолочь. Зато второй, съев его, стал мудрее — скручивается в судороге, хотя его еще током не бьют, а лишь сигнальная лампочка зажглась. Сам-второй током никогда бит не был, но первого мучали долго, а съел-то его второй вместе с памятью — и все уроки усвоил... От истолченного «червя познания» перешли к опытам с крысами, дрессировали золотых рыбок (не знаю, почему именно их — то ли легче обучаются, то ли просто приятнее с ними работать) и вновь пересаживали их «память» в неученые головы, отделив ее как-то от остального

мозга (в случае с крысами мозги вертели, например, на центрифуге, отделяя более твердые частицы — в них, видно, ума больше); и другие крысы и рыбы становились опять-таки мудрее.

В иных лабораториях шли не менее памятные и более достоверные эксперименты. Крысы научились включать механизм раздражающий у них «центр удовольствия» в мозг. Забывали пить, есть, любить сородичей — наслаждались до обморока, до инфаркта. Потом пошли опыты на обезьянах: электроды, вживленные в их мозг, возбуждали по радио — и меньшие братья становились ю послушнее, то агрессивнее, по заказу.

И тут в дело пошла фантазия в духе «Каприччос». ЭВМ, руководящая через вживленные в мозг электроды поведением человека, группы людей, обществом. Или человек, живущий в мире, электронном по происхождению; галлюцинирующий, наслаждающийся, плачущий согласно перфокарте. Или прививки человеку посредством «червя познания» любви, ненависти, эрудиции...

Но ведь подумайте: понадобятся доноры эмоций, те, у кого сильно развито то или иное чувство, чтобы взять у них пункцию «на развод», или доноры памяти... «Прививка любви», «Продаю свой гнев», «Я много знал», «Алгоритм папы римского» — названия для научно-фантастических рассказов...

А в жизни было так. На международной конференции «Чем грозит и что сулит нам наука» молодой английский нейропсихолог Питер Харпер выступил с самым коротким и самым сенсационным сообщением: «Я решил прекратить свои научные исследования, ибо они таят в себе слишком много опасностей. Я прекращаю свои опыты, так как чувствую, что стою на пороге неведомого — вторжение в него может обернуться торжеством сил зла».

Потом, в интервью журналу «Эуропо», он так раскрыл ситуацию, в которой оказался: «Мы не знаем, что ждет нас по ту сторону барьера сознания. Если бы мы знали, что это грозит нам злом, торжеством темных сил, мы бы поостереглись переступить через этот барьер. Но ученые рассуждают так: «Мы не уверены, что нас ждет зло. Поэтому пойдем дальше». А я говорю: «Нельзя идти дальше, пока мы не выясним, что избрали верный путь». Логическим следствием такой позиции должно быть сокращение объема научно-исследовательских работ, снижение научной активности; и это следует делать до тех пор,

пока мы не будем знать с уверенностью, куда она нас заведет. Люди говорят: «Это невозможно, потому что вся наша современная экономика связана с научным прогрессом». А я говорю: «Давайте изменим экономику. Ясно же, что нам нужна экономика нового типа». Мне возражают: «Это невозможно. Нельзя добиться нового типа экономики, не имея общества нового типа». А я: «Значит, нам нужно общество нового типа». На что мне снова возражают: «Общество нового типа немислимо без идеологии нового типа»... Вот почему я перешел сейчас от чистой научно-исследовательской работы к изучению политики науки, то есть влияния науки на общество».

Это и есть галилеевская традиция в отношении ученого и общества, преобразенная почти до неузнаваемости тремя с половиной веками развития. Здесь, в словах Харпера, и горечь отречения, и недоверие к окружающим, и мужество стояния. Профессор П. Симонов говорит о позиции Харпера: «Каждому ученому следует вспомнить предложение Маркса о том, что перед входом в науку хорошо бы начертать слова великого Данте: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета».

Страх — эмоция сильная. На «центр ужаса» в ученых умах воздействуют пока и без электродов. В «Диалогах» есть прокомментированная академиком А. Благонравовым статья Макса Борна, одного из Галилеев новой физики, «Выход в космос — добро и зло». Ученый, привыкший к изучению микромира, считает неразумными и опасными космические исследования в наши дни. Но ведь это все равно что заявить на новом процессе по делу Галилея: «Да, она вертится. Но нам это не надо. Пока не надо...»

Не случайно между разделами о человеке и о космосе в «Диалогах» мы находим под рубрикой «Суждения по поводу...» такое высказывание И. П. Павлова: «...всю свою жизнь ученый, если он только хочет быть строгим ученым, должен взвешивать каждое свое слово, должен немедленно подтверждать его фактами, доказательствами... Но исчерпывается ли этим все внутреннее содержание ученого? Не погибают ли вместе с ним очень часто его богатая интуиция, догадки, далеко идущие соображения? Мне кажется, что наука очень много приобрела бы оттого, если бы каждый ученый... уделял бы внимание и этим еще не обоснованным соображениям. Важно лишь при этом то, чтобы эта научная

фантазия не отрывалась от действительности...»

Важно и то, от какой действительности идет научная фантазия. Что вымечтал, что можешь вымечтать — вот вопрос, который ведет к другому, почти гамлетовскому: стоит ли мечтать? «Что благородней духом?..» Речь идет о «постановке» мечты, о науке среди людей, общественных формаций и их сдвигов. О трагедии мечты. Или о фарсе...

Вот такой еще фантастический сюжет, например. Человек-глагол. Целое общество людей-глаголов. А у глаголов, как известно, есть разные временные формы. Человек-футурум. Человек-плюсквамперфект. Человек-инфинитив... Оригинально? Это по мотивам статьи Х. Манна, М. Зайглера, Х. Осмонда. Американские психологи предложили новое деление человечества на типы по восприятию людьми течения времени, прошлого, настоящего, будущего, — по принципу, для кого что является временной доминантой. Оригинально. Это безболезненный способ мечтать и изобретать. «Наша работа, — пишут авторы. — опровергает утверждения здравого смысла и житейской мудрости, будто мы все одинаково воспринимаем внешний мир. Теория показывает, что конфликты происходят потому, что одно и то же событие по-разному воспринимается разными людьми».

Но как замечает советский психолог профессор К. Платонов: «Почему, собственно говоря, авторы статьи связывают мало удачную классификацию личности известного фрейдистского психолога К. Юнга с восприятием времени, опирающимся на еще очень мало изученные биологические ритмы организма? Почему они связывают восприятие времени только с отдельными, изолированными психическими функциями: ощущениями, эмоциями, мышлением, интуицией? Почему не с другими какими-нибудь качествами человека?»

Мы живем в «гуманитарном» мире. Мы давно уже приняли как аксиому: теория должна быть не только применима, но и красива. Один из уроков, которые преподносят нам «Диалоги», — о необходимости отличать красоту от ее симуляции. Есть красота истинная и красота «массовой культуры». Великая простота и та, что согласно поговорке хуже воровства. Наглядно, эффектно, просто в употреблении — еще не значит красиво. В традициях прогрессивной науки, в принципах, что воспроизводят ученые стран социализма, стройная теория работает на перспективу человечества, красота подразумевает гу-

манный подтекст, а не апологию взаимоничтожения.

Поэтому так дорого, когда и западный ученый, путающийся в сенсационных сопоставлениях, моделях, им созданных, все-таки вспоминает и о главном. Так, американский специалист по зоосоциальной психологии Э. Уилсон, давая интервью журналу «Эпока», просто топит корреспондента в каскаде экспансивных сравнений человеческого мира и животного: и звери у него в зверстве почище людей и люди хуже зверей, — но на финальный вопрос: «Так куда же мы идем?» — отвечает остро, но уже всерьез: «У меня такое впечатление, что эволюция вообще-то слепа. Вид развивается, желает он того или нет, в зависимости от требований, которые диктуются окружающей средой. Из живых существ только человек может усвоить эту истину... Следовательно, он может и должен предвидеть и контролировать свое генетическое предназначение. То есть прежде всего он должен установить контроль над экологией

и экономикой на земном шаре, чтобы избежать вселенского хаоса и вымирания человека как вида».

«Все-таки она вертится», — говоришь себе с надеждой. Все-таки наука вращается вокруг человека, его будущего. И пафос наших тревог и забот, звучащий в «Диалогах», в том, что человек нам дорог таков, каков он есть.

В диалоге с апологетом вживленных в мозг электродов Хосе Дельгадо (но и его апология не без оговорок и тревог) член-корреспондент АН СССР Н. Бехтерева, размышляя о возможностях электродного воздействия на мозг психически больного, выделяет: «Власть над болезнями приобретает только в активной борьбе с ними». Подчеркнем — в борьбе с ними человека. Вся электроника, вся системотехника должна лишь помочь человеку проявиться. В этом смысл современного гуманизма, Ренессанса XX века.

**В. ЛОБАЧЕВ.**



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. АРБАТОВ.** Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона. М. Политиздат. 1980. 288 стр.

Спустя шесть месяцев после подписания в Вене советско-американского договора ОСВ-2 президент Картер в начале этого года принял безответственное решение отложить ратификацию этого исторической важности документа, над подготовкой которого в течение долгих лет напряженно трудились дипломаты и военные эксперты обеих стран. Одновременно вашингтонская администрация объявила о мерах по замораживанию сотрудничества и переговоров между США и СССР по ряду важных вопросов.

Вашингтон пытается оправдать свои действия ссылками на события в Афганистане. Но это ложь, рассчитанная на очень наивных людей. Поворот в политике США от разрядки к усилению противоборства начался еще три-четыре года назад, то есть практически сразу же после прихода в Белый дом тридцать девятого президента Соединенных Штатов Дж. Картера. Здесь можно вспомнить о лондонской (1977) и вашингтонской (1978) сессиях Совета НАТО, где под давлением США было принято решение о ежегодном увеличении реальных военных расходов стран — участниц блока на 3 процента и были намечены долговременные программы наращивания и модернизации вооруженных сил НАТО. Как тут не вспомнить и об идее Картера разместить в Западной Европе новый вид смертоносного оружия — нейтронные бомбы. Не на что иное как на подрыв разрядки направлено и решение декабрьской 1979 года сессии Совета НАТО о развертывании с 1983 года на территории Великобритании, ФРГ и Италии около 600 американских крылатых ракет и систем «Першинг-2».

Администрация Картера стремится навязать Советскому Союзу новый виток гонки вооружений с целью попытаться достигнуть (уже в который раз!) военного превосходства над ним. При этом, как водится, делаются многозначительные указания на интересы национальной безопасности США и «советскую угрозу». Подобный прием не нов: к нему неоднократно прибегали сменявшие друг друга администрации. Однако то, что не срабатывало в 50—60-е годы, тем более не имеет шансов в 80-е. В наш ракетно-ядерный век политика гонки воору-

жений, попытки обойти противника и получить превосходство над ним — занятие, заранее обреченное. Оно ведет в тупик и чревато смертельным риском для человечества.

Древний Рим оставил сменявшей его цивилизации заповедь — *si vis pacem, para bellum* (если хочешь мира, готовься к войне). Этому правилу государства и правительства следовали в течение многих веков. Однако наступление атомной эры в середине XX столетия поставило под сомнение эту казавшуюся абсолютной истину. «Ибо, — как подчеркивается в книге молодого ученого-международника А. Арбатова, — сущность безопасности, пути ее укрепления коренным образом изменились в условиях, когда на Земле накоплены колоссальные запасы средств уничтожения, способные покончить с нашей цивилизацией, когда бурный технический прогресс непрерывно рождает все более страшные виды оружия, которые могут расшатать военный баланс, когда во многих районах планеты сохраняются и зреют очаги конфликтов, угрожающие привести в действие арсеналы глобального разрушения».

Несомненным достоинством этой содержательной книги является широкий исторический и проблемный диапазон исследования. Автор рассматривает внешнеполитический курс и военную политику пяти последовательно сменявших друг друга администраций — Кеннеди, Джонсона, Никсона, Форда и Картера. Он проделал глубокий и тонкий анализ многих американских программ вооружений и связанных с ними стратегических концепций за двадцатилетний период, прослеживая сложный путь американской внешней политики от признания реальности атомного века к приспособлению к этим реальностям. Со страниц книги предстает картина борьбы двух начал во внешней политике США — милитаристского, вдохновляемого военно-промышленным комплексом, эгоистически заинтересованного в гонке вооружений, и реалистического, исходящего из правильно понятых национальных интересов Соединенных Штатов.

Книга А. Арбатова убедительно показывает, что подлинные интересы национальной безопасности США, как и других стран, лежат отнюдь не в плоскости наращивания вооружений и опасных для дела мира попыток добиться военно-технического перевеса, который, естественно, не может

быть длительным, а единственно на пути ограничения и сокращения стратегических вооружений, начатом договорами ОСВ-1 и ОСВ-2.

**П. Черкасов,**  
кандидат исторических наук.



**Ю. А. ЛИМОНОВ.** Культурные связи России с европейскими странами в XV—XVII веках. Л. «Наука». 1978. 272 стр.

Еще не были созданы великие тираноборческие поэмы «Потерянный Рай» и «Возвращенный Рай» и трагедия «Самсон-борец», когда их знаменитый автор английский поэт XVII века Джон Мильтон написал «Краткую историю Московии». Сжато, но довольно полно и объективно для уровня знаний той эпохи он осветил географию, историю и культуру Русского государства, ознакомив английского читателя с прошлым, по словам Мильтона, «самой северной из европейских стран, почитаемых образованными». Со страниц его книги англичане услышали имена Игоря, Ольги и Святослава, они читали о крещении Руси в конце X века, о борьбе народа против татаро-монгольского ига, о возвышении Москвы и объединении вокруг нее русских земель, о беседах английского путешественника Ричарда Ченслера с Иваном Грозным, о посольствах в Москву королевы Елизаветы, за которую сватался Иван Васильевич...

Книга Мильтона вышла в свет уже после смерти автора, в 1682 году, причем не только в Англии, но и в Голландии. Правда, точное время написания «Московии» неизвестно. Предполагается, что она была создана около 1649—1650 годов, в бытность автора секретарем по иностранным делам лорда-протектора Оливера Кромвеля. В те годы Мильтон с революционно-демократических позиций выступал против феодального абсолютизма, за суверенитет народа. Он мечтал о том времени, когда народы всего мира вернут «свою давно утраченную свободу». Интерес к далекой Московии в таком случае составил часть революционной и гуманистической концепции певца английской революции.

Но откуда черпал он сведения о России? И какими источниками о ней в Европе располагали на грани средних веков и нового времени? Ответы на эти и многие другие вопросы мы находим в книге Ю. Лимонова.

Автор справедливо отмечает, что в основе большинства сочинений иностранных наблюдателей XV—XVII веков о нашей стране лежали не только личные впечатления или записанные путешественниками рассказы русских людей. «Огромный комплекс материалов по истории, географии, культуре, о внутреннем и внешнем положении страны, — подчеркивает ученый, — заимствован из русских письменных источников — летописей». И эта верная, но до последнего времени как бы находившаяся в тени мысль служит отправной точкой комплексного исследования того, какие именно летописные памятники, их редакции и из-

воды и как, то есть непосредственно или позаимствованными из вторых рук, были использованы в европейских сочинениях XV—XVII веков о России.

Перед читателями книги раскрывается творческая лаборатория родоначальника польской историографии, едва ли не крупнейшего в тогдашней Европе знатока древнерусских летописей Яна Длугоша и продолжателя его дела, автора широко распространенного «Трактата о двух Сарматиях» и «Хроники Польши» Матвея Меховского. Мы знакомимся с источниками одного из важнейших для XVI века трудов — «Записок о московитских делах» австрийского дипломата, уроженца словенской Крайны Сигизмунда Герберштейна. Герберштейн сам писал, что сведения о России черпал не только «из сообщений многих людей», но и из летописей. Его труд, вышедший в свет в 1549 году и затем неоднократно переиздававшийся, сыграл значительную роль в информации зарубежных читателей о России. Далее, выявляя летописные известия в сочинениях Рейнгольда Гейденштейна, Ю. Лимонов впервые обращает внимание на его рассказ о захвате во время польско-русской кампании XVI века в полоцком замке богатой библиотеки, где находились и «русские хроники».

Ученый дает реконструкцию тех летописей, которыми, по его мнению, пользовались те или иные зарубежные авторы. Этот подход представляется плодотворным, поскольку может расширить представления о памятниках древнерусского летописания, многие из которых погибли во время войн, пожаров и стихийных бедствий, забыты или утрачены. Но труды зарубежных сочинителей ценны еще и потому, что во многом сами являлись источниками для других работ о России, которые все чаще стали появляться в разных странах Европы в XVI—XVII веках. Один из таких авторов — знаменитый французский историк и политический деятель Жак Огюст де Ту, который, как показал Ю. Лимонов, в части, касающейся истории, географии и культуры России, широко опирался на работы своих предшественников от Длугоша до Гейденштейна. «Летописи были не только источниками европейской историографии, использование которых способствовало знакомству со странами Восточной Европы; они внесли определенный вклад в развитие и взаимодействие письменных культур европейских народов», — с полным основанием заключает Ю. Лимонов.

В рецензируемой книге во многом по-новому, порой с неожиданной стороны раскрывается значение древнерусских летописей в истории не только отечественной, но и мировой культуры.

**А. Мыльников,**  
доктор исторических наук.



**Я. ГОРДИН.** Пусть каждый исполнит свой долг. М. «Детская литература». 1979. 143 стр.

По-расному человек сталкивается с историей на протяжении всей своей жизни.

Иногда в юности кажется, что нет более ясной науки, чем история, что события, отделенные от нас столетиями, шли по хорошо утоптанной дорожке незыблемых закономерностей. Вообще прошлое мы склонны упрощать, его результаты кажутся нам предопределенными; наши трудности начинаются с нашего сегодня, когда мы обнаруживаем, что каждому в жизни предоставлены возможности сделать выбор, поступить так или иначе... Но ведь и история была давнишним сегодня, ведь и тогда время в своем движении оставляло каждому тысячи возможностей принимать решения. Понять это не умоглядно, а по настоящему можно человеку лишь тогда, когда обогащен знанием исторических фактов, когда эти факты приведены в систему... Тут одна из задач популярной исторической литературы, детской в особенности.

Об эпохе Петра написано много либо чисто исторической литературы, либо художественно-исторической. Особенности и того и другого жанра одинаково важны для юношеской литературы по истории, которая должна быть и строго научна и увлекательна одновременно. Обоим этим требованиям отвечает книга Я. Гордина «Пусть каждый исполнит свой долг», имеющая подзаголовок «Повесть о Северной войне».

Предметом книги является четко очерченное историческое событие: война России со Швецией 1700—1721 годов. Психологически Я. Гордин чувствует себя современником этих событий. Он обладает этим редким даром — переносить читателя в далекое прошлое. События оживают, становятся драматичнее, исход сражений зависит не только от полководца, вооружений, но и от настроения солдат, отношений между командирами, погоды, просто удачи. Естественно, автор учитывает все крупные исторические закономерности и говорит о них, но, будучи историком жизни, он принимает во внимание множество конкретных причин и следствий, из которых тоже складывается история. Это дает яркий художественный эффект.

Проза Я. Гордина экономна. Предпочитая короткую, динамичную фразу, он максимально насыщает ее информацией. Причем информация эта совсем не обязательно фактографическая, он находит место и для описаний природы, для чисто художественных деталей, передающих динамизм сражений, томительность ожиданий, спасительность личного героизма. Нелегко определить, к какому известному нам жанру относится произведение: перед нами книга, в которой сочетаются черты исторической хроники-исследования, психологических портретов и приключенческой военной беллетристики. При этом важно сказать, что в повести нет ни одного вымышленного персонажа.

Какую бы битву ни описывал Я. Гордин, о каком бы событии Северной войны он ни говорил, для него важно разобраться в двигательных причинах происходящего, выяснить, откуда берется исторический результат. Обнаружив природу и направленные противостоящих сил, он дает им столкнуться, выявляя драматический эф-

фект. Ни один исход сражения не предreshен для Я. Гордина заранее. Этот азарт исследования и нахождения закономерностей надежно владеет читателем на всем протяжении книги. Увлеченные постижением причин побед и поражений, мы сами немножко становимся стратегами, мы сами участвуем в гениальной мыслительной работе Петра, действенность которой становится очевиднее от страницы к странице.

Равнодействующая истории складывается из столкновения самых сложных и разнонаправленных сил, начиная от поведения русского солдата, участника астраханского восстания, крестьянина глухой деревни и кончая психологией саксонского короля и коменданта шведской крепости. Хотим мы этого или не хотим, мы все являемся участниками истории.

К сходным мыслям приходит юный читатель книги Я. Гордина, и они не могут показаться ему незначительными.

Ф. Чирсков.

Ленинград.



**МИХАИЛ БЕЛЯЕВ. Улетающая любовь. Лирика. М. «Молодая гвардия». 1978. 224 стр.**

**МИХАИЛ БЕЛЯЕВ. Роса на белых яблонях. Стихи и поэма. М. «Современник». 1979. 95 стр.**

Михаил Беляев верен традиционной реалистической манере художественного осмысления жизни. Спокойно и неторопливо ведет он разговор с читателем о волнующих гражданских и нравственно-этических проблемах.

«Не изменил я совести людской протяжных песен...» — это не просто декларация. Людская совесть — лейтмотив творчества М. Беляева, пишет ли он о Великой Отечественной войне (циклы «Живой пепел», «Баллада о старом рубеже войны»), задумывается ли над историческим прошлым («Осада ливенской крепости», «После набега ордынцев»), воспевае ли природу родного орловского края («Август наливаются прохладой...», «Раздумье о зеленом колоколе» и др.).

У М. Беляева мы вряд ли найдем экзотический эпитет или необыкновенную рифму, он не ошеломит экстравагантной метафорой, но его строка отличается смысловой емкостью и внутренней напряженностью. Метафоры у него естественны и точны. Сколько стихов было написано, например, о Хатыни! И каждому вновь пишущему на эту тему трудно не повториться, не просто найти свое, единственно необходимое слово, выражающее боль и трагедию народа. Стихотворение М. Беляева «Двадцать шесть» (в сожженной Хатыни было двадцать шесть хат, а взятая эпиграфом строка из одноименного стихотворения С. Есенина как бы расширяет идейно-тематический горизонт стиха, вызывая до ассоциации мысль о преемственности героизма и боевой славы) заканчивается так:

И томит,  
Над Русью звеня,  
Жизни истина  
Непростая:  
Если гибнут в ней от огня,  
В небе колокол  
Вырастает.

Образ колокола точен и многозначителен. Подобную же идейно-эмоциональную обусловленность образов находим во многих стихах М. Беляева.

Выражением бескорыстно благодарной и по-сыновьи заботливой любви к отчому краю («Храни, мой город, родники свои...») являются в его поэзии бережное отношение к языку («От песен стал я часто уставать, все реже отличаю их от крика...»), приверженность народным обычаям и традициям («Осыпается ров...»).

М. Беляев — поэт сюжетный. Многие его стихи представляют собой художественно законченные новеллы с логическим развитием фабулы, образа, мысли. Не случайно и наибольшие успехи поэта в балладах — «Ливенском мосте», «Славянке», «Схватке дозоров», «Балладе о пытке» и некоторых других. В них ощутимы влияние устного народного творчества, ориентация на поэтику героического эпоса. Они привлекают сюжетной динамичностью, ритмическим многообразием, точностью слова и краски. «Баллада о фашистской овчарке», например, взывает к подлинной человечности, действенной доброте.

Существенное место в сборниках занимает любовная лирика. Любовь в стихах М. Беляева — чувство окрыляющее, возвышенное, одухотворенное. Быт не мешает поэту, наоборот, помогает передать живую полноту, укорененность чувства, сделать его образ зримым, жизненно достоверным («Боль заострилась у тебя во взгляде...», «Влюбленных судьбы тоже в перелетах...», «Признание невесты»).

Лучшие стихи М. Беляева привлекательны прочным соединением раздумий о непреходящем с узнаваемыми земными реалиями. В стихах же отвлеченных и умозрительно-философичных встречаются погрешности вкуса («И томится и дросится в крепкие руки обнаженное теплое тело земли») и стилистическая шероховатость («О, как зовет сквозь лес прозрачный даль»). Эпитет «прозрачный» относится, естественно, к слову «лес», но при чтении из-за возникающей паузы слово «даль» как бы перетягивает его на себя и получается «О, как зовет... прозрачный даль!»).

Сборники М. Беляева свидетельствуют о творческом росте, возмужании поэта.

Николай Рулин.

Солнечногорск.



**Л. БЫКОВЦЕВА.** Горький в Италии. Монография. М. «Советский писатель». 1979. 400 стр.

Гёте и Веймар, Толстой и Ясная Поляна, Шолохов и Дон — понятия эти нерасторжимы. Горький прожил скитальческую жизнь. В юности он чуть ли не всю Россию обошел, побывал на Украине, в Бессарабии. Глубокий след в его творческом сознании

оставило родное Поволжье — от Нижнего Новгорода до Астрахани. И есть на земле места, которые не только наложили свой отпечаток на творчество писателя, но и в чем-то существенно повлияли на само его мировосприятие. Таков, например, Кавказ, где Алексей Пешков стал Максимом Горьким. Такова Италия — на Капри и в Сорренто им прожито в общей сложности пятнадцать лет. И каких лет!

Дважды к Горькому на Капри приезжал В. И. Ленин. У Горького в Италии гостили Плеханов, Дзержинский, Луначарский, Шалапин, Станиславский, композитор С. Прокофьев, художники братья Коринны, скульптор С. Коненков, писатели Алексей Толстой, Леонов, О. Форш, Гладков, Вс. Иванов, Маршак, Бабель, Катаев, А. Веселый, Н. Асеев... «В настоящее время, — писала одна миланская газета в связи с шестидесятилетием Горького, — Сорренто становится для русских писателей новой Ясной Поляной — центром притяжения литераторов». В Италии Горькому хорошо работалось: здесь им написаны многие замечательные произведения, в том числе первые книги монументального историко-философского эпоса «Жизнь Клима Самгина».

Надо ли удивляться тому, что серьезный научный труд монография «Горький в Италии» сразу же привлекла внимание как литературоведов, так и читательских кругов. Печать сочувственно откликнулась на выход в свет (1975) первого издания книги. Была отмечена полнота разработки темы с прочной опорой на добытый годами большой, зачастую уникальный материал. Однако автор продолжал свои разыскания. И вот перед нами новое, дополненное издание исследования, уже занявшего свое место в обширной, можно сказать — необозримой горьковедческой литературе. В книге воссоздана одна из самых содержательных страниц горьковской биографии, углублены наши представления о наследии писателя — патриота и интернационалиста.

Горький в Италии — проблема многосторонняя. Здесь переплетаются, соответственно, биографический, творческий и социально-политический аспекты. От литератора, взявшегося за решение такой многосложной проблемы, помимо досконального знания Горького и Италии, ее народа, истории, культуры, национальных традиций, требуется еще и глубокое понимание логики исторического процесса, активным участником которого в первой трети XX века был великий художник пролетариата. Этими качествами, судя по итогам исследования, автор обладает сполна, что и определяет безусловный успех книги.

В монографии Л. Быковцевой подкупает богатство фактов, наблюдений, мыслей. Гипотезы, выдвигаемые автором, как правило, убеждают: они продуманы до деталей. А это, согласимся, особенно для работы подобного жанра, достоинство первостепенное.

Начать хотя бы с того, что итальянский период в жизни и творчестве Горького хронологически делится на два качественно отличных этапа: каприйский (1906—1913) и соррентийский (1924—1933). Они не поддаются интеграции. На Капри жил рус-

ский писатель-изгнанник, нашедший в Италии приют после поражения первой русской революции. На родине бесновалась реакция. Неустойчивая часть демократической интеллигенции, поддавшись отчаянию, вступила на путь ренегатства. И для Горького это было время мучительных раздумий, трудных поисков. Автор рецензируемой книги не обходит острых углов, не поддается соблазну подретушировать героя своего остродраматического повествования. Тем убедительнее итог: в конечном счете победила ленинская правда. Великий писатель, отрешившись от былых заблуждений, занял авангардное место в строителстве новых, социалистических мироотношений.

Вторично в Италию, в Сорренто, приехал правофланговый литературы социалистического реализма, гражданин СССР, полномочный представитель гуманистической культуры победившего народа. Вынужденный по состоянию здоровья и по настоянию В. И. Ленина на время выехать для лечения за границу, Горький ни на минуту не порывал связи со своей родиной. Тысячи крепких нитей связывают его с рабочими и колхозниками, с творческой интеллигенцией Страны Советов. С добросовестностью летописца Л. Быковцева запечатлела каждую значимую деталь в политике титанической деятельности писателя. Весьма удачны в рецензируемом труде те его части, которые непосредственно посвящены отношению Горького к народу, истории и духовной культуре Италии.

Книга Л. Быковцевой «Горький в Италии» от первой до последней ее строки продиктована любовью к Горькому и к Италии. Книга эта служит добруму, благородному делу.

У. Гуральник,  
доктор филологических наук.



**Б. ПОКРОВСКИЙ. Размышления об опере. М. «Советский композитор». 1979. 279 стр.**

В большом потоке писаний об опере значительно выделяются работы, принадлежащие крупным практикам оперного искусства. И это не удивительно, поскольку их мысли вызваны к жизни не абстрактным теоретизированием, а живой, каждодневной деятельностью. Именно в этом заключено одно из ценнейших достоинств новой книги главного режиссера Большого театра Союза ССР, лауреата Ленинской премии, народного артиста СССР Б. Покровского.

Книга написана острополюемично, пылко, даже страстно. В каждой фразе проявляется исполнительская воля автора. Правда, мы допускаем мысль, что некоторые читатели в ряде случаев предпочли бы этому «диктату» более мягкие характеристики и определения.

В первом большом разделе книги Б. Покровский пытается ответить на, казалось бы, простой вопрос: что такое опера? Од-

нако при более тщательном анализе вопрос этот оказывается не столь уж простым. Убедительно показав, что многие бытующие определения оперы как жанра страдают односторонностью и не отражают ее существа, автор подходит к решению вопроса с иной стороны. Вместо нового определения Б. Покровский в ряде небольших глав вскрывает и анализирует наиболее характерные слагаемые оперы. Лейтмотивом этого раздела книги можно считать мысль о том, что отдельные самостоятельные искусства (музыка, драматургия, живопись) в опере подчинены и взаимосвязаны и в конечном счете служат одной цели — созданию именно оперного спектакля. Попутно автор характеризует два различных типа оперного спектакля: один — рассчитанный на интерес зрителей к нескольким солистам-знаменитостям, исполняющим главные роли и, как правило, не заботящимся о стройности всего спектакля, его концепции, и второй тип, по мнению Б. Покровского, составляющий исконно русскую традицию оперного спектакля, о которой мечтал Шаляпин и которую утверждали Станиславский и Немирович-Данченко, — спектакль, основанный на коллективной деятельности всех создателей данной постановки. Именно к такому типу спектакля стремится советский оперный театр.

Дав всестороннюю характеристику оперы как жанра, Б. Покровский во втором разделе книги («Оперный режиссер») подробно останавливается на роли режиссера в оперном спектакле.

В третьем разделе книги («Работа с актером и работа актера в опере») говорится о специфических трудностях, стоящих перед певцом-актером, причем автор сразу же оговаривает то важнейшее обстоятельство, что «здесь в принципе неуместны аналогии с созданием роли в драматическом спектакле, или, во всяком случае, эти аналогии являются очень далекими и частичными». Главная мысль Б. Покровского, которая доказывается и иллюстрируется яркими примерами, та, что певец-солист призван «не выучивать партию, а творить вокальный образ — решающую, важнейшую клетку будущего создания артиста на оперной сцене». О том, как этого добиться, дают представление стенограммы репетиций Б. Покровского. Здесь во всем блеске проявилась фантазия прославленного режиссера, его глубокое проникновение в замысел композитора. Читая эти страницы книги, невольно ловишь себя на мысли, что присутствуешь при рождении и становлении образов. Каждая реплика режиссера придает все большую рельефность и выразительность персонажу, создающемуся на сцене.

Нет сомнения в том, что каждый, прочитавший книгу Б. Покровского, откроет для себя новые стороны в оперном спектакле, взглянет на оперу новыми глазами, глубже проникнет в тайны этого великого искусства.

Н. Львова



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Империализм, как высшая стадия капитализма. 136 стр. Цена 15 к.

**В. И. Ленин.** О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. 32 стр. Цена 5 к.

**В. И. Ленин.** Социализм и религия.— Об отношении рабочей партии к религии. 24 стр. Цена 3 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ч. Гусейнов.** Восточные сюжеты. Роман, повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 463 стр. Цена 1 р. 70 к.

**М. Ибрагимбеков.** В один прекрасный день. Рассказы и повести. 526 стр. Цена 2 р.

**Л. Карелин.** Землетрясение. Роман.— Головокружение. Повесть. 304 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Л. Лавлинский.** Степной ночлег. Стихи и поэма. 151 стр. Цена 45 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**П.-Ж. Беранже.** Песни. Перевод с французского. Сувенирное издание. 111 стр. Цена 2 р.

**В. Брюсов.** Избранные сочинения. 574 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Г. Ибсен.** Пер Гюнт. Драматическая поэма. Перевод с норвежского. 302 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Поэзия Великой Отечественной войны и антифашистского Сопротивления.** Стихи поэтов НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СССР, ЧССР. 654 стр. Цена 2 р. 90 к.

**М. Шагинян.** Человек и время. История человеческого становления. 717 стр. Цена 2 р. 80 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Барто.** За цветами в зимний лес. Стихи. 111 стр. Цена 70 к.

**В. Жуковский.** Баллады. Предисловие и составление К. Пигарева. 40 стр. Цена 35 к.

**А. Зверинцев.** Письма для Петрова. Рассказы о В. И. Ленине. 95 стр. Цена 55 к.

**Б. Ряховский.** Тополияная роща. Рассказы. 191 стр. Цена 40 к.

**Сердце беседует с Лениным.** Рассказы и воспоминания. Составитель В. В. Путилина. 463 стр. Цена 85 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**С. Велиев.** Зови меня на «ты». Рассказы, повесть, роман. Перевод с азербайджанского. 320 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Д. Кудис.** Не был я в боях.— За Полярным кругом. Повести. 285 стр. Цена 1 р. 30 к.

**К. Леу.** Власть. Роман. Перевод с румынского. 214 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Мишкин.** Птицы летают без компаса. Повести. 286 стр. Цена 65 к.

**В. Федотов.** Закон моря. Рассказы и повести. 299 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**И. Богатко.** Юрий Нагибин. Литературный портрет. («Писатели Советской России») 112 стр. Цена 15 к.

**Л. Жариков.** Повесть о суровом друге. 351 стр. Цена 80 к.

**М. Киселева.** Маняшкино лето. Повести, рассказы и сказки. 236 стр. Цена 35 к.

**М. Прилежайва.** Удивительный год.— Три недели покоя. Повести. 317 стр. Цена 75 к.

## «НАУКА»

**У. Гуральник.** Наследие Н. Г. Чернышевского писателя и советское литературоведение. Итоги, задачи, перспективы изучения. 264 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Мухтар Ауэзов** — классик советской литературы. Сборник статей. Главный редактор Б. А. Тулебаев. 187 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Первый бумеранг.** Мифы и легенды Австралии. Запись, пересказ текстов и предисловие В. М. Кудина. 150 стр. Цена 75 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**В. Амаршан.** Там, где люди, там и я. Стихи. Перевод с абхазского. Предисловие С. Наровчатова. Сухуми. «Алашара». 79 стр. Цена 20 к.

**М. Круль.** Лунная лошадь. Повесть. Минск. «Мастацкая літаратура». («Первая книга прозаика») 304 стр. Цена 90 к.

**М. В. Ломоносов.** Избранные произведения. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. («Русский Север») 351 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Передовая.** Стихи поэтов-фронтовиков. Составитель В. Серов. Саратов. Приволжское книжное издательство. 55 стр. Цена 20 к.

**М. Синельников.** Аргонавтика. Стихи. Переводы из грузинских поэтов. Тбилиси. «Мерани». 301 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Филиппович.** Тихий свет. Уральские записки. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Щепотка соли.** Из казахского народного юмора. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жалын». 56 стр. Цена 20 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел. 200-08-29.  
Издательство Советов народных депутатов СССР  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 26/VI 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 12/VIII 1980 г.  
Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 27,13 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.). Тираж 320.000 экз.

Набрано в типографии, пр. Сапунова, 2.

Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радяська Україна».  
Київ-47, Врест-Лиговский проспект, 94. Зак. 03851.

Цена 70 коп.

70636